

ДЕНИ  
ДИДРО



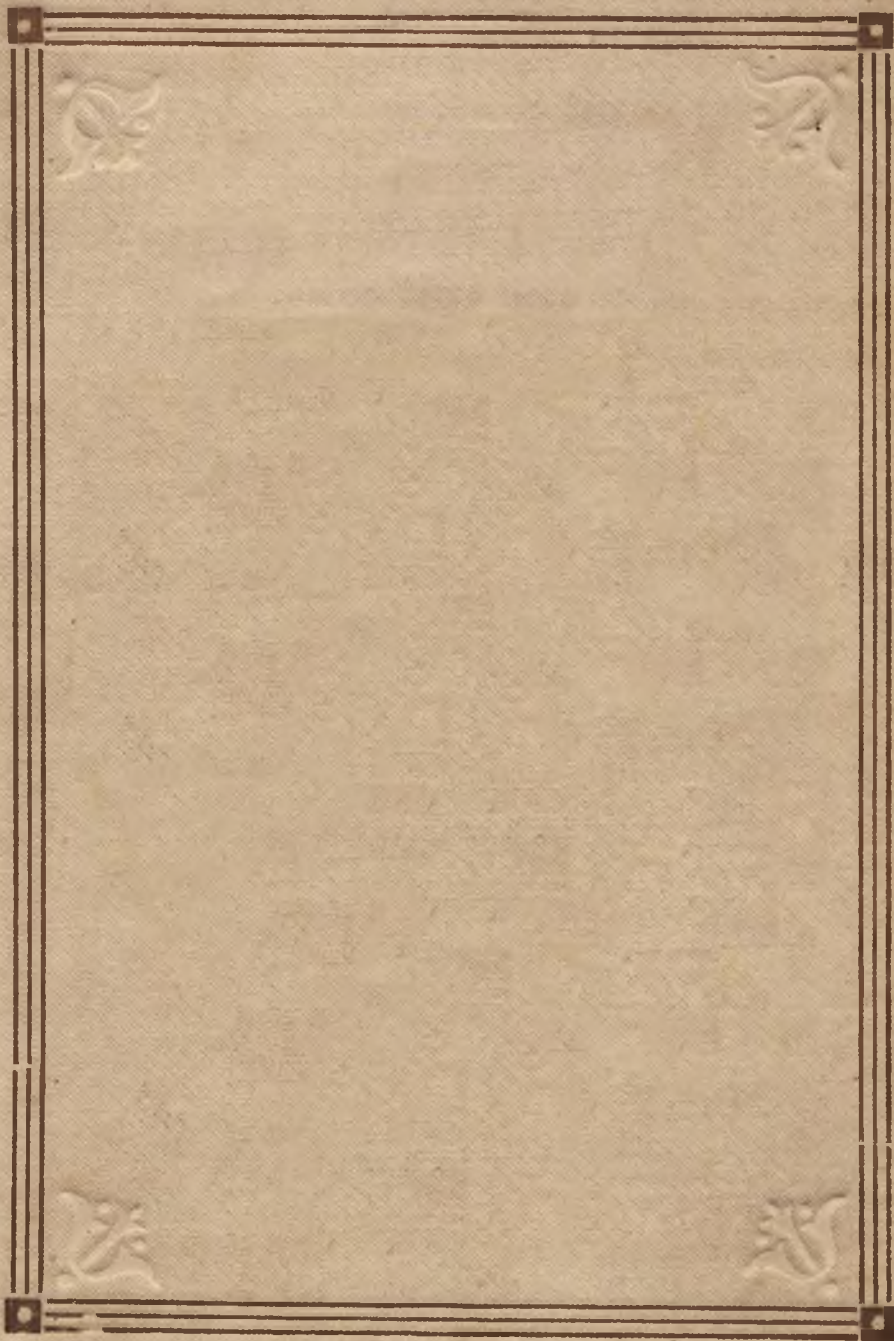
СОЧИНЕНИЯ



ACADEMIA

ДЕНИ  
ДИДРО

I



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



**ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА**

**ДЕНИ ДИДРО**

**(1713 — 1784)**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

**в десяти томах**

**Под общей редакцией**

**И. К. ЛУППОЛА**

**А С А Д Е М И А**

**Москва — Ленинград**

Д Е Н И Д И Д Р О

# СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ I

## Ф И Л О С О Ф И Я

Редакция и вступительная статья

**И. К. Луппово**

Перевод И. Б. Румера,

В. К. Серезникова и П. С. Юшкевича

Примечания А. Н. Лаврентьева

А С А Д Е М І А

1 9 3 5

**DENIS DIDEROT**  
**OEUVRES CHOISIES**

*Супер-обложка и переплет*  
*Б. В. Шварца*





*Дидро. С гравюры Деланнуа по портрету Гарана*



## От издательства

В 1934 году исполнилось полтораста лет со дня смерти Дени Дидро, идейного вождя революционной французской буржуазии XVIII века, одного из наиболее ярких представителей так называемой эпохи просвещения. Желая—в порядке разрешения проблемы освоения культурного наследия прошлого—представить современному советскому читателю лучшее и наиболее «нетленное» из литературного наследия французского энциклопедиста, «Academia» приступает к изданию сочинений Дидро.

«Academia» сознательно отказывается от издания полного собрания произведений Дидро, считая, что известная часть их сохраняется в наше время лишь специальный и узко исторический интерес. С другой стороны, «Academia» не может удовлетвориться изданием лишь литературно-художественных произведений Дидро. Всякое ограничение издания в этом смысле неизбежно изуродовало бы культурно-исторический облик Дидро, этого истинного энциклопедиста и полигистора.

«Пантофил» Дидро с одинаковым талантом проявил себя и в художественной литературе и в философии; его влияние на протяжении десятилетий можно проследить и в драматургии

и в изобразительных искусствах; его образ в равной степени запечатлелся и в «Энциклопедии»,—этом предприятии, имевшем не только литературно-издательское, но и громадное общественно-политическое значение,—и в интимной переписке с друзьями с ее, казалось бы, лишь частным интересом. Вот почему «Academia», несколько выходя за привычные рамки своей деятельности, в издании сочинений Дидро не может не дать произведений философского, научного и общественно-политического характера.

Принятая программа издания избранных сочинений Дидро предусматривает публикацию философских работ (тт. I и II), романов, повестей и рассказов (тт. III и IV), драматических произведений и работ, относящихся к театру (т. V), «Салонов» и статей по вопросам искусства (т. VI), статей из «Энциклопедии» (т. VII), избранной переписки с С. Воллан (т. VIII) и другими современниками (т. IX) и, наконец, работ, связанных непосредственно с Россией (т. X). Произведения Дидро будут сопровождаться специальными вступительными статьями. Все издание будет снабжено соответствующими примечаниями и аппаратом.

Подавляющая часть произведений Дидро появляется на русском языке впервые, большинство остальных—в новых переводах. Все издание предположено осуществить в течение трех лет.

*«Academia»*

## Дени Дидро

(Среда, жизнь, идеи)

Говорят, что тот писатель надолго переживает свою эпоху, который отразил и выявил эту эпоху наиболее метко и ярко, наиболее адекватно и конкретно, наиболее рельефно и талантливо. И для этого вовсе не требуется, чтобы писатель эклектически нахватал идеи и идеалы у всех общественных классов данной эпохи или, тем менее, чтобы он стал над всеми классами и с этих «надклассовых» высот «вещал» потомкам. В последнем случае скорое забвение, быстрая смерть обеспечены.

Переживает свою эпоху именно тот писатель, который был плотью от плоти и кровью от крови своего класса, который наиболее полно и мудро представлял его интересы, который наиболее сильно боролся за эти интересы. В беге истории, в смене последующих поколений оценка такого писателя будет различной в зависимости от классовых позиций грядущих судей, но сам он останется бессмертным в том смысле, какой влагали в это слово и Дидро, и Фейербах, — в смысле бессмертия в роде, в памяти поколений.

Если же этот писатель был еще и личностью многогранной, не вмещавшейся в рамки одной какой-либо отрасли знания, одной какой-либо области искусства, тем шире будет круг тех, кто будет его помнить и кто должен будет его знать.

Именно таков Дени Дидро. Прошло уже сто пятьдесят лет со дня его смерти, и нет сейчас ни одной серьезной сводной работы по истории философии, по истории атеизма, по истории литературы, по истории театра, по истории живописи, в которой бы,—конечно, при различных оценках,—не было речи о Дидро и его идеях. В меньшей степени (но здесь вина не Дидро, а невнимательных историков) это относится и к истории этики, и к истории политических учений, и даже к истории биологии.

Причина этого заключается не просто в том, что Дидро был многогранной личностью, по своему времени едва ли не всеобъемлющей головой, не будучи притом типом «навязчивого всезнайки» (сколько таких «всезнаек» уже забыто историей!), а именно в том, что, будучи сыном своего века,—стало быть, ограниченной эпохой,—и сыном своего класса,—стало быть, отражая интересы этого класса,—он наиболее конкретно и выпукло, наиболее ярко и талантливо выразил сокровенные и существенные руководящие идеи своего класса, передового класса тогдашнего французского общества.

Он был рожден, воспитан и вырос в предреволюционной Франции XVIII века. Однако он не только рос в определенном политическом и идейном окружении, но и боролся с этим окружением. Он рос вместе с французской буржуазией XVIII века и, так сказать, во главе ее, на ходу формулируя ее точки зрения, ее позиции и идеалы во всех областях знания и искусства: в технике, экономике, политике, науке, философии, литературе, живописи. Он стал ее подлинным идейным вождем, и вполне понятно поэтому, что всякий раз, когда в контексте истории культуры обращаешься к идеям только еще шедшей к власти революционной французской буржуазии XVIII века, к этим достойным предкам недостойных потомков,—неминуемо встречаешься с именем Дидро.

Дидро является лучшим и в исторической перспективе наиболее правильным зеркалом эпохи именно потому, что, борясь в первых идейных рядах революционных буржуа,

он олицетворял собою развитие культуры на ближайшие десятилетия. Поэтому-то, может быть, К. Маркс считал его своим любимым писателем. Поэтому-то и ныне при решении проблемы критического освоения культурного наследства необходимо особенно прислушиваться к голосу Дидро.

## 1

Голос Дидро громко прозвучал во Франции во второй половине XVIII века. К этому времени Англия и Голландия уже давно пережили свои буржуазные революции. В Англии уже давно отзвучали громы «great rebellion», «великого бунта», как называли трусливые потомки революцию 1641 года; прошла уже и «glorious revolution», бескровная, на том же языке, «славная революция» 1688 года, а по существу классовый компромисс между аристократией и буржуазией. Тори и виги мирно чередовали свою власть при двухпартийной парламентской системе. Французской буржуазии эта парламентская система правления грезилась как далекий, несбыточный и вместе с тем сладкий и приятный сон. Парадоксально приняв ее за идеальное осуществление своей идеи разделения властей, президент Монтескье всячески пропагандировал во Франции сей конституционный образец в «Духе законов». Теория разделения властей—законодательной, исполнительной и судебной—на многие годы стала идеалом политического устройства французской либеральной буржуазии.

В Нидерландах буржуазная революция, слившаяся с национально-освободительным движением, с борьбой за независимость против Испании, также давно уже пережила свой героический период. Уже с середины XVII столетия Голландия была, по выражению К. Маркса, «образцовой капиталистической страной». Она имела уже свои колонии и по всем правилам эксплуатировала массы мануфактурных рабочих. Вместе с тем ранний период господства голландской протестантской буржуазии характеризовался всеми теми личными гражданскими свободами,

которые были недостижимы для буржуазии французской: сравнительной свободой печати и свободой совести.

Еще в XVII веке именно сюда эмигрировал из Франции Декарт во избежание преследований за недостаточно ортодоксально-католический характер своей философии. Здесь на рубеже XVII и XVIII веков обосновался П. Бэйль, именно отсюда подрывавший устои католичества своим скептицизмом. Во избежание Бастилии сюда приходилось спешно перебираться недостаточно осторожным идеологам радикальной буржуазии и на протяжении всего XVIII века. Если же желательно было издать какой-либо памфлет, направленный против католицизма или даже политических устоев Франции, то не было для этого лучшего места, как в той же Голландии, в Амстердаме, у Марк-Мишеля Рея.

И при таком-то—по меркам того времени—передовом социально-экономическом и политическом соседстве во Франции господствовал полный абсолютизм. Генеральные штаты, средневековое сословно-представительное учреждение, не собирались уже с 1614 года. Несколько, правда, подгнившая к середине XVIII столетия формула Людовика XIV—«государство—это я»—продолжала оставаться официальным девизом королевской Франции.

Между тем политический абсолютизм оказывался надстройкой над довольно сложной и пестрой экономикой. В сельском хозяйстве были еще чрезвычайно сильны феодальные устои и традиции. Если крепостное право в значительной части уже было ликвидировано, то крестьянство задыхалось под гнетом феодальных налогов и повинностей. Господствующим классом продолжало оставаться землевладельческое дворянство. Церковное и монастырское землевладение отхватило непомерно большую часть земель.

Наряду с этим в городах уже складывались капиталистические производственные отношения. Росли мануфактуры, развивалась торговля, в том числе и внешняя, повышалась роль банкового капитала. Вывоз из Франции в 1720 г. доходил до 106 млн. франков, в 1735 г.—до 124 млн., в 1748 г.—до 192 млн. Рост вывоза про-

должался и во второй половине столетия, дойдя в 1755 г. до 257 млн. франков и в 1776 г.—до 309 млн.

Быстро развивавшаяся и крепнувшая буржуазия ссужала вечно нуждавшемуся в деньгах самодержавному правительству изрядные суммы. Одни проценты по государственному долгу составляли к середине столетия 18 млн. франков; в 1755 г. они поднялись до 45 млн., а в 1776 г.—до 106 млн. франков. В то же время буржуазия была не только политически бесправной, но и как часть третьего сословия входила в массу налогоплательщиков.

Во второй половине XVIII века абсолютистская Франция стояла накануне промышленной революции. Вслед за более передовыми в экономическом и политическом отношении Голландией и Англией страна была как бы беременна промышленным капитализмом. К этому подводило уже все развитие производительных сил, производственные же отношения и их юридическое выражение оказывались непреодолимым тормозом на этом пути. Освящавшая их политическая надстройка утверждала старые полуфеодалные общественные отношения. Назревал тот грандиозный социальный конфликт, который разрешился лишь в 1789 году в классической буржуазной революции.

Но у порога второй половины XVIII столетия, в первые годы литературной деятельности Дидро, до этого было еще далеко. Буржуазии предстоял еще длинный путь накапливания и собирания материальных и идейных сил. Давно назревавшие классовые противоречия приводили лишь к первым схваткам и битвам. Классовая борьба проходила в авангардных стычках, принимая характер религиозных контрверз и, чем дальше, тем больше, идеологических боев.

Внешне, формально все выглядело как будто чрезвычайно аккуратно и упорядоченно. Все население делилось в политико-юридическом смысле на три сословия: дворянство, духовенство и «третье сословие». Но если некогда это деление и отражало истинное существо общественной структуры, то в XVIII столетии оно безнадежно устарело. Крот истории славно рыл на протяжении сто-

летий. Это сословное деление лишь юридически прикрывало реальную классовую дифференциацию, неизбежно обусловливавшую классовую борьбу.

Дифференцированным оказывалось уже дворянство, это господствовавшее, освобожденное от налогов сословие. Наряду с землевладельческими магнатами, к которым принадлежали принцы крови, основную массу составляло часто разорившееся служилое дворянство, дворянство шпаги—армейское офицерство, и дворянство мантии—члены провинциальных парламентов, административное чиновничество; сюда же может быть отнесена и придворная дворянская челядь, состоявшая или числившаяся на службе у королевского двора. Кроме того должно быть отмечено провинциальное дворянство, сидевшее на земле, провинциальные деревенские бары, патриархальный образ жизни которых немногим отличался от образа жизни зажиточного крестьянина. В подавляющей массе своей дворянство было реакционно и консервативно.

Не менее дифференцированным оказывалось и духовенство, второе привилегированное, не платившее налогов сословие. Верхушка духовенства, по существу, состояла из тех же крупных землевладельцев,—нужды нет, что официальными землевладельцами выступали монашеские ордена, монастыри. В силу некоторых особенностей наследственного права младшие сыновья аристократических фамилий, к которым по наследству не переходили родовые вотчинные земли, шли в духовенство. Из них благодаря их родовым связям комплектовались рясофорные земельные магнаты, князья церкви. Так классово сливались верхушки обоих привилегированных сословий, сливались по своему экономическому признаку, по признаку своих классовых интересов. Не приходится говорить, что эта верхушка духовного сословия была также реакционной и в лучшем случае консервативной. Светский меч и церковный крест служили одним интересам, одной цели.

Однако наряду с этим во Франции XVIII века был довольно распространен тип преимущественно городского аббата—просвещенного посетителя светских буржуазных



салонов, нередко вольнодумца и даже, как это ни странно,—атеиста. Эта, пускай количественно не столь уж значительная, прослойка духовенства обнаруживала сильнейшее тяготение к третьему сословию, именно к буржуазной его части. По существу, такого рода аббат должен быть причислен к буржуазной интеллигенции умеренного толка. Таковы аббаты-энциклопедисты Морелле, Ивон; таковы не без оснований причисляемые к школе Руссо аббаты Мабли и Морелли, таков и аббат Галиани и многие другие, оставившие тот или иной более или менее значительный след в политической, экономической и художественной литературе.

Наконец, должен быть отмечен и значительный слой деревенских попиков, приходских кюре, духовных пастырей крестьянства, образ жизни которых также немногим отличался от быта зажиточного крестьянина. Одни из них добросовестно и с верой выполняли функции духовных угнетателей трудящихся, забывая католической догмой всякие проблески сознания; другие,—и таких было, конечно, незначительное меньшинство,—срывая с своих глаз религиозную повязку и продолжая в то же время по долгу службы духовно пасти своих овец, писали в тиши своих жилищ вольнодумные и атеистические трактаты; таким был, например, кюре Мелье, таким оказался и приор одного монастыря в старом Пуату, Дом Дешан.

Если так обстояло дело с дворянством и духовенством, то еще более пеструю в классовом отношении картину представляло собою единственное податное, политически бесправное «третье сословие». Сюда входила почти двадцатимиллионная крестьянская масса; здесь же находилась и вся масса городской мелкой буржуазии: ремесленники и мелкие торговцы; все возраставшие количественно работники мануфактур,—этот, по выражению некоторых, «предпролетариат», оказывался в недрах третьего сословия не только наряду с домашней прислугой, но и со всей крупной и средней буржуазией, во всех отношениях головкой конгломератного третьего сословия.

Социальный порядок предреволюционной Франции за-

ключался именно в том, что промышленная, торговая и финансовая буржуазия волею абсолютистского государства оказывалась вдвинутой в рамки бесправного третьего сословия. В то время как пути экономического, а стало быть, и политического развития Франции проходили, так сказать, через буржуазию, она третировалась еще пока господствовавшим классом *en canaille*.

Буржуазия уже как бы олицетворяла собою грядущий господствующий класс; именно она была призвана руками эксплуатируемых рабочих создать при наличии новой фабричной техники новый способ, новую форму производства; не по дням, а по часам, еще в недрах старого общества, она вызревала уже культурно и идеологически; она могла уже противопоставить себя господствовавшим классам не только в технике и экономике, но и в политике, и в культуре—философии, литературе, искусстве. И однако ее держали на задворках официальной политической жизни. Этот процесс культурного, идеологического вызревания буржуазии в недрах старого общества и пережил Дидро, являясь не сторонним его свидетелем, а едва ли не застрельщиком и во всяком случае передовым, активнейшим и темпераментнейшим участником.

На очередь дня становился приход буржуазии к власти не в грубо-предметном смысле назначения того или иного крупного буржуа на министерский пост, а в смысле конституирования буржуазии в целом в господствующий класс, со всеми экономическими, политическими и культурными следствиями из этого. Третья четверть XVIII века и представляет собою в наиболее конденсированной форме идейную подготовку буржуазии к этим операциям.

Из сказанного уже ясно, что при реакционности и консервативности основной массы дворянства и духовенства, конечно, не крестьянству и не мелкой буржуазии под силу было вывести страну на путь капиталистического развития,—а только этот путь в то время стоял перед Францией. Крестьянство просто объективно не в состоянии было создать сколько-нибудь оформленную идеологию. Мелкая буржуазия при всем радикализме своей по-



Дом в Лангре, в котором Дидро провел детство



литической идеологии устремлялась в утопию спасения от капиталистического пути развития. Единственно передовым, прогрессивным классом, как бы указующим Франции пути ее дальнейшего развития, оказывалась буржуазия, выступавшая и действовавшая от имени всего третьего сословия, гегемоном которого она объективно являлась.

Нельзя сказать, чтобы эта гегемония досталась буржуазии легко и без борьбы. Историки, которые, анализируя на почве Франции XVIII века культурные и идеологические явления и процессы, говорят о «просвещении» в целом, об «энциклопедистах» вообще, совершают существенную методологическую ошибку: они не дают себе труда детально разобраться в сложных нюансах идеологической борьбы внутри третьего сословия.

Уже было показано, каким классовым конгломератом оказывалось это третье сословие. Поэтому совершенно невозможно утверждать единую идеологию третьего сословия в целом. Несомненно, за идеологическую гегемонию в нем, за руководящее идейное влияние шла у различных классовых групп упорная борьба.

Само собою разумеется, на всем историческом этапе вплоть до самой революции в 1789 году основным противником третьего сословия являлся абсолютизм со всеми своими материальными и духовными орудиями подавления и угнетения. На языке XVIII века этот противник назывался «тиранией и фанатизмом»; при этом имели в виду светскую и духовную власть. В борьбе с этим противником до поры, до времени объединялось все третье сословие. Однако отсюда не следует, что при этой единой отрицательной позиции были столь же едины и положительные идеологические и политические позиции. Чтобы оттенить историческое место и роль Дидро и его группы, чтобы показать их, нужно сказать, успешную до самой революции борьбу за идейную гегемонию в третьем сословии, необходимо на этом вопросе остановиться подробнее.

В идеологическом движении общественных классов, объединенных названием «третьего сословия», довольно явственно намечаются следующие группы: Вольтер и воль-

терьянцы, Руссо и руссоисты, так называемые экономисты и, наконец, материалисты и атеисты.

Если бы каждой группе можно было задать вопрос об ее конкретной позиции в отношении «фанатизма» и «тирании», то ответы получились бы далеко не единодушные; а между тем, как сказано, вопросы эти в условиях Франции XVIII века были решающими.

Говоря несколько схематически, Вольтер выступил бы *за короля и против бога*. Вольтер, конечно, против тирании, он за ограничение власти короля, но его политические устремления не идут дальше либерализма и притом не в очень уж ясной форме. Он, конечно, против фанатизма и в этом смысле против бога, но только в этом смысле. Он прежде всего против *католического* бога, вернее сказать, против католической церкви. Известно бесконечное количество ядовитых стрел, сатир, памфлетов, эпиграмм, выпущенных Вольтером против церкви; известна его общественная роль, сыгранная им в знаменитом деле Каласа; известен, наконец, его боевой клич «Ecrasez l'infâme!»—«Раздавите гадину», направленный против все той же католической церкви. Больше того, Вольтер и против православия, и против иудейства, и против магометанства; он против любой из исторических, так называемых позитивных религий. Но Вольтер не против бога вообще!

В этой связи известно множество анекдотов. Пусть они вымышлены, но именно они приводились современниками для того, чтобы показать позицию Вольтера в отношении религии. Один из них рассказывает о том, что Вольтер как-то совершил во избежание официальных неприятностей какой-то церковно-католический обряд. Когда его спросили, почему он сделал это, если это противоречит его убеждениям, Вольтер ответил, что это еще ничего, что если бы он жил в Египте, то ему бы пришлось держаться за хвост священной коровы. Другой рассказывает, что однажды в обществе зашел разговор о бытии бога, причем высказывались атеистические взгляды. Вольтер забеспокоился и попросил прекратить этот разговор,

так как если слуги услышат, что бога нет, то они неминуемо ограбят и убьют хозяина. Ему же приписываются слова о том, что бога следовало бы выдумать, если бы даже его и не было.

Повторяем, пусть это не больше чем колоритные анекдоты, но факт остается фактом: Вольтер не был атеистом; он был лишь деистом, деистом рационалистического толка. Вольтер не мог подняться до отрицания божественного мироустроющего принципа. Тот самый вольтеровский «Философский словарь», который был осужден во Франции на сожжение и который приводил в трепет русских помещиков, так что само слово «вольтерьянец» стало синонимом едва ли не исчадия ада, выглядит весьма благопристойно и умеренно перед любым атеистическим памфлетом Гольбаха. Он наполнен довольно эклектической философией с сильнейшими следами дуализма и тем же деизмом. Недаром в 1770 году, тотчас по выходе «Системы природы» Гольбаха, этой «библии атеизма», Вольтер не преминул решительно отмежеваться от кружка Дидро и Гольбаха.

Таким образом в области религиозной и философской Вольтер и вольтерьянцы не шли дальше подкалывания под устои алтаря; в области политической их идеалы не простирались далее скромного ограничения королевского абсолютизма. Играя в условиях французского XVIII века, несомненно, прогрессивную роль, Вольтер и вольтерьянцы представляли собою либеральное буржуазно-дворянское, довольно умеренное крыло просвещения.

В отличие от Вольтера Руссо на тот же вопрос должен был бы ответить, что он решительно *против короля*; по вопросу же о боге он оказался бы еще более умеренным. Лично он менял два раза вероисповедание и по существу тоже не может быть назван конфессионалистом определенного направления, но *деизм* Руссо—и притом даже с некоторым пизетистским оттенком—не подлежит сомнению. Разногласия по религиозным вопросам были едва ли не основными, приведшими к разрыву между старыми друзьями—Руссо и Дидро. Достаточно прочесть

«Исповедь» Руссо и отсеять все романические и романтические привходящие обстоятельства, чтобы увидеть пропасть, отделявшую в идеологическом, философском отношении Руссо от Дидро и Гримма.

Правда, деизм Руссо покоился на несколько иных основаниях, чем деизм Вольтера. В отличие от вольтеровского рационализма, подернутого усмешкой, деизм Руссо основывается на чувстве и, несомненно, теснейшим образом связан с его сентиментализмом. Однако на поверку «чувствительный Жан-Жак» остался в плену деизма не менее, если не более, чем «пересмешник Вольтер».

Иное дело политическая идеология Руссо. Здесь неоспорим его радикализм, его республиканские симпатии. Не даром Екатерина II, весьма и весьма заигрывавшая издали с Вольтером, приглашавшая Даламбера в воспитатели к наследнику Павлу, «облагодетельствовавшая» Дидро, не сделала ни одного шага навстречу Жан-Жаку Руссо.

На первый взгляд может показаться странным, как этот крайний политический радикализм и республиканизм Руссо совмещался с его идеализмом и деизмом в области философии. Однако это только свидетельствует о никчемности априорных идеологических схем.

Руссо был, несомненно, самым крупным и ярким идеологом мелкой буржуазии в условиях предреволюционной Франции. Политические устремления мелкой буржуазии шли гораздо дальше, нежели тенденции крупной и средней буржуазии. Разразившаяся в конце века революция блестяще это доказала. *Mutatis mutandis* устами Робеспьера говорил Руссо. Но тот же Робеспьер среди якобинской диктатуры вместо культа разума установил культ верховного существа; это было отходом от деизма, мирящегося с божеством лишь как неким высшим принципом, и признанием *теизма*, т. е. признанием бога как, пусть некоего абстрактного, но гораздо более реального *существа*. Именно это и характеризует идеологию Руссо.

Республиканизм, политически крайний по тому времени радикализм мелкой буржуазии и—соответственно—Руссо,



сочетался с реакционными установками не только в области натурфилософии, но и социальной философии. При кажущейся революционности некоторых критических утверждений положительные идеалы мелкой буржуазии были в экономическом отношении реакционны. В то время как тенденции экономического развития шли в направлении промышленного капитализма, мелкая буржуазия, уже почувствовавшая на себе все прелести капиталистической конкуренции, создавала социальную утопию зажиточных, но без роскоши, обществ; чтобы не было зависти и ей подобных будоражащих идиллическое общество страстей, должен был господствовать принцип равенства состояний, принцип эгалитаризма, строго регламентирующий производство и потребление. Уравнительные тенденции прекрасно сочетались с едва ли не руководящим в такой аркадии правилом золотой середины; *aurea mediocritas* было девизом таких социальных утопий. В этом духе интерпретировались различные «зовы» и «гласы» благотельной натуры.

Все это было утопией именно потому, что пути экономического развития Франции пролегли в прямо противоположном направлении. Реальное будущее было за капиталистическим строем со всеми вытекающими из него для мелкой буржуазии последствиями. Джагернаутова юлесница крупного капитала уже готова была начать свое победное шествие.

Гораздо большим чувством исторической реальности отличались так называемые экономисты. Это они—при некоторых персональных оттенках—были теоретиками капиталистического развития Франции, застрельщиками буржуазных экономических порядков. Вместе с тем едва ли будет ошибкой сказать, что в общеидеологических вопросах они стояли на крайнем правом фланге «просвещения». На оба приведенных выше вопроса они бы отвечали утвердительно. Они были за королевскую власть,—конечно, без перехлестываний тирании; они были за религию,—конечно, без излишеств фанатизма. Ни о каком атеизме, да еще для массы, в их среде не было и речи.

Наконец, материалисты и прежде всего их основное парижское ядро: Дидро, Гольбах, Гельвеций. Они отнюдь не были присяжными экономистами, их интересы сосредоточивались главным образом на философии, причем как философии природы, так и (в особенности у Гельвеция) социальной философии. Вопросы религии играют значительнейшую роль у Гольбаха и Дидро. Гольбах кроме того неплохой химик: он вел отдел химии в «Энциклопедии». Известен интерес Дидро к вопросам биологии и физиологии. Впрочем, мы уже говорили о крайней разносторонности и многогранности «пантофила», как называли Дидро его друзья: он работал в области литературы, театра, живописи, музыки.

И все же можно сказать, что по своим экономическим воззрениям материалисты ближе всего примыкали к экономистам. Известен факт рекомендации со стороны Дидро Екатерине II одного из видных экономистов, Мерсье дё ля Ривьера—автора «Естественного и существенного порядка политических обществ», которому так не повезло с его проектами немедленно направить на путь капиталистического развития Россию XVIII века.

Во всех же остальных областях материалисты имели свою самостоятельную точку зрения, и эта точка зрения в общеполитических вопросах наилучшим образом выражала позиции основной массы французской буржуазии XVIII столетия. Конечно, эта точка зрения не была неподвижной; она складывалась в процессе вызревания самой буржуазии, но можно сказать, что она вполне оформилась уже к 1770 году, найдя свое наиболее прямолинейное выражение в знаменитой гольбаховской «Системе природы», руку к которой приложил и Дидро.

На оба поставленных выше вопроса материалисты отвечали отрицательно, правда, не с одинаковой степенью уверенности. Что касается бога, то здесь примерно с пятидесятых годов не было уже никакого сомнения: бога нет, все это лишь выдумка различного рода жрецов. Гольбаха за его неистовый атеизм друзья называли «личным врагом бога». Что же касается короля, то вопрос этот

оказался значительно сложнее. В наиболее оформленном виде и с наиболее для всей группы радикальным содержанием мысли по этому вопросу имеются у Дидро. Он горячий сторонник теории разделения властей. Вся законодательная власть, по его мнению, должна быть сосредоточена у нации в лице ее представителей в парламенте. Избирателям предоставляется право безоговорочно отзывать своих депутатов. В руках монарха остается исключительно исполнительная власть. Видимо, не разделяя ошибочных взглядов Монтескье на Англию, Дидро называет английского короля «единственным вором, против которого англичане принимают меры».

Пред лицом Дидро одинаковы злой и добрый монарх. Больше того, в век просвещения, в век заигрывания философов с «просвещенными монархами» и, наоборот, заигрывания «просвещенных монархов» с философами, Дидро говорит в лицо Екатерине: «Всякая произвольная власть вредна, если даже носителем ее является человек добрый, твердый, справедливый и просвещенный... Деспот, будь он самым лучшим из людей, управляя по произволу, совершает преступление. Это — добрый пастырь, низводящий своих подданных на степень животных... Справедливый и просвещенный деспотизм, продолжающийся два или три царствования, есть одно из самых великих бедствий, какие только могут постигнуть свободную нацию».

Ограничивая таким образом власть монарха исключительно исполнительной властью, Дидро идет еще дальше: он за выборность монарха, правда, из числа детей умершего главы. По своей манере, делая вид, будто он высказывает мысли самой Екатерины, он вновь говорит ей в лицо: «Я не далек, пожалуй, и от мысли вашего величества сделать корону выборной между детьми монарха, но с тем условием, чтобы выбор не был производим отцом. Мне кажется, — продолжает он, — что народ, выбирающий через своих представителей, скорее не ошибется, чем отец». Таким образом в условиях XVIII века (цитированные строки записаны Дидро в бытность его в Петербурге зимой 1773—1774 года и адресованы непо-

средственно Екатерине II) идеалы Дидро, а вместе с ним и французской буржуазии, простираются до сильно ограниченной монархии или, как метко иногда называют, монархии республиканского типа, не выходя, само собою разумеется, за пределы буржуазного типа государства.

## 2

Общественная действительность Франции старого режима не могла создать сколько-нибудь оформленных политических партий. Равным образом не было и той политической трибуны, с которой можно было бы устно и открыто излагать свои политические взгляды. Известным суррогатом такой трибуны были довольно многочисленные листки и памфлеты публицистического содержания, которые в меру их радикального направления печатались в Голландии, а затем переправлялись во Францию. Известным суррогатом общественно-политических клубов являлись салоны богатых буржуа и дворян; их постоянные посетители составляли группы, которые в некотором роде оказывались эмбрионами политических и, по условиям режима, литературно-политических партий. В процессе идеологического роста буржуазии во всех областях эти салоны сыграли свою крупную роль. Парижская «*république des lettres*», «литературная республика», являлась средоточием интеллектуальной жизни третьего сословия и прежде всего его мозга — буржуазной интеллигенции.

Смотря по социально-политической ориентации хозяина или хозяйки салона подбирались и постоянные посетители, велись беседы и споры.

Постоянным местом собраний материалистов был салон Гольбаха, этого, по прозвищу аббата Галиани, «метр д'отеля философии». Фиксированным днем собраний, «днем синагоги», были четверги. Гости собирались часам к двум и проводили время в беседе часов до семи-восьми вечера. Сам Гольбах был разносторонне образованным человеком, знавшим несколько языков, неутомимым переводчиком с немецкого, в частности для «Энциклопедии», и рьяным

пропагандистом атеизма. Про эрудицию Гольбаха Дидро говорил: «Какую бы систему ни создало мое воображение, я уверен, что мой друг Гольбах найдет для меня факты и авторитеты, ее оправдывающие».

Дом Гольбаха называли «вспомогательной конторой «Энциклопедии», имея в виду прекрасную библиотеку хозяина, которой часто пользовался и Дидро. У Гольбаха, впрочем, бывали не только материалисты Дидро, Гельвеций, Нэжон, Гримм, но и аббаты-вольнодумцы—Рейналь, известный автор «Истории обеих Индий», Морелле, Галиани, автор рассуждения о торговле хлебом, а также писатели: Мармонтель, автор «Велизария», Дюкло, Сен-Ламбер, ученый математик и редактор Дидро по первым семи томам «Энциклопедии» Даламбер. «Именно здесь,— писал Дидро Софии Воллан,—толкуют об истории, политике, финансах, литературе, философии».

В доме другого материалиста—Гельвеция—та же компания собиралась реже, и салон этот вошел известным фактором в жизнь литературной республики несколько позже, уже после смерти хозяина в 1772 году. В салоне мадам Гельвеций видную роль играл представитель младшего поколения материалистов, собственно уже эпигон французского материализма, Кабанис.

Несколько иную классовую среду отражал влиятельный в третьей четверти XVIII века салон мадам Жоффрен. Хозяйка состояла в переписке с Екатериной II; к ней приходили заезжие в Париж знатные иностранцы, иногда заглядывала мадам Помпадур. Дни здесь были строго расписаны: понедельники предназначались для художников, среды были отведены для писателей. Здесь приходилось держаться более чопорно, здесь нельзя было высказывать сколько-нибудь радикальные мысли из области политики или философии. Вполне понятно, что Дидро, «Энциклопедия в действии и разговоре», бывал здесь редко. Впрочем, завсегдатай этого салона Мармонтель говорил, что мадам Жоффрен «уважала Гольбаха и любила Дидро, но под сурдинку и не компрометируя себя из-за них».

В шестидесятых годах XVIII века открылся скромный

салон подруги Даламбера м-ль Леспинас. Там бывали различные писатели, в частности уже знакомые Мармонтель, Морелле, Сен-Ламбер, а также аббат Кондильяк, автор «Трактата об ощущениях», и Тюрго. Кое-когда заходили сюда и материалисты.

Примерно в это же время открыла салон и жена Неккера. Благодаря личности хозяина салон этот вскоре стал весьма популярным и влиятельным. Здесь 17 апреля 1770 г. собравшиеся решили заказать известному скульптору Пигалю статую Вольтера; решено было обратиться ко всей литературной республике с предложением организовать подписку на этот памятник еще при жизни Вольтера. Участниками собрания были: Дидро, Сюар, Шателэ, Grimm, Шомберг, Мармонтель, Даламбер, Тома, Неккер, Сен-Ламбер, Сорэн, Рейналь, Гельвеций, Бернар, Арно, Морелле.

Как-то на одном из собраний материалистов под новый 1770 год Grimm произнес на церковный лад длинную шуточную «проповедь». В этой «проповеди» он остроумно и метко охарактеризовал особенности некоторых салонов.

«Сестра Неккер,—говорил Grimm,—сообщает, что она будет давать обеды всегда по пятницам; церковь будет являться туда, потому что она уважает эту особу, равно как и ее супруга; она хотела бы высказать то же самое и их повару.

Сестра Леспинас сообщает, что ее достатки не позволяют ей устраивать ни обедов, ни ужинов, но что она тем не менее выражает желание принимать у себя братьев, которые захотят приходить к ней переваривать пищу.

Мать Жоффрен сообщает, что она возобновляет запреты прежних лет и что у нее не позволено будет, как и раньше, говорить ни о внутренних делах, ни о внешних; ни о придворных делах, ни о городских; ни о событиях на севере, ни о событиях на юге; ни о делах на востоке, ни о делах на западе; ни о политике, ни о финансах; ни о войне, ни о мире; ни о религии, ни о правительстве; ни о теологии, ни о метафизике; ни о грамматике, ни о музыке,—ни вообще о чем бы то ни было...

Церковь, рассудив, что в молчании и именно относительно этих вопросов она не сильна, обещает подчиняться, поскольку она будет там связана насильем».

Но если французская буржуазия XVIII века не создала ни политической партии, ни политической трибуны в собственном смысле этого слова, то головой и руками Дидро она создала такое своеобразное литературное предприятие, как «Энциклопедия», этот, по выражению Кабаниса, «священный союз против фанатизма и тирании», «Энциклопедию», которая имела, конечно, важнейшее идеологическое и политическое значение.

«Энциклопедия» Дидро представляет собой важнейший литературно-политический памятник эпохи. Она является сводом всех знаний, «наук, искусств и ремесл», причем сводом не в смысле архивного собрания их, а в смысле подведения итогов всему, чего достигло в ту эпоху человечество, освещенных к тому же, насколько это возможно для такого грандиозного коллективного труда (семнадцать томов текста и одиннадцать томов гравюр, не считая дополнительных томов и указателей, к которым Дидро не имел уже никакого отношения), единой точкой зрения. В этом смысле «Энциклопедия» была уже не только сводом знаний, но и программой действий французской буржуазии.

Однако «Энциклопедия» материалиста Дидро, в которой деятельнейшее участие принимал материалист Гольбах, при ближайшем ознакомлении оказывается далеко не всегда материалистической! В чем же дело?

Несомненно, сыграл свою роль исторически установленный факт искажения, смягчения текста издателем уже после подписывания редактором Дидро листов к печати. Последние десять томов в целях конспирации печатались и вышли в свет одновременно. И вот, когда Дидро увидел их уже совершенно готовыми, оказалось, что рука издателя Лебретона, напуганного преследованиями, прошла по листам уже после Дидро и «подправила» ряд наиболее опасных мест.

Этого факта нельзя недооценивать, но не он решает

дело. Дело заключается в том, что Дидро и материалисты осуществляли на страницах «Энциклопедии» своего рода тактику единого фронта всего третьего сословия. В число сотрудников «Энциклопедии» Дидро привлекал и многих таких «энциклопедистов» и «просветителей», которые отнюдь не являлись материалистами.

Не говоря уже о том, что соредактором Дидро в работе над первыми семью томами был крупнейший математик Даламбер, скептик по своим философским убеждениям, в «Энциклопедии» в разное время сотрудничали: Вольтер (статья «Esprit» \*), Монтескье (статья «Goût» \*\*), Руссо (статья о политической экономии и некоторое время отдел музыки), Бюффон и Добентон (отдел естественной истории), Тюрго и Кенэ, глава физиократов, и многие другие.

При открыто и последовательно материалистическом направлении всех статей «Энциклопедии» перечисленные нами вожди французского просвещения не могли бы сотрудничать. Дидро объединял их всех на позициях борьбы с «тиранией и фанатизмом», предпочитая вести сам «Энциклопедию», а не передавать ее в более умеренные руки. Руководство «Энциклопедией» со стороны материалистического ее ядра — и прежде всего Дидро — обеспечивало минимум уступок. И все же, как известно, Даламбер ушел от работы в качестве соредактора, Руссо порвал с «Энциклопедией», отселился и еще ряд сотрудников по все тем же основаниям идеологического расхождения с главным редактором — Дидро.

Руководя «Энциклопедией», Дидро проводил на ее страницах максимум того, что можно было высказать при данных условиях, не подводя это свое детище под окончательное закрытие и теряя лишь минимум наиболее крупных и авторитетных авторов.

Эта его тактика оправдала себя. Она сделала возможным подталкивание отстающих слоев буржуазии и

\* «Ум»

\*\* «Вкус»



обеспечила гегемонию материалистов во всем движении просвещения, во всем процессе идеологического и политического воспитания третьего сословия.

Полностью же и без обвиняков материалисты высказывали свои взгляды в собственных произведениях. Таковы печатные, а еще больше рукописные произведения Дидро, таковы все атеистические работы Гольбаха, таковы и книги Гельвеция.

Однако в публикации и этих работ им приходилось очень и очень изворачиваться. Гельвеций пострадал уже за свою первую книгу «De l'esprit»\*, вторую же его книгу «De l'homme»\*\* пришлось печатать уже после его смерти в Голландии; большинство своих книг Гольбах печатал тоже в Голландии у Марк-Мишеля Рея, и вдобавок, чтобы запутать следы, на титульном листе ставилась пометка «Лондон», а в качестве автора весьма нередко указывался какой-либо уже умерший и достаточно благонадежный писатель; таким образом, например, в качестве автора гольбаховской «Системы природы» в 1770 году «выступил» после своей смерти секретарь Академии Мирабо. Первое собрание сочинений Дидро также вышло в Голландии.

Особенным мастером по части отправки рукописей в Голландию и затем по экспедированию книг нелегальным путем во Францию был друг Гольбаха и литературный душеприказчик Дидро—Нэжон. В деле принимали участие и сочувствующие таможенные и почтовые чиновники.

Уже из этих фактов видно, насколько неправильно распространенное представление об эзотерическом характере философии французских материалистов. Об эзотеризме материалистической философии можно еще с некоторым основанием говорить в отношении ранних английских материалистов XVII века, не только не пропагандировавших свои взгляды сколько-нибудь широко, но и принципиально считавших «чернь» непригодной для вос-

\* «Об уме»

\*\* «О человеке»

приятия этой пропаганды. Французские же материалисты XVIII века, сочетая нелегальную работу с легальными возможностями, именно старались сделать свою философию наиболее доступной для массы третьего сословия.

Да и сама эта философия не была плодом размышлений некоего уединившегося и изолировавшего себя философа-академика. Философские и—шире—общетеоретические построения французского материализма создавались если и не коллективно (хотя известно, что над «Системой природы» работала едва ли не вся группа), то во всяком случае в процессе товарищеских бесед. Это отразилось даже на литературной форме некоторых произведений Дидро. В этих беседах Дидро обычно выступал и как застрельщик, и как ведущий оратор, направляющий беседу, и как несомненно наиболее яркий и талантливый собеседник, оплодотворяющий своими мыслями еще неосознанные настроения других.

Ближайшими друзьями Дидро как в идейном, так и в бытовом смысле, подлинными друзьями-единомышленниками (что не исключало между ними некоторых нюансов в точках зрения на ту или иную проблему и даже споров и дискуссий) были Гольбах, Нэжон, Гельвеций и Гримм. В данном случае налицо содружество мыслителей и писателей на протяжении по крайней мере двадцати лет, пожалуй, даже более тесное и, конечно, более продолжительное, чем это было, например, у левых гегельянцев в Германии накануне революции 1848 года или у русских «людей сороковых годов». Это была группа друзей материалистов, идеологов французской буржуазии XVIII века.

Давняя поговорка гласит: «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты». Эта поговорка не совсем применима к Дидро, потому что он не столько «брал» у своих друзей, сколько «давал» им, будучи душой, нервом и мозгом всего кружка. И все же необходимо взглянуть на это ближайшее идейное окружение Дидро, посмотреть, так сказать, на личный состав французских материалистов, для того чтобы знать, кто же был персонально философской и идеологической головкой французской пред-

революционной буржуазии. Этот просмотр убедит нас, между прочим, в правильности известного положения К. Маркса о том, что в эпоху революционных сдвигов возможны и даже неизбежны переходы идеологов и деятелей из одного классового лагеря в другой.

Такой переход имеется в лице одного из выдающихся французских материалистов, Гольбаха. Полное имя его — Поль Тири Гольбах, барон де Гесс, сеньер Ленда, Вальберга и других мест. Таким образом перед нами титулованная, аристократического происхождения персона, владетельная особа, собственник замка Гранваль (в котором так любил летом отдыхать и работать Дидро), собственник дома в Париже, состоятельный человек, сын которого служил в Шомбергском драгунском полку офицером. И однако этот барон сделал для пропаганды материализма неизмеримо больше, чем многие другие деятели просвещения, а в деле решительной борьбы с религией и прояснения мозгов буржуазии от религиозного дурмана — гораздо больше, чем обычно приписывают Вольтеру. Крупные его работы, «Система природы», «Социальная система», «Всеобщая мораль», «Естественная политика», так же как и малые антирелигиозные памфлеты вроде «Портативной теологии», «Разоблаченного христианства», «Священной заразы», «Попов без маски», «Давида, человека по сердцу божию», и т. д., и т. п., выдвигают стройную, продуманную систему, свидетельствуют о большой эрудиции автора и являются в исторической перспективе непревзойденным буржуазно-революционным образцом атеистической пропаганды XVIII века. В несколько, может быть, сухом и педантичном тоне Гольбах дает буржуазии XVIII века систему ее мировоззрения и программу ее общественных идеалов.

Другой товарищ Дидро, Клод-Адриан Гельвеций, был выходцем из иной среды, — как сказали бы впоследствии, из среды буржуазно-технической интеллигенции. Гельвеций был сыном придворного врача, лейб-медика королевы. В заботах о карьере сына отец определил его, как выражались у нас, «по откупной части». Пройдя некоторый

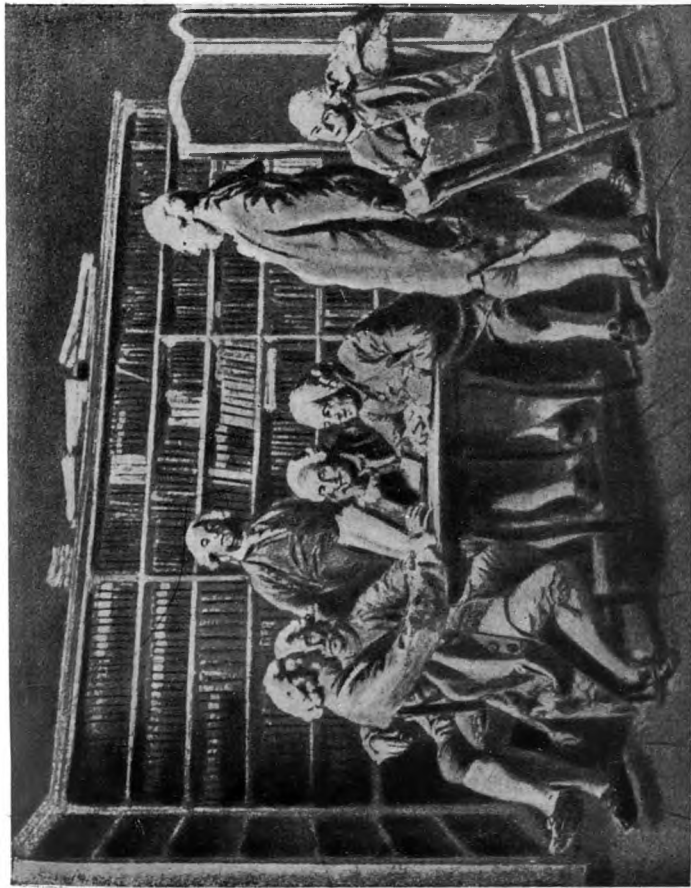
стаж на службе у одного крупного откупщика податей, он, надо думать, не без помощи придворных связей отца, сам получил генеральный откуп и на протяжении ряда лет был *fermier general*\*.

Чтобы судить о его «социальной функции» в это время, нужно знать, что представлял собою и что значил в условиях дореволюционной Франции генеральный откупщик податей. В заботах о королевской казне французские короли предпочитали сдавать на откупа взимание налогов и получать податные суммы от нескольких генеральных откупщиков. Можно себе представить, как выколачивались налоги с массы налогоплательщиков третьего сословия. Во всяком случае «работа» откупщиков считалась весьма доходной, и сами они были очень богатыми людьми.

Поэтому-то легко вообразить, какой резонанс в парижском обществе вызвала однажды новость о том, что Гельвеций добровольно сложил с себя звание откупщика, удалился от дел, отказался от всех связанных с ними доходов и перешел на положение свободного литератора. Несомненно, что он был весьма обеспечен, имел в Париже дом, приобрел имение, но несомненен и факт его отказа от дальнейшей доходной деятельности в качестве откупщика.

С этих пор, как сказано, он целиком отдался литературной деятельности и, если не считать довольно посредственной поэмы в стихах «Счастье», своего рода буржуазной утопии, написал две основополагающих работы — «Об уме» и «О человеке». За первую из них, вышедшую в 1758 году, он подвергся преследованию по закону; книга была осуждена на сожжение, и возможно, что только старые связи его помогли ему избежать более сильных репрессий. Между тем популярность книги, сохранившей своеобразную социальную философию и попытку приложить к вопросам этики и поведения человека в обществе идеи французского материализма, — оказалась чрезвычайно большой; книгой зачитывались повсюду,

\* генеральным откупщиком



Дидро в кругу энциклопедистов. С картины Мейсонье



и даже у нас в Тамбове в 1788 году появился ее сокращенный перевод под названием «Дух г-на Гельвеция», не говоря уже о множестве переводов отдельных глав в различных повременных изданиях.

Вторая книга Гельвеция «О человеке», изданная в Голландии уже после его смерти, при ближайшем участии кн. Д. А. Голицына, друга энциклопедистов, давала принципиальное обоснование педагогическим идеям буржуазии XVIII века. Хотя Дидро и не был согласен с Гельвецием по ряду важных вопросов, но сам факт систематического разбора им этой книги чуть ли не на двухстах страницах свидетельствует о том значении, какое он придавал этой работе Гельвеция.

Можно было бы остановиться еще на французских материалистах, не связанных с основным парижским ядром, например, на материалисте старшего поколения Ламеттри, который был типичным представителем буржуазной интеллигенции (одно время он был полковым врачом, а затем членом Берлинской академии и жил у Фридриха Прусского), на Робинэ, типичном представителе литературной богемы; можно вернуться к кружку Дидро—Гольбаха и взглянуть на Нэжона, представителя младшего поколения материалистов, своего рода литературного секретаря и сотрудника Гольбаха; наконец, на Гримма, менее всего теоретика и более всего зараженного аристократическими замашками, этого «посла литературной республики при дворах немецких владетельных князей» и в самом деле умершего уже после революции русским послом в Нижней Саксонии. Вывод будет один: каково бы ни было их социальное происхождение, все они по своей идеологической направленности принадлежали к французской буржуазии второй половины XVIII века и, будучи буржуазными интеллигентами, действовали в ее первых идеологических рядах.

Сосредоточимся теперь непосредственно на главе всех энциклопедистов Дидро, его личности, идеях и исторической судьбе.

Дидро родился 5 октября 1713 г. в Лангре в семье ножевщика-ремесленника. Таким образом сам глава материалистической школы был выходцем из мелкобуржуазной среды. Это наложило отпечаток на ряд его личных склонностей и привычек, сделав его, так сказать, наиболее демократичным из всех участников энциклопедического кружка. Однако прежние представления о выходе его из низов третьего сословия, о бедности его семьи и особое подчеркивание трудового ремесла его отца в результате новейших исследований должны быть оставлены.

Изучение в 1913 году, в связи с двухсотлетним юбилеем, архивов г. Лангра показало, что семья Дидро была довольно зажиточной. Ножевое ремесло было наследственным в роду Дидро, и проследить эту профессию оказалось возможным на протяжении двухсот лет. Таким образом отец Дидро не был человеком «без рода, без племени». Напротив, род Дидро был в своих кругах знатным, принадлежал к своеобразному бюргерскому патрициату, имел свою фамильную печать.

Из поколения в поколение Дидро становились более зажиточными, и если отец философа стоял еще и сам у своего станка, то, несомненно, он имел и мастеров, и подмастерьев, и учеников, а также собственную лавочку, где сам продавал изделия своей мастерской. Когда он умер, то оставил не только дом в Лангре, но и несколько земельных участков. Все наследство оценивалось в сумме свыше двухсот тысяч франков; часть наследства по закону перешла и к нашему философу.

У старика Дидро, видимо, было сильное желание вывести детей «в люди», разорвать наследственный круг ремесленничества. В таких мелкобуржуазных и вместе с тем зажиточных семействах для этого был лишь один выход: сделать сыновей духовными особами, а дочерей, в случае невыхода их замуж, определить в какой-либо богатый монастырь. Поступая согласно этому обычаю и имея уже фамильные прецеденты, отец Дидро и направил



обоих выживших сыновей, старшего Дени и затем младшего Дидье, прежде всего на воспитание в иезуитский коллеж Лангра. Одна из дочерей была отправлена в соответствующем возрасте в монастырь. Судьбу сестры в художественной форме Дидро впоследствии изобразил в своем романе «Монахиня». Из брата вышел ревностный каноник Лангрского собора, и по сие время, с точки зрения французского духовенства, долженствующий служить упреком и укором безбожнику Дени; по выражению одного ученого попа, Марсея, в противовес юбилейной литературе о Дени написавшего целую книгу о канонике Дидье, последний «работал для вечности», в то время как первый всего только «для потомства». С Дени и в самом деле приключилась неожиданная история: вместо духовного пастыря из него выработался материалист и атеист.

Данные о первых годах учения Дидро крайне немногочисленны. Основываются они исключительно на рассказах самого Дидро и мемуарах его дочери Вандель, а также Нэжона, но оба лишь повторяют то, что слышали от самого Дидро. Данные эти свидетельствуют о большом характере у маленького Дидро, о его пытливости и высоких способностях.

Прекрасные педагоги, великолепно умевшие достигать в воспитании подростков поставленные себе цели, иезуиты обратили внимание и на многообещающего Дени. Заметив его страсть к длительным прогулкам и путешествиям, они убедили его тайно покинуть дом и отправиться в путешествие с одним воспитателем. Вечером на вопрос отца мальчик сознался в том, что он собирается «в Париж, где должен стать иезуитом». К этому времени, кстати сказать, он был уже тонзурован. Однако, если верить Дидро, отец заявил, что «этого не будет сегодня вечером, но твое желание будет исполнено; нужно сперва выспаться».

Возможно и менее романтическое объяснение последующих событий. Дидро закончил риторический класс, ему предстояло перейти в философские и богословские классы.

И вот отец в заботах об образовании сына, желая, по словам Нэжона, «сделать из Дени не ученого, не писателя, но, что наиболее трудно и редко, разумного богослова», отправил его в пятнадцать лет в Париж».

В Париже Дени был отдан в хорошо поставленный в педагогическом отношении коллеж Даркур. Здесь он изучал уже не только древние языки, но и математику, которая, по словам Нэжона, «вскоре внушила ему отвращение и даже презрение к теологии». Однако и этот коллеж не мог развить в Дидро всего того круга идей, который был выработан им впоследствии самостоятельно. Характерен один штришок из этих лет учения Дидро. Ученикам был задан урок—изложить в латинских стихах речь, которую держал в раю перед Евой змий, соблазняя ее отведать запрещенное яблоко. Один ученик никак не мог справиться с этой трудной задачей; Дидро написал стихи за него; это было открыто учителем, и Дидро понес соответствующее наказание.

По окончании коллежа Даркур 2 сентября 1732 г. Дидро получил в Парижском университете звание *maître es-arts*\*. Ни о какой духовной карьере, к сильному огорчению и неудовольствию отца, Дени не желал и слышать. Поэтому отцу пришлось определять Дени куда-нибудь на службу. Помог земляк прокурор Клеман де Ри, который и взял к себе на работу молодого Дидро. Однако последний занимался больше изучением английского языка, входившего тогда во Францию в светский и научный обиход, нежели служебными делами. В это именно время, по свидетельству Нэжона, Дидро набрасывается на Гоббса, Локка и Ньютона.

Старик-отец понукал сына скорее определиться и выбрать если не духовную, то какую-либо определенную и «приличную» профессию, например адвоката, врача. Ответы Дидро были совершенно невразумительными. Если верить дочери Дидро, Вандель, Дени отвечал старику, что врачом он не будет, так как не желает убивать

\* магистра искусств

людей; обязанности прокурора, если относиться к ним честно и деликатно, слишком трудны; адвокатом же быть не хочется, так как всю жизнь придется заниматься не своими, а чужими делами.

Отец решил тогда круто повернуть дело и поставил сыну ультиматум: или Дени возвращается в Лангр, или он перестает получать из дома деньги. Сын предпочел последнее и остался навсегда в Париже. Дело было приблизительно в 1733—1734 году. Так началась для Дидро самостоятельная жизнь, на протяжении первых десяти лет, довольно типичная жизнь представителя литературной богемы.

Он жил где-то на чердаке, в мансарде; дверь его всегда была открыта для таких же почти бездомных друзей без определенных занятий. Костюм не блистал ни качеством, ни свежестью. Вспоминая впоследствии в «Племяннике Рамо» это время, Дидро писал, что он «представлял собою довольно жалкую фигуру», летом «в сером плюшевом камзоле, вытертом на боку, с рваным рукавом, в черных шерстяных чулках, которые были заштопаны сзади белыми нитками».

Отец был тверд и денег не посылал. Мать за десять лет раза три присылала небольшие суммы. Дидро пробавлялся уроками математики, позже—английского языка, одним составлял деловые бумаги, другим писал письма, третьим приготавливал речи, составлял даже проповеди для одного миссионера, собиравшегося ехать в Америку проповедывать среди индейцев слово божие.

Более упорядоченной жизнь Дидро представляется примерно с 1741—1743 года. В 1741 году он познакомился со своей будущей женой Антуанеттой Шампльон, скромной и весьма ограниченной девушкой, дочерью вдовы какого-то разорившегося дельца. Антуанетта помогала матери в мелкой торговле бельем. Уже вскоре Дидро сделал ей предложение, однако молодые люди натолкнулись на сопротивление как матери невесты, так и отца жениха. Первая говорила, что «было бы безумием выходить замуж за человека с такой живой головой, который притом ни-

чего не делает и вся заслуга которого заключается в золотом языке, чем он и подействовал на мозг дочери»; второй попрежнему требовал от сына, чтобы тот занял какое-либо определенное общественное положение. Дидро специально ездил в Лангр уговаривать старика,—однако без всякого успеха. Впоследствии Дидро включил эти автобиографические события в свою пьесу «Отец семейства». Оставался один выход—обвенчаться тайно, что Дидро и совершил 6 ноября 1743 г.

Литературные заработки Дидро также становятся в это время более регулярными. Так, он перевел с английского трехтомную «Историю Греции», вышедшую из печати в конце 1743 года, и в сотрудничестве еще с двумя лицами взялся за перевод шеститомного медицинского словаря под редакцией и с предисловием Бюффона. Видимо, уже тогда у него зрела мысль от специального медицинского словаря перейти к общему энциклопедическому словарю.

Возможно, что, считая себя уже твердо выходящим на литературную дорогу, Дидро решил примириться с отцом. Поскольку на пути его препятствием стоял тайный брак, он начал именно с этого конца. Он попросту отправил жену в Лангр, а родителям коротко написал: «Она отправилась вчера, будет у вас через три дня; вы можете сказать ей все, что захотите, и отправить ее обратно, когда она вам надоест». Но именно этот путь оказался наиболее действенным, и старики довольно быстро примирились с совершившимся фактом, продержав у себя жену сына три месяца.

Укрепляясь на литературном пути, Дидро постепенно переходил от переводов к самостоятельным произведениям. Вместе с тем он довольно быстро формировался и как мыслитель с определенным мирозерцанием отнюдь не традиционного характера.

Правда, было бы совершенно неправильно представлять себе Дидро сразу выступившим с революционной идеологией. Идеологически он, как сказано, созрел вместе с буржуазией и, так сказать, во главе ее. Именно

на рубеже первой и второй половины XVIII столетия начинает усиленно биться пульс общественно-политической жизни абсолютистской Франции. Применяя к этому слова Маркса, сказанные о Германии накануне революции 1848 года, критика неба превращалась в критику земли, критика теологии—в критику политики. На почве Франции XVIII века критика католической теологии имела уже сама по себе громадное политическое значение. Именно с критики этой теологии и начал Дидро.

Не ставя себе задачей в настоящей вступительной статье следить за всеми перипетиями философского созревания Дидро\*, мы должны сказать, что начал он свой отход от католицизма с довольно скромной критики фанатических извращений христианства. В 1745 году появился перевод Дидро четвертой части работы английского моралиста Шафтсбери «Characteristics of men, manners, opinions»\*\*, именно «Исследования о заслуге и добродетели». Переводу Дидро предпослал посвящение младшему брату, ставшему к тому времени уже молодой духовной персоной в Лангре. Основная цель посвящения заключалась в том, чтобы доказать несовместимость фанатизма с религией и необходимость быть не только религиозным, но и добродетельным. Так скромно начал свое идейное развитие Дидро,—и однако уже эта мысль вызвала озлобление молодого фанатика против «беспутного» брата-еретика.

В эти же годы начинается дружба Дидро с Руссо, первое знакомство с которым относится еще к 1741 году. Годы наиболее частых встреч и горячих застольных бесед в маленьких кабачках—это годы 1746—1749. Третьим непременным участником дружеских собеседований был аббат Кондильяк.

По существу все трое исходили из начал английской философии, в особенности как она была представлена

\* Об этом будет специально сказано во вступительной статье ко второму тому собрания сочинений Дидро.

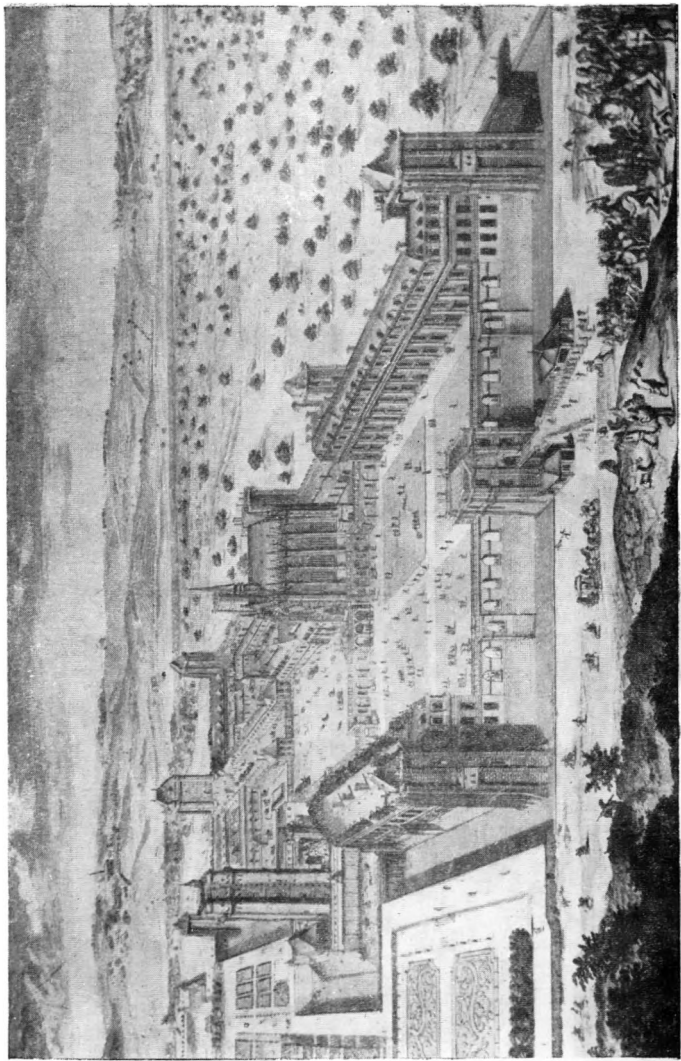
\*\* «Характеристики людей, нравов, мнений».

Локком. Каждый пытался применить принципы локковского эмпиризма и сенсуализма к той области, которая привлекала его больше всего: Дидро—на первых порах к вопросам теологии, Кондильяк—к вопросам психологии и происхождения познания, Руссо—к вопросам социальной философии и воспитания. Дидро, однако, был универсальнее всех, и есть определенные данные, свидетельствующие о том, что Дидро подсказал Кондильяку основную мысль его известного «Трактата об ощущениях» и толкнул Руссо на его знаменитый ответ на вопрос Дижонской академии: способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?

Однако идейные пути друзей расходились все больше и больше. Кондильяк хотя и вышел за пределы Локка, отказавшись от локковской рефлексии как равнозначного с ощущением источника познания, но навсегда остался в плену у локковского феноменализма, так и не дойдя до материализма. Руссо никогда не выходил за границы деизма сенсуалистического типа. Дидро же шел дальше и дальше и в 1749 году пришел уже к развернутой программе материалистической философии. Дружба остывала, с 1749—1750 года частые встречи и непринужденные беседы прекратились, а в 1758 году произошел и формальный резкий разрыв с Руссо.

В 1746 году Дидро опубликовал анонимно свои знаменитые «Философские мысли». Хотя в этих «Мыслях» он и не шел еще дальше деизма, книга была осуждена на сожжение. В 1747 году появилось следующее произведение Дидро—«Прогулка скептика или аллеи», в которых автор хотя и не покидал еще почвы деизма, но уже весьма внимательно прислушивался к доводам атеизма. Наконец в 1749 году вышло его «Письмо о слепых в назидание зрячим», в котором давалась уже программа материализма.

В эти же годы Дидро стал пробовать свое перо в области художественной литературы. Первые его работы, «Нескромные драгоценности» и «Белый голубь, детская сказка», конечно, не характерны для будущего Дидро,



Венсенский замок, в котором был заключен Дидро в 1749 г. С ваяюры Бриссара  
*по его же рисунку*





одного из родоначальников «мещанской драмы», автора «Жака-фаталиста». «Нескромные драгоценности» — довольно скабрёзная повесть в духе «арабских сказок», не мало шокировавшая чопорные круги французского общества, но вполне шедшая в русле обильной аналогичной литературы века рококо. «Белый голубь» — рассказ или сказка с некоторыми политическими намеками, и это было вскоре поставлено в вину ее автору.

Хотя Дидро и опубликовывал свои произведения анонимно, однако он был уже на примете у полиции, и, когда политический горизонт Франции Людовика XV покрылся некоторыми тучами, Дидро оказался в тюрьме. Дело в том, что во время войны за «австрийское наследство» правительство ввело новые налоги. Эти налоги должны были быть сняты после заключения мира. Мир был заключен в апреле 1748 года, правительство же налогов не отменяло. Население начало отказываться от уплаты налогов, оппозиционно настроенные парламенты санкционировали эти отказы. Правительство пошло на некоторые уступки и сократило налог вдвое, — однако волнения не прекращались. Появились песенки и карикатуры на короля! К этому присоединились еще некоторые церковные стеснения, что вызвало ряд новых листовок и брошюр против короля и правительства.

Особого напряжения политическое положение достигло в июле и августе 1749 года. Тогда правительство решило вступить на путь массовых репрессий и быстро наполнило Бастилию и Венсенн десятками писателей, литераторов, ученых и даже аббатов-янсенистов. В числе первых в Венсеннском замке, ставшем государственной тюрьмой, оказался и Дидро. Это было 24 июля 1749 г.

Сохранившийся протокол допроса Дидро показывает, что полиции были известны его литературные «грехи»; вместе с тем протокол свидетельствует о мужестве и стойкости Дидро. Это — настолько колоритный документ эпохи, что заслуживает того, чтобы его привести целиком.

«Спрошенный об имени, возрасте, состоянии, месте рождения, месте жительства, занятии и религии,

назвался Дени Дидро, из Лангра, 36 лет, проживающим в Париже, в момент ареста на улице Старой Эстрапады, в приходе св. Стефана, религии католической, апостольской и римской.

Спрошенный, не он ли написал «Письмо о слепых в назидание зрячим»,

отвечал, что не он.

Спрошенный, кто же для него печатал вышеназванное произведение,

отвечал, что никогда не печатал вышеназванного произведения.

Спрошенный, не продавал ли или не отдавал ли кому рукописи,

отвечал—нет.

Спрошенный, не знает ли имени автора названного произведения,

отвечал, что ничего не знает.

Спрошенный, не имел ли у себя рукописи прежде ее напечатания,

отвечал, что не имел этой рукописи у себя ни до, ни после ее напечатания.

Спрошенный, не давал ли или не посылал ли различным лицам названного произведения,

отвечал, что никому не давал и не посылал.

Спрошенный, не он ли написал произведение, появившееся около двух лет назад под названием «Заколдованные драгоценности» [вместо «Нескромные драгоценности»],

отвечал, что не он.

Спрошенный, не продавал ли или не давал ли кому-нибудь этого произведения, для печати или иной цели,

отвечал—нет.

Спрошенный, не он ли автор произведения, появившегося несколько лет назад под названием «Философские мысли»,

отвечал—нет.

Спрошенный, не знает ли он автора названного произведения,

отвечал, что не знает.

Спрошенный, не он ли автор произведения под заглавием «Скептик или аллея идей» [вместо «Прогулка скептика или аллеи»],

отвечал, что он.

Спрошенный, где рукопись названного произведения, отвечал, что она не существует, так как он ее сжег.

Спрошенный, не он ли автор произведения под названием «Белый голубь, детская сказка»,

отвечал, что нет.

Спрошенный, не работал ли он по крайней мере над исправлением названного произведения,

отвечал, что нет.

По прочтении этого протокола допрошенному последний заявил, что данные им ответы вполне согласны с истинной и что он подтверждает их своей подписью.

Беррье. Дидро».

Двадцать восемь дней Дидро просидел в одиночке, из тюрьмы же был выпущен только 3 ноября 1749 г. Начинаясь новый, длительный этап его жизни—работа над созданием «Энциклопедии».

#### 4

Мысль об издании энциклопедического словаря возникла у Дидро еще в середине сороковых годов; тогда же он встретился с аналогичным проектом группы издателей, во главе которых стоял Лебретон. Еще 21 января 1746 г. Лебретон взял привилегию на осуществление издания и повел соответствующие переговоры с Дидро, который привлек в качестве второго редактора Даламбера.

Первоначально предполагалось ограничиться переработкой английской энциклопедии Чемберса и разместить весь материал в двенадцати томах\*. Перед заглавием

\* Подробная история «Энциклопедии», так же, как и анализ ее содержания будут даны во вступительной статье к седьмому тому.

Дидро в Венсенн уже развернулись подготовительные работы. Арест Дидро приостановил их. Издатели забеспокоились и даже подавали министру Даржансону петицию об освобождении.

По выходе из Венсеннского замка Дидро страстно принялся за ту работу, которой суждено было завладеть им на двадцать с лишком лет. В 1750 году вышел проспект «Энциклопедии», встреченный обществом довольно сдержанно. Никто, а может быть, и сам Дидро, еще не подозревал ни размеров, ни значения затеянного предприятия. Дидро продолжал и текущую литературную работу, издав в 1751 году «Письмо ю глухонемых в назидание тем, кто слышит и говорит», в котором трактовал ряд вопросов эстетического содержания.

Наконец, в 1751 году вышел первый том «Энциклопедии», содержащий «Предварительное рассуждение», две первые части которого были написаны Даламбером, а третья—объяснение к «родословному дереву» знания—принадлежала перу Дидро. Это «Предварительное рассуждение» должно было служить как бы методологическим введением к самой «Энциклопедии». Оно являлось обобщением достигнутых к середине XVIII века знаний и, написанное в основном Даламбером, не отражало содержания всех последующих томов «Энциклопедии», тем менее—последующего развития взглядов материалистов. Равным образом и «родословное дерево» наук, своего рода классификация их, представляло собою некоторую переработку классификации Ф. Бэкона с его тремя субъективными способностями: памятью, откуда история, рассудком, откуда философия, и воображением, откуда поэзия (в «Энциклопедии» шире—искусство в целом).

Появление первого тома также прошло политически довольно спокойно, если не считать обычных в подобных случаях литературных эпиграмм, острот и чисто литературной критики, которая в обилии встретила новое литературное предприятие. «Энциклопедию» называли «счастьем для невежд», насмешливо высказывали предположение, что она «заставит увидеть в умах и знаниях то, что Лоу за-

ставил видеть в торговле и финансах», намекая на финансовые аферы Лоу.

Однако, когда в следующем году Дидро ввязался в полемику рационалистически настроенного аббата Прада с богословским факультетом университета, выпустив анонимно «Продолжение аполлогии аббата Прада», и когда в начале 1752 года вышел второй том «Энциклопедии», более стройный и радикальный, духовные круги подняли шум и 7 февраля 1752 г. добились постановления королевского совета о запрещении обоих вышедших томов. Так начался мартиролог «Энциклопедии», а вместе с ней и мартиролог Дидро.

Этим же постановлением Дидро обязывался сдать иезуитам все рукописи и материалы, так как именно иезуиты должны были продолжать «Энциклопедию». Это было в особенности тяжело Дидро.

Гримм, с которым Дидро познакомился и быстро подружился в 1751 году, писал в своей «Корреспонденции» о том, что, к счастью, иезуиты «забыли захватить голову философа и его гений и потребовать от него ключ к многочисленным статьям, которые они, не понимая, тщетно силились расшифровать».

По всей вероятности, издатели приняли необходимые меры, и в 1753 году постановление королевского совета было отменено, а в ноябре того же года уже вышел очередной третий том. С этого времени вплоть до 1757 года Дидро аккуратно выпускал по тому своего детища в год. Зато он значительно сократил печатание собственных произведений. Наиболее крупное и важное из них, вышедшее в эти годы, — «Мысли об объяснении природы» (1754), — совершенно явственное материалистическое произведение, богатое имеющими принципиальное методологическое значение сжатыми афоризмами.

В эти же годы созрели и литературно-художественные вкусы Дидро. Противопоставляя господствовавшему аристократическому искусству искусство буржуазное, он показывает в своих художественных произведениях простую жизнь простых людей с их малыми, незаметными для

большого света радостями и горестями, создавая таким образом новый по своему классовому характеру жанр художественной литературы и драматургии. В этом плане он создает и в 1757 году печатает ставшую вскоре очень популярной и за границей пьесу «Побочный сын». В следующем 1758 году выходит его вторая, также очень популярная в XVIII веке пьеса «Отец семейства», в которой, как было уже сказано, можно найти ряд автобиографических моментов. Наконец в том же 1758 году он дал некоторое теоретическое обобщение своих взглядов на драматургию в небольшом произведении «О драматической поэзии».

Особенно грозные тучи нависли над «Энциклопедией» в 1757 году, после выхода в свет седьмого тома. К этому времени она имела уже много друзей, но не мало и врагов. Не обладая, как известно, классовой точкой зрения на общественные явления, Дидро, однако, в порядке, так сказать, эмпирического перечисления довольно метко указывает общественные группы, настроенные враждебно по отношению к «Энциклопедии». В своих записках 1773—1774 годов, предназначенных для Екатерины II, он писал: «Явными нашими врагами были: двор, знать, военные, у которых всегда то же мнение, что и при дворе, попы, полиция, чиновники, те из литераторов, которые не участвовали в предприятии, светские люди, те из граждан, которые позволили этой толпе увлечь их». При таком положении следовало ожидать только удобного повода для новых репрессий.

Этот повод явился в виде статьи Даламбера о Женеве, в которой автор отмечал, как положительное явление, принадлежность духовенства Женевы к социнианству, т. е. отрицание им троичности бога, и, стало быть, приближение к деизму. По этому поводу попы подняли страшный шум, называя энциклопедистов партией, вредной для общества и церкви. Даламбер не выдержал; он оказался как бы между двух огней. С одной стороны, «Энциклопедия» принимала все более материалистическую и атеистическую окраску, с чем Даламбер не мог согласиться,

с другой—его собственная позиция оказывалась слишком радикальной в глазах правительства. В результате Дидро с большим трудом удалось уговорить его закончить ведение математического отдела. Личные их хорошие отношения продолжались, впрочем, и в дальнейшем.

Вольтер, так же как и Даламбер, советовал Дидро если не перенести издание «Энциклопедии» в другую страну, то приостановить его и ожидать более благоприятного времени для продолжения. Однако Дидро был непреклонен. Он твердо решил довести издание до конца. С издателями было условлено, что остающиеся десять томов будут печататься во Франции тайком и рассылаться все вместе одновременно. Тогда уже будут не страшны никакие «приостановки» и запрещения. 14 июня 1758 г. Дидро писал Вольтеру относительно своего соглашения с издателем Лебретоном: «Мы заключили добрый договор вроде договора крестьянина с чортом у Лафонтена—мне листья\*, а им зерна, но по крайней мере эти листья мне обеспечены».

Личные и литературные огорчения и неприятности Дидро нарастали. В 1758 году произошел окончательный разрыв с Руссо. В том же году вышла книга Гельвеция «Об уме». Наиболее смелые страницы этой книги немедленно были приписаны Дидро, и его классовые враги с удвоенной силой потребовали запрещения «Энциклопедии».

6 февраля 1759 г. парламент осудил книгу Гельвеция на сожжение, приостановил рассылку подписчикам семи вышедших томов «Энциклопедии» и назначил особую комиссию для тщательного ее изучения. 8 марта у издателей была отнята привилегия на издание, «ввиду того,—как говорилось в постановлении,—что приносимая науке и искусству польза совершенно не соответствует приносимому религии и нравственности вреду». Наконец 21 июля издателям было приказано вернуть подписчикам за невышедшие тома по 72 ливра. Таким образом окончательно

\* По-французски feuilles — листья и листы. Здесь игра слов.

подрывалась возможность дальнейшего издания «Энциклопедии».

Тем не менее Дидро не сдавался. С осени 1759 года было уже приступлено к тайному печатанию очередного тома, и в 1765 году вышли сразу последние десять томов текста и несколько томов гравюр. Поэтому понятно, что когда Екатерина II, усевшись на российский престол, вздумала спекулировать на «Энциклопедии» и, рассчитывая привлечь на свою сторону либеральное общественное мнение Европы, предложила перенести печатание «Энциклопедии» в Россию, Дидро ответил отказом: его детище тайно вынашивалось в самой Франции.

Однако последние тома принесли Дидро новые жесточайшие огорчения. Как уже было сказано, Лебретон дорожил «Энциклопедией» не меньше, чем Дидро, хотя и из иных побуждений. Опасаясь возможного раскрытия конспирации и наказания его как издателя, он правил окончательно подписанные Дидро к печати листы. Однажды, еще в 1764 году, Дидро потребовал отгиск одной из своих статей. Получив его, он не мог узнать своих мыслей, настолько они были «подправлены». Оригиналы статей Лебретон попросту уничтожал.

Вандель пишет в своих мемуарах, что Дидро «кричал, срывался с места, хотел отказаться от издания». «Я никогда не слышала, — продолжает она, — чтобы отец спокойно говорил об этом событии; он был убежден, что публика знает так же, как и он, чего не хватает в каждой статье, но невозможность восполнить ущерб вызывала у него еще и через двадцать лет бурное настроение. Сам Дидро с негодованием писал Лебретону 21 ноября 1764 г.: «Вы меня подло обманывали в течение двух лет; вы резали или заставляли резать работу двадцати честных людей, которые отдали вам безвозмездно свое время, свои таланты, свои досуги, исключительно из любви к благу и истине и из единственной надежды видеть, как появятся в свете их идеи и как они соберут ту признательность, какую заслужили; ваша несправедливость и неблагодарность лишили их этого».



Что же оставалось делать Дидро? Мучительно переживая это непоправимое искажение текста «Энциклопедии», он продолжал собирать материалы к очередным томам гравюр и в 1772 году выпустил их последний, одиннадцатый, том. Так было закончено громадное литературное предприятие исторического значения.

Хотя в основные годы издания «Энциклопедии», примерно в 1755—1772 годах, Дидро сам почти ничего не печатал, не придавая, возможно, этому особого значения, но именно эти годы были периодом наиболее пышного расцвета его творчества, именно в эти годы он создал свои шедевры. Как мы уже не раз говорили, своим гением он как бы внедрялся в любую отрасль знания, в любую область искусства. Пусть многие его произведения этого периода увидели свет лишь после его смерти,—известность о них выходила широко за круг его друзей, а рукописный журнал Гримма оповещал о них и распространял их и за границей.

До 1773 года в области философии Дидро создал такие свои шедевры, как диалоги «Разговор Даламбера с Дидро», «Сон Даламбера» и «Продолжение разговора» (1769). В 1770 году, возвращаясь к тематике «Мыслей об объяснении природы» и, несомненно, в связи с проблемами вышедшей в этом году «Системы природы», он написал «Философские принципы, о материи и движении». Проблемы социальной философии, так же как и вечно новые религиозные проблемы, были им освещены в 1772 году в «Добавлении к путешествию Бугенвилля».

В эти же годы Дидро дал и свои наиболее значительные художественные прозаические произведения. В 1760 году появилась знаменитая «Монахиня», к 1762 году относится едва ли не самый блестящий, так высоко ценимый Марксом и Энгельсом, диалог, нашедший отражение и в творчестве Гегеля,—«Племянник Рамо». В 1773 году была закончена большая прозаическая эпопея «Жак-фаталист». Наряду с этими крупными произведениями в те же годы Дидро написал несколько поистине художественных миниатюр: «Мой отец и я»

(обычно относят к 1760), «Он и я» (1762), «Сожаление о всем старом халате» (относят к 1772), «Это не сказка» (предположительно 1773) и «Разговор отца со своими детьми» (предположительно также 1773). Из легкой поэзии Дидро следует упомянуть «Кодекс Дени» (1770) и «Дени, король праздника» (1771).

Продолжая интересоваться вопросами не только драматургии, но и театра в собственном смысле слова, в особенности теорией актерской игры, Дидро создал в 1773 году свой и по сей день актуальный и будящий театральную мысль «Парадокс об актере».

Область теории искусства, в частности сфера изобразительных искусств, привлекала Дидро, пожалуй, не меньше, чем сфера литературы. Уже в 1751 году он написал, правда, еще не совсем зрелый и характерный, трактат «О происхождении и природе прекрасного». С конца же пятидесятых годов он начинает регулярно следить за развитием живописи и скульптуры и дает все более и более подробные обзоры и критические анализы парижских художественных выставок, так называемых «салонов».

Известны его опубликованные в «Корреспонденции» Гримма «Салоны» 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, и затем 1775 и 1781 годов. Приложением к «Салону» 1765 года является своеобразный теоретический трактат «Опыт о живописи»\*.

Между тем, что по терминологии XVIII века называлось «искусствами художественными» и «искусствами механическими», другими словами, между «искусствами» и «ремеслами», расстояние как будто огромно. Но Дидро легко преодолел и его. Правда, в области «ремесл», т. е. в области техники XVIII века, Дидро не оставил нам каких-либо литературных трудов, но известна его громадная работа и на этом участке в связи с выпуском одиннадцати томов гравюр «Энциклопедии». Добрая по-

\* Художественные взгляды Дидро будут освещены в специальной вступительной статье к шестому тому.

ловина этих гравюр занята рисунками и техническими чертежами всевозможных станков и механизмов из всех известных в XVIII веке отраслей техники и производства. Эти таблицы «Энциклопедии» являются лучшим и незаменимым наглядным средством ознакомления с техникой XVIII века накануне промышленной революции.

Роль Дидро в создании этих таблиц огромна. Он сам взял на себя авторский труд по созданию всех статей по «ремеслам», в которых и дал картину современного ему производства; он сам ходил по мануфактурным и кустарным мастерским, осматривая и изучая механизмы и станки, расспрашивая рабочих, заставляя их разбирать и вновь собирать при нем станки, становясь на место рабочих и работая за них; он приводил с собою художников, чертежников и заставлял их зарисовывать и вычерчивать механизмы.

Таким образом, между прочим, Дидро как бы открыл для общества новый, лишь нарождающийся класс рабочих. В одной из статей в «Энциклопедии», описывая жизнь поденного рабочего, он приходит к выводу, что если несчастен поденщик, то несчастна и нация.

В таких-то занятиях и литературных трудах протекала жизнь Дидро до 1773 года, когда он шестидесятилетним стариком предпринял длительное путешествие в Россию\*.

## 5

Как известно, Екатерина хотела сделать энциклопедистов орудием своей политики. С самого начала царствования эта «Северная Семирамида» всячески афишировала за границей, и именно в среде французской «литературной республики», свой идейный либерализм, свое увлечение идеями века.

Ее внутренняя политика, с ужасами крепостного ре-

\* В подробностях отношения Дидро к России и в частности к Екатерине II будут освещены во вступительной статье к десятому тому.

жима, с дальнейшим закабалением миллионов крестьян, с самым диким азиатским деспотизмом и разгулом дворянщины, оставалась в значительной степени скрытой от взоров буржуазно-либеральных идеологов Франции. Напротив, перед ними усиленно подчеркивали якобы царящих в России «дух терпимости» и «просвещенность» российского абсолютизма, всячески рекламировали государынин «Наказ комиссии по составлению нового уложения», в котором она беззастенчиво обобрала Монтескье и Беккарию. Больше того, с далекого северо-востока к буржуазным идеологам Франции шли лестные предложения (Даламберу—быть воспитателем великого князя, Дидро—продолжать издание «Энциклопедии» в России, Вольтеру— правда, в скрытом виде—написать «Век Екатерины II»), назначения членами Академии наук и Академии художеств и—в духе того времени—пенсии. В орбиту этой тонкой политики попал и Дидро.

Узнав о том, что стареющий философ в заботах о будущем подрастающей дочери подумывает о продаже своей библиотеки, Екатерина при посредничестве посла в Париже Голицына и через Гримма предложила Дидро купить у него библиотеку. Дидро согласился, и в 1765 году продажа состоялась. Дидро получил за библиотеку 15 тысяч франков. Чтобы еще больше подчеркнуть свое бескорыстие, Екатерина оставила книги в пожизненное владение Дидро и назначила его своим библиотекарем с жалованьем в 1000 франков в год.

Само собою разумеется, этот акт произвел надлежащее впечатление. Вольтер и Даламбер благодарили Екатерину, а она с видимой скромностью и плохо скрываемым лицемерием отвечала: «Никогда не думала, что покупка библиотеки доставит мне такие похвалы, какими все осыпают меня по поводу приобретения книг Дидро. Но вы согласитесь, что было бы жестоко и несправедливо разлучать ученого с его книгами».

Очевидно, преднамеренно жалованье библиотекаря не выплачивалось Дидро в течение полутора лет. Сам Дидро не напоминал. Когда однажды Голицын спросил его, акку-

ратно ли он получает обусловленную сумму, Дидро ответил, что он и так счастлив, что Екатерина, купив его «лавочку», оставила ему инструменты. Спустя некоторое время Екатерина решила поразить литературную республику новым актом щедрости и «великодушия»: она переслала Дидро 50 тысяч франков, якобы жалованье пятидесятилетнему «библиотекарю» за пятьдесят лет вперед! Так закончилось нашумевшее в определенных кругах того времени дело о покупке русской царицей библиотеки философа. Сама библиотека вместе с копиями рукописей Дидро была послана в Петербург его дочерью и Нэжоном лишь в 1785 году, после смерти владельца и автора.

Чувствуя себя обязанным Екатерине, Дидро оказывает ей ряд услуг. Эти услуги выражаются главным образом в том, что Дидро, прекрасный знаток живописи, рекомендует ей приобретать картины современных французских художников. Наряду с этим он приобретает для нее и целые собрания картин классической живописи XVI и XVII столетий. Таким образом можно сказать, что первоначальное собрание Эрмитажа обязано вкусу и инициативе Дидро. Он же рекомендовал Екатерине и своего друга скульптора Фальконэ в качестве творца «Медного всадника» — памятника Петру I. Фальконэ надолго переселился в Петербург уже в конце 1765 года.

Подобные персональные рекомендации Дидро не всегда нравились Екатерине. Так, потерпела полное фиаско поездка в Россию, по настойчивому совету Дидро, экономиста Мерсье де ля Ривьера. Последний слишком рьяно взялся за осуществление своего проекта превратить феодальную Россию в буржуазную страну и вскоре же вынужден был покинуть это негостеприимное для него государство. Еще бы! Среди крепостнического режима он вздумал проповедывать свои идеи о создании класса фермеров-предпринимателей (*entrepreneurs de culture*) и даже лично свободных рабочих (*propriétaire de sa personne et main d'oeuvre*).

В отношении самого Дидро оказались более гостеприимными. Его звали приехать в Россию уже давно, и он

сам чувствовал обязанность лично сказать спасибо новой владелице своей библиотеки. Однако, пока шло издание «Энциклопедии», сделать это не представлялось возможным. Осуществил свое желание Дидро, как сказано, лишь в 1773 году.

Отдавая себе отчет в возможных неожиданностях такого длительного путешествия, шестидесятилетний Дидро предварительно составил литературное завещание, сделав своим литературным душеприказчиком Нэжона.

В мае 1773 года он выехал из Парижа в Петербург через Голландию. В Гааге он остановился у своего знакомого кн. Д. А. Голицына, бывшего там после Парижа русским посланником. Голицын в то время был занят изданием посмертной книги Гельвеция «О человеке».

Расходясь с Гельвецием по целому ряду частных, но принципиальных вопросов, Дидро сейчас же принялся за возражения покойному другу. Закончил он, однако, эти возражения лишь на обратном пути из России.

Упустив лучшее время года для путешествия, Дидро выехал из Гааги лишь в августе, и только 28 сентября прибыл в Петербург.

Оставляя изложение подробностей пребывания Дидро в Петербурге до специального очерка, мы должны здесь вкратце сказать, что с самого начала обнаружилась двойственность в отношениях французского философа и русской царицы.

Внешне все как будто обстояло крайне любезно, предупредительно и даже интимно. Дидро ожидал, что он увидит Екатерину раза два-три на официальных аудиенциях; вместо этого «совсем напротив,—писал он С. Воллан 15 мая 1774 г. из Гааги,—двери кабинета государыни открыты для меня каждый день с трех часов до пяти, а иногда и до шести. Я вхожу, мне предлагают сесть, и я разговариваю с такой же свободой, какую предоставляете мне вы». «Душа Брута с чарами Клеопатры»,—так характеризовал Дидро Екатерину в нескольких письмах.

В самом деле, Дидро и в беседах с Екатериной был

сам собой, говорил обо всем, о чем ему хотелось говорить, и притом с той свободой, с какой развивал свои мысли в Париже в кружке Гольбаха. Об этом свидетельствуют записи его разговоров, которые он вел в Петербурге и которые он передал при отъезде самой Екатерине.

Но отсюда было бы совершенно неправильно заключить, что и Екатерина держалась столь же непосредственно и откровенно. И если Дидро шел ей навстречу с открытой душой, то она в своих с ним беседах надевала все ту же маску лицемерия, игры и искусной лжи. Царица искусно играла перед философом роль доброго, любвеобильного и милостивого монарха.

Дидро засыпал ее вопросами о самых разнообразных сторонах жизни России. Его интересовало количество и состав народонаселения (дворянство, духовенство, «les odnodvorzi» или свободные крестьяне), положение евреев, количество монахов и монахинь; он спрашивал о формах земледелия, о торговле хлебом, вином, водкой, маслом, коноплей, льном, табаком, лесом, смолой, дегтем, рогатым скотом, лошадьми и т. д. и т. п. Кажется, не было ни одного вопроса, касавшегося экономики страны, который не был задан «философом».

Екатерина отвечала... Но что это были за ответы! На вопрос Дидро, «каковы условия между господином и рабом относительно возделывания земли», она отвечала, что «не существует никаких условий между землевладельцами и их подданными, но всякий господин, имеющий здравый смысл, не требуя слишком многого, бережет корову, чтобы доить ее по своему желанию, не изнуряя ее. Если что-либо не предусмотрено законом, тотчас же его заменяет естественный закон, и часто от этого дела идут вовсе не хуже, потому что они по крайней мере устраиваются совершенно естественно, сообразно существу дел».

В этой лживой тираде особенно замечательно звучит ссылка на «естественный закон». Известно, что абстрактные идеи естественного права с одинаковым успехом использовались и для радикальных и для реакционных выводов. Но каково же должно было быть недоумение Дидро,

когда он слышал из уст Екатерины столь крепостническую интерпретацию того самого естественного закона, необходимостью которого французские просветители обосновывали свою борьбу как раз против феодальных устоев и пережитков.

Вообще ответы Екатерины крайне общи, подчас путаны, обнаруживают незнание собственного законодательства, иногда переходят в жаркую, но бездоказательную апологетику, а иногда, когда, видимо, никакого вразумительного ответа дать было нельзя, сбиваются на дурной каламбур; так, например, на вопрос Дидро о существовании в России ветеринарных школ Екатерина только и смогла ответить: «бог хранит нас от них». Сомнительно, чтобы Дидро мог встретить такой ответ сколько-нибудь любезной улыбкой.

Дидро успел в очень мягкой форме сказать Екатерине все, что хотел. Он говорил ей, неизменно в крайне любезных выражениях и с личными комплиментами, о всех отрицательных чертах самодержавного режима; настоятельно рекомендовал вновь созвать представителей народа и передать им законодательную власть, больше того, — передать им право выбора преемника царицы; взывал к созданию полноправного «третьего чина людей», т. е. тем самым говорил об освобождении крестьян; развивал свои антицерковные и антирелигиозные взгляды и т. д. и т. п.

Ясно, что все это было, как небо от земли, далеко от практики и намерений Екатерины. И хотя она и писала Вольтеру о Дидро, что «это необычайная голова, каких не встретишь каждый день», но на самом деле относилась ко всем взглядам Дидро резко отрицательно.

Сохранилось два отзыва Екатерины о Дидро, в которых она, наконец, открыла самое себя. Уже после смерти Дидро она писала Гримму: «В каталоге библиотеки Дидро я нашла тетрадь, озаглавленную: «Заметки на наказ е. и. в. депутатам для составления законов». Это — суцая болтовня, в которой нет ни знания обстоятельств, ни благоразумия, ни предусмотрительности. Если бы мой наказ был во вкусе Дидро, он должен был бы перевернуть



в России все вверх дном». Столь же откровенно говорила она в 1787 году гр. Сегюру: «Я подолгу и часто беседовала с ним [Дидро], но более из любопытства, нежели с пользой. Если бы я слушалась его, то все было бы перевернуто в моей империи; законы, администрацию, финансы и политику—все это я должна была бы уничтожить и заменить фантастическими теориями».

Ясно, что самодержавная царица крепостнического государства относилась к проповедуемым Дидро идеям буржуазной революции именно как к «фантастическим теориям». Вопреки легенде, созданной верноподданническими историками, идеи Дидро, идеи молодой революционной буржуазии, были ненавистны императрице феодального по существу государства. Это в конце концов не могло оставаться незаметным и для самого Дидро, и он скромно записывал: «Взгляды философа значительно отличаются от взглядов государя».

Когда темы бесед начали иссякать, а идейная отчужденность выявляться все более и более остро, обе стороны тактично не довели дела до открытого разрыва. Коротко говоря, Дидро стал собираться в обратный путь. Екатерина возместила ему издержки путешествия, дала на дорогу денег, подарила дорожную карету и пожаловала свой миниатюрный портрет.

В начале марта 1774 года Дидро выехал из Петербурга. Когда переезжали Двину, лед уже был готов тронуться; он оседал под тяжестью кареты, и вода едва не поглотила ее вместе с путешественником. Дидро изобразил это приключение в стихотворении «Переправа через Двину».

По дороге в Париж Дидро вновь заехал в Гаагу к Голицыну. Здесь он закончил возражения на книгу Гельвеция «О человеке», собрал заметки для работы о Голландии, начал большую работу по физиологии и призматривал, по поручению Екатерины, за изданием «Планов и уставов различных заведений», учебных и ученых. Выехав из Гааги в сентябре, он вернулся наконец в Париж после полугодового отсутствия лишь в октябре 1774 года.

Дидро значительно постарел и осунулся. Многих из его друзей уже не было в живых, другие сходили со сцены на глазах у мыслителя. Еще в 1772 году умер Гельвеций. Во время путешествия Дидро умер тоже «деятель» века и «знакомый» Дидро—Людовик XV. Вскоре умерли Вольтер и Руссо, оба в один 1778 год. За смертью хозяек закрылись два салона: Жоффрен и Леслинас. Умер Даламбер... Подходила очередь и самого Дидро...

Тем не менее старик еще много работал. С жаром юноши он увлекся личностью и жизнью Сенеки и решил написать его апологию. Он работал по четырнадцать часов в сутки, изучая произведения Сенеки и литературу о нем. В 1778 году эта работа вышла в свет под названием «Опыты о царствованиях Клавдия и Нерона». Несколько переработав ее, Дидро выпустил ее вторым изданием в 1782 году.

19 февраля 1784 г. у Дидро появилось кровохарканье. Это было началом конца. Врачи определили водянку легких. В довершение Дидро разбил паралич. Когда ему бывало лучше, он подолгу говорил о классической поэзии, переводил Горация и Вергилия.

Узнав, что Дидро опасно болен, приходский кюре стал часто заходить к нему, желая залучить у умирающего отречение от его материалистических и безбожных теорий. Это был довольно распространенный тактический прием духовенства. Нужно сказать, что нередко тактика эта давала желанный для церкви результат: умиравший «вольнодумец», силы которого слабели, в особенности еще под влиянием родных, приносил покаяние, раскаивался в «грехах» и умирал, примирившись с церковью. Подобные факты неизменно оказывались в руках духовенства сильно действующим агитационным средством.

Такой тактический шаг был задуман церковниками и в отношении Дидро: слишком завидным объектом представлялся умиравший материалист и атеист. Дидро добродушно встречал незамысловатого кюре, говорил ему о добрых делах, которые тот уже совершил, и напоминал о множестве тех, которые еще надлежало совершить.

Однажды собеседники как будто договорились по некоторым вопросам морали. Кюре осторожно высказался о том, как было бы хорошо, если бы Дидро опубликовал эти мысли, присоединив к ним небольшое отступление от своих прежних работ; кюре говорил, что это произвело бы прекрасное впечатление в обществе.

«Я думаю,—ответил умиравший философ,—но согласитесь, что этим поступком я совершил бы бесстыдную ложь». Так и не удался этот маневр священника.

Вандель рассказывает, что когда накануне смерти у больного собралось несколько друзей и разговор зашел о том, какими путями можно прийти к философии, Дидро сказал: «Первый шаг к философии—это неверие».

На следующий день утром, 31 июля 1784 г., Дидро еще разговаривал с доктором. Когда же сели обедать и жена о чем-то спросила больного, он не ответил. Дидро умер.

## 6

Из предшествующего изложения уже можно было составить себе некоторое представление о личном характере Дидро. Прямота и непосредственность, скромность и простота, мягкость и обаяние—таковы характерные черты его личности.

Мармонтель писал в своих мемуарах: «Кто знает Дидро только по его произведениям, тот совершенно не знает его. Вся душа его была в глазах и на устах. Никогда еще лицо не выражало лучше сердечной доброты».

Сохранилось много рассказов о Дидро как о собеседнике. Дружеская беседа была, если так можно выразиться, наиболее естественным состоянием Дидро. Намек на это содержится и в только что приведенном высказывании Мармонтеля. Другой современник, Морелле, пишет: «Беседа Дидро отличалась громадной силой и большим очарованием. Его речь была одушевлена полной искренностью; тонкая и ясная, разнообразная по форме, блестящая образами и богатая мыслями, она пробуждала мысли у других».

Как в своем разговоре, так и в жизни Дидро никогда не бывал монотонным, однообразным. Недаром говорили, что к настойчивому, но монотонному кукуканью Гольбаха Дидро добавлял трели соловья.

Живость и разнообразие впечатлений, переживаний и реакций сочетались у Дидро с крайним разнообразием выражений лица. Дидро сам сознавал это. По поводу своего портрета, написанного одним из известных тогда художников, М. Ван-Лоо, он говорил: «Дети мои, предупреждаю вас, что это не я. В один и тот же день у меня бывает сотня различных выражений лица, смотря по тому, под влиянием чего я нахожусь. Я бываю серьезным, печальным, мечтательным, нежным, диким, страстным, восторженным; но я никогда не был таким, каким вы меня видите здесь. У меня большой лоб, живые глаза, достаточно крупные черты лица, голова совсем как у древнего оратора, добродушие, почти граничащее с глупостью, с простоватостью древних времен».

Из всех своих портретов Дидро признавал только один—работы Garand'a. «Меня изобразил хорошо,—писал он,—только бедняга Гаран, он схватил меня так, как у глушца иногда вылетает умное слово. Тот, кто видел мой портрет Гарана,—меня видел. Ecco il vero Polichinello»\*.

И вот этот-то простой и непосредственный человек, чувствовавший себя везде как дома,—как это ни звучит парадоксально,—только дома не чувствовал себя просто и непосредственно. Личная и семейная жизнь Дидро сложилась довольно неудачно. Не вдаваясь здесь ни в какие моральные оценки, мы должны лишь констатировать исторические факты.

Юношеское увлечение Антуанеттой Шампюан прошло довольно быстро. Подруга жизни Дидро оказалась неизмеримо ниже его не только по своему умственному развитию, но и по своему житейскому кругозору. Женщина, по существу, добрая, но с чрезвычайно ограниченным

\* Это действительно Полишинель.

горизонтом, без всяких интересов или с интересами всецело мешанскими, она никак не могла составить пару своему мужу.

Дидро отнюдь не был аристократом в домашнем кругу. Подолгу гостя в имении Гольбаха, он любил разговаривать с садовником, с крестьянами окрестных деревень; его обходы мануфактурных мастерских и беседы с рабочими нам уже известны. Он утверждал, что всегда научался чему-либо новому из разговоров с крестьянами. Напротив, он был прав, повторяя, что может говорить что угодно и о чем угодно, но только не *bonjour*\*. Когда в 1768 году в Париж приехал какой-то владетельный немецкий князек, Гримм, этот *tyran le blanc*\*\* , всячески старался устроить с ним свидание Дидро, но последний наотрез отказался, заявив, что «эти смешные парадь» для него невыносимы. Значит, дело заключается отнюдь не в том, что Дидро «зааристократизировался» и гнушался простенького житейского облика своей жены.

Причина лежит в другом: Дидро не мог выносить не только лощеного «аристократизма», но и узкого мешанского кругозора, царившего в его собственном доме и установленного его женой. Поэтому-то в свободные часы он никогда не бывал дома, предпочитая проводить время у Гольбаха, у Гельвеция, где угодно, но только не в своей квартире.

Другим совершенно очевидным фактом личной жизни Дидро является его многолетняя дружба с Софьей Воллан. Начало их знакомства относится к середине пятидесятых годов. В это время Дидро было уже за сорок лет, С. Воллан—немногом меньше. История их отношений,—любви или дружбы, вернее—и того и другого,—должна послужить предметом особого очерка\*\*\*. Многолетней дружбе мыслителя с С. Воллан мы обязаны тем, что обла-

\* добрый день

\*\* белокурый тиран [прозвище Гримма]

\*\*\* В подробностях история этого знакомства и дружбы будет освещена во вступительной статье к восьмому тому настоящего издания.

даем громадным эпистолярным наследством Дидро. До нас дошло свыше пятисот пятидесяти писем мыслителя к его подруге, составляющих, к сожалению, далеко не полное их собрание. Достаточно сказать, что второе из известных нам писем, от 1 июня 1759 г., является фактически уже сто тридцать восьмым письмом по общему счету. Переписка имела место не только тогда, когда адресаты находились в разных местах (что было не так уж часто), но и тогда, когда оба пребывали в Париже.

Начавшись с первого же года знакомства, переписка Дидро с С. Воллан продолжалась до 1774 года; именно к этому году относятся последние дошедшие до нас четыре письма. Причины прекращения переписки неизвестны; но известно, что оба автора прожили еще десять лет. С. Воллан умерла 22 февраля 1784 г., ее друг—через пять месяцев.

Как литературный памятник письма Дидро к Воллан, несомненно, являются значительнейшим документом эпохи, вскрывающим как общественную, литературную и личную жизнь одного из наиболее блестящих представителей французской литературной республики XVIII века, так и стиль и, так сказать, колорит среды.

По раскрытию личности автора, его быта, его переживаний, всего его облика они должны быть поставлены едва ли не на первое место в ряду известных более или менее аналогичных литературных документов, начиная с писем Абеяра к Элоизе и кончая хотя бы письмами П. И. Чайковского к фон-Мекк. В формальном отношении, как образец стиля Дидро, письма эти являются естественнейшим и необходимейшим дополнением ко всему его литературному наследству.

Мы видели уже, как проходило обычно время у Дидро в Париже, распределяясь между работой над «Энциклопедией» и дружескими беседами в салонах. Письмам Дидро к С. Воллан мы обязаны тем, что знаем, как проводил Дидро свой отдых.

С осени 1759 года Дидро почти ежегодно ездил неделю на шесть в имение Гольбаха—Гранваль. Письма его

из Гранвалаля составляют значительный кодекс в общем собрании. Собственно говоря, нельзя сказать, что и здесь он только отдыхал. Он никогда не сидел без работы. Во втором этаже дома ему отводили комнату с видом на лес. Вставал он рано, в шесть часов утра, и после очень горячего чая садился читать или писать перед портретом Горация. Такая же работа проходила и в соседних комнатах; там действовала «адская лавочка» Гольбаха и Нэжона, выбрасывавшая в конце шестидесятих годов пачки атеистических памфлетов.

В подобных занятиях проходило время часов до двух дня, когда вся компания—семейство Гольбаха и гостившие в Гранвале—садилась обедать. После обеда Дидро шел гулять в сад, неизменно беседуя с работниками, или же всей компанией отправлялись на прогулку в лес. Домой возвращались часов в семь и до ужина проводили время за разговорами или игрой в пикет. После ужина, в половине двенадцатого, все отправлялись на покой по своим комнатам.

О своей манере работать Дидро как-то рассказал сам по просьбе Екатерины II. Если у него появлялась мысль написать о чем-нибудь, он прежде всего ставил вопрос, не может ли кто-либо другой разработать эту тему лучше его. В случае положительного ответа он, не колеблясь, отбрасывал мысль о данной работе. Если же решал писать сам, то начинал обдумывать тему.

«Днем и ночью я думаю—дома, в обществе, на улицах, во время прогулок; работа преследует меня.

На столе у меня большой лист бумаги, на который я набрасываю намеки мыслей, беспорядочно, в куче, так, как они приходят.

Когда голова моя таким образом опустошена, я отдыхаю, даю время мыслям пустить ростки.

После этого я снова берусь за свои беспорядочные и бессвязные заметки и привожу их в порядок, иногда нумерую их.

Когда я выполнил это, я говорю, что моя работа окончена.

Я сейчас же пишу; моя душа воспламеняется во время письма больше, чем нужно.

Если появляется какая-либо новая мысль, место для которой еще далеко, я записываю ее на отдельном листке. Я исправляю редко... Поэтому остаются небрежности, все эти легкие погрешности вследствие быстроты.

Я читаю то, что другие думали по этому же предмету, только тогда, когда моя работа закончена.

Если чтение выводит меня из заблуждения, я рву написанное.

Если я нахожу у других что-либо, что соответствует моим мнениям, я пользуюсь им.

Если это чтение внушает мне какую-нибудь новую мысль, я добавляю ее на полях, ибо, ленясь переписывать, я всегда оставляю большие поля.

Вот когда наступает время советоваться с друзьями, с равнодушными ко мне и даже с врагами».

В этом отрывке Дидро чрезвычайно метко схватил особенности своей манеры работать. Если оставить в стороне некоторые его романы и повести, по самой природе своей требующие непрерывного и, так сказать, систематического развертывания сюжета, все остальные теоретические и критические произведения Дидро носят на себе следы этой изображенной им манеры творчества.

Ему был совершенно чужд стиль академического трактата или исследования какого-нибудь немецкого ученого философа типа Канта. Он сам говорил о себе, что «чисто систематический дух» ему противен. Напротив, для него в особенности характерен стиль «разрозненных мыслей». Так написаны и ранние «Философские мысли», и более поздние «Мысли об объяснении природы», и трактующие специальную тему «Отрывочные мысли о живописи», и остроумный политический памфлет «Принципы политики одного государя».

Дидро в самом деле не стремился к особой систематизации, к нарочитому упорядочению своих концепций. Поэтому-то при всей легкости изложения Дидро, исследователю не так просто привести в порядок, а также система-





Памятник Дидро в Париже работы Готерена  
*С гравюры Ангерера*



тически и последовательно представить весь строй его мыслей.

Ряд произведений Дидро, и притом весьма важных для уразумения его теорий, изложен столь же отрывочно, но руководящей нитью при высказывании им своих взглядов в таких произведениях являются сочинения других авторов. Дидро как бы отталкивается от чужой книги и, подвергая критике ее содержание, высказывает попутно в положительной форме свои собственные воззрения. Так написаны им «Возражения на книгу Гельвеция о человеке» и «Элементы физиологии», по существу заметки в связи с чтением одноименной книги А. фон. Галлера. Иногда такими точками отталкивания являются не чужие книги, а иные объекты, например экспонаты художественных выставок. В этой манере им написаны все его «Салоны», не только представляющие собой критические обзоры парижских «салонов» и прекрасный литературный памятник для ознакомления с французской живописью третьей четверти XVIII века, но и дающие богатый материал для изучения эстетических воззрений самого Дидро.

Довольно излюбленной формой высказывания теоретических мыслей у Дидро были «письма»; в такой форме написано им «Письмо о слепых в назидание зрячим», а также «Письмо о глухонемых в назидание тем, кто слышит и говорит», не говоря уже о письмах в прямом смысле этого слова, вроде известных нам писем к С. Воллан, в которых рассеяно множество чрезвычайно интересных и важных в теоретическом отношении замечаний, или писем к Фальконэ, содержащих философские высказывания о значении для художника мнения последующих поколений.

Изящная, остроумная и художественная форма выражения философом своих взглядов—беспорный, признанный в истории литературы факт. Но, пожалуй, наибольшей высоты и чеканки эта форма достигает в столь излюбленных Дидро диалогах. И хотя Вольтер, вероятно, не без основания говорил, что сам Дидро создан не столько для диалога, сколько для монолога, но как автор-

художник он был мастером именно диалогической формы изложения. В этой форме созданы им все его общепризнанные шедевры: и «Племянник Рамо»—картина современного общества и его нравов, а также своеобразный этический «трактат», и «Парадокс об актере»—набросок теории сценического искусства, и диалог между монахом-кордельером и дикарем Ору из «Продолжения путешествия Бугенвиля»,—остроумнейшее «рассуждение» на богословские темы, и даже философские произведения: «Разговор Даламбера с Дидро», «Сон Даламбера», «Продолжение разговора».

Не очень заботясь о педантической систематичности и упорядоченности своих выливающихся на бумагу мыслей, Дидро был весьма беспечен по части своего литературного «хозяйства» и в другом отношении: его-то уж во всяком случае нельзя было обвинить в излишнем авторском самолюбии.

Известно, что многие его произведения увидели свет спустя долгое время после его смерти, причем это отнюдь не были какие-либо черновики или неотделанные наброски. Достаточно сказать, что «Племянник Рамо» не был опубликован самим автором и впервые увидел свет в немецком переводе при содействии Гете, а первое французское издание представляло собой обратный перевод с немецкого!

Больше того, Дидро «снабжал» своими мыслями и даже целыми страницами произведения других авторов. Бесспорна роль, которую он сыграл в первой диссертации Руссо; с достоверностью установлены страницы, принадлежащие перу Дидро во второй диссертации Руссо—«О происхождении неравенства»; весьма вероятно прямое или косвенное участие молодого Дидро в первых произведениях Кондильяка; совершенно точно установлено, что последняя глава «Системы природы» Гольбаха написана Дидро; есть ряд указаний на соавторство Дидро в «Истории обеих Индий» Рейналя и т. д. и т. п. Коротко говоря, Дидро одному подавал мысль, другому разрабатывал сюжет, третьему выправлял слог, а четвертому вписывал целые страницы.

В этом отношении чрезвычайно характерен случай, о котором рассказывает дочь Дидро. Конечно, к этому рассказу, строго говоря, можно отнести лишь как к анекдоту, но в равной мере возможна и его фактическая достоверность. Вандель рассказывает, что однажды к отцу пришел некий юноша и попросил его прочитать написанное им сочинение. Случай не был необычным, и Дидро охотно принялся за чтение. Каково же было его удивление, когда рукопись оказалась пасквилем, и притом довольно посредственным, на самого Дидро. На вопрос Дидро, что же привело автора к самому объекту пасквиля, юноша ответил, что ему нечего есть и что Дидро, не пожелав, очевидно, огласки пасквиля, даст ему, несомненно, несколько эку. Дидро, напротив, посоветовал оригинальному автору отправиться к брату герцога Орлеанского, известному ханже и мракобесу, который наверное поддержит его и даже, ненавидя философа, даст денег на издание «сатиры». Юноша ответил, что он с удовольствием бы так и поступил, но его смущает то, что в таком случае необходимо еще написать посвящение герцогу. Дидро тотчас же сел за стол, и в несколько минут нужное посвящение было им написано. Через некоторое время юноша зашел еще раз к Дидро, на этот раз исключительно для того, чтобы поблагодарить: дело его удалось. Дидро ограничился тем, что посоветовал молодому человеку выбрать себе менее низкий род занятий.

Однако из всего сказанного было бы совершенно неправильно заключить, что в лице Дидро перед нами какой-то теоретический «ветрогон», «непутевый» гений, «идейный мот», без оглядки разбрасывающий свое духовное имущество, или некий безвольный и безрукий мечтатель, не способный сжать в кулак свое оружие, не умеющий навести порядок в собственной «литературной лавочке». Таким не мог быть и таким не был инициатор, вдохновитель, организатор и фактический редактор великой «Энциклопедии». И разве не нужны были колоссальные синтетические данные, поразительные способности систематика для того, чтобы почти одному разработать

всю программу «Энциклопедии», неуклонно ее выполнять, мысленно охватывать все ее содержание, умственным оком систематически пробегать по всем ее томам, наконец идейно и организационно руководить коллективом авторов и художников, наполнявших своими статьями и рисунками двадцать восемь томов на протяжении больше чем двух десятилетий.

Именно в жертву «Энциклопедии», как общественному предприятию, нечеловеческой, упорной и систематической работе над ней предавал Дидро свои личные литературные интересы. Из-за нее откладывал он частенько окончательную обработку своих произведений; из-за нее отодвигал он в известной мере публикацию тех работ, которые были лишь его личным делом; она на протяжении почти четверти века заслоняла для Дидро всю его личную литературную работу. И вместе с тем она свидетельствует, конечно, не о схоластическом, сухом систематизме ради систематизма, но о действительно универсальной системе знаний, системе мировоззрения в истинном и буквальном смысле слова, как составленной, вернее, слитой из многих частей и элементов, единой, целостной системе идей.

## 7

Какова же была эта единая система идей Дидро? В общем очерке невозможно проследить все богатство мыслей Дидро, рассыпанных им на протяжении сорока лет и еще неполностью собранных спустя почти столетие после смерти мыслителя в двадцати больших томах. Не под силу это одному человеку еще и вследствие чрезвычайной, о чем уже не раз говорилось, разносторонности Дидро.

Отнюдь не предвосхищая в данном очерке содержания вступительных статей к отдельным томам, вводящих в круг идей и работ Дидро в различных областях его литературной и общественной деятельности, мы хотели бы здесь лишь наметить его основные, установочные, принципиальные воззрения.

Несомненно, при всей целостности мировоззрения Дидро

для XVIII века оно не выдержало действия всеокрушающего и всеозидającego времени. Многие и многие элементы мировоззрения Дидро ныне уже безнадежно устарели. И однако круг мыслей Дидро остается замечательным идейным памятником эпохи.

В ведущем звене идеологической сферы, в философии, Дидро имел перед собой как бы стену освященной всем авторитетом церкви и государства официальной католической философии. В отличие от католической религии откровения и соответственно от ее наукообразной оболочки в виде так называемой откровенной теологии, эта католическая «светская» философия должна была покоиться на разуме. Однако предметы исследования этой философии были ей заданы наперед все той же религией. Этими объектами были: *бог, мир и душа*. Откровенная теология заранее подсказывала рациональной теологии, как первой части философии, решение теологической проблемы: *бог существует*. Не менее определенно откровенная космология подсказывала рациональной космологии решение космологических проблем: *воля свободна* (ибо при противоположном решении ответственность за грехи должна быть снята с людей), и все в мире совершается не по законам механической причинности, а по целям божиим. Наконец, откровенная психология диктовала психологии рациональной свое решение психологической проблемы: *душа бессмертна* (ибо при противоположном решении падал целый ряд религиозно-церковных рычагов—учение о воздаянии за грехи, об аде, чистилище и рае и т. п.).

Таким образом по существу взаимоотношения между философией и религией строились по средневековому схоластическому принципу: философия есть служанка богословия; философия оперирует «естественным светом», разумом, но этот разум призван лишь своими путями и методами доказывать и обосновывать то, что уже заранее предугазано «сверхъестественным светом», божественным откровением.

К этой средневековой концепции к середине XVIII столетия добавилось немного. Как некогда во второй поло-

вине XIII века из глубины веков был воскрешен Аристотель, долженствовавший, к вящему удовлетворению христианской церкви, помогать в качестве дополнительной тяги обоснованию истин христианства, так теперь частично был «рецепирован» Декарт. Все звучавшее в картезианстве для XVII века по-революционному было заглушено и вышелушено, и на первый план был выдвинут декартовский дуализм тела и души, бога и природы. Этот дуализм был приспособлен к потребностям католической философии.

Запоздалые ростки античного по своей форме материализма Гассенди, именно в силу своей устаревшей формы, быстро завяли уже к концу XVII века, и за его немногочисленными последователями была общественно закреплена почти бранная кличка «либертинов», которая официально означала не только вольнодумцев, но и распутников.

Не лучше обстояло дело и в соседних, германских странах. Немецкая популярная философия питалась объедками со стола Лейбница в виде вольфианской метафизики и тем лишь отличалась от французской школьной философии, что была поставлена на службу не католической, а лютеранской ортодоксии.

Несколько иначе сложились к этому времени пути философского развития в Англии. Сильная материалистическая закваска Бэкона и Гоббса давала себя знать и после классового компромисса 1688 года. И хотя Локк со своим гносеологическим дуализмом опыта внешнего (ощущения) и опыта внутреннего (рефлексии) и знаменовал начинающийся распад английского материализма, но его эмпиризм оказался тем свежим ветерком, который положил начало проветриванию философской обстановки во Франции XVIII века. Именно английский, сопряженный с эмпирической теорией познания, материализм оказался одним из двух источников философии французского материализма; именно по этому пути пошел Дидро.

Дидро быстро обогнал друзей своей молодости, Руссо и Кондильяка. Первый вообще вскоре выпал из философ-



ской игры, второй навсегда остался в объятиях локковского феноменализма. Дидро же пошел дальше. Он отбросил, как источник познания, не только божественное откровение, этот «сверхъестественный свет», но и всякого рода «умозрение», нечувственную, интеллектуальную интуицию, локковскую рефлексию, как «внутренний опыт», как «созерцание душою своих внутренних переживаний».

В качестве единственного источника человеческого познания Дидро утвердил *ощущение* в его материалистическом понимании, как результат воздействия внешних, материальных предметов на наши органы чувств. Тем самым *опыт* и только опыт,—и притом также, конечно, в его материалистическом истолковании, как процесс воздействия внешнего мира на человека,—полагался в основу человеческого знания.

Этим, конечно, разум отнюдь не устранялся из обихода философии, как и 'всего' древа человеческого познания; напротив, разум, высвобожденный из-под опеки откровения, призывался к контролированию, проверке, координированию и руководству в отношении ощущений и чувств, ему «запрещалось» лишь одно—покидать почву материального опыта и отрываться от показаний чувств, дабы не впасть в 'бездну религии и метафизики.

Такая революция в области теории познания привела к сокрушительным разрушениям в здании традиционной господствовавшей философии и к возведению новой философской, на этот раз материалистической постройки. Прежде всего рухнул фундамент рациональной теологии, ибо ответ получался ясный и недвусмысленный: *бога нет*, это—*hors-d'oeuvre*, лишнее, ненужное изобретение человеческого ума, оторвавшегося от мира опыта. Затем сам собою разваливался этаж рациональной психологии: *душа не бессмертна*, и вообще души, как некоей самостоятельной субстанции, какой она выступает еще у Декарта, независимой от тела, души, как метафизической сущности, нет; то, что мы называем душой, есть лишь совокупность ощущений. Ввиду всего этого рациональная психология должна быть заменена эмпирической

психологией, прежде всего как психологией познания. Что же касается рациональной космологии, то, во-первых, *все в мире совершается по закону причинности*, а во-вторых,—last but not least,—материальный мир, материя и есть единственное сущее, единственная и единая, на языке философии XVII века, субстанция. Источником этого, вторым источником французского материализма, является картезианская материалистическая физика.

Эта материя существует в пространстве и времени, которые являются таким образом формами ее существования, корепными условиями ее бытия.

Материя, само собою разумеется, *протяженна*. Материя находится в вечном *движении*; нет материи без движения, как нет и движения без материи, хотя виды движения различны и наряду с трансляциями, с движением масс, с так называемым молярным движением, есть скрытые виды движения—*nisus*, как тяготение или напряжение.

Вся интеллектуальная деятельность человека, шире—вся его психическая сторона, другими словами, мышление, воление и т. п., все это суть развернутые, развитые формы *чувствительности*, которая представляет собою также свойство материи наряду с протяжением и движением\*. Однако, подобно движению, следует различать открытую, живую чувствительность—в человеке, в животном, и чувствительность скрытую, инертную—в растении, в минерале. Так Дидро ходит по краю пропасти гилозоизма, учения о всеобщей чувствительности материи, но рядом оговорок удерживает себя от падения.

Эта градация видов движения и чувствительности позволяет Дидро обосновать дифференциацию материи, объяснить без помощи божественного существа или начала все видимое многообразие материальной вселенной. От «инертной молекулы» через камень, растение, животное к человеку тянется единая материальная нить, располагается *единая морфологическая лестница бытия*.

\* В. И. Ленин в особенности ставил это в заслугу Дидро. Подробнее см. вступительную статью к II тому.

Эта единая цепь существ, построенная по лейбницевскому принципу «природа не делает скачков», означает всеобщую связь существ и явлений, причем связь эта не статична, а динамична. Виды не постоянны. Во вселенной происходит вечный процесс «очищения» от уродливых, не приспособленных к данной среде существ. Таким образом *виды трансформируются*, хотя это и непосредственно наблюдению даже ряда поколений, так как для трансформации видов необходимы чрезвычайно длительные периоды времени.

В общем Дидро разделяет со всеми другими французскими материалистами порок механического материализма, так же как и материализма метафизического (в смысле антидиалектичности); однако именно вследствие наличия у него идей трансформизма, превосходящих некоторые принципы позднейших эволюционных учений (и Ламарка, и Дарвина), он должен быть признан, так сказать, наименее метафизически настроенным из всех французских материалистов XVIII века.

Уже из сказанного ясно, что философия Дидро приводит его к *атеизму*. В действительности так и было; его материализм нарастал параллельно с его атеизмом, находясь с последним в теснейшей неразрывной связи. Поэтому с точки зрения господствовавших в предреволюционной Франции религиозных католических идей Дидро следует отнести, конечно, не к «еретикам» рационалистического толка и не к «вольнодумцам» теистической или, безразлично, деистической разновидности, а к самым отъявленным «безбожникам», — притом не к «богохульникам»-фанфаронам (по терминологии самого Дидро), а к сознательным и убежденным атеистам. Тем самым ясно, что для Дидро вместе с рациональной теологией, космологией и психологией, и даже раньше их, падали и переставали существовать, как сколько-нибудь наукообразные ветви «знания», откровенные теология, космология и психология. В научном обиходе для них попросту не оказывалось места, как вследствие отсутствия самих предметов «знания», так и вследствие ложности методов. На-

против, с ними необходимо было вести решительную борьбу.

Соответственно пороки материализма Дидро суть и пороки его атеизма: атеизм его покоится на механическом и метафизическом материализме, и потому к нашему времени устарели как форма атеизма Дидро, так и, как будет видно из рассмотрения социальной философии Дидро, его методы и практика борьбы с религией. Это, конечно, несколько не умаляет того факта, что в эпоху Дидро его атеизм был наиболее революционным решением теологической проблемы и приносил соответствующие плоды и в соседних идеологических областях.

Так, материализм и атеизм Дидро приводили к чрезвычайно важным выводам в области этики, морали. Окружавшие Дидро, господствовавшие в предреволюционной Франции этические теории сводились к религиозной морали, т. е. к морали, черпающей свое основание в религии. Эта мораль, провозглашаемая церковью, была крайне несложной. Будь добродетельным, говорили ее апологеты, ибо так велит бог и «да благо тв будет» «на том свете»; в противном случае тебя ожидают, опять-таки «на том свете», страшные кары. Но мы уже видели, что Дидро отринул оба члена этой сакраментальной формулы. Мораль следовало обосновывать без бога и без загробных кар или благ.

Из классической древности выступали два «языческих», но зато светских решения моральной проблемы. Стоики строго предписывали: «будь добродетельным!»—и благо, и счастье придет к тебе, как логическое следствие добродетельного поведения. Эпикурейцы были как будто менее требовательными; благо в счастье, в наслаждении, говорили они, но для того, чтобы достигнуть этого счастья, этого наслаждения, нужно быть добродетельным! Таким образом, вопреки распространенному мнению, при почти противоположном обосновании, и те и другие сходились в практических выводах.

Эти классические образцы оказались философскими источниками моральных взглядов Дидро, взятых в их прин-

ципах. Но эпикурейское обоснование было ему несколько ближе. К этому подводил его и весь материалистический строй мыслей.

Человек есть всецело физическое существо. Никаких врожденных идей, ни теоретическо-познавательных, ни практическо-этических, у него нет. Физическому существу свойственно стремиться к счастью и избегать несчастья. Счастье есть благо, несчастье есть зло. Таким образом по природе своей человек не может не стремиться к благу=счастью. Этому «голосу» природы, ее велениям он должен подчиняться. Всякое уклонение от требований природы, от самой природы уродливо, неправильно и есть зло.

Таким образом на первых этапах это натуралистическое, в противовес религиозному, и в корне своем физиологическое обоснование морали должно как будто привести Дидро к крайней степени эгоизма. Так и интерпретировали в XIX веке мораль Дидро, как, впрочем, и всех французских материалистов, моралисты буржуазно-идеалистического толка. Эта мораль, говорили они, покоится на личном интересе, она эгоистична, гедонистична, безнравственна, поскольку благом почитает счастье, удовольствие, чувственное наслаждение; этика материализма аморальна.

Однако уже давно было установлено, что и у самих эпикурейцев чувственные наслаждения отнюдь не стояли на первом месте, уступая его наслаждению интеллектуальному. Равным образом это, конечно, относится и к морали Дидро.

Слов нет, мораль Дидро, отбросившая бога и все потустороннее и в качестве основы своей взявшая природу, ничего общего не имеет с аскетизмом. Еще бы недоставало, чтобы молодой, бодрый, идущий к власти класс впал в аскетическую мораль! Мораль Дидро насквозь земная по своим целям, интересам, устремлениям, по всему своему обоснованию. Но эта мораль не эгоистична в личном, так сказать, персональном значении этого слова. Верно, что она, основываясь на природе человека, тем

самым основывается на личном интересе человека. Но, по мысли Дидро, правильно понятый интерес человека удерживает его от гибельной для него бездны эгоизма и, наоборот, способствует его альтруистическим побуждениям.

Человек живет в обществе себе подобных. Без помощи других людей он не может добиться в обществе личного счастья, а стало быть, и личного блага. Так воскрешалась по существу старая эпикурейская формула. Избегай несчастья и ищи счастья, но найти его, добиться его ты можешь лишь в том случае, если тебе в этом будут помогать другие. Другие же будут тебе помогать лишь в том случае, если ты сам будешь помогать другим, каждому и всякому, добываясь их счастья. Поэтому ты должен творить добро другим, поэтому ты должен быть добродетельным. Так эгоистическая как будто в своих истоках мораль Дидро превращается в свою противоположность, в *мораль альтруистическую*, и притом универсально альтруистическую.

Коренные пороки этического учения Дидро совершенно очевидны и тесно связаны с метафизическим характером его материализма. Это учение прежде всего крайне абстрактно. Абстрактна уже «природа» Дидро. Понятие природы как единственной материальной действительности—основа материалистической натурфилософии Дидро—прямолинейно переносилось им в среду этики, в сферу—он сам понимал это—явлений общественных. А здесь натурализм Дидро давал совершенно иной, чем в философии природы, результат.

Абстрактная природа человека порождала и человека совершенно абстрактного, неисторического или «надисторического», человека «как такового». Таким образом *абстрактный натурализм* приводил к не менее *абстрактному гуманизму*, который претендовал давать моральные предписания для всех времен, эпох и народов, а по существу ни для кого, так как был насквозь рационалистическим и *антиисторическим*. К понятию конкретного, исторического, классового человека Дидро не

подошел даже и отдаленно, как впрочем и любой его современник, и поэтому его этическое учение никак не может быть названо материалистическим.

Наряду с механическим и метафизическим характером французского материализма его идеализм в области понимания общественных явлений был установлен еще К. Марксом. При всей их «земной» настроенности *исторический идеализм* французских материалистов, и в том числе Дидро, есть факт несомненный. Ни до одной категории исторического материализма—производительные силы, производственные отношения, классы, классовые интересы, классовая борьба и т. д. и т. п.—XVIII век не дошел. Тем самым нельзя говорить в перспективе XVIII века об истории, как о науке. Исторические взгляды и концепции Дидро также не составляют в этом отношении исключения. Вопрос лишь в степени исторического идеализма Дидро.

Об идеалистическом содержании этики, этой индивидуальной политики, по воззрениям XVIII века, мы уже говорили выше. Несколько сложнее обстоит дело с политикой, этой, по воззрениям той же эпохи, социальной этикой.

В центре теоретического обоснования политики Дидро стоит единая *проблема нравов и законов*. Нравы, как добрые, так и дурные, зависят не от человека как такового и не от его идей, а от законов, законодательства, еще шире—политики, организации государства. Задача политики заключается в том, чтобы создать добрые нравы, так как именно добродетель, по учению Дидро, как мы уже видели, является основой общества. Говорят, что нравы дурны. Дидро соглашается с этим, но причиной дурных нравов является не человек, не те или иные идеи, а дурные законы, дурная политика.

Существует три кодекса законов, противоречащих друг другу: законы *религиозные*, законы *гражданские* и законы *природы*. Подчиняться им одновременно невозможно. Первый кодекс не нуждается в расшифровке своего содержания. Отношение к нему со стороны Дидро совер-

шенно ясно: кодекс религиозных законов, наносящий человечеству лишь вред, должен быть отброшен.

Под кодексом гражданских законов Дидро подразумевает современные ему законы абсолютистской Франции, законы абсолютной монархии. Этот второй кодекс необходимо, по мысли Дидро, изменить, преобразовать, привести в соответствие с третьим кодексом—природы, в котором нетрудно разгадать законы буржуазного общества и государства, идеологом каковых и является Дидро. Таким образом дурные нравы обязаны совместному действию законов религиозных и гражданских, в терминологии Дидро. Для того, чтобы нравы стали добрыми, эти законы должны уступить место кодексу природы, т. е. законам буржуазного общества.

Это, конечно, не историко-материалистическая точка зрения. Дидро не углубляет своего анализа хотя бы в этой проблеме до общественного базиса, но он и не останавливается, как этим ограничился бы обычный идеалист, на идеологической надстройке. Свой анализ Дидро доводит до политической надстройки и здесь хочет видеть последние причины общественных явлений.

При всей наивности этой точки зрения нельзя не усмотреть решительного *революционного* значения практических политических выводов Дидро в отношении современной ему государственной структуры Франции. Объективно это означало, что острие ударов французской революционной буржуазии было направлено на французскую абсолютную монархию в целях превращения ее в буржуазное, так называемое правовое государство.

Положительные политические взгляды Дидро мы уже видели. Пред лицом Франции своего времени он разделял политическую линию всех радикально-буржуазных энциклопедистов. Он был сторонником именно радикальной интерпретации теории естественного права и не был чужд весьма распространенной в то время идеи общественного договора. Монтескье был для него значительным авторитетом, хотя он и шел дальше либерального автора «Духа законов». Его конкретный политический идеал сво-



дился к глубокому проведению принципа разделения властей. Законодательную власть Дидро представлял в виде всеобщего национального законодательного корпуса, депутаты которого в любой момент могут быть отозваны своими избирателями. Менее четки его взгляды на исполнительную власть. Можно полагать, что он оставлял ее в руках монарха, но сам монарх оказывался не наследственным, а лишь пожизненно выборным главой государства, избираемым все тем же законодательным корпусом. Назовем ли мы такую форму правления «выборной представительной монархией» или «конституционного типа республикой» с пожизненным президентом,—этот политический идеал Дидро вполне укладывается в рамки буржуазной демократии умеренного типа, в понятие буржуазного государства.

Этические и этико-политические идеи Дидро находят свое выражение и в его эстетических воззрениях. Материалистическая установка мировоззрения в целом обуславливает то, что за основу прекрасного Дидро берет материальную природу и *реальную жизнь*. Все виды искусств, как некогда все «царства природы», он располагает в определенной иерархической последовательности в меру приближения их к жизни.

Каждый вид искусства имеет свои элементы, а эти элементы—свои законы. Элементом архитектуры, скульптуры и рисунка является *линия*; прямая линия—выражение неподвижности, волнистая—движения, перпендикулярная—устойчивости. Элементом живописи является *цвет*, краска; элементом музыки—*звук*.

Закон линий в архитектуре требует симметрии и пропорций. На пропорциях же основывается закон линий в скульптуре и рисунке. Законом цветов в живописи и звуков в музыке является гармония. В качестве образцов гармонии Дидро называет радугу и совершенный аккорд.

Наиболее удалена от природы и жизни архитектура, и поэтому у Дидро она занимает самое крайнее место на лестнице искусств. Подобно неорганической природе, откуда в большинстве случаев черпает архитектура свои

линии, она инертна, не живет, не имеет страстей, она лишь сообщает впечатление. В силу этого архитектура одинока и неподвижна.

В области натурфилософии Дидро придерживался правила: «природа не делает скачков». Этот же принцип он применяет и в своей эстетике. Следующим по пути к слиянию с жизнью видом искусства является скульптура. Но переходом от архитектуры к скульптуре, так сказать связующим звеном, является архитектура христианских храмов, осложненная уже скульптурными мотивами.

Скульптура ближе к жизни, так как главный ее объект—тело, которое является, по афоризму Дидро, «живой теоремой». Хотя скульптура сама еще тоже неподвижна, но она уже выражает движение, «приостановленное» движение, этот «вечный момент жизни». Скульптор воспроизводит лишь формы красоты. Художник же в этом отношении богаче скульптора, поскольку в его распоряжении—свет, этот «разум» вселенной. Верный своему принципу, Дидро ищет перехода от скульптуры к живописи и находит его в барельефах.

Живопись еще ближе к жизни, чем скульптура. Она владеет не только светом, но и цветами, красками, которыми способна передавать внутреннее состояние человека. Обладающий чувством гармонии художник может заставить свое полотно жить. Скульптор показывает только красоту, художник показывает красоту и истину.

Однако художник не в силах представить последовательность во времени. Этот новый момент дается музыкой, которая в этом отношении богаче живописи. Объект музыки—следование и борьба различных чувств. Музыка способна схватывать образы, тоны и ритмы человеческих аффектов и на материальном языке говорить о нематериальных вещах—о любви, ненависти, удовольствии, печали и т. п. Высшее проявление музыки—симфония.

Симфония составляет переход к художественной литературе, к поэзии, как к идеалу и венцу искусств. Художественная литература, поэзия в своих образах персонафицирует инстинкты и страсти. Поэзия включает в себя



Памятник Дидро в Лангре. С гравюры Ярошевича



элементы всех других искусств: у нее своя линия—*стиль*, своя гармония—*ритм*, свои цвета и краски—*образы*. Без образа нет художественной литературы, поэзии, как без красок нет живописи. Поэзия безгранична во времени, всемогуща; она—сама жизнь.

Задача искусств состоит в художественном воспроизведении природы и жизни. Но по Дидро одного воспроизведения мало. Здесь-то и выступают на сцену его этические и политические воззрения. Искусство должно дать художественное *воспроизведение жизни* и одновременно художественную *оценку* ее.

Требование вынесения приговора над явлениями жизни, как один из принципов искусства, обуславливает реализм художественных вкусов Дидро. Ложноклассический пафос героев аристократического искусства XVIII века вызывает у Дидро почти презрение. Ходульность, нарочитая превыспренность, так же как и манерность в искусстве, оставляют Дидро глубоко равнодушным или приводят к весьма отрицательной критике.

Цена в известной мере некоторые формальные достоинства живописи Буше, Дидро замечает в 1761 году: «Какие краски! Какое разнообразие! Какое богатство предметов и идей! У этого человека есть все, кроме истины... Где видели вы пастухов, одетых с такой элегантностью и роскошью?» В 1765 году он отзываясь о Буше более сурово: «Я не знаю, что сказать об этом человеке. Упадок вкуса, красок, композиции, характеров, выражения, рисунка следует шаг за шагом за порчей нравов». И Дидро метко сравнивает Буше в живописи с скабрёзным Кребильоном-сыном в литературе.

Еще более пренебрежительны его отзывы о менее талантливых художниках того же направления. По поводу «Язона и Медеи» К. Ван-Лоо он кратко замечает: «Театральная декорация со всей ее ложностью». В 1767 году Лягрэнэ выставил четыре художественных аллегии: дворянство шпаги, дворянство мантии, духовенство и третье сословие. Автор таким образом задался целью художественно представить важнейшие общественные элементы.

Дидро со всей серьезностью подошел к картинам, но суждение его оказалось весьма насмешливым. Особенно зло издевался он над наиболее близкой ему по сюжету четвертой картиной: «Третье сословие, или Земледелие и Торговля, которые приводят с собою Изобилие». Дидро писал: «Переведем эту композицию: вот Торговля, которая представляет Изобилие Земледелию. Какая галиматья! Эта же галиматья с равным успехом могла бы быть выражена Изобилием, представляющим Торговлю Земледелию, или Земледелием, представляющим Торговлю Изобилию. Словом, столько способов, сколько возможно сочетаний из трех фигур. Какая бедность! Какая нищета!»

«Предпочитайте,—обращался Дидро к художникам,—поскольку это для вас возможно,—реальные персонажи символическим существам». Но и от реальных персонажей требовал он прежде всего простоты и непосредственности. Манерность и жеманство были ненавистны для Дидро как в жизни, так и в искусстве. «Всякий персонаж,—писал он,—который как будто говорит вам: посмотрите, как я хорошо плачу, как я хорошо сержусь, как я хорошо страдаю,—фальшив и манерен».

Венера Медицейская потому и прекрасна, что естественна. Это—нагота, которую видят. Если же Венере Медицейской дать в руки гирлянду из цветов, надеть на нее шляпку и туфельки,—невинность и естественность ее сразу же исчезнут, она станет олицетворенным жеманством. Это будет нагота, которая себя показывает.

Руководствуясь указанными принципами, Дидро больше всех ценил трех современных ему художников: Шардена, Греза и Вернэ. Простота замысла, отсутствие всякой претенциозности и вместе с тем некий духовный аристократизм Шардена в особенности очаровывали Дидро. Натюрморты Шардена, его живые и жизненные домашние сцены у кухонного очага, его детские группы неизменно вызывали у Дидро высокие похвалы как по самим сюжетам, так и по формальному разрешению.

Равным образом Дидро высоко ценил пейзажи Вернэ; однако ему не нравились несколько мрачные краски ху-

дожника. Любитель света, Дидро заметил в 1761 году по поводу пейзажа Верне «При закате»: «Всегда большая работа, большое разнообразие, много таланта, но, рассматривая картину, охотно скажешь: до завтра, когда взойдет солнце!»

Любовь Дидро к Грезу на первый взгляд может показаться более странной. Грез со своими слащавыми головками, манерными, именно показывающими себя девочками, которые оплакивают мертвых птичек, изрядно фальшив и скрыто чувственен. Но, во-первых, не этими картинами привлекал Грез нашего критика, а во-вторых, ряд слабых сторон Греза неизменно отмечался в заметках о нем Дидро. Так, Дидро высмеивал утомительное однообразие персонажей Греза и критиковал надуманные линии в его картинах, искусственно располагавшие всех действующих лиц по диагонали или пирамидально («Паралитик», «Горячо любимая мать»).

Повторяем, не это привлекало Дидро. Ему нравилось в Грезе художественное воспевание и прославление семейных и иных буржуазных и мелкобуржуазных добродетелей. Конечно, такие известные картины Греза, как «Паралитик», «Горячо любимая мать», «Деревенские новобрачные», представляются нам теперь сентиментальными, мелодраматическими и слишком отдающими прописной буржуазной моралью, но нужно мысленно перенестись в XVIII век, и тогда жанр Греза предстанет перед нами во всей своей классовой направленности против аристократического искусства господствовавших классов.

Именно своей *буржуазной моралью* и добродетельностью привлекала Дидро живопись Греза. По поводу картины «Паралитик» (полное ее название таково: «Уход семьи за отцом-паралитиком, или плоды хорошего воспитания») он писал: «Прежде всего мне нравится жанр: это *моральная живопись*. Разве кисть не была посвящена больше чем достаточно разврату и пороку? Не должны ли мы быть удовлетворены зрелищем, когда она, наконец, соперничает с драматической поэзией в отношении трогательности, нашего просвещения, исправления,

призывов к добродетели. Бодришь, мой друг Грез, представляй мораль в живописи, пиши всегда, как сейчас».

Гримму Дидро как-то писал, что Грез «первый среди нас решил в искусстве перейти к нравам и представить ряд событий, по которым легко было бы написать роман». В том-то и дело, что Грез, сын кровельщика, был в живописи тем же, чем Дидро, сын ножевщика, в литературе.

Грез ввел во французскую живопись ту добропорядочную и добродетельную буржуазную мораль, которую сам Дидро вынес на сцену в своих «мещанских драмах». Земные, повседневно встречаемые «Чадолобивые отцы» и «Побочные сыновья» Дидро, как новые персонажи драматургии, упорно и настойчиво пробираются на сцену и здесь затевают борьбу с аристократическими богами и полубогами, царями и героями и вытесняют их. И главное—эти новые неказистые и невзрачные герои-парвеню приходят в литературу не только со своими привычками, замашками, бытом, со своими маленькими радостями и огорчениями, но и со своей идеологией, со своими идеалами, чаяниями и стремлениями, глубоко чуждыми и враждебными идеологии аристократии.

Больше того, вводящий их в литературу Дидро представляет их в привлекательном свете, навязывает их мораль и идеалы многочисленным зрителям и читателям. Он, наконец, требует этого и от других авторов и художников, от литературы и искусства в целом.

Нравы, по Дидро,—мы видели это,—зависят от законодательства, от конструкции государства. Но пока законы и государство остаются старыми, и, стало быть, нравы—дурными, исправлению нравов должно служить искусство. И Дидро заявляет, что «всякое произведение скульптуры или живописи должно быть выражением великой максимы—уроком для зрителя, иначе оно будет немым».

Всякое произведение художественной литературы и изобразительного искусства, по мысли Дидро, не может молчать, оно должно быть не только содержательным, но и идейно насыщенным, должно высказывать свое су-



ждение по поводу запечатленного в нем явления или события, должно в художественной форме вынести над ним свой *приговор*.

Основные тенденции идейного насыщения литературы и искусства совершенно явственно прощупываются у Дидро. В пятидесятых и шестидесятых годах это—главным образом бытовые, семейные добродетели буржуазии; в семидесятых годах это—*гражданские и политические добродетели*. Слезливо-сентиментальное содержание уступает место содержанию, проникнутому гражданским пафосом, и если в поисках образцов вновь устремляются к античности, то из глубины веков встают на этот раз образы уже не полубогов и царей, а Горацийев и Брутов. Буржуазная идеология гражданского мира сменяется идеологией гражданской войны, и Дидро слабеющими глазами в 1781 году любовно отмечает молодой талант Давида.

\* \* \*

Так в одной личности Дидро находят свое едва ли не наиболее талантливое выражение философские, этические и эстетические воззрения революционной французской буржуазии в предреволюционную эпоху.

Судьбы Дидро в литературе и истории являются как бы зеркалом всего развития буржуазного общества за полтора столетия, с его восходом и закатом. Менялись персонально враги и друзья Дидро, но классовые их позиции метко и неизменно определяли их отношение к самому Дидро и к его литературному наследству.

Мы видели уже отношение к Дидро его современников. Лучшие представители третьего сословия и буржуазии в собственном смысле слова видели в нем своего идейного вождя, они шли за ним, как личные друзья, как сотрудники «Энциклопедии», как многочисленные читатели; они сохранили в своих воспоминаниях лучшие о нем отзывы. Таковы, например, Мармонтель и Морелле, сами не бывшие ни материалистами, ни атеистами. Прижизненных врагов своих перечислял когда-то сам Дидро. Это

были персонифицированные силы «фанатизма и тирании» и их литературные прихлебатели вроде какого-нибудь Паллссо, автора пасквиля на энциклопедистов под названием «Философы».

Когда отзвучали громы буржуазной революции 1789 года и воцарилась политическая и идейная реакция, реакционные силы, в известной мере правильно, объявили энциклопедистов и прежде всего Дидро—виновниками революции. В нем видели проповедника безбожия, разврата и анархии. Таков непримиримый иезуит аббат Жоржель, к которому близко подошел и ренегат Лагарп. Мужественно защищал память Дидро едва ли не один Нэжон, ученик и друг покойного писателя.

С упрочением капиталистического общества буржуазия с своей точки зрения начинает отдавать должное тому, кто всю жизнь боролся с дворянством и духовенством за буржуазные порядки. В нем видят борца против феодализма, признают его заслуги как политического мыслителя. В особенности подробно и с сочувствием останавливаются на его культурной работе, на его эстетических воззрениях.

Но к этому времени буржуазия уже полностью сдает свои некогда материалистические и атеистические позиции. Поэтому буржуазные ученые различных стран тратят много сил на то, чтобы объяснить соответствующие взгляды Дидро и извинить его за эти взгляды. В той или иной степени это проявляется в таких лучших буржуазных работах о Дидро, как француза Берсо (1851), немца Розенкранца (1866), англичанина Морлея (1878). Переходом к ним служит еще почти ненавидящий Дидро англичанин Карлейль (1832) и француз Дамирон (1858).

Работы буржуазных ученых последней четверти XIX века содержат в себе еще одну характерную черточку. В этих работах, конечно, нет уже старых «личных» приязненных или неприязненных точек зрения на Дидро, какие могли иметь место у современников или непосредственных потомков. Роль Дидро в обосновании всех сторон буржуазного общества уже констатируется как всем

известный факт. Со вниманием выискиваются моменты, в которых Дидро предвосхитил ту или иную научную идею XIX века (Каро об идее трансформизма у Дидро). Но, повторяем, при всем этом появляется еще одна черточка: окончательно ставшая идеалистической, и притом воинственно-идеалистической, буржуазная наука не может примириться с материализмом и атеизмом Дидро, и поэтому ставится вопрос: да был ли вообще сам Дидро, этот признанный буржуазный гений, материалистом и атеистом? Тот же Каро (1879) и Жанэ (1881) пытаются доказать, что по крайней мере на склоне лет Дидро вернулся к идеализму, а Думик (1902) хочет свалить вину за атеизм Дидро на Нэжсона, который якобы «подправлял» в этом духе рукописи Дидро. Наиболее объективной в этом отношении работой является книжка Колиньюна (1875).

Буржуазная литература самого конца XIX века и начала XX века не вносит чего-либо нового в отношении Дидро. Публикуются кое-какие еще неизвестные рукописи мыслителя, вскрываются новые детали биографии и творчества, но в общем царит бесстрастное пережевывание уже давно высказанных точек зрения; таковы Дюжро (1894) и Рейнак (1894), такова в целом юбилейная литература 1913 года. В этой последней запоздалым историческим анекдотом выглядит книжка аббата Марселя, который в год юбилея Дени Дидро и в противовес ему выпустил книгу о Дидье Дидро, брате философа и правоверном канонике Лангрского собора. Эта книга должна была, по мысли ее духовного автора, отрезвить читателей и, отвернув очи их от безбожного Дени, направить их по стезе благочестивого Дидье.

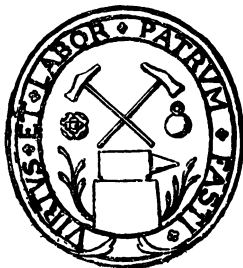
Иначе, само собою разумеется, подходит к наследству Дидро современный пролетариат. Для него это—часть общей проблемы освоения культурного наследства прошлых эпох. Само собою разумеется, нет и не может быть речи для «лозунгов» вроде «Назад к Дидро!» или «Вперед с Дидро!», какие не раз выставляла духовно обнищавшая и эпигонствующая буржуазия в отношении своих сильных духом и идеями предков.

К эпохе империализма и пролетарской революции устарели, да и не могли не устареть научные воззрения Дидро. Его этическая и политическая концепции локализованы пространственно и ограничены во времени, нося на себе яркие следы современной ему эпохи. Его эстетические теории, художественные и литературные вкусы не могут ныне служить отправным пунктом для развития пролетарского искусства.

Однако в идейном наследстве Дидро имеется много свежих черт, сохраняющих значение и заслуживающих внимания и по сей день. Его последовательный для своего времени *философский материализм*, его боевой и остроумный *атеизм*, его прочно укрепленный *реализм в искусстве*, наконец его вечная *борьба* и стремление вперед, его кипучая и неутомимая натура роднят его с современным пролетариатом, ведущим борьбу за новое социалистическое общество и уже строящим его на одной шестой части земного шара.

Дидро весь в истории, и в исторической перспективе следует рассматривать его дело, но из этой глубины истории тянутся от Дидро философские и культурные нити, и тянутся они не к современной загнивающей буржуазии, а к *революционному пролетариату*, который единственно способен оценить по достоинству великого писателя.

И. Лушпол



**ФИЛОСОФСКИЕ МЫСЛИ.  
ПРИБАВЛЕНИЕ К ФИЛОСОФСКИМ МЫСЛЯМ.  
ПРОГУЛКА СКЕПТИКА ИЛИ АЛЛЕИ.**

## Философские мысли

Quis leget haec?\*

*Я пишу о боге; я рассчитываю на немногих читателей и не ищу признания толпы. Если эти мысли не угодят никому, значит, они наверное плохи; но они будут в моих глазах презренны, если угодят всем.*

### I

Всегда и всюду ополчаются против страстей; на них возлагают ответственность за все мучения человека, забывая, что они же являются источником всех его удовольствий. Они составляют элемент человеческой натуры, оценку которого нельзя преувеличить ни в хорошую, ни в дурную сторону. Но я не могу видеть без досады, что их всегда рассматривают именно с дурной стороны. Точно боятся оскорбить разум, произнеся хотя бы одно слово в пользу его соперниц; а между тем только страсти, и только великие страсти могут поднять душу до великих дел. Без них конец всему возвышенному как в нравственной жизни, так и в творчестве; изящные искусства воз-

\* Кто станет это читать? (Персий, *Сатира I*, ст. 2).

вращаются без них в младенческое состояние, добродетель становится педантичной.

## II

Умеренные страсти—удел заурядных людей. Если я не устремлюсь на врага, когда дело идет о спасении моей родины, я не гражданин, а обыватель. Моя дружба слишком осмотровительна, если опасность моего друга не заставляет меня забыть о моей собственной опасности. Если жизнь мне дороже, чем любимая женщина, я такой же любовник, как и все прочие.

## III

Подавленные страсти низводят выдающихся людей с их высоты. Принуждение уничтожает величие и энергию природы. Взгляните на это дерево: только роскоши его листья обязаны вы прохладой и густотой его тени, и вы будете наслаждаться ею, пока зима не сорвет с него его пышный убор. Все высокое исчезнет из поэзии, из живописи, из музыки, когда суеверные страхи уничтожат юношескую свежесть темперамента.

## IV

Значит, было бы счастьем, скажут мне, обладать сильными страстями. Да, конечно, если только все они в согласии между собой. Водворите между ними истинную гармонию, и вы можете быть спокойны. Если надежда будет уравновешиваться страхом, чувство чести—любовью к жизни, склонность к наслаждениям—заботой о здоровье, то не будет ни распутников, ни безрассудных смельчаков, ни трусов.

## V

Верх безумия—ставить себе целью разрушение страстей. Как хорош этот богомольный святоша, который выбивается из последних сил, чтобы ничего не желать, ничего не любить, ничего не чувствовать, и который сделался бы под конец настоящим чудиком, если бы преуспел в своем начинании!

## VI

То, что я уважаю в одном человеке, могу ли я презирать в другом? Разумеется, нет. Истина, независимая от моих прихотей, должна быть правилом для моих суждений; и я не стану одному вменять в преступление то, чем я восхищаюсь, как добродетелью, в другом. Поверю ли я, что лишь некоторым дано совершать воистину праведные дела, которые природой и религией должны предписываться всем без различия? Или в каком случае: откуда взялась бы для них эта исключительная привилегия? Если Пахомий<sup>1</sup> поступил праведно, порвав с людьми и похоронив себя в пустыне, то мне не запрещено подражать ему; подражая ему, я буду столь же добродетелен, как он; и я не вижу, почему бы сотни других людей не имели права делать то же самое, что я. Но представьте себе целую область, жители которой из страха перед опасностями общественной жизни бежали в леса: они живут там, как дикие звери, думая сподобиться этим святости; на развалинах всех общественных влечений возносятся тысячи столпов; новое племя столпников<sup>2</sup> из религиозной ревности выгравляет в себе все естественные чувства, люди перестают быть людьми и превращаются в истуканов, желая стать истинными христианами!

## VII

Что это за голоса? Что за вопли и воздыханья? Кто заточил в эти темницы все эти стонающие трупы? Какие преступления совершены этими несчастными? Одни бьют себя камнями в грудь; другие раздирают себе тело железными когтями; у всех в глазах раскаяние, скорбь и смерть. Кто осудил их на эти муки?.. *Бог, которого они оскорбили...* Каков же этот бог? Он—бог, исполненный *благодати...* Значит, исполненный благодати бог любит утопать в слезах! Эти вопли ужаса не прямое ли надругательство над его милосердием? Если бы преступники захотели смягчить ярость тирана, могли ли бы они действовать иначе?



## VIII

Есть люди, которые не то что боятся бога, а трусят перед ним.

## IX

Слыша, как изображают верховное существо, слыша о его гневливости, о суровости его мести, слыша известные сравнения, выражающие численное соотношение между теми, кого он обрекает на гибель, и теми, кого удостоивает своей помощи, самая честная душа была бы готова пожелать, чтобы такого существа никогда не было. Люди жили бы довольно спокойно в этом мире, если бы были вполне уверены, что им нечего бояться в другом; мысль, что бога нет, не испугала еще никого, но скольких ужасала мысль, что существует такой бог, какого мне изображают.

## X

Не следует воображать себе бога ни слишком добрым, ни слишком злым. Справедливость находится посередине между избытком милосердия и жестокостью, как временные кары—между безнаказанностью и вечным наказанием.

## XI

Я знаю, что мрачные представления суеверия чаще признаются на словах, чем на деле; что есть набожные люди, которые не считают нужным жестоко ненавидеть себя, чтобы воистину любить бога, и предаваться отчаянию, чтобы выполнить заветы религии: их набожность жизнерадостна, их мудрость глубоко человечна,—но откуда разногласия между людьми, которые преклоняют колени у подножья одних и тех же алтарей? Неужели и благочестие повинуется законам проклятого темперамента? Увы! Можно ли это оспаривать? Влияние темперамента сказывается слишком явственно на одном и том же верующем: в зависимости от своего настроения он видит перед собой то бога мести, то бога милосердия, то ад,

то разверстые небеса, он дрожит от ужаса или сгорает от любви; это настоящая лихорадка, с подъемами и падениями температуры.

## XII

Да, я утверждаю это, суеверие более оскорбительно для бога, чем атеизм. «Я предпочел бы, говорит Плутарх<sup>3</sup>, чтобы думали, что Плутарха вовсе не было на свете, чем чтобы считали его несправедливым, гневным, непостоянным, ревнивым, мстительным—словом, таким, каким он ни за что не хотел бы быть».

## XIII

Только деист<sup>4</sup> может выдержать натиск атеиста. Суевер слишком слаб для этого. Его бог существует только в воображении. Кроме действительных трудностей предмета, он бессилен и перед всеми теми, которые происходят из ложности его собственных понятий. Какой-нибудь К.<sup>5</sup> или Ш.<sup>6</sup> были бы в тысячу раз опаснее для Ванини<sup>7</sup>, чем Николи<sup>8</sup> и Паскали<sup>9</sup> всего мира.

## XIV

У Паскаля была честность; но он был боязлив и легковверен. Изящный писатель и глубокий ум, он наверное пролил бы свет на тайны мироздания, если бы провидение не отдало его в руки людей, которые принесли его талант в жертву своей злобе. Как было бы хорошо, если бы он предоставил богословам своего времени вцепляться друг другу в волосы, а сам занялся бы разысканием истины без оглядки и без страха оскорбить бога, используя все силы ума, который он получил от него,—и, главное, если бы он отказался считать своими учителями людей, которые были недостойны быть его учениками! К нему вполне применимо то, что остроумный Ламот<sup>10</sup> сказал о Лафонтене<sup>11</sup>: он был достаточно глуп, чтобы считать Арно<sup>12</sup>, де Сасси<sup>13</sup> и Николя более значительными людьми, чем он сам.

## XV

Я говорю вам, что никакого бога нет; что сотворение мира—пустая фантазия; что вечность вселенной не более затруднительна для мысли, чем вечность духа; что из-за моей неспособности постигнуть, как могло движение породить этот мир, который оно так превосходно сохраняет, было бы смешно предполагать, ради устранения этой трудности, бытие существа, которое для меня точно так же непостижимо; что если чудеса мира физического обнаруживают некий ум, то безобразия в нравственном мире уничтожают всякое провидение. Я говорю вам, что если все создано богом, то все должно обладать наибольшим совершенством, какое только возможно; ибо если не все обладает наибольшим возможным совершенством, значит, в боге есть бессилные или злая воля. Вот пункт, в котором для меня остается неясным вопрос о его существовании; а раз так, то много ли помогут мне ваши разъяснения? Если бы даже было доказано (чего на самом деле нет), что всякое зло служит источником какого-нибудь блага, что ко благу привела гибель Британника<sup>14</sup>, лучшего из государей, и власть Нерона<sup>15</sup>, негоднейшего из людей,—то как доказать, что нельзя было достигнуть той же цели, не прибегая к тем же средствам? Допускать пороки, чтобы усилить блеск добродетелей, это значит компенсировать очень легковесным преимуществом весьма тяжелое бедствие. «Таковы,—говорит атеист,—мои возражения; что вы можете мне ответить? *Что я преступник и что если бы мне нечего было бояться бога, то я не стал бы отрицать его существование?*» Оставим эту фразу красноречивой; она, может быть, нарушает правду, она воспрещается светскими приличиями и не свидетельствует о большой любви. Если человек ошибается, не веруя в бога, то дает ли нам это право оскорблять его? К личным выгодам прибегает лишь тот, кто не находит доказательств. Можно любиться об заклад, что из двух спорящих рассердится тот, кто неправ. Ты хватаешься за свой

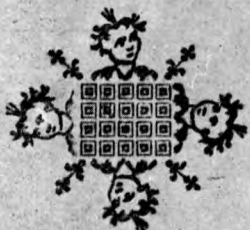
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Библиотека

ЛЕНИНГРАДА

# PENSÉES PHILOSOPHIQUES.

*Piscis hic non est omnium.*



15 - XIII

9  
5573

A LA HAYE,  
Aux depens de la Compagnie.

---

M. DCC. XLVI.

перун, вместо того, чтобы ответить,—сказал Менипп<sup>16</sup> Юпитеру,—так значит, ты неправ.

## XVI

Одного человека как-то спросили, существуют ли настоящие атеисты. Думаете ли вы, ответил он, что существуют настоящие христиане?

## XVII

Все ухищрения метафизики не стбят одного аргумента *ad hominem*. Чтобы убедить, иногда бывает достаточно вызвать ощущение—физическое или моральное. С помощью палки было доказано одному пирронисту<sup>17</sup>, что он ошибается, отрицая существование палки. Картуш<sup>18</sup> мог бы, взяв в руку пистолет, преподать Гоббсу<sup>19</sup> такой урок: «Кошелек или жизнь! мы здесь одни, я сильнее тебя, и между нами не может быть речи о какой-то справедливости».

## XVIII

Не рукою метафизики нанесены атеизму тягчайшие удары. Возвышенные размышления Мальбранша<sup>20</sup> и Декарта<sup>21</sup> были менее способны поколебать материализм, чем одно наблюдение Мальпиги<sup>22</sup>. Если опасная материалистическая гипотеза подорвана в наши дни, то мы обязаны этим экспериментальному естествознанию. Только в произведениях Ньютона<sup>23</sup>, Мушенброка<sup>24</sup>, Гартсукера<sup>25</sup> и Ньюентитта<sup>26</sup> были найдены данные, убедительно доказывающие бытие всемогущего существа. Благодаря трудам этих великих людей мир уже не бог, а машина со всеми принадлежностями машины—с колесами, веревками, шкивами, пружинами и гириями.

## XIX

Тонкости онтологии породили, в крайнем случае, скептиков; на долю естествознания выпало создать настоящих деистов. Открытия зародышей было уже достаточно, чтобы развеять один из сильнейших доводов атеизма. Все равно,

есть ли движение существенное или случайное свойство материи, я убежден теперь, что его действие ограничивается только процессами разворачивания: все наблюдения согласно свидетельствуют о том, что гниение само по себе не в состоянии произвести ничего организованного. Я могу допустить, что механизм самого ничтожного насекомого не менее чудесен, чем механизм человека,—и мне нечего опасаться при этом вывода, что раз внутреннее движение молекул способно породить первый механизм, то оно, вероятно, породило и второй. Если бы какой-нибудь атеист заявил двести лет назад, что, может быть, люди будут когда-нибудь выходить из недр земли вполне сложившимися, как на наших глазах рой насекомых высыпает из куска нагретого мяса,—то посмотрел бы я, что ответил бы ему на это метафизик<sup>27</sup>.

## XX

Тщетно прибегал я в споре с одним атеистом ко всем тонкостям школьной философии; из слабости этих рассуждений он даже извлек довольно сильный довод в свою пользу. Множество бесполезных истин доказано мне непререкаемо,—сказал он,—а существование бога, реальность нравственного добра и зла, бессмертие души все еще остаются для меня под вопросом. Так неужели же для меня менее важно знать истину об этих предметах, чем быть уверенным, что три угла в треугольнике равны двум прямым? И после того как он с искусством ловкого красноречива заставил меня испить до дна всю горечь этого соображения, я вдруг обрушился на него со встречным вопросом, который должен был показаться странным человеку, упоенному своим первым успехом.—Вы мыслящее существо?—спросил я его.—Неужели вы могли бы в этом усомниться?—ответил он с самодовольным видом.—Почему же нет?—какие наблюдаемые мною факты должны убедить меня в этом?.. Звуки и движения?.. Но философ наблюдает их и в животном, за которым он однако отрицает способность мыслить; почему же я должен признать за вами то, в чем Декарт отказывает муравью? Вы производите

во-вне действия, которые мне кажутся осмысленными, и я уже был бы готов утверждать, что вы действительно мыслите; но разум приостанавливает мое суждение. Между внешними действиями и мыслью нет никакой существенной связи, говорит он мне; возможно, что твой противник мыслит не больше, чем его часы; допустимо ли считать мыслящим существом первое попавшееся животное, которое выучили говорить? Кто открыл тебе, что все люди не такие же попугаи, обученные без твоего ведома?..—Это сравнение, в лучшем случае, остроумно,—ответил мне мой собеседник;—ведь не по движениям и звукам, а по сцеплению идей, по логической последовательности фраз и связности рассуждений должно заключать, что данное существо мыслит; если бы нашелся попугай, отвечающий на все вопросы, я заявил бы без малейших колебаний, что он мыслящее существо... Но какое отношение имеет этот вопрос к существованию бога? Пусть даже вы мне доказали, что человек, в котором я наблюдаю наивысшие проявления ума, есть всего лишь автомат,—заставит ли меня это склониться к признанию высшего разума в природе?..—Это уже мое дело,—возразил я;—но согласитесь, что было бы безумием отказывать своему ближнему в способности мыслить.—Разумеется; но что отсюда следует?.. Отсюда следует, что если вселенная... да что вселенная! если крылышко бабочки носит на себе следы разума в тысячу раз более ясные, чем имеющиеся у вас свидетельства, что ваш ближний одарен способностью мыслить, то отрицать существование бога было бы в тысячу раз безрассуднее, чем отрицать, что ваш ближний мыслит<sup>28</sup>. Я апеллирую к вашему разуму, к вашему сознанию: случалось ли вам заметить, чтобы в рассуждениях, действиях и поведении какого бы то ни было человека заключалось больше разумности, порядка, проницательности и последовательности, чем в механизме какого-нибудь насекомого? Не отпечатлено ли божество столь же ясно в глазу какого-нибудь клеща, как способность мысли в творениях великого Ньютона? Как? Неужели реальный мир обнаруживает меньше разумности, чем мир,

объясненный человеком?.. <sup>29</sup> Странное утверждение!.. Но—возражаете вы—я так легко допускаю способность мыслить в другом, потому что я мыслю сам...—Этой горделивой уверенности, скажу прямо, у меня нет: но не вознаграждает ли меня с избытком превосходство моих доказательств над вашими? Разумность первого существа не доказана ли мне убедительнее в природе ее созданиями, чем способность мыслить в каком-нибудь философе его сочинениями? И обратите внимание, что я выдвинул против вас только крылышко бабочки, только глаз клебца; а ведь я мог бы раздавить вас всею тяжестью вселенной. Либо я очень сильно заблуждаюсь, либо это доказательство имеет больше цены, чем лучший из аргументов школьной философии. На этом рассуждении и некоторых других, отличающихся такой же простотой, основывается моя уверенность в существовании бога, а не на хитрой ткани сухих метафизических идей, способных не столько раскрыть истину, сколько придать ей видимость лжи.

## XXI

Я раскрываю тетрадь одного знаменитого профессора <sup>30</sup> и читаю: «Атеисты, я соглашаюсь с вами, что движение есть существенное свойство материи; но что же вы заключаете отсюда—что мир возник из случайного нагромождения атомов? С таким же правом вы могли бы мне сказать, что *Илиада* Гомера <sup>31</sup> или *Генриада* Вольтера <sup>32</sup> есть результат случайного нагромождения букв». Я не решился бы выступать с таким аргументом против атеиста: это сравнение было бы ему только на-руку. Согласно законам теории вероятностей,—возразил бы он мне,—я отнюдь не должен удивляться, что некоторая комбинация осуществляется, раз она возможна и раз трудность ее наступления компенсируется количеством бросаний. При определенном числе ходов я мог бы с благоприятными шансами побиться об заклад, что выкину сразу сто тысяч шестерок, бросив сто тысяч костей. Каково бы ни было конечное число букв, случайным выбрасыванием которых мне предложили бы воссоздать Или-



аду, при некотором конечном числе бросаний шансы на успешный результат были бы для меня благоприятны; и они сделались бы даже бесконечно благоприятными. Если бы предоставленное мне число бросаний было бесконечно. Вы были готовы согласиться со мной,—продолжал бы мой атеист,—что материя существует от века и что движение неотделимо от нее. Чтобы ответить вам такой же любезностью, я предположу вместе с вами, что мир не имеет границ; что множество атомов бесконечно и что изумляющий вас порядок вселенной не нарушается нигде. Из этих взаимных уступок следует только то, что возможность случайного образования вселенной крайне мала, но что число бросаний бесконечно, так что трудность наступления обсуждаемого события с избытком компенсируется количеством бросаний<sup>33</sup>. Значит, если что противно разуму, так это мысль, что при вечном движении материи и при вероятном наличии бесконечного числа изумительно стройных сочетаний внутри бесконечной совокупности всех возможных комбинаций,—что при таких условиях ни одно из этих изумительных сочетаний не встретилось среди бесконечного множества тех, в которые последовательно складывалась материя. И, значит, ум должен больше поражаться предполагаемой длительности хаоса, чем физическому возникновению вселенной.

## XXII

Я разделяю атеистов на три группы: одни—их мало—прямо заявляют вам, что бога нет, и действительно так думают: это—*настоящие атеисты*; другие—их довольно много—не знают, что думать об этом вопросе, и охотно бы решили его жребием: это—*скептические атеисты*; третьи—и их гораздо больше—хотели бы, чтобы бога не было, прикидываются убежденными в его небытии и живут так, как если бы они действительно были в этом убеждены: это—*фанфароны атеизма*. Я ненавижу фанфаронов: они лжецы; я жалею настоящих атеистов: мне кажется, что для них нет утешения; и я *молю бога* за скептиков: они не просвещены светом знания.

## XXIII

Деист утверждает бытие бога, бессмертие души и все, что с этим связано; скептик не имеет твердого мнения об этих предметах; атеист отрицает их. Стало быть, у скептика больше мотивов для добродетельной жизни, чем у атеиста, и меньше, чем у деиста. Без страха перед законом, без соответствующего темперамента и без знания выгод, которые приносит добродетель, честность атеиста была бы лишена основы, а честность скептика имела бы своим основанием *авось*.

## XXIV

Скептицизм не всякому по плечу. Он предполагает глубокое и бескорыстное исследование; кто сомневается по тому лишь, что не знает оснований утверждаемого, тот простой невежда. Настоящий скептик тот, кто подсчитал и взвесил основания. Но не так-то легко взвесить основания за и против. Кто из нас может оценить их вполне точно? Пусть будет представлено сто доказательств одной и той же истины—каждое найдет своего сторонника. У каждого ума свой собственный телескоп. Мне кажется колоссальным возражение, которое на ваш взгляд бесконечно мало; вы находите легковесным аргумент, который меня подавляет. Если мы не единодушны в абсолютной оценке, то сговоримся ли насчет относительного веса? Скажите, сколько нужно моральных доказательств, чтобы уравновесить одно метафизическое заключение? Мои ли очки грешат против правды или ваши? Но если так трудно взвесить аргументы, если нет ни одного вопроса, в котором их нельзя было бы привести за или против, и притом почти всегда в одинаковом количестве, то почему наши решения так быстры? Откуда у нас этот самоуверенный тон? Не убеждались ли мы сотни раз, что догматическое самодовольство вызывает возмущение? «Я начинаю отвергать правдоподобные вещи,—говорит автор *Опытов* (кн. III, гл. XI)<sup>34</sup>,—когда мне их преподносят, как несомненные; я люблю слова, умеряющие

дерзость наших утверждений: *пожалуй, отчасти, говорят, я думаю* и т. д. И если бы мне пришлось воспитывать детей, я так часто влагал бы им в уста вопрошающую, а не категорическую форму ответа—*что это значит? не понимаю, может быть, так ли?*—что они скорее сохранили бы вид учеников в шестьдесят лет, чем изображали бы профессоров в десять, как они это делают теперь».

## XXV

Что такое бог? Вот вопрос, который задают детям и на который не легко ответить философам.

Все знают, в каком возрасте надо учить ребенка читать, петь, танцевать, в каком—преподавать ему латынь и геометрию. Только в религиозной области не считаются с его развитием; едва он начнет понимать, как его уже спрашивают: что такое бог? В одно и то же мгновение и из одних и тех же уст он узнает, что существуют домовые, привидения, лешие и бог. С одной из важнейших истин его знакомят таким способом, который в будущем легко сумеет опорочить ее перед судилищем его разума. В самом деле, будет ли удивительно, если увидав в возрасте двадцати лет, что вера в бытие бога смешана в его голове с кучей нелепых предрассудков, он не захочет признать ее и отнесется к ней так же, как наши судьи относятся к честному человеку, случайно замешавшемуся в толпу мошенников.

## XXVI

Нам слишком рано начинают говорить о боге; плохо также, что недостаточно настаивают на его наличии. Люди изгнали божество из своей среды; они заточили его в святилище; стенами храма замыкается место, где его можно видеть, за их пределами оно не существует. Безумцы! разрушьте эти ограды, которые суживают ваши мысли; освободите бога; зрите его повсюду, где он есть, или прямо говорите, что его нету. Если бы мне пришлось воспитывать ребенка, я сделал бы для него присутствие

божества настолько реальным, что ему, может быть, было бы легче стать атеистом, чем забыть о боге по рассеянности. Вместо того, чтобы указывать ему на пример другого человека, который, как он знает, в некоторых отношениях хуже его, я оборвал бы его словами: *бог тебя слышит, а ты лжешь*. На молодой ум надо действовать чувственными впечатлениями. Поэтому я умножил бы вокруг него знаки, свидетельствующие о присутствии божества. Когда бы, например, у меня собирались гости, я оставлял бы особое место для бога и приучил бы моего питомца говорить: нас было четверо—бог, мой друг, мой воспитатель и я.

## XXVII

Невежество и *беспечность*—очень мягкие подушки; но чтобы почувствовать их мягкость, надо иметь *такую же хорошую голову*, какая была у Монтэня<sup>35</sup>.

## XXVIII

Люди с кипучим умом и с пылким воображением не могут помириться с равнодушием скептика. Они скорее предпочтут выбрать на авось, чем отказаться от всякого выбора, предпочтут заблуждение неуверенности. Не доверяют ли они силе своих мышц, или боятся глубины вод, но они всегда хватаются за какую-нибудь ветку, отлично сознавая всю ее слабость: они скорее готовы повиснуть на этой ветке, чем погрузиться в пучину. Они утверждают все, не подвергнув ничего тщательному исследованию; они не сомневаются ни в чем, потому что у них нехватает на это ни терпения, ни смелости. Все вопросы они решают по наитию, и если случайно набредают на истину, то не ощупью, а внезапно и как бы по откровению. Среди догматиков это те, кого набожные люди зовут иллюминатами<sup>36</sup>. Я знавал представителей этой беспокойной породы, не понимавших, как можно сочетать спокойствие духа с неуверенностью.—Можно ли быть счастливым, не зная, кто ты, откуда пришел, куда идешь, для чего существуешь! Я горжусь тем, что не

знаю всего этого, не будучи оттого несчастлив, —хладнокровно отвечает скептик;—не моя вина, что мой разум безмолвствовал, когда я вопрошал его о моей участи. Всю мою жизнь я буду находиться, нисколько не печалась, в неведении насчет того, что я не в силах знать. Стоит ли скорбеть об отсутствии знаний, которых я не мог приобрести и которые, наверное, уже не так необходимы мне, раз я лишен их? С таким же основанием, сказал один из гениальнейших умов нашего века<sup>37</sup>, я мог бы огорчаться, что у меня нет четырех глаз, четырех ног и двух крыльев.

### XXIX · ✓

Я обязан искать истину, но не обязан найти ее. Разве не может какой-нибудь софизм поразить меня сильнее серьезного доказательства? Я вынужден согласиться с ложью, которую принимаю за истину, и отвергнуть истину, которую принимаю за ложь,—но чего мне бояться, если мое заблуждение невинно? Человека не вознаграждают на том свете за ум, которым он блистал на земле; неужели же он будет наказан за отсутствие ума? Осудить человека за плохую логику значит позабыть, что он глуп, и отнести к нему, как к злодею.

### XXX

Что такое скептик? Это—философ, который усомнился во всем, во что он верит, и который верит в то, к чему он пришел с помощью законного употребления своего разума и своих органов чувств. Вам угодно более точное определение? Пусть пирронист станет искренним, и перед вами будет скептик.

### XXXI

То, что никогда не подвергалось сомнению, не может считаться доказанным. То, что не было исследовано беспристрастно, никогда не подвергалось исследованию. Стало быть, скептицизм есть первый шаг к истине. Он должен распространяться на все, потому что он—пробный

камень истины. Если философ, чтобы удостовериться в бытии бога, начинает с сомнения в нем, то существует ли хоть одно предположение, которое могло бы избежать этого испытания?

## XXXII

Неверие бывает иногда пороком глупца, а легковерие—недостатком умного человека. Умный человек видит перед собой неизмеримую область возможного, глупец же считает возможным только то, что есть. Вследствие этого один может сделаться слишком робким, а другой слишком смелым.

## XXXIII

Верить слишком много так же рискованно, как верить слишком мало. Быть политеистом<sup>38</sup> не более и не менее опасно чем быть атеистом; и только скептицизм может охранить, всегда и повсюду, от этих двух противоположных крайностей.

## XXXIV

Полускептицизм есть признак слабого ума; он изобличает слишком робкого мыслителя, который пугается собственных выводов,—суевера, который думает почтить своего бога тем, что налагает оковы на свой разум,—человека, который не умеет верить и который боится снять маску перед самим собой. Ибо если истина ничего не может потерять от исследования, как в этом убежден полускептик, то что он думает в глубине своей души о тех привилегированных понятиях, которых он не решается подвергнуть разбору и которые находятся в особом уголку его мозга, как в недоступном святилище?

## XXXV

Со всех сторон несутся вопли о нечестии. Христианина считают нечестивым в Азии, мусульманина в Европе, паписта<sup>39</sup> в Лондоне, кальвиниста<sup>40</sup> в Париже, яansenиста<sup>41</sup> на улице Сен-Жак, молиниста<sup>42</sup> в предместьи

Сен-Медар. Кто же действительно нечестив? Все или никто?

## XXXVI

Когда набожные люди ополчаются против скептицизма, они, по моему, либо плохо понимают свои интересы, либо противоречат сами себе. Если только верно, что достаточно, как следует, узнать истинный и ложный культы, чтобы принять первый и отвергнуть второй, то было бы желательно, чтобы по лицу земли распространилось всеобщее сомнение и чтобы все народы решили поставить под вопрос истинность своих религий: для наших миссионеров половина дела была бы тогда сделана.

## XXXVII

Человек, который остается при своей религии только потому, что он был в ней воспитан, имеет столько же оснований гордиться своим христианством или мусульманством, сколько тем, что он не родился слепым или хромым. Это—счастье, а не заслуга.

## XXXVIII

Человек, который умер бы за определенную религию, сознавая ее ложность, был бы сумасшедшим.

Человека, который умирает за ложную религию, но считая ее истинной, или за истинную религию, но не имея доказательств ее истинности, я называю фанатиком.

Истинный мученик только тот, кто умирает за истинную религию, имея доказательства ее истинности.

## XXXIX

Истинный мученик ждет смерти; фанатик бежит ей навстречу.

## XL

Человек, который, находясь в Мекке, стал бы издеваться над прахом Магомета, низвергать его алтари и смущать целые мечети, был бы наверное посажен на кол,

но едва ли был бы канонизирован. Такая ревность ныне уже не в моде. Поливект<sup>43</sup> был бы в наши дни просто безумцем.

## XLI

Время откровений, чудес и исключительных призваний миновало. Христианство не нуждается более в этих подпорках. Если бы кто-нибудь вздумал разыгрывать среди нас роль пророка Ионы и стал бы кричать на улицах: Через три дня Парижа не будет; парижане, покайтесь, покройте себя вретисцем и пеплом, или вы погибнете<sup>44</sup>, — то он был бы тут же схвачен и привлечен к суду, который не замедлил бы отправить его в сумасшедший дом. Напрасно он взывал бы: Люди, разве бог любит вас меньше чем ниневитян? Разве вы виновны меньше их? — Никто не стал бы отвечать на его вопросы; его сочли бы помешанным, не дожидаясь, когда истечет срок его предсказания.

Илья пророк может вернуться с того света, когда ему будет угодно; люди таковы, что он будет действительно великим чудотворцем, если встретит на этом свете хороший прием.

## XLII

Когда народу возвещают какой-нибудь догмат, противоречащий господствующей религии, или что-нибудь противное общественному спокойствию, то пусть провозвестник даже подтверждает свое призвание чудесами: правительство имеет право прибегнуть к мерам крайней строгости, а народ — кричать: *распни его!* Не верх ли опасности оставлять умы во власти соблазнов обманщика или мечтаний безумца? Если кровь Иисуса Христа вопияла о мести против евреев, то лишь потому, что, пролив ее, они были глухи к голосу Моисея<sup>45</sup> и пророков, провозгласивших его мессией. Пусть сойдет ангел с небес, пусть он подкрепляет свои слова чудесами, — если он будет проповедывать против закона Иисуса Христа, он должен быть, по мнению Павла, предан анафеме. Значит, не по творимым им чудесам следует судить о призвании чело-



века, а по согласию его учения с учением народа, к которому он обращается, особенно когда учение этого народа заведомо истинно.

### XLIII

Всякое новшество должно внушать опасения правительству. Даже христианство, самая святая и кроткая из религий, не могло утвердиться, не вызвав некоторых волнений. Первые чада церкви не раз выходили из предписанных им рамок умеренности и терпения. Да будет мне позволено привести здесь несколько отрывков из одного эдикта императора Юлиана<sup>46</sup>; они дадут превосходное понятие о великом уме этого государя-философа и о душевном состоянии тогдашних ревнителей христианства.

«Я воображал,—говорит Юлиан,—что начальники галлией замечают, насколько мои приемы отличаются от приемов моего предшественника, и будут благодарны мне за это. В его царствование они изнывали в тюрьмах и в ссылке; многие из тех, кого они между собою называют еретиками, были казнены. В мое царствование сосланные были возвращены, заключенные выпущены на волю, те, чье имущество было конфисковано, получили его обратно. Но так велика неугомонность и ярость этих людей, что с тех пор, как они лишились привилегии пожирать друг друга, мучить и своих единоверцев, и приверженцев разрешенной законами религии, они не брезгают никаким средством, не упускают ни одного повода для подстрекательства к бунту; они не умеют уважать ни истинное благочестие, ни наши учреждения... Тем не менее мы не требуем, чтобы их влачили к подножию наших алтарей и совершали над ними насилия... Что до простого люда, то, повидимому, его начальники возбуждают в нем дух мятежа, взбешенные тем, что мы поставили границы их власти; ибо мы изгнали их из наших судов, так что они не имеют больше возможности распоряжаться завещаниями, устранивать законных наследников и захватывать чужое наследство... Поэтому мы воспрещаем этим людям собираться скопом и затевать козни вместе со своими мятежными свя-

щенниками... Пусть настоящий эдикт вернет спокойствие нашим магистратам, которых не раз оскорбляли эти мятежники, которых они чуть не побивали камнями... Пусть они мирно идут к своим начальникам, пусть молятся и учатся у них, пусть отправляют свои богослужебные обязанности; мы разрешаем им это; но пусть они откажутся от всяких крамольных замыслов... Если их собрания будут служить для них поводом к бунтам, то я предупреждаю, что они поплатятся за это... Маловерные, живите в мире... А вы, сохранившие верность религии вашей страны и богам ваших отцов, не преследуйте ваших соседей, ваших сограждан, которых приходится больше сожалеть за их невежество, чем порицать за их злобу... Словом разума, а не насилия, надо возвращать людей на путь истины. Поэтому мы предписываем вам всем, наши верные подданные, оставить в покое галилеян».

Таков был образ мысли этого государя, которого можно упрекнуть в язычестве, но не в отступничестве. Он провел ранние годы своей жизни у ног различных учителей и в различных школах, а в зрелом возрасте сделал ложный шаг, выбрав, к несчастью, религию своих предков и богов своей страны.

#### XLIV

Меня удивляет только, что сочинения этого ученого государя дошли до нас. В них, правда, нет ничего, что могло бы угрожать истине христианства, но есть черты, бывшие для некоторых христиан его времени достаточно невыгодными, чтобы привлечь к себе то особое внимание отцов церкви, с какими они уничтожали сочинения своих врагов. От своих предшественников унаследовал, конечно, св. Григорий Великий свою варварскую ярость против литературы и искусств<sup>47</sup>. Если бы все зависело от этого первосвященника, мы находились бы сейчас в положении магометан, которым их коран служит единственной книгой для чтения. Что осталось бы, в самом деле, от древних писателей, попади они в руки человека, который испещрял свою речь ошибками из религиозного принципа, воображал,

что соблюдать правила грамматики значит подчинять Иисуса Христа Донату<sup>48</sup>, и считал своим нравственным долгом завершить разрушение древности?

## XLV

А между тем боговдохновенность писаний отпечатлена на них далеко не так явственно, чтобы авторитет священных бытописателей был совершенно независим от свидетельства светских авторов. Куда бы мы зашли, если бы должны были признать перст божий в форме изложения нашей библии! Как жалок ее латинский перевод! Но и самые подлинники не являются литературными шедеврами. Пророки, апостолы и евангелисты писали, как умели. Если бы нам было позволено взглянуть на историю еврейского народа, как на простое произведение человеческого ума, то Моисей и его продолжатели не могли бы выдержать сравнение с Титом Ливием<sup>49</sup>, Саллюстием<sup>50</sup>, Цезарем<sup>51</sup> и Иосифом Флавием<sup>52</sup>—людьми, писания которых никто, конечно, не назовет боговдохновенными. Не предпочтет ли иной читатель даже иезуита Берюйе<sup>53</sup> Моисею? В наших церквах сохраняются картины, написанные, как нас уверяют, ангелами и самим божеством; если бы эти произведения вышли из рук Лесюера<sup>54</sup> или Лебрена<sup>55</sup>, что мог бы я возразить против этого незапамятного предания? Может быть, ровно ничего. Но когда я вижу, что в этих небесных творениях правила живописи нарушаются на каждом шагу в рисунке и исполнении, когда я пахожу в них полное отсутствие художественной правды, то не имея возможности предположить, что художник был невежда, я поневоле должен признать вымышленным все предание. Как легко мог бы я применить этот вывод и к священному писанию, если бы не было до такой степени безразлично, хорошо ли, или плохо изложено то, что в нем содержится! Пророки гордились тем, что говорили правду, а не тем, что красно говорили. За что умирали апостолы, как не за одну лишь истину своих слов и писаний? Но, возвращаясь к своей теме, я спрашиваю: неужели не было крайне важно сохранить книги светских

писателей, которые, конечно, не могли бы разойтись с авторами священных книг—по крайней мере, в том, что касается жизни и чудес Иисуса Христа, личности Понтия Пилата и мученических подвигов первых христиан? <sup>56</sup>.

## XLVI

Целый народ, говорите вы, засвидетельствовал данный факт; посмеете ли вы отрицать его? Да, посмею, пока он не будет подтвержден каким-нибудь авторитетным лицом, не принадлежащим к вашей партии, и пока мне не будет известно, не могло ли бы это лицо оказаться фанатиком и обманщиком. Более того, пусть я читаю у заведомо добросовестного автора такой рассказ: посреди одного города разверзлась огромная яма, и боги, запрошенные об этом событии, ответили, что яма замкнется, если в нее будет брошено самое драгоценное, что есть в городе; тогда один смелый патриций ринулся в нее, и слово оракула исполнилось.—Я поверю этому гораздо менее охотно, чем если бы было просто сказано, что в городе разверзлась яма и что было потрачено много времени и труда на то, чтобы засыпать ее. Чем менее правдоподобен данный факт, тем больше историческое свидетельство о нем теряет в весе. Я тотчас же поверил бы одному единственному честному человеку, который сообщил бы мне, что *его величество одержал полную победу над союзниками*; но если бы весь Париж стал меня уверять, что в Пасси воскрес покойник, я не поверил бы этому нисколько. Обманывает ли нас какой-нибудь историк, или обманывается целый народ,—ничего сверхъестественного нет ни в том, ни в другом случае.

## XLVII

Тарквиний задумал прибавить новые отряды конницы к тем, которые были сформированы Ромулом <sup>57</sup>. Один авгур стал ему доказывать, что всякое нововведение в устройстве этих войск есть святотатство, если оно не санкционировано богами. Рассердившись на вольномыслие этого жреца и желая пристыдить его и опорочить в его лице



Фронтиспис первого издания  
«Pensées Philosophiques» 1746 г.



искусство птицегадания, умалявшее его собственный авторитет, Тарквиний велит ему притти на площадь и говорит ему: «Кудесник, выполнимо ли то, о чем я сейчас думаю? Если твоя наука такова, как ты похваляешься, она даст тебе возможность ответить». Авгур, несколько не смутившись, исследует полет птиц и отвечает: «Да, государь, то, о чем ты думаешь, может быть выполнено». Тогда Тарквиний вынимает из-под полы бритву и, взяв в руки булыжник, говорит авгуру: «Подойди сюда и рассеки этот булыжник этой бритвой: я думал именно об этом». Навий—так назывался авгур—обращается к народу и спокойно заявляет: «Приложите бритву к булыжнику, и пусть я буду казнен на месте, если он тотчас же не разделится пополам». И против всякого ожидания народ действительно увидел, как твердый булыжник распадается под лезвием бритвы: его части раздвигаются так быстро, что бритва проникает до руки Тарквиния, обогривая ее струйкой крови. Изумленный народ оглашает площадь криками восторга; Тарквиний отказывается от своих замыслов и объявляет себя покровителем авгуров; бритву и куски булыжника зарывают в землю под жертвенником. Кудеснику воздвигают памятник, который существовал еще в царствовании Августа<sup>58</sup>; вся древность, языческая и христианская, засвидетельствовала истинность этого события в писаниях Лактанция<sup>59</sup>, Дионисия Галикарнасского<sup>60</sup> и св. Августина<sup>61</sup>.

Вы выслушали, что говорит история; послушайте теперь голос суеверия. «Что ты ответишь на это? Надо,—говорит суеверный Квинт своему брату Цицерону<sup>62</sup>,—либо броситься очертя голову в чудовищный пирронизм, считать идиотами историков и народы и сжечь все летописи,—либо признать этот факт. Неужели ты станешь отрицать все, лишь бы не допустить, что боги вмешиваются в наши дела?»

— «Недостойно, я думаю, философа опираться на свидетелей, которые могут либо случайно говорить правду, либо злонамеренно лгать и выдумывать. Разумные основания надо приводить в доказательство тех или иных по-

ложений, а не факты—особливо такие, в которые я не мог бы поверить... Так, значит, оставить в покое жезл Ромула, который, как ты утверждаешь, не мог бы сгореть даже в самом сильном пламени? Выбросить вон бритву Акция Навия? Да, в философии не должно быть места вздорным вымыслам. Философский подход к делу заключался бы в том, чтобы сначала уразуметь самую природу птицегадания, затем установить, как оно было изобретено, и, наконец, показать, почему оно сохранилось... У этрусков родоначальником тайных учений считается мальчик, внезапно возникший из распаханной земли. А у нас кто? Акции Навий?.. Значит, мы согласны считать людей, несведущих в человеческих делах, родоначальниками божественных знаний?» (М. Т. Цицерон, *О птицегадании*, кн. II, гл. 80, 81). Но ведь в это верят цари, народы, весь мир! «Как будто есть что-нибудь более достоверное, чем неразумие черни. И как будто ты сам разделяешь мнения толпы!»—Вот ответ настоящего философа. Укажите мне хоть одно чудо, к которому он не был бы применим! Отцы церкви, считавшие, конечно, не очень-то удобным для себя пользоваться принципами Цицерона, предпочли поверить в историю с Тарквинием и приписать искусство Навия дьяволу. Чудесное изобретение этот дьявол!

#### XLVIII

В истории всех народов есть события, которые были бы в самом деле чудесными, если бы только они были истинными, с помощью которых доказывается все, но которые сами остаются недоказанными; которых нельзя отрицать, не впадши в нечестие, и в которые нельзя поверить, не впадши в слабоумие.

#### XLIX

Ромул, сраженный молнией или убитый сенаторами, исчезает из Рима. В народе и войске это вызывает ропот. Государственные сословия поднимаются друг против друга; и только что возникший Рим, разделенный внутри и окруженный снаружи врагами, уже находится на краю бездны,



как вдруг некто Прокулей важно выступает вперед и говорит: «Римляне, государь, которого вы оплакиваете, не умер; он вознесся на небо, где он сидит теперь одесную Юпитера. Пойди, сказал он мне, успокой своих сограждан, возвести им, что Ромул в сонме богов; уверь их в моем заступничестве; пусть они знают, что никакой враг их не одолеет; рок судил им стать современем владыками мира; пусть только они передают это пророчество из поколения в поколение, до самых отдаленных потомков». Бывают сочетания обстоятельств, благоприятные для обмана; и если вдумаясь в тогдашнее положение дел в Риме, то согласишься, что Прокулей был человек с головой и знал своих современников. Он поселил в умах предрассудок, оказавшийся бесполезным для будущего величия его родины... «Удивительно, с каким доверием отнеслись к человеку, возвестившему это, и насколько смягчилась скорбь народа по Ромулу, когда он поверил в его бессмертие. Преклонение перед покойным государем и растерянность в настоящем содействовали быстрому распространению слуха, вначале известного немногим; и вскоре весь народ стал приветствовать Ромула-бога, рожденного от бога». Другими словами, народ поверил в явление Ромула; сенаторы сделали вид, что поверили, а Ромул стал получать жертвоприношения. Но и на этом дело не остановилось. Вскоре оказалось, что Ромул явился вовсе не одному только лицу. Его видели свыше тысячи человек в один день. Он вовсе не был сражен молнией, сенаторы вовсе не расправились с ним, воспользовавшись грозой,—нет, он вознесся на небо среди блеска молний и раскатов грома на глазах у целого народа; и это событие *начиналось* с течением времени таким количеством подробностей, что вольнодумцы следующих поколений могли только недоумевать.

## L

Одно единственное доказательство поражает меня больше, чем пятьдесят фактов. Благодаря моему крайнему доверию к собственному разуму моя вера не зави-

сит от прихоти первого встречного фигляра. Священник Магомета, ты можешь возвращать дар речи немым и зрение слепым, исцелять расслабленных, воскрешать мертвых, даже воссоздать недостающие члены на теле калек (чудо, еще не сотворенное никем),—и к твоему великому изумлению моя вера не поколеблется нисколько. Ты хочешь, чтобы я сделался твоим прозелитом? Оставь все эти фокусы и давай рассуждать. Я больше верю своему суждению чем своим глазам.

Если возвещаемая тобою религия истинна, ее истинность может быть сделана очевидной и доказана неопровержимыми основаниями. Найди эти основания. К чему докучать мне столькими чудесами, когда ты можешь сразить меня одним силлогизмом? Скажи, неужели тебе легче исцелить расслабленного, чем просветить мой ум?

## LI

Вот человек, простертый на земле без чувств, без звука, без тепла, без движения. Его поворачивают во все стороны, его тормошат, подносят к его губам огонь—ничто его не пробуждает; раскаленное железо не может вызвать в нем ни одного признака жизни; все убеждены, что он мертв. Но так ли это? Нет, это—человек, подобный тому священнику Кальмской церкви, о котором св. Августин рассказывает: «когда, бывало, ему вздумается, он под чьи-либо звуки, подражающие голосу плачущего человека, до такой степени отвлекался от чувств и лежал совершенно подобный мертвецу, что не только ничего не чувствовал, когда его щипали или кололи, но и когда жгли огнем, не ощущал никакой боли, разве впоследствии от раны и т. д.» (*О граде божием*, кн. XIV, гл. 24). Если бы кое-кто в наши дни встретил подобного субъекта, он извлек бы из него немалую пользу. Мы увидали бы воочию, как труп оживает над прахом праведника; сборник янсенистского судебного деятеля<sup>63</sup> обогатился бы новым случаем воскресения, и представитель официальной церкви, может быть, почувствовал бы себя смущенным.

## LII

Следует признать, говорит автор *Логики Пор-Рояля*<sup>64</sup>, правоту св. Августина, утверждавшего вместе с Платоном<sup>65</sup>, что критерий истины содержится не в чувствах, а в разуме: *non est veritatis iudicium in sensibus*. Он утверждал даже, что достоверность, основываемая на чувственных впечатлениях, простирается не очень далеко и что есть вещи, которые мы как будто познаем с помощью этих впечатлений, но относительно которых не имеем полной уверенности. Значит, когда свидетельство чувств противоречит или уступает в силе авторитету разума, нет места выбору: логика повелевает следовать голосу разума.

## LIII

Предместье Парижа оглашается восторженными криками: прах одного праведника вдруг начал там творить чудеса и сотворил их в большем количестве, чем Иисус Христос за всю свою жизнь. Толпы народа стекаются в предместье, и я бегу туда же. Едва прибыв на место, я слышу восклицания: чудо! чудо! Я подхожу, вглядываюсь и вижу хромого, который прогуливается, опираясь на трех или четырех сердобольных человек, а кругом изумленный народ не перестает восклицать: чудо! чудо! Слабоумные, где же тут чудо? Разве вы не видите, что этот плут только переменил свои костыли? С чудесами было в данном случае совершенно то же, что всегда бывает с духами. Я готов поклясться, что все, видевшие духов, заранее испытывали перед ними страх и что все, видевшие тут чудеса, твердо решили их видеть.

## LIV

Мы имеем, однако, об этих мнимых чудесах толстую книгу<sup>66</sup>, которая может поставить втупик самое решительное неверие. Ее автор—сенатор, почтенный человек, который исповедывал материализм (правда, довольно плохо понятый) и который уж во всяком случае обратился не из корысти: он был очевидцем событий, о которых он

повествует и о которых он мог судить без предубеждения и без личной заинтересованности, и его свидетельство подкрепляется тысячью других. Все свидетели заявляют, что видели то же самое, и их показания имеют полную силу: соответствующие документы хранятся в государственных архивах. Что ответить на это? Я отвечаю, что эти чудеса не доказывают ровно ничего, пока не решен вопрос об образе мысли этих очевидцев.

### LV

Всякое рассуждение, которое доказывает правоту двух противоположных сторон, не доказывает правоту ни той, ни другой. Если фанатизм имеет таких же мучеников, как истинная религия, и если среди умерших за истинную религию были фанатики, то одно из двух: либо подсчитаем, если это возможно, число умерших и будем верить, либо будем искать других оснований для нашей веры.

### LVI

Ничто не способно в большей мере укрепить в безверии, чем ложные мотивы обращения. К неверующим что ни день обращаются с такой речью: кто вы такие, что смеее нападать на религию, которую так мужественно защищали Павлы, Тертуллианы<sup>67</sup>, Афанасии<sup>68</sup>, Златоусты<sup>69</sup>, Августины, Киприаны<sup>70</sup> и столько других знаменитых людей? Вы, очевидно, подметили какие-нибудь трудности, ускользнувшие от этих великих умов; покажите же нам, что вы понимаете больше, чем они; или подчините ваши сомнения их слову, если вы признаете, что они понимали больше вас. Рассуждение очень слабое! Просвещенность служителей данной религии вовсе не доказывает, что она истинна. Как нелепа была религия египтян и как просвещенны ее служители!.. Нет, я не могу поклоняться этой луковице. Чем она выше других овощей? И был бы безумцем, если бы расточал свое поклонение перед предметами, предназначенными служить мне в пищу! Хороша божественность растения, которое я поливаю водой, которое растет и умирает в моем огороде!.. «Умолкни,

несчастный, твои богохульные речи приводят меня в ужас! твое ли дело рассуждать? неужели ты смыслишь в этом больше, чем тайный собор? Кто ты такой, что смеешь нападать на своих богов и поучать мудрости их служителей? Или ты просвещеннее тех оракулов, которых вопрошает весь мир? Что бы ты мне ни ответил, я буду видеть в тебе образец величайшей гордыни или величайшего безрассудства...» Неужели христиане никогда не осознают всей своей силы и не оставят этих жалких софизмов тем, для кого они являются единственным ресурсом? «Оставим общие места, которые могут высказываться обеими сторонами, хотя поистине их может высказывать только одна сторона» (св. Августин, *О граде божьем*). Пример, чудеса и авторитет могут создать дураков или лицемеров; один только разум создает верующих.

## LVII

Все согласны с тем, что при защите какой-нибудь религии крайне важно употреблять только серьезные аргументы; а в то же время усердно преследуют людей, ставящих себе целью опорочить аргументы, никуда не годные. Но почему же? разве недостаточно быть христианином, — разве нужно быть им непременно на негодных основаниях? Святоши, я говорю вам прямо: я христианин не потому, что св. Августин был христианином, а потому, что этого требует мой разум.

## LVIII

Я знаю этих святош: им не много нужно, чтобы забить тревогу. Если они решат, что в настоящем сочинении содержится нечто, противное их идеям, они не остановятся ни перед какими клеветами, как они уже оклеветали тысячу людей, более достойных, чем я. Если они назовут меня только деистом и преступником, я буду считать, что дешево отделался. Они давно уже осудили Декарта, Монтезя, Локка<sup>71</sup> и Бэйля<sup>72</sup>, и я надеюсь, что осудят еще многих. А пока я заявляю им, что у меня нет притязаний быть более честным человеком или более

преданным христианином, чем большинство этих философов. Я рожден в лоне римско-католической апостольской церкви; и я подчиняюсь от всей души ее постановлениям. Я хочу умереть в вере моих отцов; и я считаю ее истинной, насколько может судить об этом человек, никогда не имевший непосредственных сношений с божеством и никогда не видевший собственными глазами ни одного чуда. Таков мой символ веры; я почти уверен, что они будут недовольны им, хотя среди них нет ни одного, кто был бы в состоянии заменить его лучшим.

## LIX

Я читал когда-то Аббади, Гюэ и других<sup>73</sup>. Я недурно знаю доказательства в пользу моей религии и я не отрицаю их силы; но будь они еще во сто раз сильнее, я все-таки не считал бы христианство доказанным. К чему же требовать от меня, чтобы я верил в триединство бога так же твердо, как я верю в то, что сумма углов треугольника равна двум прямым? Всякое доказательство порождает во мне уверенность, пропорциональную его силе; и действие на мой разум различных доказательств—геометрических, моральных и физических—должно быть различно, или же все это различие теряет смысл.

## LX

Вы даете неверующему книгу писаний<sup>74</sup>, относительно которых вы утверждаете, что они боговдохновенны. Прежде чем войти в разбор ваших доказательств, он непременно задаст вам ряд вопросов об этом сборнике. Не произошло ли в нем каких-нибудь изменений?—спросит он.—Почему он сейчас менее обширен, чем несколько веков тому назад? По какому праву из него выброшено какое-то писание, почитаемое другой сектой, а писание, отвергнутое ею, сохранено? На каком основании отдали вы предпочтение этой, а не другой рукописи? Что руководило вами при выборе между столькими различными списками, наглядно доказывающими, что эти священные авторы не дошли до вас в своей первоначальной чистоте?

Но если, как вы это должны признать, они испорчены невежеством переписчиков и злонамеренностью еретиков, то, значит, вы обязаны восстановить их в их подлинном виде, прежде чем доказывать их боговдохновенность; не могут же ваши доказательства относиться к сборнику изувеченных писаний, как и моя вера не может строиться на таком сборнике. Так на кого же возложите вы этот труд исправления? На церковь. Но я не могу признать непогрешимость церкви, пока мне не доказана боговдохновенность писаний. Так я поневоле попадаю в объятия скептицизма.

Единственный способ справиться с этой трудностью—признать, что первые основания веры имеют чисто человеческий характер; что выбор рукописей, исправление отдельных мест, наконец, составление канонического свода произведены по правилам критики. И я вовсе не отказываюсь отнестись к боговдохновенности священных книг с той степенью веры, которая соответствует строгости этих правил.

## LXI

В поисках доказательств я натолкнулся на трудности. В книгах, содержащих фундамент моей веры, я нахожу вместе с тем и основания для неверия. Эти книги—арсенал для всех. На моих глазах деист брал оттуда оружие против атеиста; деист и атеист сражались с евреем; атеист, деист и еврей объединялись против христианина; христианин, еврей, деист и атеист бросались в бой с мусульманином; атеист, деист, еврей, мусульманин и множество христианских сект обрушивались на христианина; и скептик шел один против всех. Я был судьей этих состязаний; я взвешивал шансы бойцов на весах, плечи которых поднимались или опускались в зависимости от отягощавших их грузов. И после долгих колебаний весы склонились в сторону христианина, но лишь преодолев значительное сопротивление, лишь благодаря избытку своей тяжести. Я могу засвидетельствовать свое полное беспристрастие. Не от меня зависит, что названный избы-

ток не показался мне слишком большим. Бог видит мою искренность.

## LXII

Это великое разнообразие мнений внушило деистам мысль прибегнуть к одной аргументации, может быть, более своеобразной, чем основательной. Цицерон, желая доказать, что римляне самый воинственный народ на земле, искусно влагает это признание в уста их соперникам. Галлы, кому вы уступаете в храбрости, если уступаете кому-нибудь? Римлянам. Африканцы, перед кем трепетали бы вы, если бы вы были способны трепетать? Перед римлянами. Парфяне, кто после вас самые храбрые люди в мире? Римляне. Будем—говорят деисты—вопросать по примеру Цицерона приверженцев других религиозных систем. Китайцы, какая религия была бы наилучшей, если бы таковой не была ваша? Естественная религия. Мусульмане, к какому культу примкнули бы вы, если бы вы отреклись от Магомета? К естественному. Христиане, какая религия истинна, если таковой не является христианская? Религия евреев. А вы, евреи, какую религию вы назовете истинной, если юдаизм окажется ложным? Естественную религию. Но те, продолжает Цицерон, которым по всеобщему признанию принадлежит второе место и которые сами не уступают первое место никому, бесспорно заслужили первенство.



# **Прибавление к философским мыслям или разные возражения против сочинений различных богословов**

## **I**

Сомнения в религиозных вопросах, отнюдь не будучи проявлением нечестия, должны, наоборот, считаться добрым делом, когда они высказываются человеком, смиренно признающим свое невежество, и проистекают из страха прогневить бога чрезмерным доверием к силе разума.

## **II**

Допускать некоторое соответствие между разумом человека и вечным разумом, т. е. богом, и думать, что бог требует отказа от человеческого разума, значит утверждать, что бог чего-то хочет и не хочет одновременно.

## **III**

Если бог, от которого мы получили разум, требует отказа от него, значит он фокусник, который тут же отнимает то, что дал.

## IV

Отрекшись от своего разума, я останусь без путеводаителя: мне придется тогда принять вслепую какой-нибудь вторичный принцип и предюлагать доказанным то, что требует доказательства.

## V

Если разум—дар неба и если то же самое можно сказать о вере, значит небо испослало нам два дара, которые несовместимы и противоречат друг другу.

## VI

Чтобы устранить эту трудность, надо признать, что вера есть химерический принцип, не существующий в природе.

## VII

Паскаль, Николь и другие утверждают: «Положение, что бог за грех одного виновного отца наказывает всех его невинных детей вечными муками, превышает разум, а не противно разуму». Но найдется ли положение, противное разуму, если ему не противно то, в котором содержится явное кощунство?

## VIII

Я заблудился ночью в дремучем лесу, и слабый огонек в моих руках—мой единственный путеводаитель. Вдруг предо мной вырастает незнакомец и говорит мне: *«Мой друг, задуй свою свечу, чтобы верней найти дорогу»*. Этот незнакомец—богослов.

## IX

Если мой разум дан мне свыше, значит через него со мною говорит небо; я должен внимать ему.

## X

Понятия заслуги и провинности неприменимы к употреблению разума, потому что никакая добрая воля в мире

не поможет слепому различать цвета. Я вынужден усмотреть очевидность там, где она есть, и отсутствие очевидности там, где ее нет, если только я не совсем слабоумен; но слабоумие—беда, а не порок.

## XI

Если творец природы не вознаградит меня за мой ум, он также и не осудит меня за мою глупость.

## XII

И он не осудит тебя даже за то, что ты был злым. Разве твоя злоба уже не сделала тебя достаточно несчастным?

## XIII

Каждый добродетельный поступок сопровождается чувством внутреннего удовлетворения; каждое преступление—раскаянием. Но ум признает, без стыда и без раскаяния, свое отвращение от известных предложений; значит, нет ни добродетели, ни преступления в том, чтобы их принять или отвергнуть.

## XIV

Если для праведности еще требуется благодать, то к чему была смерть Иисуса Христа?

## XV

Если на одного спасенного приходится сто тысяч погибших, то значит дьявол все-таки остался в выигрыше, и не послав на смерть своего сына.

## XVI

Бог христиан, это—отец, который чрезвычайно дорожит своими яблоками и очень мало своими детьми.

## XVII

Отнимите у христианина страх перед адом, и вы отнимете у него веру.

## XVIII

Истинная религия, важная для всех людей всегда и повсюду, должна была бы быть вечной, всеобщей и очевидной; но нет ни одной религии с тремя этими признаками. Тем самым трижды доказана ложность всех.

## XIX

События, свидетелями которых могут быть только несколько человек, недостаточны для доказательства истинности религии, в которую должны одинаково верить все.

## XX

События, которые полагаются в основу религий, древни и чудесны, т. е. самое сомнительное, что только может быть, приводится в доказательство самого невероятного.

## XXI

Доказывать евангелие с помощью чуда значит доказывать нелепость с помощью противоестественного явления.

## XXII

Но что сделает бог тем, которые ничего не слышали о его сыне? Неужели он накажет глухих за то, что они не слышали?

## XXIII

Что сделает он тем, которые слышали о его религии, но не могли ее постигнуть? Неужели он накажет пигмеев за то, что они не сумели угнаться за гигантами?

## XXIV

Почему чудеса Иисуса Христа истинны, а чудеса Эскулапа<sup>1</sup>, Аполлония Тианского<sup>2</sup> и Магомета<sup>3</sup> ложны?

## XXV

Но, конечно, все евреи, бывшие в Иерусалиме, обратились при виде чудес Иисуса Христа? Нисколько! Они

не только не поверили в него, они его распяли. Следует признать, что эти евреи—вне всякого сомнения; все другие народы теряли голову от одного единственного ложного чуда, а Иисус Христос ничего не мог поделать с евреями, несмотря на бесконечное множество сотворенных им истинных чудес.

## XXVI

Вот над этим-то чудом неверия евреев стоит призадуматься, а вовсе не над чудом воскресения Иисуса Христа.

## XXVII

Несомненно, как дважды два четыре, что Цезарь существовал; существование Иисуса Христа столь же несомненно, как существование Цезаря. Значит, воскресение Иисуса Христа столь же несомненно, как то, что он или Цезарь существовал. Какая логика! Существование Иисуса Христа и Цезаря ведь не чудо<sup>4</sup>.

## XXVIII

Мы читаем в *Жизнеописании г. де Торенна*, что когда загорелся один дом, пожар был приостановлен находившимся в доме святыми дарами. Согласен. Но мы читаем также в истории, что когда какой-то монах отравил причастие, германский император умер, едва только проглотил его.

## XXIX

Здесь было нечто большее, чем только внешний вид хлеба и вина,—или же придется утверждать, что яд внедрился в плоть и кровь Иисуса Христа.

## XXX

Эта плоть покрывается плесенью, эта кровь окисляется. Этого бога пожирают клещи на его собственном алтаре. Слепой люд, слабоумный египтянин, раскрой же глаза!

## XXXI

Религия Иисуса Христа, возвещавшаяся невеждами, создала первых христиан. Та же религия, проповедуемая учеными и профессорами, создает ныне только неверующих.

## XXXII

Указывают, что подчинение законодательной власти освобождает от необходимости мыслить. Но где же на поверхности земли религия без подобной власти?

## XXXIII

Усвоенные с детства взгляды мешают магометанину креститься; усвоенные с детства взгляды мешают христианину совершить обряд обрезания; разум зрелого человека одинаково презирает крещение и обрезание.

## XXXIV

У св. Луки сказано, что бог-отец больше, чем бог-сын—*pater major me est* \*. А между тем, наперекор столь определенному выражению, церковь предаёт анафеме слишком добросовестного верующего, который буквально придерживается слов, написанных в завете её основателя.

## XXXV

Если церковная власть могла переиначить по своей прихоти смысл этого места,—наиболее ясного во всем писании,—значит нет в писании такого места, которое можно было бы надеяться понять и с которым церковь не могла бы сделать все, что ей угодно.

## XXXVI

*Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam* \*\*. Что это—язык бога или каламбур, достойный господина Аккора <sup>5</sup>.

\* Отец больше, чем я.

\*\* «Петр еси, и на камне сем созижду церковь мою»—слова

## XXXVII

*In dolore paries* \* (Бытие). Ты будешь рождать в муках, сказал бог согрешившей жене. Но что сделали ему самки животных, которые тоже рождают в муках?

## XXXVIII

Если понимать буквально выражение *pater major me est* \*\*, то Иисус Христос не бог. Если понимать буквально слова *hos est corpus meum* \*\*\*, то он давал апостолам свое тело собственными руками; но это так же нелепо, как рассказ о том, что св. Дионисий облобызал свою отрубленную голову.

## XXXIX

Написано, что он удалился на Елеонскую гору и там молился. Кому же он молился? Самому себе.

## XL

Бог, который посылает на смерть бога, чтобы умилостивить бога—превосходное выражение барона де ла Онтана<sup>6</sup>. Сто фоллиантов, написанных за или против христианства, не содержат в себе столько убедительности, сколько две эти смехотворные строчки.

## XLI

Сказать, что человек состоит из силы и слабости, из понимания и ослепления, из ничтожества и величия, это значит не осудить его, а определить его сущность.

## XLII

Человек таков, каким его создали бог или природа; а бог или природа не создает ничего дурного.

евангелия с неперевожимой игрой слов: ты—Петр (*tu es Petrus*), и на камне этом... (*super hanc petram...*).

\* В муках будешь рождать.

\*\* Отец больше, чем я.

\*\*\* Сие есть тело мое.

## XLIII

То, что мы называем первородным грехом, Нинон де Ланкло называла оригинальным грехом\*.

## XLIV

Беспримерное бесстыдство ссылаться на согласованность евангелий, как известно, что в одних евангелиях повествуется об очень важных событиях, о которых ни словом не упоминается в других<sup>7</sup>.

## XLV

Платон рассматривал божество под тремя видами—благости, мудрости и могущества. Надо сознательно закрыть глаза, чтобы не увидеть в этом христианскую троицу. Около трех тысяч лет назад афинский философ называл логосом то, что мы называем словом.

## XLVI

Божественные ипостаси, это—либо три акциденции<sup>8</sup>, либо три субстанции<sup>9</sup>. Ничего третьего быть не может. Если это три акциденции, то мы атеисты или деисты; если три субстанции, то мы язычники.

## XLVII

Бог-отец находит людей достойными вечной кары; бог-сын находит их достойными бесконечного милосердия; святой дух остается нейтральным. Как примирить это католическое пустословие с единством божественной воли?

## XLVIII

Уже давно просят богословов примирить догмат о вечных наказаниях с бесконечным милосердием бога; а они все ни с места.

\* Непереводимая игра слов: первородный—originel; оригинальный—original.



## XLIX

И к чему только наказывать виновного, когда из его наказания уже нельзя извлечь никакой пользы?

## L

Надо быть очень жестоким и злым, чтобы наказывать ради одного себя.

## LI

Ни один добрый отец не захотел бы походить на нашего отца небесного.

## LII

Есть ли какая-нибудь соразмерность между оскорбителем и оскорбленным? Между оскорблением и наказанием? Какое нагромождение глупостей и жестокостей!

## LIII

И отчего он приходит в такую ярость, этот бог? Не похоже ли на то, что я могу как-то способствовать или противодействовать его славе, его покою, его блаженству?

## LIV

Вы говорите, что бог заставляет гореть грешника, совершенно бессильного перед ним, в вечном огне; а человеку едва ли разрешат казнить преходящей смертью своего сына, который поставил на карту его жизнь, его честь и его имущество.

## LV

О, христиане! значит у вас два различных представления о добре и зле, об истине и лжи. Значит вы—самые нелепые из догматиков или самые необузданные из пирронистов.

## LVI

Все зло, на какое способен человек, не есть все возможное зло; но только тот, кто мог сотворить все воз-

ложное зло, мог бы заслужить вечную кару. В вашем зтремлении представить бога существом бесконечно мстительным вы превращаете ничтожного червя в бесконечно могущественное существо.

## LVII

Когда слушаешь, как какой-нибудь богослов безмерно раздувает поступок человека, который родился по воле бога распутником и провел ночь со своей соседкой, любезной и красивой по воле того же бога,—то кажется, что речь идет, по крайней мере, о пожаре всей вселенной!—Ах, мой милый, послушай Марка Аврелия и ты поймешь, что твоего бога приводит в такую ярость лишь запретное и приятное трение двух слизистых оболочек <sup>10</sup>.

## LVIII

То, что эти свирепые христиане перевели словом *вечный*, означает по-еврейски всего лишь *долгий*. Невежество какого-то гебраиста и мрачная ярость какого-то переводчика—вот источник догмата о вечных наказаниях.

## LIX

Паскаль сказал: «Если ваша религия есть ложь, вы ничем не рискуете, считая ее истинной; если она истинна, вы рискуете всем, считая ее ложной». Какой-нибудь имам мог бы сказать то же самое, что Паскаль.

## LX

Что Иисус Христос, будучи богом, подвергался искушению со стороны дьявола,—это сказка, достойная *Тысячи и одной ночи*.

## LXI

Я весьма желал бы, чтобы какой-нибудь христианин, и особенно—чтобы какой-нибудь янсенист объяснил мне, ради кого совершилось воплощение. Во всяком случае не следовало увеличивать число осужденных до бесконечности, если имелось в виду извлечь какую-нибудь пользу из этого догмата.

## LXII

Одна молодая девушка жила очень уединенно; однажды ее посетил молодой человек с птицей в руках, и она забеременела. Спрашивается: кто произвел ребенка? Станный вопрос!—Конечно, птица<sup>11</sup>.

## LXIII

Но почему лебедь Леды<sup>12</sup> и огоньки Кастора и Поллукса<sup>13</sup> вызывают у нас смех, а над голубями и огненными языками евангелия мы не смеемся?

## LXIV

В первые века христианской эры существовало шестьдесят евангелий, которые пользовались почти одинаковым авторитетом. Пятьдесят шесть из них были отброшены, как ребяческие и вздорные. Не осталось ли кое-что из этого и в тех, которые были сохранены?<sup>14</sup>

## LXV

Бог дает первый закон людям; затем он отменяет его. Не напоминает ли это несколько поведение законодателя, который ошибся и с течением времени сознал свою ошибку? Может ли совершенное существо одуматься?

## LXVI

Существует столько же видов веры, сколько религий на земном шаре.

## LXVII

Все сектанты в мире суть не что иное, как еретические деисты.

## LXVIII

Если человек несчастен, не будучи виновным, то не значит ли это, что он предназначен для вечного блаженства, которого, однако, он никогда не может заслужить по своей природе?

## LXIX

Вот что я думаю о христианском догмате; о христианской морали скажу только два слова. Возьмем отца семейства, католика, убежденного, что надо буквально выполнять евангельские наставления, чтобы не попасть в так называемый ад; в виду крайней трудности достигнуть такой степени совершенства, несовместимой с человеческой слабостью, я не вижу для этого отца иного выхода, как взять своего ребенка за ноги и разозжить ему голову о землю или задушить его в момент его рождения. Этим он спасет его от мук ада и обеспечит ему вечное блаженство; и я утверждаю, что этот поступок не только не будет преступным, но должен считаться бесконечно добродетельным, как основанный на чувстве отцовской любви, которая требует, чтобы отец делал все возможное для блага своих детей.

## LXX

Заповедь религии и гражданский закон, воспрещающий убийство невинного, не оказываются ли, в самом деле, крайне нелепыми и крайне жестокими, раз, убивая его, мы обеспечиваем ему вечное блаженство, а оставляя в живых, обрекаем, почти наверное, на вечное мучение?

## LXXI

Как, господин Лакондамин! Можно сделать своему сыну прививку, чтобы гарантировать его от оспы, и нельзя убить его, чтобы гарантировать его от ада? Да вы просто издеваетесь<sup>15</sup>.

## LXXII

Для истины—достаточный триумф, когда ее принимают немногие, но достойные: быть угодной всем—не ее удел.

\* \* \*

В древние времена, на острове Тернате, решительно никому, даже священникам, не разрешалось говорить о религии. Существовал только один храм; особым законом было воспрещено одновременное существование двух храмов. В храме не было ни алтаря, ни статуй, ни образов. Сто священников, получавших приличный доход, служили в нем. Они не пели и ничего не говорили, но в глубочайшем безмолвии указывали пальцем на пирамиду, на которой были начертаны следующие слова: *Смертные, поклоняйтесь богу, любите ваших братьев и будьте полезны вашему отечеству.*

\* \* \*

Один человек был предан своими детьми, своей женой и своими друзьями; его неверные сотоварищи по делу разорили его и ввергли в нищету. Проникнутый ненавистью и глубоким презрением к человеческому роду, он покинул общество людей и удалился в пещеру. Там, закрыв лицо руками и погружившись в размышления, как утолить свою жажду мести, он шептал: «Негодяи! Что предпринять, чтобы наказать их за их беззакония и причинить им такое горе, какое они заслужили? О, если бы я мог измыслить... если бы мог вбить им в голову какую-нибудь небывлицу, которой бы они стали дорожить больше, чем собственной жизнью, и относительно которой никогда не могли бы сговориться!..» И вдруг он бросился вон из пещеры, восклицая: «Бог! бог!» Тысячеустое эхо повторяет за ним: «Бог! бог!» Это страшное имя проносится от одного полюса до другого, поражая всех, кто его слышит. Сначала люди падают ниц, затем поднимаются, вопрошают друг друга, спорят, раздражаются, предают друг друга анафеме, ненавидят и убивают один другого: роковое желание нашего человеконенавистника исполнилось, ибо такова была в прошлом и таковою останется навек роль существа, всегда для нас в равной мере важного и непостижимого <sup>16</sup>.

## Прогулка скептика или аллеи

### В в е д е н и е

Лица, считающие себя знатоками литературы, тщетно будут пытаться раскрыть мое имя. Я не занимаю никакого места среди известных писателей. Случайно взялся я за перо; и я нахожу в положении автора так много непривлекательного, что не собираюсь посвятить себя в будущем писательской деятельности. Повод, заставивший меня выступить в роли писателя на этот раз, заключается в следующем.

Предназначенный своим происхождением и положением в обществе к военной карьере, я избрал ее, несмотря на мою прирожденную склонность к занятию философией и изящной словесностью. Я участвовал в кампании 1745 г. и горжусь этим: я был опасно ранен при Фонтенуа, но я видел войну, я видел, как мой король поднимал своим присутствием энтузиазм своих генералов, как генералы передавали свое воодушевление офицерам, как офицеры поддерживали храбрость солдат,—я видел приостановку натиска голландцев, отступление австрийцев, бегство англичан и победу моего народа<sup>1</sup>.

Вернувшись из Фонтенуа, я провел остаток осени в провинции, в одной довольно уединенной деревне. Я твердо решил не встречаться там ни с кем, хотя бы для более строгого соблюдения режима, который был мне нужен в целях выздоровления. Но мои ближние не таковы, чтобы жить в уединении и оставаться незамеченными; в этом проклятие нашего положения. Как только стало известно, что я в К., посетители стали стекаться ко мне со всех концов. Это было настоящее преследование, я не мог ни на минуту остаться один.

Только вы, мой дорогой Клеобул, мой высококочный друг, не посетили меня ни разу. У меня перебивал, кажется, весь свет, кроме одного единственного человека, который был мне нужен. Я не могу упрекать вас за это; неужели вы должны были отказаться от радостей вашего любезного уединения, чтобы испытывать от скуки в толпе осаждавших меня господ?

Клеобул видел свет, и свет наскучил ему; он рано скрылся в небольшом имении, единственном, что уцелело у него от довольно крупного состояния; там он живет, как мудрец, и чувствует себя счастливым. «Мне скоро стукнет пятьдесят,—сказал он мне однажды,—страсти больше не волнуют меня, и я богач, хотя имею лишь сотую часть дохода, которого мне едва хватало в двадцать пять лет».

Если счастливый случай приведет вас когда-нибудь в убежище Клеобула, вы увидите перед собой человека с серьезной, но изящной наружностью; он не будет забрасывать вас любезными фразами, но вы можете быть уверены в искренности тех, которые он вам скажет. Его разговор оживлен, но не фриволен; он охотно говорит о добродетели, но по тону его речей сразу чувствуешь, что он в ладах с нею. Его характер в точности соответствует всем признакам божества, ибо он делает добро, говорит правду, любит добрых и удовлетворен сам собой.

Дорога, которая ведет в его уголок, окаймлена старыми деревьями, никогда не знавшими забот и ножниц садовника. Его дом построен со вкусом, но без излишней

пышности; комнаты в нем не слишком велики, но удобны; обстановка проста, но опрятна. У него есть небольшая библиотека. Из прихожей, украшенной бюстами Сократа, Платона, Аттика<sup>2</sup> и Цицерона, выходишь на участок земли, который нельзя назвать ни лесом, ни лугом, ни садом: это смесь того и другого и третьего. Всегда новый беспорядок он предпочитает строгой симметричности, которую усваиваешь с первого же взгляда; в своем парке он хочет видеть природу на каждом шагу; и, действительно, если встретишь там что-нибудь искусственное, то это лишь случайная игра природы. Единственно, что в этом парке кажется созданным рукой человека, это не очень обширный и очень прихотливый цветник в центре, к которому сходится несколько аллей.

Там-то я наслаждался сотни раз очаровательной беседой Клеобула и нескольких друзей, которые собираются у него; ибо у него есть друзья, и он не боится потерять их. Секрет его власти над ними заключается в том, что он никогда не приневоливал их разделять его образ мыслей, не стеснял их ни в их вкусах, ни в их взглядах. Там я видел, как пирронист обнимает скептика, как скептик радуется успехам атеиста, как атеист снабжает деньгами деиста, как деист предлагает свои услуги Спинозисту; я видел, словом, все философские секты в дружеском единении. Там царят согласие, любовь к истине, истина, чистосердечие и мир; и там никогда не появлялся ни педант, ни суевер, ни святоша, ни профессор, ни священник, ни монах.

Восхищенный непринужденностью речей Клеобула и какой-то внутренней стройностью, которую я в них заметил, я стал внимательно присматриваться к нему и вскоре убедился, что темы его бесед были почти всегда родственны тем предметам, которые в данную минуту были у него перед глазами.

В лесном лабиринте—это был грабовый питомник, пересеченный высокими и ветвистыми соснами,—он всегда вел со мной речь о заблуждениях человеческого ума, о недостоверности наших знаний, о легковесности физи-



ческих теорий и о тщете возвышенных умозрений метафизики.

Когда, сидя на берегу ручья, он замечал, как сорвавшийся с соседнего дерева лист падает на поверхность воды, нарушая ее хрустальную прозрачность, он говорил мне о непостоянстве наших привязанностей, о хрупкости наших добродетелей, о силе страстей, о волнениях души, о важности и трудности непредвзятого отношения к самому себе и правильного самопознания.

Когда мы стояли на вершине холма, господствовавшего над окрестными полями и селами, он внушал мне презрение ко всему, что возносит человека, не делая его лучше; он указывал мне на пространство над моей головой, в тысячу раз более обширное, чем то, что подо мною, и смирял мою гордость ничтожеством занимаемой мною точки по сравнению с необъятным простором, который расстилался перед моими глазами.

Когда мы спускались в долину, он говорил о бедствиях, неотделимых от человеческой жизни, и увещевал меня ожидать их без волнения и выносить без слабости.

При виде цветка, встретившегося на пути, он высказывал какую-нибудь легкую мысль или тонкое соображение. У подошвы старого дуба или в глубине грота он делился со мной серьезным и строгим рассуждением, сильной идеей, глубоким замечанием.

Я понял, что Клеобул создал себе своего рода местную философию; что вся его деревня была для него одушевленным и говорящим существом; что каждый предмет внушал ему особые мысли и что явления природы были для него какой-то аллегорической книгой, из которой он вычитывал тысячи истин, ускользавших от других людей.

Чтобы еще больше удостовериться в моем открытии, я повел его однажды к упомянутому месту, в котором перекрещивалось несколько аллей. Я припоминал, что в этом месте он как-то коснулся вопроса о различных путях, которыми люди приближаются к своей последней

цели: мне хотелось знать, не вернется ли он на этом месте к той же теме. Каким успехом увенчался мой опыт! Сколько важных и новых истин довелось мне услышать! Меньше, чем за два часа, в течение которых мы прошли от аллеи терний до аллеи каштанов и от нее до аллей цветов, он исчерпал все, что можно сказать о бреднях религий, о недостоверности философских систем и о тщете светских удовольствий. Я расстался с ним, пораженный правильностью его понятий, четкостью его суждений и обширностью его знаний; и, вернувшись к себе, я поспешил тотчас же записать его слова, что мне было в данном случае особенно легко, ибо Клеобул, желая приноровиться ко мне, охотно заимствовал обороты и сравнения из моей профессии.

Я несколько не сомневаюсь, что, пройдя через мое перо, его слова потеряли значительную часть той энергии и живости, какую они имели в его устах; но я думаю, что мне удалось сохранить основное содержание его речи. Эту речь я и выпускаю теперь в свет под заглавием: *Прогулка скептика или Беседа о религии, философии и светской жизни*.

Я уже роздал несколько копий моей рукописи; они были размножены, и в некоторых я нашел такие чудовищные искажения, что, боясь недовольства Клеобула в случае, если бы он проведал о моей нескромности, я пошел к нему рассказать о случившемся, попросить прощения и даже добиться разрешения опубликовать его мысли. Я трепетал, когда объявлял ему о цели моего посещения; я вспомнил надпись, начертанную на черном мраморе над входом в его дом: *beatus qui moriens sefellit\** и уже стал отчаиваться в успехе своего начинания. Но он успокоил меня, взял за руку, повел под свои каштаны и сказал следующее:

«Я несколько не браню вас за то, что вы стараетесь просветить людей; эта самая важная услуга, которую можно было бы им оказать, но которая, однако, никогда

\* Счастлив, кто прожил незаметно.

не будет им оказана. Как остроумно выразился один из наших друзей, когда я однажды беседовал с ним под сенью этих деревьев, излагать истину людям известного сорта—это все равно, что ввести луч света в свиное гнездо. Свет только попортит глаза сов и вызовет их крики. Если бы люди были невежественны только потому, что ничему не учились, то их, пожалуй, еще можно было бы просветить; но нет, в их ослеплении есть система. Арист, вы имеете дело с людьми, не только ничего не знающими, но и не желающими ничего знать. Можно образумить человека, который заблуждается невольно; но с какой стороны атаковать того, кто окопался против здравого смысла? Не ожидайте же, что ваши труды принесут большую пользу другим; но бойтесь, как бы они не причинили бескопечный вред вам. Религия и правительство—священные предметы, которых нельзя касаться. Лица, стоящие у кормила церкви и государства, едва ли могли бы удовлетворительно объяснить, почему они требуют от нас столь глубокого молчания; но самое благоразумное—повиноваться и молчать, если только у нас нет такой позиции, которая была бы недостижима для их стрел и с которой мы могли бы возвещать им истину».

Я понимаю,—ответил я,—всю мудрость ваших наставлений; но, не обязуясь следовать им, я позволю себе спросить вас, почему религия и правительство—запретные темы, о которых нельзя писать? Если истина и справедливость могут только выиграть от моего исследования, то смешно воспрепятствовать мне исследовать их. Неужели свободное высказывание своих мыслей о религии нанесет ей более опасный удар, чем запрещение говорить о ней? Если бы знаменитый Кошен<sup>3</sup>, изложив суду свои доводы, потребовал в заключение, чтобы противной стороне было воспрещено отвечать, то какое странное впечатление создалось бы о правоте защищаемого им дела! Пусть дух нетерпимости одушевляет магометан; пусть они отстаивают свою религию огнем и мечем,—они последовательны. Но когда люди, называющие себя учениками того, кто принес на землю закон любви, благоволения и мира, охра-

няют этот закон вооруженной рукой, то это уж просто невыносимо. Значит, они забыли, как сурово он разбил своих слишком пылких учеников, просивших его низвести огонь с неба на те города, которые они не сумели обратить по собственной вине? Коротче сказать: если рассуждения независимого ума основательны, то смешно бороться против них; а если они слабы, то смешно их бояться.

— Вам можно было бы возразить,—ответил Клеобул,—что есть предрассудки, которые важно сохранить в народе.

— Какие?—перебил я его.—Раз человек признает существование бога, реальность нравственного добра и зла, бессмертие души, награды и кары в загробной жизни, то к чему ему предрассудки? Если он будет еще посвящен в глубокие тайны пресуществления, сосуществования троицы, ипостасного единства, предопределения, воплощения и т. д.,—станет ли он от этого более достойным гражданином? Если он будет знать в сто раз лучше, чем самый завзятый сорбоннский спорщик<sup>4</sup>, являются ли три божественные лица отдельными и различными субстанциями; всемогущи ли сын и святой дух, или подчинены богу-отцу; заключается ли единство трех лиц в их внутреннем взаимном знании мыслей и намерений каждого; обстоит ли дело так, что в боге совсем нет лиц; являются ли отец, сын и святой дух тремя атрибутами божества: его благодатью, мудростью и всемогуществом; являются ли они тремя актами его воли: творением, искуплением и благодатью, или же двумя актами или двумя атрибутами отца: его самопознанием, из которого рождается сын; и его любовью к сыну, откуда исходит святой дух,—или же тремя отношениями одной и той же субстанции, которая рассматривается, как несотворенная, порожденная и произведенная,—или, наконец, просто тремя наименованиями,—если он будет знать все это, станет ли он от того более честным человеком? Нет, дорогой Клеобул, пусть он постигнет все тайны личности, сосуществования, единосущия и ипостаси,—он при всем том может остаться самым заурядным плутом. Христос сказал: люби

бога всем сердцем и своего ближнего, как самого себя, в этом закон и пророки. Он был слишком разумен и справедлив, чтобы ставить добродетель и спасение людей в зависимость от слов, лишенных смысла. Клеобул, великие истины не могли бы залить землю кровью. Люди убивали друг друга лишь во имя того, чего они сами не понимали. Перелистайте церковную историю и вы убедитесь, что если бы христианская религия сохранила свою первоначальную простоту; если бы от людей требовали только познания бога и любви к ближнему; если бы не загроздили христианство бесконечным множеством суеверий, которые сделали его на будущие времена недостойным бога в глазах всех здравомыслящих; словом, если бы людям проповедывали только такое богопочитание, основы которого они находили бы в своей собственной душе, то они никогда не отвергли бы его и не стали бы драться друг с другом после его принятия. Корысть породила священников, священники породили предрассудки, предрассудки породили войны, и войны будут существовать до тех пор, пока будут предрассудки, предрассудки—пока будут священники, а священники—пока будет выгодно быть ими.

— Мне прямо кажется,—подхватил Клеобул,—что я перенесен во времена Павла в Эфес и что вокруг меня священники подьют такой же вой, с каким они когда-то обрушились на Павла. «Если этот человек прав, воскликнут эти торговцы реликвиями, то конец нашей торговле; нам останется только закрыть нашу лавочку и умереть с голода». Арист, послушайте меня, предотвратите этот взрыв негодования, запишите вашу рукопись в стол и не показывайте ее никому, кроме наших друзей. Если вам дорога репутация человека, умеющего писать и мыслить, то они должны будут признать за вами эту честь. Но если вы жаждете более широкой известности, если уважение и искренняя похвала небольшого общества философов вас не удовлетворяют, то издайте труд, который вы без страха сможете назвать своим. Займитесь каким-нибудь другим вопросом; бьюсь об заклад, что найдется сколько

угодно тем, которые дадут богатый материал вашему легкому перу.

— Нет, Клеобул,—ответил я,—сколько я ни всматриваюсь в окружающие меня явления, я нахожу только два, которые заслуживают моего внимания, и это как раз те самые, о которых вы запрещаете мне говорить. Заставьте меня молчать о религии и правительстве, и мне нечего будет сказать. Действительно, какое мне дело, что академик \*\*\* написал прескверный роман; что отец \*\*\* произнес в церкви академическую речь; что дворянин \*\*\* наводняет нас жалкими брошюрами; что герцогиня \*\*\* домогается благосклонности своих пажей? Не все ли равно, кто действительный отец сына герцога \*\*\*, и пишет ли Д\*\*\* сам свои сочинения или за него пишут другие? Все эти пустяки не имеют значения; эти глупости не затрагивают ни вашего благополучия, ни моего. Пусть скверная история с \*\*\* оказалась бы, хоть это и невозможно, еще в тысячу раз более скверной,—управление государством не стало бы от того ни лучше, ни хуже. Ах, дорогой Клеобул, найдите для нас более интересные темы или уж дозвоьте нам сидеть сложа руки.

— Не возражаю,—ответил Клеобул,—сидите сложа руки, сколько вам будет угодно. Не пишите никогда, если написанное вами может погубить вас; но если вы уж непременно хотите использовать свои досуги за счет публики, то почему бы вам не взять за образец нового автора, написавшего книгу о предрассудках? <sup>5</sup>

— Я вас понимаю, Клеобул; вы советуете мне говорить о предрассудках публики так, чтобы всем было ясно, что я сам их целиком разделяю. Это ли вы имеете в виду? Это ли ставите мне в пример? Когда мне сообщили о выходе в свет этого сочинения, я подумал: вот книга, которая давно была нужна! Где она продается?—спросил я шопотом.—У Ж\*\*\* <sup>6</sup>, на улице св. Жака,—ответили мне без всякой таинственности. Как же это?—продолжал я думать про себя,—неужели нашелся честный цензор, решившийся пожертвовать своим окладом ради истины, или же книга написана так плохо, что цензор мог пропустить

ее, не рискуя своим маленьким состоянием? Я прочел заинтересовавшую меня книгу и убедился, что цензор действительно ничем не рисковал. Итак, вы советуете мне, Клеобул, или ничего не писать, или написать плохую книгу.

— Конечно,—ответил Клеобул.—Лучше быть плохим автором, которого оставляют в покое, чем хорошим, которого преследуют. Правильно сказал один, впрочем довольно сумбурный, писатель, что книга, над которой зеваешь, не вредит никому.

— Я постараюсь,—возразил я,—написать хорошую книгу и избежать преследования.

— Желаю вам успеха. Но единственный верный способ достигнуть вашей цели, никого не раздражая, это—сочинить длинный исторический, догматический и критический трактат, которого никто не станет читать и который суеверы смогут оставить без ответа. Вы удостоились бы тогда чести красоваться на одной полке вместе с Яном Гусом<sup>7</sup>, Социном<sup>8</sup>, Цвингли<sup>9</sup>, Лютером<sup>10</sup> и Кальвином, и через год едва ли кто-нибудь вспомнил бы, что вы написали книгу. Наоборот, если вы усвоите себе манеру Вэйля, Монтэня, Вольтера, Беркли<sup>11</sup>, Вульстона<sup>12</sup>, Свифта<sup>13</sup>, Монтескье, у вас будут, конечно, шансы оказаться более долговечным, но как дорого вы заплатите за это преимущество! Дорогой Арист, знаете ли вы, как следует, с кем вы связываетесь? Сорвется ли у вас с пера, что «единосущный» просто бессмысленное слово,—вас тотчас же объявят атеистом; но всякий атеист осужден на вечную гибель, а всякий осужденный должен гореть в огне на том свете и на этом. На основании этого сердобольного заключения вас будут гнать и преследовать. Сатана—служитель гнева божьего, а эти люди, как говорил один из наших друзей, никогда не откажутся быть служителями ярости сатанинской. Светские люди с удовольствием прочтут в вашей книге сатирическое описание их собственных нравов; философы посмеются над шутками, которыми вы уничтожаете их мнения; но святоши не понимают шуток, прошу вас запомнить это. Они все берут всерьез

и скорее простят вам сто аргументов, чем одно острое слово.

— Но не сумеете ли вы объяснить мне, дорогой Клеобул, почему богословы так не любят шуток? Ведь известно, что ничего не может быть полезнее удачной шутки; а что до неудачной, то ничего, я думаю, не может быть невинней. Смеяться над тем, в чем нет ничего смешного, все равно, что дуть на зеркало. Влага дыхания сходит сама собой с его поверхности, и оно снова становится кристально-чистым. Нет, решительно, эти чересчур серьезные господа либо сами не умеют шутить, либо не знают, что истина, добро и красота не могут быть осмеяны, либо, наконец, слишком уж определенно чувствуют, что этих качеств у них нет и в помине.

— Верно, конечно, первое, — сказал Клеобул, — ибо что может быть несноснее богослова, который разыгрывает из себя остряка? Разве только молодой военный, разыгрывающий из себя богослова. Дорогой Арист, у вас есть положение в свете, ваше имя известно, вы служили с отличием и доказали на деле свою безупречную честность; никто еще не вздумал и, надеюсь, не вздумает отказать вам в приятной внешности и уме; признавать за вами эти достоинства должен всякий, кто хочет быть в моде. При таких условиях слава хорошего писателя даст вам так мало новых преимуществ, что вы свободно могли бы пренебречь ею, но подумали ли вы о том, чем грозит вам репутация посредственного автора? Знаете ли вы, что тысячи низких душ, завидующих вашим достоинствам, с нетерпением ждут одного вашего неловкого шага, чтобы опорочить все ваши блестящие качества? Не рискуйте обрадовать зависть этим жалким утешением; пусть она удивляется вам, чахнет и безмолвствует.

Мы собирались продолжать наш разговор, и Клеобул, уже поколебавший меня своими первыми рассуждениями, в конце концов, наверное, задушил бы во мне авторское тщеславие, так что мое или, вернее, его произведение навеки осталось бы под замком, — как вдруг появился молодой скептик Альцифрон; он предложил нам



быть арбитром в нашем споре и решил, что раз записанные мною речи Клеобула о религии, философии и светской жизни уже обращаются в рукописи, то больше смысла имело бы их напечатать. «Но во избежание всех неприятностей, так пугающих Клеобула,—прибавил он,—я советую обратиться с этим делом к какому-нибудь подданному того государя-философа, который прогуливается иногда, с лавровым венком на челе, по нашим аллеям и отдыхает от своих благородных трудов в тени наших каштанов,—того самого, который так красноречиво и умно *распек* недавно Макнавелли<sup>14</sup>. Издайте вашу рукопись в его владениях, и пусть себе ханжи кричат, сколько им угодно».

Этот совет вполне соответствовал условиям моего спокойствия, моим интересам и моим порокам, —и я последовал ему.

Punitis ingeniis gliscit auctoritas\*.

\* Значение людей, потерпевших гонения за свой ум, лишь возрастает (Тацит, *Анналы*).

Velut silvis, ubi passim  
Palantes error certo de tramite pellit;  
Ille sinistrorsum, hic dextrorsum abit;  
unus utrique  
Error, sed variis illudit partibus. Hos te  
Crede modo insanum; nihilo ut sapien-  
tior ille,  
Qui te deridet, caudam trahat\*.

Quone malo mentem concassa? Ti-  
more deorum\*\*.

### Аллея терний

1. Завистники не обвинят меня, что я расстратил миллионные государственные средства на поездку в Перу за золотом или в Лапландию за соболями. Лица, которым Людовик повелел проверить вычисления великого Ньютона и измерить с помощью туаза фигуру нашей планеты, поднимались без меня вверх по реке Торнео, и я не спускался вместе с ними по водам Амазонки<sup>15</sup>. Поэтому я не буду рассказывать тебе, дорогой Арист, об опасностях, которым я подвергался в ледяных краях севера или в знойных пустынях юга; и уж тем более не буду говорить о пользе, которую извлекут когда-нибудь, через две или три тысячи лет, география, мореплавание и астрономия из моего удивительного угломера и из моей необыкновенной зрительной трубы. Я ставлю себе более благородную цель, более близкую задачу: я хочу просветить и усовершенствовать человеческий разум повестью о простой

\* Так иногда в лесу путники сбиваются с пути—одни уходят влево, другие вправо; один и тот же обман увлекает их, но в разные стороны. Таково же, поверь, твое безрассудство: и тот, кто смеется над тобой, сам ничуть не умнее, сам тащит за собой свой горб (Гораций, *Сатиры*, кн. II, сат. 3).

\*\* Какая болезнь расстроила ее ум?—Страх перед богами (Гораций, *Сатиры*, кн. II, сат. 3).

прогулке. Нужно ли мудрецу переплывать моря и отмечать в своем дневнике варварские имена и необузданные страсти дикарей, чтобы просвещать цивилизованные народы? Все, что нас окружает, полно интереса. Предметы, наиболее нам привычные, могут показаться нам чудесами: все зависит от нашего взгляда. Будучи рассеянным, он обманывает нас; будучи пронзительным и сосредоточенным, он приближает нас к истине.

2. Ты знаешь нашу землю: реши сам, под каким меридианом расположена небольшая страна, которую я тебе опишу и которую я исследовал недавно как философ, потеряв сперва немало времени на то, чтобы объездить ее в качестве географа. Предоставляю также тебе самому дать различным слоям ее населения имена, подходящие к их нравам и характерам, которые я тебе обрисую. Как ты будешь изумлен, узнав, что мы живем среди них! Но так как этот странный народ состоит из различных классов<sup>16</sup>, то тебе, может быть, неизвестно, к какому из них принадлежишь ты сам, и я заранее смеюсь над твоим затруднением, если ты не сумеешь сказать, кто ты, или над твоим стыдом, если окажется, что твое место в толпе глупцов.

3. Царство, о котором я говорю, управляется государем, имя которого почти не вызывает разногласий среди его подданных; но нельзя сказать того же о его существовании. Никто его не видел, а те из его приближенных, которые будто бы разговаривали с ним, высказались о нем в таких темных выражениях и приписали ему такие странные, противоречивые свойства, что одна часть народа не перестала с тех пор строить разные системы для объяснения этой загадки или драться между собой за торжество своих мнений; другая же часть предпочла сомневаться во всем, что говорят про государя, а некоторые даже решились ничему этому совсем не верить<sup>17</sup>.

4. Тем не менее его считают бесконечно мудрым, просвещенным, преисполненным нежности к своим подданным; но так как он решил быть недоступным, по крайней мере на время, и так как всякое общение с народом, очевидно,

унизило бы его, то способ, который он выбрал для обнаружения законов и изъявления своей воли, чрезвычайно неясен. Люди, якобы посвященные в его тайны, так часто оказывались безумцами или мошенниками, что поневоле начинаешь думать, что они и впредь всегда будут такими же. Два толстых тома, наполненных чудесами и постановлениями, то весьма странными, то вполне разумными, содержат в себе его волеизъявления<sup>18</sup>. Эти книги написаны так неровно, что надо думать, что он был не слишком внимателен при выборе своих писцов или что часто злоупотребляли его доверием. В первом томе содержатся всевозможные предписания, подкрепляемые длинным рядом чудес; второй же том отменяет эти старые жалованные грамоты и вводит новые, точно так же опирающиеся на чудеса: отсюда распря между получателями грамот. Новые избранники считают себя исключительными обладателями государевых милостей и презирают старых, как слепцов, а те ненавидят их, как втируш и захватчиков<sup>19</sup>. Но в дальнейшем я изложу тебе подробнее содержание этого двойного кодекса, а пока вернемся к государю.

5. Он обитает, по слухам, в каком-то лучезарном, волшебном и блаженном месте, которое описывается весьма различно в зависимости от фантазии описывающего. Туда придем, в конце концов, мы все. Двор государя—общее место свиданий, к которому мы все время приближаемся; и говорят, что мы будем там награждены или наказаны, смотря по тому, как мы вели себя в пути<sup>20</sup>.

6. Мы рождаемся солдатами; но способ, каким нас зачисляют в войско, исключительно странен. Когда мы погружены в такой глубокий сон, что никто из нас даже не помнит, спал ли он в ту минуту или бодрствовал, к нам приставляют двух свидетелей; затем спящего спрашивают, хочет ли он вступить в войско; свидетели отвечают за него *да*, подписывают то обязательство, и дело сделано: он—солдат<sup>21</sup>.

7. Во всяком военном государстве установлены военные знаки, дающие возможность распознавать лиц военной профессии и налагать на них наказания, как на дезерти-

ров, если они оставят службу не в узаконенном порядке или не по крайней необходимости. Так, у римлян на новобранцах ставили клеймо, прикреплявшее их к военной службе под страхом смертной казни. Та же мера была принята и в нашем государстве; и в первом томе кодекса было предписано делать всем воинам отметку как раз на той части тела, которая знаменует мужеский пол<sup>22</sup>. Но либо наш государь сам передумал, либо прекрасный пол, всегда склонный оспаривать у нас наши преимущества, счел себя не менее способным к военному делу и заявил протест,—во всяком случае, во втором томе этот пункт был отменен. Штаны перестали быть отличительным признаком военных. Появились войска в юбках; и государева армия состоит теперь из героев и амазонок, одетых в одинаковую форму. Военный министр, которому было поручено выработать ее, остановился на повязке на глазах и белом плаще<sup>23</sup>. Таков наш военный мундир, и он без сомнения больше подходит для лиц обоего пола, чем первый,—удивительное средство увеличить, по крайней мере, вдвое количество войск! Замечу, между прочим, к чести прекрасного пола, что мало найдется мужчин, умеющих носить повязку так ловко, как женщины.

8. Обязанность солдат заключается в том, чтобы хорошо носить свою повязку и не дать сесть ни пятнышку на свое платье. Повязка делается то более толстой, то более тонкой от употребления. У одних она превращается в кусок чрезвычайно плотной материи, у других—в легкий газ, ежеминутно готовый разорваться. Платье без пятнышка и две одинаково плотные повязки—вот чего никто еще не видел. Вы прослывете негодяем, если дадите запачкать ваше платье; а если ваша повязка разорвется или упадет, вас назовут дезертиром. О моем платье я не скажу тебе, мой друг, ни слова. Считается, что хвалить его значит его пачкать, а отзываться о нем с презрением значило бы навести тебя на мысль, что оно грязно. Что до моей повязки, то я уже давно избавился от нее: она ли сама недостаточно твердо сидела, или я тут постарался, но, во всяком случае, она упала.

9. Нас уверяют, что наш государь—сама просвещенность; однако наш кодекс, изданный будто бы им, необычайно темен. Насколько разумно все, что написано в нем о платье воина, настолько же смешны пункты, касающиеся повязки. Утверждается, например, что когда она сделана из плотной материи, она не только не мешает видеть, но сквозь нее даже можно узреть бесчисленное множество чудес, невидимых для простого глаза; и что у нее есть одно свойство, общее с гранеными стеклами,—показывать один и тот же предмет сразу в нескольких местах<sup>24</sup>. В доказательство этих нелепостей приводится такое множество других, что некоторым дезертирам пришлось в голову, не мелкие ли это бесы внушили нашему законодателю свои мысли и внесли в новый кодекс столько ребяческой чепухи, которой нет и следа в старом. Но вот что особенно удивительно: они еще добавили, что знание этих бредней совершенно необходимо, чтобы быть допущенным во дворец нашего монарха. Ты меня, конечно, спросишь, что случилось со всеми теми, кто жили до обнародования нового кодекса. Право, не умею тебе сказать... Лица, уверяющие, что они в курсе дела, говорят в оправдание государя, что он сообщил обо всем этом по секрету своим старым генералам; но они не объясняют, почему он распустил всех своих старых солдат<sup>25</sup>, которые жили себе без тревог и были, конечно, весьма удивлены, когда, прибыв ко двору, встретили такой скверный прием за незнание вещей, которых они никак не могли знать.

10. Войска стоят лагерем в местностях, о которых мало что известно. Напрасно оглашают во всеобщее сведение, что все там имеется в изобилии; надо думать, что живет там плохо. В самом деле, те, кто зачисляются в войско, не сообщают ничего определенного, ограничиваются общими фразами, боятся прибавить лишнее слово и стараются уйти обратно как можно позднее.

11. Три дороги ведут туда; одна, по левую руку, считается наиболее верной, хотя в действительности она только самая мучительная. Это длинная, узкая тропинка<sup>26</sup>, крутая, каменистая и заросшая терниями; пут-

нику она внушает страх, он идет по ней нехотя и всегда готов свернуть в сторону.

12. Впереди простирается другая дорога—широкая, заманчивая, вся усеянная цветами<sup>27</sup>; она кажется приятно пологой. Невольно хочется идти по ней; она сокращает путь, что, впрочем, вовсе не достоинство, ибо ввиду ее привлекательности всякий был бы непрочь идти по ней подольше. Но если путник благоразумен и внимательно присматривается к этой дороге, он скоро убеждается, что она неровна, извилиста и далеко не безопасна. Он замечает, что она круто опускается вниз; он видит пропасти под цветами; он боится сделать неверный шаг; он сворачивает в сторону, но нехотя; едва забывшись, он возвращается снова,—а нет такого человека, который не заблудился бы на мгновение.

13. Направо идет небольшая темная аллея, обсаженная каштанами и усыпанная песком, более удобная, чем терновая тропа, менее привлекательная, чем аллея цветов, более верная, чем они обе<sup>28</sup>; но ее трудно пройти до конца, потому что песок на ней становится все более зыбучим.

14. В аллее терний ты встретишь власяницы, вретница, бичи для умерщвления плоти, личины, сборник благочестивых раздумий, мистические побрякушки, наставления о том, как не загрязнить свое платье или как его очистить, и великое множество поучений, как носить повязку, чтобы она не сползала,—поучений, которые все бесполезны для глупцов и среди которых нет ни одного, полезного для здравомыслящих людей.

15. Аллея цветов усеяна картами, домино, серебром, драгоценными камнями, нарядами, сказками и романами; куда ни взглянешь, ложа из свежей зелени и нимфы, чьи прелести, отвергнешь ли ты их или используешь, не сулят ничего страшного.

16. В каштановой аллее ты найдешь сферы, глобусы, телескопы, книги, тень и безмолвие.

17. Пробудившись от глубокого сна, во время которого он был зачислен в войско, человек оказывается на

терновой тропе; он одет в белый плащ, на глазах у него красуется повязка. Легко себе представить, как удобно пробираться ощупью сквозь колючие кустарники и крапиву. А между тем есть солдаты, которые на каждом шагу благословляют провидению за то, что оно послало их сюда<sup>29</sup>, искренне радуются беспрестанным уколам и ожогам, редко поддаются искушению запачкать свое платье и никогда не пробуют приподнять или разорвать повязку; они твердо верят, что чем хуже видишь, тем прямее идешь к цели и что когда-нибудь государь отблагодарит их столько же за неиспользование собственных глаз, сколько за усердное попечение о своем платье.

18. И кто бы мог подумать? Эти безумцы счастливы. Они нисколько не сожалеют об утрате органа, цену которого не знают; они считают повязку драгоценным украшением; они скорее пролили бы свою кровь до последней капли, чем расстались бы с этой повязкой; они радуются предполагаемой белизне своего платья; привычка сделала их нечувствительными к шпам, и они свершают свой путь, распевая в честь своего государя песни очень старинные, но и весьма красивые.

19. Пусть они остаются при своих предрассудках; было бы слишком рискованно открыть им глаза; может быть, всей своей добродетелью они обязаны своему ослеплению. Если снять с их глаз повязку—кто знает, будут ли они по-прежнему так пещься о чистоте своего платья? Иной человек, прославившийся в терновой аллее, был бы, может быть, прогнан сквозь строй в цветочной или каштановой; и, наоборот, человек, отличившийся в одной из этих двух последних аллей, был бы, может быть, достоин бичевания в первой.

20. На дорожках, подводящих к этой мрачной тропе, ты встретишь людей, которые тщательно ее изучили, которые считают себя ее великими знатоками и знакомят с ней прохожих, но не так-то наивны, чтобы самим идти по ней<sup>30</sup>.

21. Это вообще самая скверная порода людей, какую я только знаю. Спесивые, скупые, лицемерные, коварные,



мстительные, а главное, чудовищно сварливые, они унаследовали от брата Жана Дезантоммера, блаженной памяти, тайну, как убивать своих врагов древком знамени; бывают моменты, когда они умертвили бы друг друга из-за одного слова, если бы им любезно разрешили это сделать. Им удалось, не знаю как, убедить новобранцев, что они обладают исключительной привилегией очищать платье<sup>31</sup>; и благодаря этому они сделались крайне необходимыми для людей, которые, имея на глазах повязку, легко верят на слово, что их платье запачканс.

22. Эти ханжи днем торжественно прогуливаются по терновой аллее, а ночи преспокойно проводят в цветочной<sup>32</sup>. Они утверждают, что какими-то государевыми законами им воспрещено иметь собственных жен; но они не удосужились прочесть в тех же законах, что трогать чужих жен им воспрещается точно так же, и поэтому они охотно ласкают жен путников. Ты не поверишь, до чего им трудно скрыть эти похождения от своих ближних; ибо они усердно занимаются срыванием масок друг с друга. Когда им это удастся, что бывает нередко, в их аллее начинают по этому поводу благочестиво вздыхать и охать, в цветочной громко хохочут, а в нашей лукаво посмеиваются. Если благодаря их проделкам мы теряем кое-кого из наших, то это искупается для нас тем, что мы можем поднять их насмех; ибо, к стыду для человека, острая шутка опасна для них не меньше, а даже больше, чем разумное рассуждение.

23. Чтобы дать тебе о них еще более точное понятие, я должен теперь описать, как эта весьма многочисленная корпорация вожатых образует своего рода главный штаб с высшими и низшими чинами, с большими или меньшими окладами в зависимости от ранга, с очень сложной системой различных форм и мундиров. Разнообразие тут нет конца.

24. Во-первых, существует вице-король<sup>33</sup>, который из страха занозить себе ступни ног, ставшие слишком изнеженными, передвигается только в колеснице или на носилках. Он очень вежливо называет себя смиренным служи-

телем мира; но он же спокойно разрешает своим адъютантам заявлять, что весь мир должен быть его рабом; и они повторяют это так часто, что уверили в этом, наконец, дураков, т. е. очень многих людей. Правда, на некоторых участках аллеи терний встречаются солдаты, у которых повязка начинает протираться и которые оспаривают мнимое право вице-короля на деспотическую власть; они выдвигают против него старые документы с решением собрания генеральных штатов<sup>34</sup>. Но вместо всякого ответа он тотчас же пишет им, что они неправы; потом сговаривается в один миг со своими приближенными, и если мятежники не сдаются, он лишает их окладов и пенсий и отбирает у них все их снаряжение, а иногда расправляется с ними и более круто. Есть молодцы, которых он высек, как мальчишек. За их счет он обзавелся довольно крупным имением, главная продукция которого заключается в веленовой бумаге и мыле; ибо он первый в мире выводчик пятен, в силу особой привилегии, которую он использует очень охотно, когда ему за это платят<sup>35</sup>. Его первые предшественники ходили пешком по аллее терний. Кое-кто из его преемников забрел в аллею цветов. Некоторые прогуливались под нашими каштанами.

25. Под началом этого владыки, которого ты принял бы за отца Яфета Армянского, так он жеманен и так любит щеголять своими шалочками, состоят губернаторы и их помощники<sup>36</sup>; одни из них бледны и тощи, другие свежи и румяны, третьи стройны и ловки. Они образуют особое благородное сословие, отличительный знак которого—длинная крючковатая палка и головной убор, заимствованный у жрецов Кибелы, на которых они, впрочем, в остальных отношениях отнюдь не похожи: это они доказали на деле. Они выполняют функции наместников государя; вице-король называет их своими слугами. Они также торгуют мылом, но оно похуже качеством, а потому и подешевле, чем мыло вице-короля; кроме того, они знают секрет приготовления самого чудодейственного бальзама<sup>37</sup>.

26. За ними идут многочисленные кадры офицеров<sup>38</sup>, рассеянных по отдельным служебным постам. Каждый из

них получает, как сипай у турок, более или менее доходный хутор; поэтому большинство из них ходят пешком, некоторые ездят верхом и очень немногие в колясках. Их обязанность—производить занятия с рекрутами, комплектовать войска, усыплять новобранцев речами о том, что необходимо, как следует, носить повязку и отнюдь не пачкать свое платье,—две задачи, к которым они сами относятся довольно небрежно, будучи, очевидно, слишком заняты заботой о повязках и платьях других, ибо это тоже входит в их обязанности.

27. Я чуть было не забыл упомянуть о небольшом отдельном отряде, члены которого носят шапочку, украшенную пином с накидкой из кошачьей шкурки. Они выдают себя за официальных защитников прав государя, существование которого большинство из них не признает<sup>39</sup>. Не так давно в этом отряде одно место оказалось вакантным. Три человека выступили претендентами на него: один глупец, один негодник и один дезертир,—иначе сказать: невежда, распутник и атеист; место досталось дезертиру. Они все время спорят на варварском жаргоне о государственном кодексе, который они толкуют и комментируют вкось и вкривь и над которым явным образом потешаются. Поверишь ли, что один из их начальников утверждал, что когда сын государя производит генеральный смотр подданных своего отца, он может с таким же успехом воплотиться в корову\*, как в человека. Старики из этого отряда болтают вздор так ловко, точно они всю жизнь ничего другого не делали. Молодым начинает надоедать их повязка; у них осталась от нее только тонкая косынка, а иногда и той уже нет. Они довольно свободно разгуливают по цветочной аллее и общаются с нами под нашими капитанами, но всегда под вечер и тайком.

28. Наконец, имеются еще вспомогательные войска под командой очень богатых начальников<sup>41</sup>. Это настоящие бандиты, живущие грабежом путников. О большинстве

\* Мог ли бог воплотиться в корову? Александр Галесский<sup>40</sup> поставил этот вопрос и ответил, что мог. [Прим. автора.]

из них рассказывают, что они когда-то искусно обирали лиц, которых доставляли в лагерь,—у одного захватывали замок, у другого ферму, у этого лес, у того пруд, и таким путем создали себе свои просторные отдохновительные приюты, расположенные между аллеей терний и аллеей цветов. Некоторые из их стариков ходят с протянутой рукой из дома в дом и продолжают раздевать прохожих. Эти презренные войска разделены на полки, из которых каждый имеет свое знамя, странную форму и еще более странные уставы. Не жди от меня описания их разнообразного оружия. Почти все носят вместо каски нечто вроде подвижного слухового окна или покрывку конической формы, которая то скрывает их голову, то ниспадает им на плечи. Они сохранили усы сарацин и римские сандалии. Из этих именно войск рекрутируются, в некоторых местах аллеи терний, судьи, стрелки и палачи армии<sup>42</sup>. Этот военный совет весьма суров: он приказывает сжигать живьем путников, которые отказываются надеть повязку или носят ее не так, как следует, а также дезертиров, которые ее бросают,—причем все это делается из принципа милосердия. Из этих же войск, и особенно из одного большого черного отряда, выходят толпы вербовщиков<sup>43</sup>, которые заявляют, что государь поручил им вести работу за границей, вербовать солдат в чужих краях и убеждать подданных других монархов, что они должны бросить присвоенную им одежду, кокарду, шапку и повязку и надеть форму, принятую в аллее терний. Когда эти смутьяны попадают, их вешают, если только они сами не становятся перебежчиками; и по большей части они предпочитают переметнуться, чем быть повешенными.

29. Не все так предприимчивы, не все ищут приключений в далеких варварских странах. Многие, замкнувшись в более узкую сферу, выбирают себе различные занятия, смотря по своим способностям и по указанию своих начальников, которые искусно используют их в интересах своих отрядов. Тот, кою природа одарила верной памятью, красивым голосом и некоторой дозой нахальства, будет без устали кричать прохожим, что они не туда идут, не

указывая им, однако, правильного пути; он будет загре-  
бать деньги за свои советы, хотя вся его заслуга состоит  
в повторении того, что уже тысячу раз до него говорили  
другие, не более осведомленные, чем он<sup>44</sup>. Тот, у кого  
есть смекалка и кто умеет болтать вздор и интриговать,  
станет жить в помещении, похожем на ящик, где будет  
проводить добрую половину своего времени в выслушивании  
признаний—редко занимательных, по большей части жи-  
вых, но всегда прибыльных<sup>45</sup>. Уныние и тоска обычно  
царят в этих жилищах<sup>46</sup>. Но бывали случаи, что в них  
тайком проникала запретная любовь, овладевала неиску-  
шенными сердцами и увлекала юных паломниц в аллею  
цветов, которую им показывали под тем предлогом, что,  
ознакомившись с нею, легче будет идти по аллею терний.  
В этих жилищах, похожих на ящик, раскрывается все: тай-  
ны, богатства, дела, любовные похождения, интриги, муки  
ревности. Все используется, и советы редко даются да-  
ром.—Тот, у кого нет ни воображенья, ни таланта, погру-  
зится в науку о числах или займется переписыванием чу-  
жих мыслей. Иной ослепнет над заржавелым куском  
бронзы, стараясь определить по нему, когда был основан  
город, о котором уже тысячу лет ничего не слышно,—  
или будет мучиться десять лет подряд над тем, чтобы  
оболванить какого-нибудь способного от рождения ребенка,  
и наконец достигнет своей цели. Некоторые владеют  
кистью, заступом, пилой или рубанком; очень многие пред-  
почитают совсем ничего не делать и лишь трубить о своей  
великой важности. Тот, кто знает этих людей, бежит от  
них, как от чумы; и многие думают, что знают их, хотя  
мало кто знает их до конца.

30. Поразительно, с каким доверием и восторгом отно-  
сятся к тем, кто живет в ящиках. Послушать их самих,  
они владеют средством исцелять все беды. Это средство  
состоит в следующем: ревнивому мужу говорят, что его  
жена вовсе не кокетка или что он должен ее любить, не-  
смотря на ее кокетство; женщине легкого поведения—что  
она обязана жить со своим шестидесятилетним супругом;  
министру—что он должен быть честен; коммерсанту, что

он напрасно занимается ростовщицеством; неверующему— что следовало бы верить; и так далее. *Ты хочешь исцелиться?*—говорит врач больному. *Да, хочу,*—отвечает тот. *Иди же, и ты будешь исцелен.* Простаки уходят вполне удовлетворенные и, пожалуй, действительно чувствуют себя лучше.

31. Не так давно среди вожатых образовалась довольно многочисленная секта крайне суровых людей<sup>47</sup>, которые стали пугать путников требованием, чтобы их платье блистало совершенной белизной: они стали вопить в домах и храмах, на улицах и на крышах, что малейшее пятнышко—неизгладимый порок; что мыло вице-короля и губернаторов никуда не годится; что надо доставать мыло непосредственно из складов государя и разводить его собственными слезами; что государь раздает его бесплатно, но в очень небольших количествах и получить его может далеко не всякий. И как будто колючих терний, которыми заросла дорога, было мало, эти бешеные люди усеяли ее капканами и рогатками, так что идти по ней стало уже совершенно невозможно. Путники пришли в отчаяние; со всех сторон стали раздаваться вопли и стоны. В виду невозможности продолжать путь по столь мучительной дороге многие были готовы броситься в аллею цветов или перейти под наши каштаны,—но черный отряд во-время одумался и стал раздавать пуховые туфли и бархатные рукавицы. Эта мера предотвратила повальное бегство.

32. Кое-где встречаются большие птичьи клетки; в них содержатся исключительно только самки<sup>48</sup>. Здесь богомольные самки попугаев гнусавят чувствительные речи или поют на жаргоне, которого сами не понимают; там стонут молодые горлинки, оплакивая утрату своей свободы; еще дальше порхают и неугомонно чирикают коноплянки, которых вожатые дразнят для развлечения, подходя к решеткам их клетки. Те из вожатых, или *бродячих шарманок*, у которых есть кое-какие связи в аллее цветов, приносят им оттуда букетики из ландышей и роз. Главная мука этих пленниц в том, что они слышат, как мимо них проходят путники, и не могут упорхнуть вслед за ними.

Впрочем, их клетки просторны, опрятны и хорошо снабжены просом и леденцами.

33. Теперь ты имеешь представление об армии и ее начальниках. Обратимся к военному кодексу <sup>49</sup>.

34. Это своего рода мозаика, составленная сотней различных мастеров, из которых каждый добавлял свои камешки по собственному вкусу; каков был этот вкус, суди сам.

35. Наш кодекс состоит из двух томов. Первый начал создаваться около 45317 года китайской эры, стараниями одного старого пастуха, отлично умевшего жонглировать посохом и слывшего, в придачу, великим магом <sup>50</sup>, что он и доказал своему хозяину, который не хотел ни уменьшить его оброк, ни освободить от барщины его и его родственников. Преследуемый стражниками, он покинул свой родной край и бежал к одному хуторянину, у которого сорок лет пас баранов в пустыне, где одновременно занимался колдовством. Он уверяет—честное слово!—что однажды видел нашего государя, не видя его, и был им возведен в звание главного наместника, с маршальским жезлом. Вооруженный такими полномочиями, он возвращается на родину, подстрекает к бунту своих родных и друзей и призывает их следовать за ним в страну, которая, по его словам, принадлежала когда-то их предкам и в которой те, действительно, бывали. В один момент бунтовщики собираются на его призыв, и он заявляет о своем намерении хозяину имения; тот отказывается отпустить их и поступает с ними как с мятежниками. Тогда старый пастух бормочет себе под нос несколько слов, и все пруды нашего барона оказываются отравленными. На другой день он портит овец и лошадей. Еще через несколько дней он насылает на помещика и всех его домочадцев понос и чесотку. После ряда таких проделок он поражает смертоносной язвой его старшего сына и всех взрослых парней деревни. Тогда помещик соглашается наконец отпустить бунтовщиков: юнн выселяются <sup>51</sup>, но опустошив предварительно его замок и ограбив остальных жителей. Барон, возмущенный этим последним обстоятельством, садится на

коня и пускается в погоню во главе своей челяди. Но бандиты уже успели благополучно перейти вброд какую-то реку<sup>52</sup>; и, к еще большему благополучию для них, их бывший хозяин, не знавший этой реки, попытался переехать ее несколько ниже и утонул почти со всеми своими людьми.

36. Прежде чем добраться до страны, которая была им обещана, они долго блуждали в пустыне, где их вождь развлекал их своими колдовскими фокусами так долго, пока они все не перемерли. Как раз в это время он занялся от скуки сочинением истории своего народа и составлением первой части кодекса.

37. Написанная им история целиком основана на рассказах, которые деда передавали у домашнего очага своим детям, усвоив их, в свою очередь, от дедов, и так далее вплоть до первого прадеда. Самый верный секрет, как не извратить истину событий.

38. В этой истории рассказывается, как наш монарх, основав свое государство, взял немножко глины, дунул на нее, вдохнул в нее жизнь и сотворил таким образом первого солдата<sup>53</sup>; как жена, которую он ему дал, съела скверное блюдо и этим запятнала своих детей и всех их потомков так, что они стали ненавистны государю<sup>54</sup>; как войско стало умножаться; как солдаты сделались настолько дурными, что государь утопил их всех<sup>55</sup>, за исключением небольшой группы, начальник которой был порядочным человеком; как дети этого последнего вновь заселили мир и распространились по лицу земли; как наш государь, чуждый всякого лицепрятия, возлюбил, однако, только часть нового человечества, признав ее своим народом, и как по его воле этот народ родился от женщины, утратившей уже способность рожать детей, и от старика, который изредка спал со своей служанкой. Тут-то и начинается, собственно говоря, история тех первых избранников, о которых я говорил тебе выше,—тут мы входим в детали их родословий и их приключений.

39. Об одном из этих родоначальников рассказывается, например, что государь повелел ему зарезать собственного



сына<sup>56</sup> и что тот был уже готов повиноваться, как вдруг явился нарочный с известием, что невинный ребенок помпирован; а о другом мы читаем, что его дядька нашел ему, поя водой его лошадь, хорошенькую любовницу; о третьем—что он обманывал своего будущего тестя, обманув сначала собственного отца и старшего брата, что он спал с двумя сестрами и затем с их двумя служанками; о четвертом—что он спал с женой своего сына; о пятом—что он нажил большое богатство отгадыванием загадок и превосходно устроил свою семью в вотчине одного важного господина, у которого служил управляющим; и почти обо всех—что их посещали чудесные сны, что они видели воочию всякие небылицы, встречались с духами и отважно дрались с домовыми. Таковы великие события, о которых старый пастух поведал потомству.

40. Что касается кодекса, то вот его главнейшие статьи. Я уже сказал о черном пятне, из-за которого мы сделались ненавистны государю. Угадай, что было предпринято для возвращения его милости, столь странным образом потерянной! Нечто еще более странное: у всех детей отрезали крошечный кусочек плоти (об этой операции я уже говорил)<sup>57</sup> и обязались ежегодно съедать, собравшись всей семьей, сухарь без масла и без соли<sup>58</sup>, с салатом из сухих одуванчиков. Другое обязательство заключалось в том, чтобы один день в неделю проводить со связанными на спине руками<sup>59</sup>. Каждому было приказано обзавестись повязкой и белым платьем и мыть последнее, под страхом смертной казни, в крови ягненка и в чистой воде: происхождение повязок и белых платьев относится, как видишь, к очень древним временам. Для этой цели в войсках были учреждены роты мясников и водозовов. Десять небольших строчек заключали в себе все приказы государя<sup>60</sup>; начальник наших переселенцев огласил их во всеобщее сведение и затем спрятал в ларец из палисандрового дерева<sup>61</sup>, который по части прорицаний ничуть не уступал треножнику дельфийской Сивиллы. Остальное представляло собою беспорядочный набор постановлений<sup>62</sup> о форме рубашек и плащей, о распорядке

граpez, о качестве разных вин, о большей или меньшей удобоваримости различных сортов мяса, о времени для прогулок, для сна и для других вещей, которые человек делает, когда не спит.

41. Старый пастух, опираясь на поддержку одного из своих братьев, которого он обеспечил крупным доходом, ставшим наследственным в его семье, захотел насильственно подчинить своих спутников всем этим постановлениям. Но тут поднялся ропот, люди собрались толпой, стали спорить против его власти, и он потерял бы ее безвозвратно, если бы не уничтожил мятежников, проведя подкоп под тот участок земли, на котором они жили. Это событие было понято, как месть неба, и наш чудотворец никого не разубеждал в этом.

42. После ряда приключений стали приближаться к стране, которую предстояло завоевать. Вождь переселенцев, не желавший брать на себя ручательство за это дело и любивший воевать лишь издалека, ушел от своих подданных в пещеру и умер там голодной смертью, предварительно крепко заповедав им не давать пощады своим врагам и быть великими ростовщиками—две заповеди, которые они выполнили на диво.

43. Я не буду останавливаться ни на их победах, ни на том, как они основали новое государство, ни на разных переворотах, происходивших в нем. Обо всем этом ты должен прочесть в самой книге, в которой ты познакомишься, если сможешь, с историками, поэтами, музыкантами, романистами и глашатаями, возвещавшими о будущем прибытии сына нашего монарха и о реформе законодательства<sup>63</sup>.

44. Наконец он действительно явился—но не в пышном окружении, которое приличествовало его высокому рождению, а как один из тех искателей приключений, которым удавалось когда-то создавать или завоевывать царства с кучкой смелых и решительных сподвижников. Такая была уж тогда мода. Его соотечественники долго принимали его за обыкновенного человека; но в один прекрасный день они с удивлением услышали, что он при-

писывает себе титул государева сына и власть отменить старый кодекс, за исключением лишь десяти заключенных в нем строк, и заменить его новым. Он был прост в своих нравах и речах. Он утвердил, под страхом смертной казни, ношение повязки и белого платья. Относительно последнего он дал превосходные предписания, еще гораздо более трудные для выполнения; но он высказал странные мысли о повязке. Некоторые из них я уже сообщил тебе; выслушай теперь другие. Он утверждал, например, что с этой повязкой на глазах можно явственно увидеть, как его отец, он сам и еще третье лицо, являющееся одновременно его братом и его сыном, сливаются в нераздельное единство<sup>64</sup>. Ты, конечно, вспомнишь тут о Герионе древних. Но я прощаю тебе твою попытку объяснить чудо с помощью басни. Несчастный, ведь ты не знаешь тайну круговращения. Ты ничего не слышал о божественной пляске, в которой три государя вечно обращаются один вокруг другого. Сын говорил даже, что он будет современем большим вельможей и что его уполномоченные будут задавать пиры. Это предсказание оправдалось. Первые из тех, кто получил это почетное звание, устраивали недурные обеды и основательно выпивали за здоровье своего господина; но их преемники стали бережней. Они открыли, не знаю как, что их господин обладает таинственной способностью вмещаться в кусочек хлеба<sup>65</sup> и что его могут тогда проглатывать целиком, в одно мгновение, сотни тысяч его друзей, не испытывая при этом никакой тяжести в желудке, хотя он и был ростом в пять футов и шесть дюймов; в связи с этим было решено заменить обеды простыми завтраками без выпивки. Некоторые солдаты, любившие выпить, возроптали. Дело дошло до взаимных оскорблений, а там и до драки; было пролито много крови; и эта распря, повлекшая за собой две других, привела к тому, что население аллеи терний уменьшилось вдвое и идет к полному исчезновению<sup>66</sup>. Упоминаю об этом обстоятельстве, как об образчике того мира, который новый законодатель принес в царство своего отца. Об остальных его идеях скажу лишь несколько слов; они были наскоро за-

писаны его секретарями<sup>67</sup>, из которых двумя главнейшими были один продавец свежей рыбы<sup>68</sup> и один сапожник из бывших дворян<sup>69</sup>.

45. Этот последний, весьма речистый от природы, наговорил что-то неслыханное о чудодейственных свойствах некоей невидимой трости<sup>70</sup>, которую государь подает, по его словам, всем своим друзьям. Понадобились бы тома, чтобы передать тебе хотя бы в самых беглых чертах все то, что выдумали, написали, наговорили вожатые, расправляясь при этом друг с другом кулаками, по поводу природы, действительной силы и свойств этой палки. Одни утверждали, что без нее нельзя ступить ни шагу; другие — что она совершенно бесполезна, если только у человека здоровые ноги и искреннее желание ходить. Одни заявляли, что она является жесткой или гибкой, сильной или слабой, короткой или длинной, в зависимости от размеров руки и трудности дороги, и что тот, у кого ее нет, виноват сам; другие уверяли, что государь никому не обязан давать ее, что он многим отказывает в ней и даже иногда отнимает ее у тех, кому дал ее раньше. Все эти мнения основывались на большом трактате о тростях, сочиненном одним бывшим преподавателем реторики<sup>71</sup> в качестве комментария к тому, что было написано продавцом свежей рыбы по поводу важного значения костылей.

46. А вот другой вопрос, вызвавший не меньше разногласий, — вопрос о бесконечной благодати нашего монарха, которую упомянутый ритор будто бы примирил с его заранее принятым непреклонным решением навсегда удалить от своего двора и бросить в темницу, без надежды на помилование, всех тех, кто не был записан в его войска, т. е. бесчисленные народы, никогда ничего не слышавшие и не имевшие возможности слышать о нем, а также многих отдельных лиц, которых он не удостоил милостивого взгляда или подвергнул опале за непослушание их прадеда, лаская в то же время других, не менее виновных, словно он играет судьбами людей в орла и решетку<sup>72</sup>. Наш ритор, впрочем, и сам сознавал нелепость своих мыслей. И уж бог его ведает, как он выпутывается из им же самим соз-

данных чудовищных затруднений. Когда, выбившись из сил, он, наконец, совсем теряет голову, он вдруг восклицает: «*Эй, берегись!*» И все, кто, вслед за ним, изображают нашего государя таким же варварским самодуром, повторяют хором: «*Эй, берегись!*» Все эти выверты и множество других такого же достоинства пользуются огромным уважением в аллее терший. Путники, идущие по ней, считают их за истину и даже находят, что окажись хотя бы только один из них ложью, то же самое пришлось бы сказать обо всех.

47. Между тем сторонники старого кодекса возмутились против сына государя и потребовали, чтобы он предъявил свою родословную и соответствующие доказательства. «*Мои дела,—гордо сказал он им,—должны доказать мое происхождение*». Прекрасный ответ, но едва ли способный удовлетворить многих аристократов. Стали говорить, что он поносит память старого пастуха, и под этим предлогом роты мясников и водовозов, которые он грозил раскассировать и заменить отрядами сукновалов и выводчиков пятен, составили заговор против него. Заговорщики подкупили его казначея<sup>73</sup>; он сам был схвачен, приговорен к смерти и, что хуже, действительно казнен. Его друзья объявили, что он умер и не умер, что через три дня после своей смерти он явился вновь<sup>74</sup>, но что воспоминание о пережитом удержало его в доме отца, так что с тех пор его больше не видели. Уходя, он поручил своим друзьям собрать его законы, огласить их во всеобщее сведение и настаивать на их немедленном выполнении.

48. Ты понимаешь, конечно, что немые законы поддаются всевозможным толкованиям; так и случилось с его законами. Одни нашли их слишком снисходительными, другие слишком суровыми; кое-кто усмотрел в них нелепости. По мере образования и роста новой корпорации она начала сталкиваться с внутренними раздорами и внешними препятствиями. Мятежники не оказывали ни малейшей пощады своим спутникам, а те и другие вместе не встречали пощады у своих общих врагов. Однако время, предрасудки, воспитание и упорная приверженность к запретным

повиновениям постепенно увеличивали число этих энтузиастов. Вскоре они стали собираться толпами и обижать своих господ. Сначала их наказывали, как безумцев, а потом, как бунтовщиков. Но большинство из них, твердо веря, что лучше всего угодишь своему государю, если позволишь убивать себя ради того, чего сам не понимаешь, шли на самые позорные и тяжкие муки, и вскоре бунтовщики или глупцы прослыли героями: поразительный результат красноречия вожатых! Таким-то образом аллея терний стала постепенно заселяться<sup>75</sup>. Вначале она была очень пустынна, и лишь через много лет после смерти сына нашего государя у него появились войска, и о нем начали поговаривать.

49. Из сказанного мною ты уже можешь заключить, что никто в мире не совершил более великих дел, чем он. Знай, однако, что никто в мире не прожил свою жизнь и не умер в большей неизвестности. Я мог бы тотчас же объяснить тебе, в чем тут дело; но я предпочитаю передать тебе разговор одного старого обитателя аллеи каштанов с некоторыми из лиц, заселивших аллею терний. Я прочел об этом разговоре у одного автора\*, который показался мне весьма осведомленным о событиях того времени. Он рассказывает, что обитатель аллеи каштанов обратился сперва к соотечественникам мнимого сына нашего государя и что они ответили ему, что образовалась секта мечтателей, выдающих за сына и посланца великого духа какого-то обманщика и смутьяна, который по приговору местных судей был распят. Тогда Менипп—так звали нашего обитателя аллеи каштанов—стал расспрашивать жителей аллеи терний. «Да,—ответили они ему,—наш вождь был распят, как бунтовщик; но это был божественный человек, все действия которого были чудесны. Он изгонял бесов, исцелял хромых, возвращал зрение слепым, воскрешал мертвых, воскрес сам и вознесся на небо. Очень многие из наших видели его, и весь край был свидетелем его жизни и его чудотворных подвигов».

\* О жизни, чудесах и истории Иисуса Христа<sup>76</sup>. [*Прим. автора.*]

50.—Это поистине прекрасно,—возразил Менипп;—очевидцы стольких чудес, конечно, все перешли к нему на службу: все жители страны поспешили обзавестись белым платьем и повязкой...—Увы, нет!—ответили те,—число людей, которые пошли за ним, было ничтожно по сравнению с остальными: у этих последних были глаза, но они не видели, были уши, но они не слышали...—Ага!—сказал Менипп, несколько оправившись от своего смущения,—теперь я понимаю, в чем дело: здесь были замешаны заклинания, столь обычные среди вашего народа. Но скажите мне прямо: действительно ли все было так, как вы рассказываете? В самом ли деле великие подвиги вашего начальника были известны всему населению?.. Еще бы!—ответили те,—они совершались на глазах у всего края. Всякий, каким бы недугом он ни страдал, если он только мог прикоснуться к краю его одежды, исцелялся в ту же минуту. Он несколько раз накормил пять или шесть тысяч добровольцев едой, которой еле хватало на пять-шесть человек. Не говоря уже о бесконечном множестве других чудес, скажем только, что он однажды воскресил мертвого, которого несли хоронить. Другой раз он воскресил покойника на четвертый день после его похорон.

51.—Что касается этого последнего чуда,—сказал Менипп,—то я убежден, что все, видевшие его, пали к его ногам и стали почитать его, как бога.—Да, кое-кто поверил и перешел к нему, но не все. Большинство тут же побежало рассказать о виденном мясникам и водовозам, его смертельным врагам, чтобы еще больше ожесточить их против него. Остальные его дела всегда приводили к точно такому же последствию. Если немногие из тех, кто были их очевидцами, следовали за ним, то лишь потому, что он от века предназначил их к этому пути. Тут в его поведении была даже некоторая странность: он особенно любил бить в барабан как раз в тех местах, где, как он сам предвидел, не обнаруживалось никакой склонности идти к нему на службу.

52. — Право же, — ответил Менипп, — либо вы сами слишком простоваты, либо ваши противники круглые идиоты. Я легко представляю себе (и ваш пример утверждает меня в этой мысли), что люди могут быть настолько глупы, чтобы вообразить себя очевидцами чудес, которых они и не думали видеть; но невозможно представить себе людей настолько тупых, чтобы они отказались поверить в такие поразительные чудеса, как те, о которых вы рассказываете. Следует признать, что ваша страна рождает людей, несколько не похожих на людей других стран. У вас происходят вещи, которых не увидишь ни в каком другом месте земного шара.

53. Менипп изумлялся легковерию этих простаков, которые казались ему фанатиками высшей пробы. Но чтобы удовлетворить свое любопытство полностью, он прибавил таким тоном, словно хотел взять обратно свои последние слова: «То, что я слышал от вас, так чудесно, так странно и ново, что я весьма хотел бы узнать подробнее все, что касается вашего вождя. Вы очень обяжете меня, если поделитесь со мной всем, что вам о нем известно. Столь божественный человек заслуживает, конечно, чтобы весь мир был осведомлен о малейших событиях его жизни...

54. Не успел он это сказать, как Марк<sup>77</sup>, один из первых поселенцев аллеи терний, надеявшийся, может быть, завербовать Мениппа в свое войско, принялся подробно рассказывать обо всех художествах своего начальника, о том, как он родился от девы, как волхвы и пастухи признали его божественность, когда он был еще в пеленках, о чудесах, сотворенных им в детстве и в последние годы, о его жизни, смерти и воскресении. Ничто не было позабыто. При этом Марк не ограничился только одними делами сына человеческого (так называл себя иногда его господин, особенно в тех случаях, когда было опасно величать себя более пышными титулами), но произвел также его речи, проповеди и заповеди. Словом, это было исчерпывающее изложение как его биографии, так и установленных им законов.

55. Когда Марк кончил, Менипп, слушавший его тер-



пеливо и не перебивая, взял слово и стал говорить, но таким тоном, который явно показывал, что он не очень-то намерен увеличить собою войско Марка...—Правила вашего вождя,—сказал он,—правятся мне. Они, как я вижу, совпадают с правилами, которые проповедывались всеми разумными людьми в течение четырехсот лет и больше до него. Вы считаете их новыми, и они, может быть, действительно новы для такого неразвитого и грубого народа, как вы; но они стары для остальных людей. Вот что, однако, пришло мне в голову по их поводу: удивительно, что человек, который их проповедывал, был так мало последователен и так неестественен в своих действиях. Я не понимаю, как ваш начальник, столь превосходно мысливший о нравственных вопросах, мог натворить столько чудес.

56.—Если его мораль для меня не нова,—продолжал Менипп,—то, признаюсь, я не могу сказать того же о его чудесах: они для меня совершенно новы, а между тем в них не должно бы быть ничего нового ни для меня, ни для кого бы то ни было вообще. Ваш начальник жил совсем недавно; все пожилые люди были его современниками. Неужели вы серьезно думаете, что в такой часто посещаемой римской провинции, как Иудея, могли происходить столь необычайные дела, и происходить три-четыре года подряд, а никто об них и не услышал? В Иерусалиме находится наш губернатор и многочисленный гарнизон; в вашей стране то и дело бывают римляне; между Римом и Яффою все время идет торговля,—а мы даже и не знали о существовании вашего вождя. Его соплеменники могли видеть или не видеть творимые им чудеса, как им было угодно; но остальные люди видят обыкновенно то, что у них перед глазами, и только это и видят. Вы мне говорите, что наши солдаты засвидетельствовали чудеса, происшедшие во время его смерти и воскресения—и густой мрак, затмивший на три часа солнечный свет, и землетрясение, и все прочее. Но когда вы мне рассказываете, что они были поражены, объаты ужасом, повержены в прах и пустились в бегство при виде

ангела, сошедшего с неба, чтобы отвалить камень от его гробницы; и когда вы затем уверяете, что те же солдаты отказались из низкой корысти подтвердить чудеса, столь их поразившие, что они чуть не умерли со страха,—то вы забываете, что это были люди, или, по крайней мере, превращаете их в идумейцев, точно воздух вашей родины обладает свойством завораживать глаза и расстраивать ум иноземцев, которые им дышат. Поверьте, если бы ваш вождь совершил хоть малейшую часть того, что вы ему приписываете, то об этом узнали бы император, Рим, сенат, весь мир. Этот божественный человек сделался бы темой наших бесед и предметом всеобщего изумления, а между тем о нем все еще ничего не знают<sup>78</sup>. Вся иудейская провинция, за исключением небольшой кучки людей, считает его обманщиком. Поймите по крайней мере, Марк, что потребовалось чудо более огромное, чем все чудеса вашего вождя, чтобы погрузить в мрак такую открытую, такую блистательную, такую необычайную жизнь, какая выпала ему на долю. Признайте же свое заблуждение и откажитесь от своих бредней; ведь ясно, что всеми чудесными свойствами, которыми вы украшаете его биографию, он обязан исключительно только вашему воображению.

57. Марк помолчал несколько минут, смущенный словами Мениппа, но затем воскликнул тоном энтузиаста: Наш вождь—сын всевышнего; он наш мессия, наш спаситель, наш царь. Мы знаем, что он умер и воскрес. Блаженны те, кто видели его и поверили; но еще блаженнее те, кто поверят в него, не видя. Рим, откажись от своего неверия! Надменный Вавилон, покройся вретником и пеплом; покайся; спеша, ибо времени мало, твое падение близко, твое владычество идет к концу. Но что я говорю о твоём владычестве? Весь мир изменит свой лик, сын человеческий появится на облаках и будет судить живых и мертвых. Он грядет, он уже у дверей. Многие из живущих ныне будут очевидцами этих событий.

58. Менипп, которому этот ответ пришелся не по пу-  
тру, распростился с группой энтузиастов и покинул аллею

терний, предоставив Марку ораторствовать вволю и вербовать новых приверженцев.

59. Ну, так, как же, Арист, что ты думаешь об этой беседе? Я предвижу твой ответ. Согласен,—скажешь ты,—что эти идумейцы наверно были большими дураками; но невозможно, чтобы в целом народе не нашлось ни одного человека с головой. У фивян, самого тупоумного греческого племени, был свой Эпаминонд<sup>79</sup>, свой Пелопид<sup>80</sup>, свой Пиндар<sup>81</sup>; и мне хотелось бы услышать беседу Мениппа не только с апостолом Иоанном или евангелистом Марком, но также с историком Иосифом<sup>82</sup> или философом Филоном<sup>83</sup>. Толпе дураков всегда было позволено верить в то, что не гнушались признать даже немногие разумные люди; и безмозглая доверчивость первых никак не может опорочить просвещенное свидетельство вторых. Поведай же мне: что говорит Филон о начальнике аллеи терний?.. *Ничего*.—Что думал о нем Иосиф?.. *Ничего*.—Что рассказывает о нем Юстус Тивериадский?..<sup>84</sup> *Ничего*. И как же ты хочешь, чтобы Менипп беседовал о жизни и делах этого человека с лицами хоть и весьма образованными, но никогда ничего о нем не слыхавшими? Они не забыли ни об Иуде Галилейском, ни о фанатике Ионафане, ни о бунтовщике Тевде; но они умолчали о сыне твоего государя. Как же это так? Неужели они не различили его в толпе плутов, которые восставали один за другим в Иудее и, едва появившись, тотчас же исчезали бесследно?

60. Обитатели аллеи терний были задеты унижительным для них молчанием современных историков об их вожде и еще большим презрением, которое испытывали к ним старинные обитатели аллеи каштанов. Что же они надумали в этом тяжелом положении? Они решили уничтожить следствие, уничтожив причину. «Как это,—воскликнешь ты,—уничтожив причину? Я тебя не понимаю. Неужели же они заставили говорить Иосифа через несколько лет после его смерти?..» Представь себе, что ты догадался: они вставили в его историю похвалу их начальнику<sup>85</sup>. Но подивись их неумелости: так как они

не сумели ни придать правдоподобие сочиненному ими отрывку, ни выбрать для него подходящее место, то подлог вышел совершенно явным. Иосифу, еврейскому историку, человеку священнического звания, усердно преданному религиозным законам своего народа, они вложили в уста слова своих вожатых; и куда же они вставили эти слова? В такое место, где они нарушают весь смысл речи автора. «Но мошенники не всегда понимают свои собственные интересы,—говорит автор, у которого я заимствовал беседу Мениппа с Марком.—Гоняясь за слишком многим, они часто не выгадывают ничего. Две строчки, умно вставленные в другом месте, принесли бы им больше пользы. К злодеяниям Ирода, так подробно описанным у еврейского историка, который его не любил, они должны были бы прибавить избиение вифлеемских младенцев, о котором тот не говорит ни слова».

61. Ты сам обдумываешь все это; а пока вернись со мной еще раз в аллею терний.

62. Среди тех, кто влачатся по ней ныне, есть некоторые, придерживающие повязку обеими руками, точно она стремится вырваться изо всех сил. По этому признаку ты тотчас отличишь людей с хорошими головами; ибо издавна замечено, что повязка держится на лбу тем лучше, чем этот лоб уже и уродливей. Но что случается в результате сопротивления повязки? Одно из двух: либо придерживающие ее руки устают и она падает; либо человек упорствует в своем стремлении удержать повязку и, в конце концов, достигает своей цели. Те, чьи руки утомляются, вдруг оказываются в положении слепорожденного, у которого раскрылись бы глаза. Все предметы внешнего мира предстали бы перед ним совсем не в том виде, в каком он их себе воображал. Эти прозревшие переходят в нашу аллею. С каким наслаждением отдыхают они под нашими каштанами и дышат нашим чистым воздухом! С какой радостью следят за тем, как с каждым днем все больше зарубцовываются страшные раны, нанесенные ими себе! С каким состраданьем вздыхают над участью несчастных, оставленных ими в аллее терний. Но они не

решаются протянуть им руку. Они боятся, что те не найдут в себе сил следовать за ними и будут вновь увлечены, собственной ли тяжестью или усилиями вожатых, в еще более дремучие дебри. Никогда не случается, чтобы эти перебежчики покинули нас. Они доживают до старости под сенью наших деревьев; но когда для них наступает время отправляться на общее свидание, они видят себя окруженными множеством вожатых; и так как они иногда впадают в маразм, то вожатые пользуются этим состоянием, или мгновением летаргического сна, чтобы поправить у них на лбу повязку или слегка почистить их платье,—этим они будто бы оказывают им великую услугу. Те среди нас, чей разум сохраняет всю свою силу, не мешают вожатым в этом деле, ибо они убедили весь мир, что неприлично появляться перед государем без повязки и в *невьстиранном и невьцутюженном* платье. У благовоспитанных людей это называется приличным завершением путешествия, а наш век любит приличия.

63. Я перешел из аллеи терний в аллею цветов, где пробыл недолго, а из нее удалился под сень каштанов; но я не льщу себя уверенностью, что останусь здесь до последней минуты: нельзя ручаться ни за что. Вполне возможно, что я окончу свой путь оцупью, как многие другие. Но как бы то ни было, сейчас я убежден, что наш государь безгранично благ и что он обратит больше внимания на мое платье, чем на мою повязку. Он знает, что как правило мы более слабы, чем преступны. И к тому же мудрость начертанных им законов так велика, что мы не можем отклониться от них безнаказанно. Если верно то, в чем старались меня убедить когда-то в аллее терний (а тамошние управители живут хоть и скверно, но говорят иногда превосходные вещи), — если верно, говорю я, что степень нашей добродетели есть точная мера нашего действительного счастья, то наш государь мог бы уничтожить нас всех, не поступив несправедливо ни с одним из нас. Но признаюсь, что я лично желал бы иного; я неохотно иду навстречу уничтожению; я хотел бы жить после смерти, будучи уве-

рен, что со мной не может случиться ничего дурного. Я думаю, что наш государь, который не менее мудр, чем благ, ничего не делает зря; ну, а что мог бы он иметь в виду, наказывая дурного солдата? *Свое собственное удовлетворение?* Не думаю; я жестоко оскорбил бы его, предположив, что он злее меня. *Удовлетворение добрых людей?* Это значило бы допустить в них чувство мести, которое несовместимо с их добродетелью и с которым наш государь, не сообразующийся с прихотью других, никогда не стал бы считаться. *Нельзя также сказать, что он будет наказывать для примера,*—ибо ведь тогда уж не будет людей, которых могла бы утратить казнь преступника. Если земные владыки карают за преступления, то лишь в надежде отпугнуть этим других от подражания виновным.

64. Однако, прежде чем покинуть аллею терний, ты должен еще узнать, что путники, идущие по ней, все подвержены одному странному заблуждению. А именно, им кажется, что они одержимы неким коварным соблазнителем и что этот старый, как мир, соблазнитель, смертельный враг государя и его подданных, невидимо вьется около них, старается их совратить и непрестанно нашептывает им, чтобы они бросили свою палку, испачкали свое платье, разорвали свою повязку и перешли в аллею цветов или под наши каштаны. Когда они чувствуют, что им слишком уж хочется последовать его советам, они делают правой рукой символический жест<sup>86</sup>, который обращает соблазнителя в бегство, особенно если они предварительно окунут кончик пальца в особую воду, готовить которую дано одним вожатым.

65. Я никогда бы не кончил, если бы стал подробно рассказывать о свойствах этой воды и о необычайном действии этого знаменья. О самом соблазнителе<sup>87</sup> написаны тысячи томов, которые единогласно свидетельствуют, что наш государь глупец по сравнению с ним, что он сотни раз обкручивал государя вокруг пальца и что он в тысячу раз более искусен в похищении у него подданных, чем тот в их сохранении. Но чтобы не навлечь на себя

упрека, сделанного Мильтону<sup>88</sup>, и чтобы этот проклятый соблазнитель не был превращен также и в героя моего сочинения (его, наверное, провозгласят его автором), — замечу еще только следующее: его изображают приблизительно в таком же гнусном виде, какой придала обольстителю Фрестону у герцога Медокского в скучном продолжении превосходного романа Сервантеса<sup>89</sup>; и в аллее терний полагают, что те, кто послушаются его в пути, будут выданы в его руки у ворот лагеря и будут делить с ним до окончания века, в огненной пучине, уготованную ему страшную участь. Если это действительно так, это будет самое пестрое сборище честных людей и негодяев, какое когда-либо было видано, — и притом собравшееся в самом скверном месте.

## Аллея каштанов

Dum doceo insanire omnes, vos  
ordine adite\*.

1. Аллея каштанов образует спокойный приют и напоминает собой древнюю академию<sup>90</sup>. Я уже сказал, что вдоль нее разбросаны тенистые рощи и укромные уголки, где царствуют тишина и мир. Ее обитатели степенны и серьезны, но не отличаются ни молчаливостью, ни суровостью. Резонеры по призванию, они любят беседовать и даже спорить, но без того раздражения и упрямства, с каким визжат о своих бреднях по соседству с ними. Различие мнений не нарушает здесь дружеского общения и не мешает проявлению добродетелей. Противников атакуют без ненависти и хотя припирают их к стене без пощады, однако, торжествуют над ними без тщеславия. На песке там начерчены круги, треугольники и другие математические фигуры. Там занимаются построением систем, но стихов пишут мало. *Послание к Урании* возникло, думается мне, в аллее цветов, за бокалом шампанского или токайского<sup>91</sup>.

\* Я буду обличать всех вас в неразумии, а вы подходите по очереди (Гораций, *Сатиры*, кн. II, сат. 3).



2. Солдаты, идущие по этой дороге, в большинстве своем пехотинцы. Они идут по ней втайне; и они шли бы довольно спокойно, если бы их не тревожили по временам вожатые из аллеи терний, считающие их своими самыми опасными врагами. Должен тебе сказать, что эта аллея вообще немногочлюдна и что она была бы, может быть, еще малолюднее, если бы на ней встречались только те, кому суждено пройти ее до конца. Для колясок она не так удобна, как аллея цветов; а для тех, кто не может ходить без палки, она вовсе непригодна.

3. Очень важно было бы решить вопрос, составляет ли эта часть армии единый отряд и способна ли она образовывать общество. Ибо здесь нет ни храмов, ни алтарей, ни жертвоприношений, ни вожатых. Нет общего знамени, за которым шли бы все; не существует общеобязательных постановлений; люди разделены на более или менее многочисленные группы, из которых каждая ревниво охраняет свою независимость. Жизнь устроена, как в тех древних государствах, в которых каждая область посылала своих делегатов в центральный совет с одинаковыми полномочиями. Ты разрешишь поставленный мною вопрос, когда я обрисую тебе характеры этих воинов.

4. Первая рота, происхождение которой восходит к глубокой древности, состоит из людей, прямо заявляющих, что не существует ни аллеи, ни деревьев, ни путников<sup>92</sup>; что все видимое нами может с одинаковым успехом и быть чем-нибудь, и не быть решительно ничем. Эти воины обладают, как говорят, удивительным преимуществом в бою; бросив всякую заботу об обороне, они думают только о нападении. У них нет ни шлема, ни щита, ни брони, а есть только короткий, обоюдоострый меч, которым они владеют чрезвычайно искусно. Они нападают на всех, даже на собственных товарищей; и нанеся вам глубокие раны или будучи сами покрыты ранами, они заявляют с чудовищным хладнокровием, что все это была только игра, что они и не думали наносить вам удары, ибо у них нет меча, а у вас нет тела; что в конце концов они могли и ошибиться; но что им и вам следовало бы прежде всего иссле-

довать, в самом ли деле они вооружены и не является ли эта стычка, столь вас огорчившая, выражением их дружбы. Об их первом командире<sup>93</sup> рассказывают, что он ходил по аллее во всевозможных направлениях, иногда вниз головой, часто задом наперед; что он наталкивался на прохожих и на деревья, попадал в ямы, растягивал себе связки, но на всякое предложение помочь ему в ходьбе отвечал, что он и не думал двигаться с места и чувствует себя превосходно. В разговоре он безразлично отстаивал любое из противоположных мнений, высказывал взгляд и тут же опровергал его, одной рукой гладил вас, а другой давал вам пощечины, и заканчивал все эти шутки вопросом: *неужто я вас ударил?* У этого отряда долгое время не было своего знамени, но лет двести назад один из его бойцов придумал для него знамя. На фоне, вышитом золотыми, серебряными, шерстяными и шелковыми нитями, изображены весы, под которыми красуются слова: *почем я знаю?*<sup>94</sup>. Фантастические писания этого героя, весьма сумбурные, нашли своих прозелитов. Все эти солдаты хороши для засад и для маневренных операций.

5. Другой отряд не менее древний, но менее многочисленный, состоит из взбунтовавшихся солдат предыдущего. Эти признают, что существуют они сами, аллея и деревья; но они находят, что мысль о войске и лагере смехотворна и что даже сам государь—пустая химера; что повязка есть украшение глупцов и что страх перед наказанием—единственный разумный мотив, по которому следует сохранять в чистоте свое платье. Они безбоязненно подвигаются к концу аллеи, где, как они думают, песок осыплется под их ногами и они провалятся в бездну<sup>95</sup>.

6. Солдаты следующего отряда смотрят на вещи совершенно иначе. Убежденные в существовании лагеря, они думают, что бесконечная мудрость государя не оставила их без света, что разум есть дар, полученный ими от него и достаточный для руководства в пути; что надобно чтить своего владыку и что он окажет вам хороший или дурной прием, смотря по тому, хорошо или дурно вы ему служили; что, однако, он не будет чрезмерно суров и не будет ка-

рать безгранично; и что свидание с ним, раз наступив, уже не прекратится. Они подчиняются законам общества, признают и практикуют добродетели, ненавидят преступление и считают умеренные страсти необходимыми для счастья<sup>96</sup>. Несмотря на их кротость их ненавидят в аллее терний. Почему?—спросишь ты. Потому что они не носят повязки; потому что они утверждают, что пары здоровых глаз достаточно для правильного поведения, и не верят без доказательств, что военный кодекс действительно исходит от государя, ибо находят в этом кодексе черты, несовместимые с его мудростью и благостью. Наш властелин,—говорят они,—слишком справедлив, чтобы осудить нас за любознательность; чего мы ищем, как не познания его воли? Нам показывают написанную им грамоту, и в то же время у нас перед глазами творение его рук. Мы сравниваем одно с другим и не можем понять, как это столь великий мастер может быть таким плохим писателем. Неужели это противоречие недостаточно ярко, чтобы простить нам наше недоумение?

7. Четвертая группа скажет тебе, что аллея разбита на спине нашего монарха—фантазия более нелепая, чем Атлант древних поэтов. Этот последний подпирает своими плечами небесный свод, и поэтический вымысел украшал заблуждение. Здесь же издеваются над разумом и с помощью нескольких двусмысленных выражений протаскивают ту мысль, что государь составляет часть видимого мира, что вселенная и он—одно и то же и что мы сами лишь часть его огромного тела<sup>97</sup>. Вождь этих безумцев был своего рода партизаном, который часто тревожил своими набегами аллею терний<sup>98</sup>.

8. Бок-о-бок с этими воннами идут без всякого порядка еще более странные бойцы: это люди, из которых каждый утверждает, что существует только он один на свете<sup>99</sup>. Они признают бытие лишь одного существа; но это мыслящее существо и есть они сами. Так как все, что происходит в жизни, сводится к впечатлениям, то они заключают отсюда, что нет ничего, кроме них и этих впечатлений; таким образом, каждый из них есть одно-

временно любовник и возлюбленная, отец и ребенок, цветочная грядка и тот, кто ее топчет. На днях я встретил одного из них, уверявшего меня, что он Вергилий<sup>100</sup>. Как вы счастливы,—ответил я ему,—что обессмертили себя своей божественной Энеидой!—Кто? я?—воскликнул он,—я в этом отношении не счастливее вас.—Что вы говорите!—возразил я,—если вы действительно латинский поэт (а вы так же можете им быть, как и всякий другой), то согласитесь, что вы заслуживаете величайших похвал за ваше бессмертное творение. Какой огонь! какая гармония! какой слог! какая стройность!—Что вы говорите о стройности?—перебил он меня,—ее нет и следа в поэме, которую вы так превозносите; это набор представлений, ни к чему не относящихся. И если бы я мог похвалить себя за одиннадцать лет труда, потраченных на сочинение десяти тысяч стихов, то лишь в виду тех недурных комплиментов, которые я в этих стихах мимоходом сделал самому себе за мое умение подчинить себе своих сограждан посредством проскрипций и почтить себя названием отца родины, быв на самом деле ее тираном.—Я широко раскрыл глаза, слушая этот вздор, и пытался как-нибудь связать воедино столь несовместимые представления. Мой Вергилий заметил мое смущение. «Вам трудно понять меня,—продолжал он,—дело вот в чем: я был одновременно Вергилием и Августом, и Цинной. Но этого мало: теперь я тот, кем хочу быть, и сейчас я вам докажу, что я—вы, а вы—ничто; *поднимусь ли я за облака или опущусь на дно пропасти, я никогда не выйду из самого себя, и все, что я воспринимаю, есть лишь моя собственная мысль!* На этих словах, которые он произнес с особенным ударением, его речь была прервана шумной ватагой—единственной виновницей всех беспорядков, случающихся в нашей аллее.

9. Это были молодые шалопаи, которые после довольно долгого пребывания в аллее цветов перешли в нашу, вертясь и кривляясь; они были в каком-то исступлении, и их можно было принять за пьяных по их жестам и ревам. Они кричали, что не существует ни государя, ни

лагеря и что в конце аллеи они все будут преблагополучно уничтожены; но в доказательство этих бредней—ни одного дельного слова, ни одной связной мысли. Подобно людям, которые ходят ночью по улицам с песнями, чтобы уверить других, а может быть, и самих себя, что им не страшно, они довольствовались производимым ими шумом. И если они прекращали его на несколько мгновений, то лишь для того, чтобы подслушать речи других, выловить из них отдельные отрывки и потом повторять их, выдавая их за свое добро и прибавив к ним какую-нибудь чепуху<sup>101</sup>.

10. Наши мудрецы ненавидят этих фанфаронов, и за дело: у них нет определенного пути, они все время переходят с одной аллеи на другую. Они приказывают перенести себя в аллею терний, когда заболевают подагрой; стоит ей пройти, они устремляются в аллею цветов, откуда их возвращает к нам какая-нибудь другая болезнь, но не надолго. Через минуту они будут отрекаться у ног вожатых от всего, что говорили среди нас, но тотчас же покинут их, если действие принятых лекарств ударит им в голову новым хмелем. *Хорошее или дурное состояние здоровья составляет всю их философию.*

11. Пока я рассматривал этих мнимых удалцов, мой безумец успел исчезнуть, и я стал приглядываться к его товарищам и наблюдать, как они поднимают насмех всех путников: не имея сами никаких определенных мнений, они воображают, что разумных мнений вообще не может быть. Они не знают, откуда они пришли, для чего идут, куда направляются, и очень мало интересуются всем этим. Их боевой клич: *все—суета!*

12. Некоторые из этих воинов объединяются иногда для партизанских военных действий и уводят, если могут, перебежчиков или пленников. Место их набегов—аллея терний; они пробираются туда украдкой, воспользовавшись ущельем, лесом, туманом или каким-нибудь другим средством для сокрытия своего движения, обрушиваются на слепцов, попадающихся им на пути, прогоняют их вожатых, разбрасывают воззвания против государя или сатиры на вице-короля, отнимают посохи, срывают повязки и исче-

зают. Ты не можешь себе представить, до чего смешны слепцы, оставшиеся без посохов: не зная, куда ступить, какого пути держаться, они бродят ощупью, воют, приходят в отчаянье, беспрестанно осведомляются о дороге и с каждым шагом удаляются от нее: неуверенность их поступи отклоняет их ежеминутно от большой дороги, на которую их возвращает привычка.

13. Когда виновников этого замешательства схватывают, военный совет поступает с ними, как с бездомными и бесправными разбойниками. Поведение, совершенно непохожее на наше! Под нашими кашганами вождей из аллеи терний выслушивают спокойно, отвечают на их удары, припирают их к стене, повергают их в прах. наконец, просвещают их, если это возможно или, по крайней мере, оплакивают их ослепление. Кротостью и миролюбием проникнуты наши приемы, их же приемы внушены яростью. Мы пускаем в ход аргументы, они припасают хворост. Они проповедуют любовь, но дышат жаждой крови. Их речи человечны, но их сердце жестоко. Если они изображают нашего государя безжалостным тираном, то лишь для того, чтобы оправдать свои собственные страсти.

14. Не так давно я присутствовал при беседе одного обитателя аллеи терний с одним из наших товарищей<sup>102</sup>. Первый, блуждая с повязкой на глазах, приблизился к зеленой беседке, в которой второй предавался раздумью. Их разделяла уж одна лишь живая изгородь, мешавшая им соединиться, но не слышать друг друга. Наш товарищ, только что додумавший до конца ряд мыслей, громко воскликнул, как это бывает с людьми, полагающими, что их никто не слышит: Нет, никакого государя не существует; ничто не доказывает с очевидностью его существования.— Слепец, до которого эти слова донеслись неясно, принял его за одного из своих товарищей и стал его расспрашивать задыхающимся голосом: Брат, не заблудился ли я? так ли я иду, и далеко ли нам еще, по-твоему, до конца пути?

15.—Увы, жалкий безумец,—ответил тот,—ты тер-

заешь и мучаешь себя напрасно; несчастная жертва чужих бредней, ты можешь идти, сколько угодно, и все равно никогда не придешь в то место, которое они тебе обещают. Если бы твоя голова не была закутана в эту тряпку, ты увидел бы так же ясно, как мы, что нет фантазий более неленых, чем те странные хитросплетения, которыми тебя ублаживают. Скажи мне, в самом деле: почему ты веришь в существование государя? является ли твоя вера плодом твоих собственных размышлений и твоего разума, или же она порождена предрассудками и назиданиями твоих вождей? Ты соглашаешься с ними, что не видишь ни зги, а судишь очень смело обо всем. Попытайся сначала разобраться в вопросе, взвесь доводы, чтобы составить себе более здравое суждение. С какой радостью я вытащил бы тебя из лабиринта, в котором ты блуждаешь. Подойди ко мне ближе, чтобы я мог снять с тебя эту повязку.—Клянусь государем, этого не будет,—ответил слепец, сделав три шага назад и насторожившись.—Что скажет он и что будет со мной, если я предстану перед ним без повязки и с широко раскрытыми глазами? Но если хочешь, давай побеседуем. Может быть ты выведешь меня из заблуждения; а я, в свою очередь, не теряю надежды обратить тебя на путь истины. Если мне это удастся, мы пойдем дальше вместе; и, разделив опасности путешествия, мы разделим впоследствии и радости свидания. Говори же, я слушаю.

16.—Вот уже тридцать лет,—начал свою речь обитатель аллен каштанов,—как ты в тоске и страхе бредешь по этой проклятой дороге; ближе ли ты к цели, чем в первый день? Видишь ли ты теперь более ясно, чем прежде, вход или какую-нибудь залу или павильон дворца, в котором живет твой повелитель? различаешь ли ты хоть одну ступень его трона? Нет, всегда равно удаленный от него, ты никогда к нему не приблизишься. Согласись же, что ты пошел по этой дороге без достаточно веского основания, только потому, что по ней шли, столь же неосновательно, твои предки, твои друзья, твои ближние, из которых ни один не принес тебе известий о блаженной

стране, в которой ты надеешься когда-нибудь обитать. Не счел бы ты достойным кандидатом в сумасшедший дом купца, который бросил бы свой дом и стал бы, доверившись словам какого-нибудь обманщика или невежды, подвергаться тысячам опасностей, переплывать неведомые и бурные моря, пересекать выжженные зноем пустыни, в поисках какого-то клада в стране, которую он знает лишь по домыслам другого путешественника, столь же плутоватого и невежественного, как он сам? Этот купец — ты. Ты бредешь, натываясь на колючие тернии, по незнакомой дороге. Ты не имеешь почти никакого представления о том, чего ты ищешь; и вместо того, чтобы исследовать свой путь, ты поставил себе законом идти вслепую, с глазами, покрытыми повязкой. Но скажи мне, если твой государь разумен, мудр и благ, может ли он быть доволен тем глубоким мраком, в котором ты живешь? Если бы этот государь предстал когда-нибудь перед тобою, как мог бы ты признать его в темноте, которою ты себя окружаешь? Что помешает тебе спутать его с каким-нибудь самозванцем? Какое чувство вызовет в нем твой забитый вид? презрение или жалость? А если он вовсе не существует, то к чему все эти царапины и уколы, которым ты подвергаешь себя? Если после смерти сохраняется способность чувствовать, ты будешь вечно терзаться раскаянием при мысли, что ты сам разрушал себя в тот краткий промежуток времени, который был тебе дан для наслаждения бытием, и что ты представлял себе своего государя жестоким тираном, жаждущим крови, воплей и ужасов.

17.—Ужасов!—перебил его слепец,—ужасами полны твои уста, нечестивец! Как смеешь ты подвергать сомнению и даже отрицать существование государя? Неужели все, что происходит в тебе и вне тебя, не убеждает тебя в его существовании? Мир возвещает о нем твоим глазам, разум—твоему уму, преступление—твоему сердцу. Да, я ищу сокровища, которого никогда не видел; а куда идешь ты? к уничтожению! Какая чудная цель! Тебе не на что надеяться; твой удел—ужас, и ужас доводит



тебя до отчаяния. Что за беда, что я пятьдесят лет царапал себя терниями, пока ты жил в свое удовольствие? Ведь я знаю, что когда ты предстанешь перед государем без повязки, без платья и без посоха, ты будешь осужден на бесконечно более тяжкие и невыносимые мучения, чем те мимолетные неприятности, которым я себя подвергал. Я рискую малым, чтобы выиграть многое; а ты не хочешь поставить на карту ничего, рискуя потерять все.

18.—Постой, мой друг,—ответил обитатель аллеи терний,—ты предполагаешь доказанным как раз то, что стоит под вопросом: существование государя и его двора, необходимость носить определенную форму и обязанность сохранить свою повязку и не иметь ни одного пятнышка на платье. Но представь себе, что я все это отрицаю; если эти предпосылки неверны, то все выводы, которые ты из них делаешь, рушатся сами собой. Если материя была и будет вечно, если движение расположило ее в известный порядок и изначала сообщило ей все те формы, которые оно же, как мы видим, сохраняет за нею посейчас, то на что же твой государь?

Нет никакого будущего свидания, если то, что ты называешь душой, есть только продукт определенной организации. Пока внутренняя связь наших органов сохраняется, мы мыслим; как только она порвется, мы теряем разум. Что же становится с душой после уничтожения этой связи? Да и кто вам сказал, что после отделения от тела душа продолжает мыслить, представлять, чувствовать? Но перейдем к вашим правилам; основанные на произвольных постановлениях, они созданы вашими первыми вождями, а не разумом, ибо разум, будучи единым во всех людях, указал бы им в любое время и в любом месте один и тот же путь, предписал бы одни и те же обязанности и воспретил бы одни и те же действия. В самом деле, почему думать, что он поступил с людьми более милостиво в отношении некоторых умозрительных истин, чем в отношении истин морали? Но все без исключения признают достоверность первых; что же до вторых, то перейдите с одного берега реки на другой, обойдите гору,

обогните межевой столб, пересеките математическую линию,—и вы увидите, что черное превратилось в белое, и наоборот. Рассейте, прежде всего, этот туман, если хотите, чтобы я что-нибудь видел.

19.—Весьма охотно,—возразил слепец,—но я хотел бы время от времени прибегать к авторитету нашего кодекса. Знаете ли вы его? Это божественное творение. В нем не утверждается ничего, что не было бы основано на фактах сверхъестественного порядка и, стало быть, несравненно более убедительных, чем какие мог бы представить разум.

20.—Ах, оставьте в покое ваш кодекс,—сказал философ.—Давайте драться равным оружием. Я выступаю перед вами без доспехов, в своем естественном виде, а вы заковываете себя в броню, которая скорее может обессилить и раздавить человека, чем защитить его. Мне было бы стыдно иметь такое преимущество перед вами. Подумали ли вы об этом? И откуда вы взяли, что ваш кодекс—творение божества? Так ли уж серьезно верят в это даже в вашей аллее? Не один ли из ваших путеводителей, под предлогом обличения Горация и Вергилия,... но молчу: вы и так понимаете меня. Я слишком презираю ваших вожатых, чтобы использовать их авторитет против вас. Но какую пользу можете вы извлечь из баснословных рассказов, которыми полна эта книга? Как? вы верите и хотите других заставить верить в невероятнейшие факты со слов писателей, умерших больше 2000 лет назад, хотя знаете, что ваши современники обманывают вас ежедневно на счет событий, которые происходят у вас под носом и которые вы можете проверить! Вы сами, когда вы рассказываете много раз о каком-нибудь известном вам и заинтересовавшем вас факте,—вы сами прибавляете, убавляете, меняете без конца подробности, так что против ваших слов приводят ваши же слова и еле могут разобратся в ваших противоречивых суждениях. И после этого вы воображаете, что можете отчетливо читать во мраке минувших веков и без труда согласовать сомнительные известия ваших первых вожатых! Да ведь это зна-

чит относиться к ним с большей почтительностью, чем на какую вы могли бы притязать сами: вы решительно не считаетесь с вашим самолюбием.

21.—Не говори об этом, чудовище!—воскликнул слепец,—это главный виновник пятен на наших платьях, и ядовитое семя высокомерия мешаает и тебе обуздать твой разум. О, если бы ты сумел смирить его, как мы! Ты видишь эту власяницу? Не хочешь ли испробовать ее? А вот это бич одного великого служителя государя; позволь мне стегнуть им тебя для спасения твоей души! Если бы ты знал сладость этих истязаний! Как они благотворны для солдата! Через очищение они ведут к озарению, а оттуда к соединению. Но что я делаю, безумец? Я говорю с тобой языком героев; и чтобы наказать себя за это святотатство и пробудить в тебе искру разума...

22. Тут засвистела плеть, и кровь полилась ручьями.—Несчастный!—вскричал философ,—какое безумие овладело тобой? Если бы я был менее жалостлив, я расхохотался бы над подобным зрелищем. Я посмотрел бы на тебя, как на слепого, который терзает свое тело, чтобы вернуть зрение пациенту Жандрона<sup>103</sup>, или как на Санчо, который бичует себя, чтобы разрушить чары Дульцинен. Но ты человек, и я тоже. Остановись, мой друг; твое самолюбие, которое ты думаешь укротить этой варварской экзекуцией, находит в ней удовлетворение и не сгибается под твоим бичем. Опусть свою руку; и выслушай меня. Большую ли честь оказал бы ты вице-королю, уродуя его изображения? И если бы ты вздумал заняться этим делом, не был бы ты тотчас же схвачен телохранителями военного совета и брошен в тюрьму на весь остаток твоих дней? Ты видишь, я рассуждаю, исходя из твоих же принципов. Внешние знаки почитания венценосцев имеют своим единственным основанием их гордость, которую приходится улаживать, или, может быть, фактическую бедственность их положения, от которой их надо избавить. Но ведь твой государь наслаждается абсолютным блаженством. Если он самодовлеющ, как ты утверждаешь, то к чему твои обеты, твои молитвы и твои корчи

Либо он знает заранее твои желания, либо они ему неизвестны навеки; и если он их знает, он уже раз навсегда решил выполнить их или отвергнуть; твои докучливые мольбы не вырвут из его рук даров, и твои вопли не ускорят их ниспослание.

23.—А! я начинаю догадываться, кто ты,—вскричал слепец.—Ты хочешь разрушить миллион величественных зданий, взломать двери наших птичьих садков, превратить наших вожатых в земледельцев или солдат, привести в нищенское состояние Рим, Анкону и Компостеллу,—откуда я заключаю, что ты хочешь уничтожить всякое общество.

24.—Ты заключаешь неправильно,—возразил наш друг,—я хочу уничтожить только злоупотребление. Существовали большие общественные союзы без всех этих аксессуаров, да и сейчас найдется не одно благоустроенное общество, не знающее их даже по имени. Если ты сопоставишь всех этих людей с теми, которые, по их уверению, знают твоего государя, и если разберешься в ошибочности или противоречивости всего того, что эти последние говорят о нем, то ты придешь к гораздо более правильному заключению, что никакого государя не существует. В самом деле, знал ли бы ты своего отца, если бы он всегда жил в Куско, а ты в Мадриде, и если бы он сообщил тебе только самые сомнительные сведения о своем существовании?

25.—Но что бы я думал о нем,—возразил слепец,—если бы он дал мне в пользование какую-нибудь часть своего достояния? А ты согласишься со мной, что я получил в дар от великого духа способность мыслить, рассуждать. Я мыслю, следовательно, я существую. Я не сам дал себе бытие. Следовательно, я получил его от другого, и этот другой и есть государь<sup>104</sup>.

26.—Ну, с этой-то точки зрения,—сказал философ, рассмеявшись,—сразу видно, что твой отец обездолил тебя. Но возьмем разум, которым ты так хвалишься,—какое употребление делаешь ты из него? В твоих руках это совершенно бесполезное орудие. Вечно опекаемый твоими вожатыми, он годится лишь на то, чтобы при-

вести тебя в отчаяние. Из их речей, которые ты принимаешь за оракулы, твой разум узнает о каком-то свое нравном повелителе, которого ты тщетно пытаешься умиловить своим упорством в борьбе с этими терниями, скалами и трясинами. Ибо кто знает—не предопределил ли он, что в конце пути ты потеряешь терпение, приподнимешь из любопытства уголок повязки и чуть-чуть запачкаешь свое платье? Если таково его предначертание, ты падешь непременно и тогда ты погиб навеки.

27.—Нет,—возразил слепец,—ожидающие меня великолепные награды будут меня поддерживать.—Но в чем же заключаются эти великолепные награды?—В чем? В том, чтобы видеть государя; видеть его еще и еще раз; видеть его без конца и всякий раз испытывать такое восхищение, точно видишь его в первый раз.—Каким же это образом?—Каким образом? С помощью потайного фонаря, который нам прикрепят к шишковидной железе или к какому-то там мозолистому телу и который позволит нам увидеть все так ясно, что...<sup>105</sup>

28.—С чем вас и поздравляю,—сказал наш товарищ;—но пока-что мне кажется, что твой фонарь невыносимо чадит. Из твоих слов вытекает только, что ты служишь своему господину из одного лишь страха и что твоя преданность основана на корысти, на этом низком чувстве, приличествующем лишь рабам. Таким образом, самолюбие, против которого ты только что рвал и метал, оказывается единственным мотивом твоих действий; и ты хочешь теперь, чтобы твой государь увенчал его наградой. Нет, ты только выиграл бы, если бы перешел в нашу аллею; свободный от страха и от всякой корысти, ты, по крайней мере, жил бы спокойно, и самое большее, что тебе угрожало бы, это—прекращение твоего бытия в конце пути.

29.—Посланник сатаны,—возопил слепец,—отойди прочь от меня. Я вижу, что самые сильные доводы отскакивают от тебя, как горох от стены. Постой, я обращусь теперь к более действительному оружию.

30. И он принялся кричать: безбожник! дезертир! На эти крики со всех сторон стали сбегаться разъяренные во-

жатые, с хвостом под мышкой и с пучками соломы в руках. Наш приятель тихонько удалился по окольным тропинкам в глубь аллеи, а слепец, подобрав свой посох и продолжая свой путь, уже рассказывал о своем приключении своим товарищам, которые наперерыв его поздравляли. После длинного ряда хвалебных речей было постановлено отпечатать его аргументацию под следующим заглавием: *Физическая и моральная теория света, его существования и его свойств. Сочинение одного испанского слепца, переведено с комментариями и схоллиями церковным старостой парижской больницы для слепых*. Изучение этой книги рекомендуется всем, кто за последние сорок лет и больше считает себя обладателем острого зрения, неизвестно почему. В утешение лицам, которые не смогут достать ее, замечу, что в ней не содержится ничего, кроме вышеизложенного разговора, только растянутого на такое количество листов, какое необходимо, чтобы получился том надлежащих размеров.

31. Так как шум, произведенный этой сценой, донесся до самых отдаленных уголков нашей аллеи, то было решено ознакомиться с происшествием ближе и созвать общее собрание для обсуждения аргументов слепца и Атеоса<sup>106</sup> (так звали нашего друга). Постановили, чтобы кто-нибудь, кто присутствовал при их диспуте, взял на себя роль слепца и изложил его соображения, не ослабляя и не выставляя их в смешном виде. Кое-кто заметил, что я находился по близости от места стычки, и хотя мне не очень-то хотелось выступить защитником столь слабой стороны, я счел своим долгом сделать это в интересах истины. На собрании наш приятель повторил все свои доводы, а я воспроизвел с величайшей точностью возражения слепца; мнения слушателей, как это обычно бывает, разделились. Одни говорили, что с обеих сторон были выставлены очень слабые доводы; другие полагали, что этот первый диспут может привести в дальнейшем к *разъяснению вопроса, полезному* для общего дела. Друзья Атеоса торжествовали и уже рассчитывали на постепенное присоединение к ним остальных отрядов. Мои товарищи

и я утверждали, что они лпкуют слишком рано и что если они разби́ли никуда негодные доводы, то это еще не значит, что они сумеют сокрушить противника, вооруженного более основательными аргументами. В виду обнаружившихся разногласий один из нас предложил образовать отделение из представителей всех отрядов, по два человека от каждого, выслать его вперед и на основании дальнейших сведений решить, какому отряду считаться впредь передовым и за каким знаменем следовать. Это предложение показалось здравым и было принято. В первом отряде выбрали Зенокла и Дамиса<sup>107</sup>; во втором—Атеоса, героя громкой сцены со слепцом, и Ксанфа<sup>108</sup>; Филоксен и я были делегированы нашим отрядом<sup>109</sup>; четвертый отряд послал Орибаза и Алкмеона<sup>110</sup>; пятый выбрал Дифила и Нерестора<sup>111</sup>; в шестом<sup>112</sup> тоже приступили к выборам, и все его члены одинаково притязали на избрание, но мы заявили, что не допустим в разведочные пикеты людей, известных своими дурными нравами, непостоянством, невежеством, и весьма сомнительной благонадежностью... Они подчинились, хотя и с ропотом. Нашим паролем мы выбрали слово *истина* и двинулись в путь. Главные силы расположились на покой, чтобы дать нам время уйти вперед и сообразовать свой марш с нашими движениями.

32. Мы выступили в одну из тех прекрасных ночей, которой романист непременно воспользовался бы для красноречивого описания. Но я—простой историк и скажу только, что луна была в зените, на небе не было ни облачка, и звезды ярко сияли. Я случайно оказался подле Атеоса, и мы шли вначале молча, но можно ли долго путешествовать вдвоем, не проронив ни слова? Я заговорил первый и сказал, обращаясь к своему спутнику: Вы видите сияние этих светил, однообразный ход одних, постоянную неподвижность других, их взаимные влияния, которыми они помогают друг другу, их полезность для нашей планеты? Без этих светильников что случилось бы с нами? Какая благодетельная рука зажгла их на небе и поддерживает их свет? Мы пользуемся им; неужели же мы будем так неблагодарны, что припишем их появление

случайности? Неужели их существование и изумительный порядок не приведут нас к открытию их творца?<sup>113</sup>

33.—Все это не приведет ни к чему, дорогой мой,—ответил тот.—Вы смотрите на эту иллюминацию глазами какого-то элгузиаста. Ваше взвинченное воображение превращает ее в чудное создание искусства, за которое вы восхваляете существо, и не думавшее обо всем этом. Это наивность провинциала, только что попавшего в столицу и полагающего, что Сервандони нарисовал сады Армиды или построил дворец Солнца специально для него<sup>114</sup>. Перед нами—неизвестная машина, наблюдения над которой обнаруживают правильность ее движений, по мнению одних, и хаотический беспорядок, по убеждению других: невежды, рассмотрев одно колесо и ознакомившись с несколькими его зубцами, строят догадки о том, как оно сцепляется с сотней тысяч других колес, совершенно им неизвестных, и в заключение называют с видом знатоков имя строителя машины.—Остановимся на этом сравнении, ответил я;—неужели уравнильный маятник или часы с репетицией не обнаруживают ум мастера, который их построил? Неужели вы решитесь утверждать, что они порождены случаем?

34.—Постойте,—сказал мой спутник,—это далеко не одно и то же. Вы сравниваете конечную вещь, относительно которой вы знаете, кто и как ее сделал, с бесконечным телом, которого возникновение, настоящее состояние и конец вам неизвестны и о строителе которого вы можете высказывать только догадки.

35.—Не все ли равно,—возразил я,—когда оно возникло и кем было построено? Разве я не вижу, каково оно? и не свидетельствует ли оно своим строением о своем строителе?

36.—Нет!—ответил Атеос,—вы вовсе не видите, каково оно. Кто вам сказал, что порядок, который так восхищает вас здесь, не нарушается ни в каком другом месте? Какое право имеете вы заключать от одной точки пространства ко всему бесконечному пространству? Вот груда мусора и щебня, беспорядочно набросанная кем-то;



однако черви и муравьи находят для себя в этой гряде весьма удобные жилища. Что сказали бы вы об этих насекомых, если бы они, рассуждая по вашему, стали восторгаться умом садовника, который так искусно расположил для них эти материалы?

37.—Вы ничего не понимаете, господа,—заявил вдруг Алкмеон, перебивая нас;—мой брат Орибаз докажет вам, что великое лучезарное светило, которое не замедлит появиться на небе, есть око нашего государя, а вот эти сияющие точки—алмазы в его короне или пуговицы его одежды, которая сегодня темносинего цвета. Вы спорите о его облачении; но, может быть, завтра он переменит его; может быть, его око наполнится влагой, а его риза, такая блистающая сегодня, станет тусклой и мутной; по какому признаку узнаете вы его тогда? Ах, ищите его лучше в самих себе. Вы составляете часть его существа; он в вас и вы в нем. Его субстанция единственна, необъятна, всеобъемлюща; она одна существует; все остальное лишь ее модусы<sup>115</sup>.

38.—В таком случае,—сказал Филоксен,—ваш государь странное существо; он плачет и смеется, спит и бодрствует, ходит и не двигается с места, счастлив и несчастен, печален и весел, бесстрастен и испытывает страдания; он находится одновременно в самых несовместимых состояниях. Он в одном и том же лице и честный человек, и мошенник, он мудр и безумен, воздержан и распущен, кроток и жесток, он соединяет в себе все пороки со всеми добродетелями; я просто не могу понять, как вы примиряете все эти противоречия.—Дамис и Нерестор взяли сторону Филоксена против Алкмеона; и, сменяя друг друга, они сначала привели тысячу доводов против Алкмеона, потом обрушились на Филоксена, наконец вернулись к разговору, который я завязал с Атеосом, и в заключение сказали задумчивым тоном: *Посмотрим*.

39. Между тем начинало светать, и в лучах восходящего солнца мы увидели широкую реку, которая, казалось, перерезывала нам дорогу своими изгибами. Ее воды были прозрачны, но глубоки и быстры, и никто из нас не ре-

шался попытаться перейти через нее. Мы отрядили Филоксена и Дифила исследовать, не становится ли река где-нибудь дальше более мелководной и нет ли где брода; а сами расположились недалеко от берега, на лужайке под тенью ив и тополей. Перед нами тянулась цепь гор, очень крутых и поросших сосной.—Не благодарите ли вы мысленно вашего государя,—иронически спросил меня Атеос;—за то, что он сотворил для вашего удовольствия две вещи, приводящие сейчас в бешенство стольких порядочных людей,—реку, которую нельзя перейти без риска утонуть, и за ней скалы, среди которых мы скорее погибнем от усталости и голода, чем переберемся через них? Разумный человек, который насадил бы сад для себя и своих друзей, едва ли устроил бы для них такие опасные прогулки. Вселенная, говорите вы, творение вашего монарха; согласитесь же, по крайней мере, что два эти куска не делают чести его вкусу. К чему здесь такое изобилие воды! Нескольких ручьев было бы достаточно для поддержания свежести и плодородия этих лугов. А эти огромные груды неотесанных камней—вы, конечно, и их предпочитаете красивой равнине? Нет, повторяю еще раз, все это похоже скорее на причуды сумасшедшего, чем на создание мудрого ума.

40.—Что бы, однако, вы сказали,—ответил я ему,—о деревенском политике, который, никогда не был допущен в совет государя и не имея никакого понятия о его планах, стал бы греметь против налогов, против движения или бездействия армий, против операций флота, и объяснял бы случайностью то выигрыш какого-нибудь сражения, то успех какой-нибудь дипломатической сделки или морской экспедиции? Вы, конечно, покраснели бы за него, а между тем вы заблуждаетесь ничуть не меньше. Вы ополчаетесь против расположения этой реки и этих гор, потому что они вам сейчас мешают; но разве вы один в мире? приняли ли вы в расчет все отношения этих двух предметов к благу всей мировой системы в целом? Почему вы знаете, не нужна ли эта масса воды для поддержания плодородия в других краях, которые она орошает в своем дальнейшем

течении,—не осуществляет ли она торговую связь между большими городами, расположенными на ее берегах? Какая польза была бы здесь от ваших ручьев, которые солнце могло бы высушить в одно мгновение? Эти скалы, которые так оскорбляют ваш взгляд, покрыты растениями и деревьями, общезвестными своей полезностью. Из недр этих скал добывают минералы и металлы. На их вершине—огромные водоемы, которые наполняются дождями, туманами, снегами и росой и из которых воды правильно затем распределяются, образуя вдали ручьи, источники, малые и большие реки. Таковы, дорогой мой, планы государя. Разум подводит вас к порогу его кабинета; и вы достаточно наслышаны о нем, чтобы не сомневаться, что бессмертная рука вырыла эти водоемы и провела эти каналы.

41. Зенокл, видя, что спор начинает разгораться, сделал нам знак рукой, как бы приглашая нас приостановить военные действия.—Мне кажется,—сказал он,—что вы оба слишком спешите. Ведь по вашему перед нами река и скалы—не так ли? А я утверждаю, что то, что вы называете рекой, есть твердый кристалл, по которому можно ходить совершенно безопасно, и что ваши мнимые скалы не что иное, как туман, хоть и густой, но легко пронизываемый. Судите сами, прав ли я.—С этими словами он бросается в реку и исчезает под водой. Мы не на шутку испугались за его жизнь; но, к счастью, Орибаз, хороший пловец, бросился вслед за ним, схватил его за полу и вытащил на берег. Наш испуг сменился громким хохотом, которого не мог не вызвать его вид. А он, широко раскрыв глаза и стряхая с себя струйки воды, спросил, почему мы так веселы и что случилось.

42. Тем временем вернулись наши разведчики, подходившие к нам быстрыми шагами. Они сообщили, что, идя вниз по реке, они нашли неподалеку от нас мост, сделанный самой природой. Это была довольно большая скала, под которой вода пробила себе ход. Мы переправились на другой берег и прошли около трех миль вдоль гор, имея реку слева. Время от времени у Зенокла являлось желание ринуться в каменную стену, преграждавшую нам

путь справа, чтобы, как он выражался, пронизать туман.

43. Наконец мы прибыли в приятную долину, которая пересекала горы и переходила в широкое ровное место, поросшее плодовыми деревьями, преимущественно тутовыми, листва которых была отягощена шелковичными червями. Рои пчел гудели в дуплах нескольких старых дубов. Эти насекомые трудились без устали, и мы принялись внимательно их рассматривать, причем Филоксен спросил Атеоса, считает ли он этих трудолюбивых животных автоматами.

44.—Если бы я стал доказывать,—ответил Атеос,—что это маленькие колдуны, заключенные в кольца гусеницы или в тело мухи, как недавно утверждал один из наших друзей, вы, верно, выслушали бы меня, если не о удовольствии, то, во всяком случае, без негодования, и отнеслись бы ко мне более милостиво, чем жители аллеи терний.

45.—Вы правильно понимаете меня,—скромно сказал Филоксен,—я отнюдь не склонен видеть что-то страшное в легкой и невинной болтовне. Да будет далека от нас дух гонения; он одинаково враждебен как изящным манерам, так и разуму. Но если считать этих насекомых простыми машинами, то мастер, изготавливающий их столь искусно...—Я понимаю, куда вы клоните,—перебил его Атеос,—это ваш государь? Недурное занятие для такого великого монарха—проявлять свое искусство в отделывании ножки гусеницы или крылышка мухи.

46.—Поменьше презрения!—возразил Филоксен,—то, что вызывает восхищение людей, вполне могло привлечь к себе внимание творца. В мире нет ничего, что было бы создано или поставлено без цели...—Ах! опять эта цель!—воскликнул Атеос,—это невыносимо.—Эти господа посвящены в тайны великого строителя,—заметил Дамис,—как ученые в мысли комментируемого ими автора, которого они заставляют говорить то, о чем он никогда не думал.

47.—Не совсем так,—подхватил Филоксен.—С тех пор, как микроскоп открыл в шелковичном черве мозг, сердце,

кишечник, легкие; как изучены механизм и действие этих частей, разнообразные движения циркулирующих в них жидкостей, работы этих насекомых,—можно ли еще говорить о случае? Но оставив даже в стороне искусство пчел, я думаю, что в одном строении их хоботка и жала всякий мыслящий человек усмотрит чудеса, которые он никогда не станет объяснять случайными движениями материи.—Эти господа,—перебил его Орибаз,—не читали Вергилия, одного из наших патриархов, утверждающего, что пчелы получили в удел луч божества и что они составляют часть великого духа.—Ваш поэт и вы,—заметил я,—не приняли в соображение, что вы обожествляете не только мух, но каждую каплю воды и каждую песчинку в море,—утверждение явно нелепое! Но вернемся к Филоксену. Если из своих тщательных наблюдений над некоторыми насекомыми он делает вывод о существовании нашего государя, то чего бы только не мог он извлечь из анатомии человеческого тела и из знакомства с другими явлениями природы!—Ничего иного,—твердо заявил Атеос,—кроме того факта, что материя организована.—Наши другие товарищи, видя его в затруднении, утешили его тем, что «может быть, он прав, но что правдоподобие на моей стороне».

48.—Если перевес на стороне Филоксена, то виноват в этом сам Атеос,—промолвил Орибаз,—ему следовало сделать только еще один шаг, и шансы на победу были бы, по крайней мере, уравновешены. Из слов Филоксена вытекает только то,—сказал он,—что материя организована; но если удастся доказать, мог бы он прибавить, что материя, а может быть, даже и ее устройство, существует вечно, то что останется от красноречия Филоксена?

49.—Если бы сущего никогда не было, то его не было бы никогда,—важно продолжал Орибаз,—ибо для того, чтобы дать себе бытие, надо действовать, а чтобы действовать, надо быть.

50.—Если бы когда-нибудь были только материальные существа, то никогда бы не было мыслящих существ. В самом деле: мыслящие существа могли либо сами дать

себе бытие, либо получить его от материальных существ; в первом случае они должны были бы действовать прежде, чем стали существовать, а во втором случае они были бы произведениями материи, но тем самым они были бы низведены на степень модусов, что отнюдь не входит в расчеты Филоксена.

51. Если бы когда-нибудь были только мыслящие существа, то никогда бы не было материальных существ. В самом деле, все духовные способности сводятся к мышлению и воле; но я решительно не понимаю, как могут мысль и воля действовать на сотворенные существа, тем более на то, чего нет,—и поэтому я вправе считать, что это невозможно, по крайней мере до тех пор, пока Филоксен не докажет мне противного.

52. Он полагает, что мыслящее существо отнюдь не есть модус телесного. Я думаю, что нет никаких оснований считать телесное существо произведением мыслящего. Из его мнения и из моих соображений вытекает, таким образом, что мыслящее существо и телесное существо вечны, что две эти субстанции составляют вселенную и что вселенная есть бог.

53. Пусть Филоксен откажется от своего презрительного тона, который неуместен нигде, а меньше всего среди философов; пусть он восклицает, сколько ему угодно: «Вы обожествляете бабочек, насекомых, мух, капли воды и все молекулы материи». Я не обожествляю ничего,—ответу я ему.—Если вы хоть чуть-чуть меня поймете, вы увидите, наоборот, что я стараюсь изгнать из мира ребяческое самомнение, ложь и богов.

54. Филоксен, не ожидавший такого энергичного выпада со стороны врага, с которым он мало считался, был явно смущен. Пока он собирался с духом и придумывал ответ, на всех лицах изображалось легкое злорадство, очевидно, вызванное тайными движениями ревности, от которой не всегда защищены даже самые философские души. До этой минуты Филоксен торжествовал, и было приятно видеть, что он поставлен в затруднительное положение, да еще противником, с которым он обращался довольно

дерзко. Об ответе Филоксена я ничего тебе не скажу. Едва он начал говорить, как небо нахмурилось и потемнело; огромная туча скрыла от нас окружающие предметы, и мы очутились в глубоком мраке, что побудило нас прекратить наш спор и предоставить его разрешение тем, кто выслал нас на разведку.

55. Так мы вернулись в нашу аллею. Там выслушали рассказ о нашем путешествии и о наших беседах. В настоящее время обсуждаются аргументы, приводившиеся каждым из нас; и если когда-либо будет вынесено окончательное суждение, я сообщу тебе о нем.

56. Замечу еще только, что Атеос, вернувшись, нашел, что его жена похищена, дети убиты и дом разграблен. Подозрение пало на слепца, с которым Атеос вел спор через изгородь и которого убеждал не считаться с голосом совести и законами общества всегда, когда можно пренебречь ими без опасности для себя; решили, что именно он тайком пробрался из аллеи цветов и совершил это злодейство, считая себя обеспеченным от наказания отлучкой Атеоса и отсутствием каких бы то ни было свидетелей. Самое огорчительное в этой истории заключалось для бедного Атеоса в том, что он даже не смел громко жаловаться; ибо ведь слепец был, в конце концов, только последователен.

## Аллея цветов

Qui species alias veri, scelerisque tumultu  
Permixtas capiet, commotus habebitur... \*

1. Хотя мои посещения аллеи цветов не были ни часты, ни длительны, я все-таки знаю ее достаточно, чтобы дать тебе понятие о ее внешнем виде и о свойствах ее обитателей. Это не столько аллея, сколько огромный сад, в котором можно найти все, что нежит чувства. Яркие клумбы цветов сменяются широкими мшистыми коврами и лужайками, которые орошаются сотнями ручейков. Там есть темные леса, где пересекаются тысячи тропинок, лабиринты, в которых приятно блуждать, рощи, которые манят к себе, беседки из густолиственных деревьев, в которых можно уединиться.

2. Там выстроены отдельные небольшие помещения, предназначенные для различных целей. В одних ты найдешь столы с изысканными яствами и буфеты, которые ломятся от вин и чудесных ликеров; в других—ломберные столики, марки, жетоны, рулетки и прочие приспособления, дающие возможность разориться, развлекаясь.

\* Человек, у которого правильные и преступные мысли перемешаны в диком беспорядке, всеми почитается умственно расстроенным (Гораций, *Сатиры*, кн. II, сат. 3).



3. Вот здесь собираются люди, которые любят принимать рассеянно-задумчивый вид, которые редко говорят то, что думают, и забрасывают друг друга комплиментами, не зная и подчас ненавидя друг друга. А вон там устраиваются очаровательные вечера, заканчивающиеся еще более очаровательными ужинами, на которых злословят по поводу какой-нибудь женщины, расхваливают какое-нибудь блюдо, рассказывают неестественные истории и пошмеиваются друг над другом.

4. Еще дальше ты найдешь великолепные светлые залы. В одних смеются и плачут; в других поют и танцуют; повсюду критикуют, рассуждают, спорят, кричат— и большей частью сами не знают, почему.

5. Здесь мы в царстве любовных походов. Здесь царит прихотливая любовь и жеманное кокетство. Наслаждение всюду на виду, но за наслаждением всюду таится жестокая скука. Как пошлы здесь любовники, как редки верные возлюбленные! О чувстве говорят здесь каждый день; но сердце ни на мгновение не участвует в разговоре.

6. Не буду говорить тебе о более темных покоях с широкими диванами и мягкими кушетками—их предназначение ты и сам понимаешь. Эту мебель сменяют так часто, словно только тем и занимаются, что изнашивают ее.

7. Общественная библиотека состоит из всего, что написано о любви и ее тайнах от Анакреона<sup>116</sup> до Мариво<sup>117</sup>. Это—архивы Киприды<sup>118</sup>. Их хранителем состоит автор *Танзаи*<sup>119</sup>. В углах красуются увенчанные миртом бюсты королевы Наваррской, Мерсиуса, Боккачио и Лафонтена. Читатели млеют над *Марианной*, *Красным деревом* и тому подобными безделницами<sup>120</sup>. Юноши читают, а молодые девушки проглатывают историю любовных походов отца Сатюрнена. Ибо здесь такое правило, что чем раньше просветишь свой ум, тем лучше.

8. Хотя любовной практике предаются гораздо больше, чем теории, однако считают, что не следует пренебрегать и последней. Ведь так часто бывает в жизни, что надо перехитрить бдительность матери, обмануть ревность мужа,

усыпить подозрения любовника, а для этого нужно заранее изучить всю эту науку. И многие в аллее цветов снискали себе на этом поприще громкую славу. Вообще же там очень много смеются—тем больше, чем меньше думают. Это какой-то вихрь, мчащийся с невероятной быстротой. Все заняты только тем, что наслаждаются или мешают наслаждаться другим.

9. Все путники в этой аллее пятятся назад. Мало заботясь о пройденном пути, они думают лишь о том, как бы с наибольшим удовольствием завершить его. Иные приблизились уже вплотную к воротам лагеря, а готовы уверять вас, что не прошло и минуты, как они двинулись в путь.

10. Тон среди этой легкомысленной публики задает ряд женщин, очаровательных своим умением и желанием нравиться. Одна гордится великим множеством поклонников и хочет, чтобы все об этом знали; другая любит дарить счастье многим, но так, чтобы это оставалось втайне. Одна обещает свою благосклонность тысяче поклонников, но только к одному будет действительно благосклонна; другая подаст надежду только одному, но не обидит и сотню других,—и все это под строжайшим секретом, которого никто не соблюдает, ибо смешно не знать похощенной хохршенькой женщины и даже принято увеличивать их число по мере надобности.

11. Будуар можно было бы назвать общим местом свиданий, если бы из него не был исключен супруг. Там собираются ветреные и подчас предприимчивые молодые люди, которые говорят обо всем, не зная ничего, болтают вздор с глубокомысленным видом, умеют соблазнить красавицу злословием против ее соперниц, переходят от начатого имп серьезного разговора к рассказу о каком-нибудь любовном приключении, потом вдруг начинают напевать, неизвестно почему, какую-нибудь песенку и тотчас же обрывают ее, чтобы сказать несколько слов о политике и в заключение высказать глубокие мысли о разных прическах, платьях, о китайском болванчике, о какой-нибудь нагой фигуре Клинштеда, о фарфоровой чашке, о кукле

с картины Буше, о безделушке Эбера и о ларце Жюльетты или Мартена.

12. Такова приблизительно толпа, резвящаяся в аллее цветов. Так как все эти люди бежали в свое время из аллеи терний, то они не могут без ужаса слышать голос вожатых; и поэтому в определенные дни волшебный сад пустеет. Его обитатели идут каяться в аллею терний, откуда они вскоре возвращаются обратно, чтобы через некоторое время опять итти каяться.

13. Повязка очень стесняет их; немалую часть своей жизни они проводят в поисках средств, которые дали бы им возможность обезвредить ее. Это своеобразное упражнение помогает им увидеть кое-какие проблески света, но эти проблески быстро исчезают. Их зрение недостаточно крепко, чтобы выдержать яркий свет; поэтому они взглядывают на него изредка и как бы украдкой. Никакая серьезная и последовательная мысль не входит в эти головы; одно слово «система» приводит их в ужас. Если они и допускают существование государя, то не делают отсюда никаких выводов, которые могли бы помешать им наслаждаться. Философ, который рассуждает и хочет проникнуть в глубь вопроса, в их глазах скучное и тяжеловесное животное. Однажды я вздумал занять Темиру разговором о наших возвышенных умозрениях; она мгновенно впала в ипохондрию и, обратив ко мне свой томный взор, сказала: «Перестань меня мучить; постарайся лучше быть счастливым и осчастливь меня». Я повиновался и увидел, что она настолько же довольна мужчиной во мне, насколько была недовольна философом.

14. Их платье находится в самом плачевном состоянии; время от времени они отдают его в стирку, но проку в этом мало: это делается только для приличия. Можно подумать, что их главная цель—посадить на своем платье столько пятен, чтобы его первоначальный цвет сделался неузнаваем. Такое поведение не может быть угодно государю; и, несмотря на угар наслаждений, об этом вероятно догадываются в аллее цветов. Ибо хотя она самая населенная из всех и больше всего народа толпится на

ее дорожках, однако в последней своей трети она начинает постепенно пустеть, а в самом конце в ней уже встретишь лишь двух-трех порядочных человек из наших, пришедших туда на минуту, чтобы отдохнуть. И действительно, эта аллея очень приятна, но не следует в ней долго оставаться: все там кружит голову, и люди, которые умирают в ней, умирают безумцами.

15. Не удивляйся, что время течет для них так быстро и что им так не хочется расстаться со своей аллеей. Я уже сказал тебе, что на вид она обворожительна; все в ней полно очарования; это царство приветливости, легкости и учтивости. Почти всех ее обитателей можно принять за людей чести и безупречной нравственности. Только опыт рассеивает эту иллюзию, а опыт приходит иногда слишком поздно. Признаться ли тебе, мой друг? Я сотни раз попадался в сети этого мира, пока не узнал его и не перестал ему доверять; и лишь после знакомства с бесчисленными примерами мошенничества, низости, неблагодарности и предательства я расстался с глупой привычкой, столь свойственной порядочным людям: судить о других по себе. Так как я считаю тебя порядочным человеком и так как и ты можешь когда-нибудь оказаться таким же глупцом, как я, то я расскажу тебе несколько эпизодов, которые, наверное, будут для тебя поучительны, а, может быть, и занимательны. Выслушай меня, и потом суди о твоей любовнице, о твоих друзьях и знакомых.

16. Я знал когда-то двух лиц, поселившихся в одной из уединенных рощиц аллеи цветов; это были кавалер Аженор и молодая Федима. Аженор, разочаровавшийся в придворной жизни, отказался, по его словам, от честолюбивых мечтаний; своеобразие государя и несправедливость министров заставили его бежать из того вихря, в котором он тщетно пытался продвинуться вперед; словом, он постиг тщету человеческих почестей. Федима в свою очередь отказалась от флирта и сохранила привязанность к одному Аженору. Оба удалились от мира и решили наслаждаться в одиночестве вечной любовью. Я слышал их восторженные речи: «Как мы счастливы! Какое счастье

может сравниться с нашим? Все дышит здесь негой и привольем. Прелестный уголок, какой мирной и невинной отрадой даришь ты нас! Чего стоят пышные хоромы, оставленные нами, поред тенью твоих деревьев? О, золотые цепи, в которых мы так долго томились, вашу тяжесть чувствует вполне только тот, кто избавился от вас! О, блистающее иго, которое носят с такою гордостью, как отрадно сбросить тебя! Не ведая тревог, мы утопаем в океане блаженства. Наши наслаждения, сделавшись такими доступными, не сделались от того менее яркими. Утехи сменяются утехами и ни разу скука не отравила их своим ядом. Прошлое не вернется: докучные обязанности, вынужденные визиты, притворное внимание не будут больше властвовать над нами. Разум привел нас в эти места, и одна только любовь последовала за нами... Как непохожи миги нашей жизни на те дни, которые мы жертвовали смешным обычаям или нелепым вкусам! Почему эти новые дни не начались раньше, почему они не вечны! Но стоит ли думать о мгновении, которое когда-нибудь прекратит их? Будем лучше наслаждаться ими, не теряя времени».

17.—Мое счастье,—говорил Аженор Федиме,—сияет в твоих очах; никогда я не разлучусь с моей любезной Федимой—нет, никогда, клянусь этими очами! Дивное уединение, в тебе будут замкнуты все мои желания; цветущее ложе, которое я делю с Федимой, ты—трон любви и ты сладостней царского трона.

18.—Любезный Аженор,—отвечала Федима,—ничто мне не мило так, как обладание твоим сердцем. Из всех кавалеров ты один сумел меня тронуть и победить мою неприязнь к уединенной жизни. Я видела твою пламенную страсть, твою верность, твое постоянство, я покинула все и вижу, что покинула слишком мало. Нежный Аженор, дорогой и достойный друг, ничего кроме тебя мне не нужно; я хочу жить и умереть с тобою. Если бы этот укромный уголок был настолько же ужасен, насколько он прелестен, если бы эти волшебные сады превратились в пустыни,—Федима видела бы в них тебя, и твоя Фе-

дима была бы счастлива! О, если бы моя нежность, моя верность, мое сердце и радости взаимной любви могли вознаградить тебя за все, чем ты пожертвовал ради меня! Но, увы, этим радостям наступит конец,—и в роковую минуту я буду, по крайней мере, утешена сладким сознанием, что твоя рука закроет мне глаза и что я испускаю последний вздох в твоих объятиях.

19. Как ты думаешь, мой друг, чем все это кончилось? Однажды Аженор, испытав в объятиях Федимы самые упоительные восторги, расстался с нею. Он удалился на одно лишь мгновение; через минуту он должен был вернуться к ней обратно. Но поджидавший его дилижанс умчал его стрелою ко двору. Там он давно уже хлопотал об одном видном месте. Его влияние, интриги, шаги, предпринятые его семьей, богатые подарки министрам или их любовницам, происки нескольких женщин, захотевших отнять его у Федимы,—все это привело к тому, что он получил желаемое место, и он был извещен об этом успехе письмом за минуту до того, как между ним и его возлюбленной произошел изложенный мною нежный разговор.

20. Итак, Аженор удалялся; а в это время один его соперник, только и ждавший его исчезновения, показался из-за деревьев, за которыми был спрятан, и занял его место на груди Федимы. Этот новый герой царил положенный срок; он был замучен ласками и потом заменен другими любовниками.

21. Ты знаешь теперь, что такое истинная любовь; слушай дальше и суди об искренности дружбы.

22. Белиза была самой близкой подругой Калисты; обе были юны, незамужни, имели тысячу поклонников и жили в свое удовольствие. Всюду их видели вместе: на балах, на вечеринках, на прогулках, в опере. Они были неразлучны. Они советовались друг с другом о своих самых важных делах. Белиза не купит, бывало, ни одного куска материи, который не был бы одобрен Калистой; Калиста ни за что не пойдет к своему ювелиру без Белизы. Что сказать тебе еще? Игры, развлечения, ужины—все у них было общее.

23. Точно так же Критон был другом Альсиппа, стародавним его другом. Одинаковость вкусов, талантов, наклонностей, постоянные взаимные услуги, общий кошелек—все, казалось, подготовило и должно было укрепить их сердечную связь. Альсипп был женат; Критон оставался холостым.

24. Белиза и Критон были знакомы. Однажды, когда Критон был у нее в гостях, у них завязался серьезный разговор о дружбе. Они красноречиво описывали это чувство, разбирали его, давали друг другу понять, что отличаются чувствительностью и тонкостью необычайной. Как приятно,—говорила Белиза,—иметь возможность сказать себе, что у тебя есть друзья и что ты заслужил их дружбу живым и нежным интересом ко всему, что их касается; но иногда это удовольствие обходится недешево. Я лично,—прибавила она,—слишком часто убеждаюсь, чего стоит иметь такое сердце, как мое. Сколько тревог, сколько волнений и горестей испытываешь за другого! Это душевное состояние невозможно побороть.

25.—Ах, сударыня,—ответил Критон,—неужели вы недовольны тем, что у вас такая чудная душа? Если бы мне было дозволено говорить о самом себе, я сказал бы, что я так же, как и вы, не могу, никоим образом не могу подавить в себе живейшее участие к своим друзьям; но признаюсь—и это, может быть, покажется вам странным,—мне приятно чувствовать, как моя душа раздражается всем, что затрагивает их интересы. Между нами, не было бы это нарушением существенного долга дружбы, если бы мы медлили с нашим душевным участием в известные минуты?

26.—Одного я никогда не могла понять,—перебила его Белиза,—как это существует на свете столько черных душ, прикрывающих вероломство, злобу, корысть, предательство и сотни других ужасных пороков чарующей видимостью нравственности, честности и дружбы. Я впадаю в дурное настроение, когда вижу, что творится вокруг меня, и почти начинаю подозревать моих лучших друзей.

27.—Я далек,—сказал Критон,—от подобной крайности; я охотнее дам обмануть себя какому-нибудь плуту, чем оскорблю своего друга. Но во избежание обеих этих неприятностей я изучаю, глубоко изучаю людей, прежде чем отдаться им всей душой, и я особенно остерегаюсь всех этих слишком приветливых франтов, которые сразу бросаются вам в объятия; которые опорочили чувство дружбы постоянным его злоупотреблением; которые хотят во что бы то ни стало быть вашими друзьями, а между тем знают о вас только то, что вы богаты и щедры или что у вас хороший повар, приятная любовница, жена или красивая молодая дочь... Втереться в дом человека, чтобы соблазнить его жену, это самое обычное явление,—а может ли быть что-нибудь более ужасное? Я не говорю, что нельзя иметь сердечных дел, привязаться к кому-нибудь, в свете даже невозможно жить на известный лад без этих развлечений; но покуситься на жену своего друга, это—низость, это—совершеннейшая гнусность. Первое—слабость, которую прощают; второе—преступление, ни с чем не сравнимый ужас.

28.—Простите,—возразила Беллиза,—мне кажется, я могу сравнить его кое с чем. Есть злодеяние, которое я ненавижу не меньше и которое свидетельствует о полной потере чести и нравственного достоинства: это когда женщина отнимает любовника у своей подруги и сама становится его любовницей. В этом есть что-то дьявольское, надо вырвать из своей груди всякое чувство, отказаться от всякого стыда, а между тем мы видим примеры...

29.—Но, сударыня,—возразил Критон,—вам ведь известно, как относятся к этим низким тварям.

30.—К ним относятся прекрасно,—возразила Беллиза,—с ними встречаются, их принимают, их приветствуют, о том, что они сделали, даже и не думают.

31.—А по моим наблюдениям, сударыня,—возразил Критон,—у света не такая короткая память, как вы утверждаете, и эти чудовища изгоняются из всякого общества, которое имеет добродетель своим фундаментом и в кото-



ром царят прямота и чистосердечие; а такие общества существуют.

32.—Согласна,—сказала Белиза,—я не думаю, например, чтобы здесь можно было встретить таких женщин. О, мы все необыкновенно подходим друг к другу!

33.—С тех пор, как вы столь милостиво приняли меня в свой круг,—сказал Критон,—я старался оправдать встреченное мною здесь доброе отношение, и в особенности ваше, сударыня, неукоснительным соблюдением нравственных правил. Мои чувства всегда проверяются разумом. Я действую по принципам; да, принципы—вот что я уважаю. Они безусловно необходимы, и человека, у которого их нет, я считаю так же недостойным дружеской привязанности, как он сам неспособен к ней.

34.—Вот это я пазываю мыслить!—воскликнула Белиза.—Как редки друзья, подобные вам, и как надо заботиться об их сохранении, когда имел счастье найти их! Впрочем, должна вам сказать, что ваши чувства меня не удивляют. Я только восхищена тем, что они до такой степени совпадают с моими. Я, может быть, даже чуть-чуть приревновала бы вас, если бы не знала, что добродетели нисколько не теряют от того, что становятся достоянием многих,—что они даже выигрывают, когда делиться ими в таких беседах, как наша.

35.—В этих откровенных и непринужденных излияниях, в которых прекрасные души открываются друг другу,—сказал Критон,—заключается величайшая прелесть дружбы, ведомая только им одним.

36. Я хотел бы знать, что ты думаешь об этих людях. Но я вижу, что история Федимы и Аженора заставляет тебя быть осторожным. Ты не веришь торжественным фразам, и ты прав. Терпенне, мой друг, если мой рассказ и не зашмамет тебя, он, как я вижу, принесит тебе пользу.

37. Не успел Критон расстаться с Белизой, как к ней вошел Дамис. Это был богатый молодой человек приятной наружности, которому была обещана рука Калисты. Вы знаете,—сказал он Белизе,—что прелестная Калиста дол-

жна через два дня составить мое счастье. Все уж готово; дело только за подарками, которые я хочу поднести ей. Вы понимаете в этом толк; могу ли я попросить вас поехать вместе со мной к Лафрене? Мой экипаж ждет нас внизу.

38.—Я не отказываюсь,—ответила Белиза,—и они садятся в коляску. По дороге Белиза начинает сперва всячески расхваливать Калисту: Ах, если бы вы знали ее так, как я! Это самое лучшее существо в мире; она была бы совершенством, если бы...—Если бы она была немножко менее резва,—перебил Дамис.—О, это больше, чем просто излишняя резвость,—возразила Белиза,—но у кого нет недостатка? Повторяю, она прелестна и неровность ее характера, постоянные припадки дурного настроения из-за пустяков не помешали мне быть ее подругой вот уже десять лет. Я прощаю ей эти мелочи; но я хотела бы избавить ее от некоторой ветренности, которая ей повредила, потому что я люблю ее от всего сердца.

39.—Которая ей повредила!—воскликнул Дамис.—То есть как это?..—Да так,—сказала Белиза,—что эта ветренность, неспособная внушить чрезмерное уважение, подарила некоторых шалопаев не одними только надеждами...

40.—Что я слышу?—промолвил Дамис, уже омраченный облаком ревности.—Не одними только надеждами! Так, значит, Калиста лишь прикидывается невинной!

41.—Я этого не говорю,—ответила Белиза.—Но не верьте мне на-слово; смотрите сами, наблюдайте. Связать себя с другим человеком на целую жизнь—это шаг, над которым стоит призадуматься.

42.—Сударыня,—сказал Дамис,—если я чем-нибудь заслужил ваше доброе отношение, не оставьте меня, умоляю вас, в неведении насчет того, что так важно для моего счастья. Неужели Калиста могла забыться настолько?..

43.—Я этого не говорю,—ответила Белиза,—но были толки, и я крайне удивлена, что вы ничего не знаете...

Есть что-то ужасное в этих первых связях,—прибавила она с рассеянным видом,—но брак исцеляет иногда от недостатков, от которых не может уберечь никакое благо-разумие и никакой ум; а следует признать, что у Калисты есть и то и другое, и очень даже.

44. В это время они подъехали к Лафрене. Белиза выбрала драгоценности, и Дамис заплатил за них не торгуясь. Совсем другие мысли его занимали. Подозрения овладели его сердцем, и образ Калисты незаметно искажался в его душе. «Тут несомненно что-то есть,—говорил он себе,—раз даже ее лучшая подруга не может молчать». Благоразумие требовало, конечно, чтобы он разобрался во всем внимательно; но разве ревность прислушивалась когда-нибудь к голосу благоразумия? Как только они сели опять в коляску, Белиза начала заигрывать с ним, пустила в ход все свои ресурсы, стала порочить Калисту уже без всякой пощады, кокетничала без стыда, вскружила Дамису голову, вырвала у него обещания, которые вначале для вида отвергала, согласилась после долгих просьб принять подарки, предназначавшиеся для Калисты, и сделалась супругой ее возлюбленного.

45. А в это самое время Криттон, наш честный Криттон, узнав, что Альсипп уехал один в деревню, отправился в дом своего друга, провел две-три ночи в объятиях его жены и на следующее утро поехал вместе с нею встречать Альсиппа, которого они, конечно, засыпали ласками. Таковы наши добрые друзья.

46. Я обещал еще показать тебе, чего стоят наши знакомые, и сейчас выполню свое обещание.

47. Я проводил однажды время с Эросом. Он—твой знакомый; ты знаешь, сколько трудов, усилий, денег и хлопот стоило ему место камергера, которого он так и не получил; в какие только двери он ни стучался, каких только ни было у него протекций, чего только ни пустил он в ход, чтобы добиться своей цели! Но, может быть, тебе неизвестно, как у него перебили место. Выслушай же меня и суди об обитателях аллен цветов.

48. Мы прогуливались вдвоем с Эросом, и он расска-

зывал меня о своих хлопотах, когда к нам подошел Нарсес. Судя по любезностям, которые они стали расточать друг другу, я решил, что это самые близкие друзья.—Ну, так как же,—сказал Нарсес после первых приветствий,— в каком положении ваше дело?—Оно в сущности уже сделано,—ответил Эрос,—я устроил все и рассчитываю завтра же получить грамоту.—Я в совершенном восторге,—ответил Нарсес,—удивительно, как вы умеете устраивать свои дела без всякого шума. Я слышал, правда, что вы заручились обещанием министра и что за вас говорила герцогиня Виктория; но не скрою, что я не верил в конечный успех. Я видел столько препятствий впереди; но скажите, пожалуйста, как вы выбрались из этого лабиринта.

49.—А вот как,—чистосердечно сказал Эрос.—Я считал себя вправе добиваться места, которое так долго занимал мой отец и которое наша семья потеряла только потому, что в момент смерти отца я был слишком молод для вступления в эту должность. Я следил, искал подходящих случаев, и таких представилось несколько. Я сумел заинтересовать лакея министра и добился того, что министр стал слушать меня. Я упорно гнул свою линию и уже считал, что достиг многого, хотя еще не имел ничего. Таково было положение, как вдруг умирает Мэострис. Я узнаю, что вокруг освободившегося места идут интриги, являюсь в числе соискателей, хожу туда-сюда и встречаю одного провинциала, двоюродного брата горничной кормилицы принца; бросаюсь туда, добираюсь до кормилицы—она обещает замолвить за меня слово, но оказалось, что она уже просила за другого. Тогда я цепляюсь за Жоконду: я слышал, что она живет с министром. Бегу к ней и узнаю, что там все кончено и что у нее даже уж есть преемница—балерина Астерия. Вот та дверь, говорю я себе, в которую нужно толкнуться. Это связь совсем новая и министр, наверное, захочет выполнить первую просьбу своей возлюбленной. Итак, нужно заинтересовать эту женщину.

50.—Это было умно задумано,—сказал Нарсес.— И что же вышло?

51.—Все, на что я рассчитывал,—ответил Эрос,—один из моих друзей идет к Астерии и предлагает ей двести луидоров; она просит четыреста, тот соглашается, и она обещает попросить за меня. Вот, дорогой мой, каковы мои дела.

52. О,—воскликнул Нарсес,—место за вами! Поздравляю вас, господин камергер. Вы им будете наверное, если только кто-нибудь другой не успеет заплатить больше.

53.—Этого не может быть,—сказал Эрос,—вы единственный человек, которому я доверился, и я знаю вашу выдержанность...—Вы можете рассчитывать на нее,—подхватил Нарсес,—но будьте выдержаны и сами. Очень советую вам, будьте более застегнуты; ведь по большей части мы не знаем, кому доверяемся, и все эти люди, которых мы принимаем за друзей... вы понимаете меня.... до свидания, я обещал быть на рулетке у известной вам красавицы-маркизы и должен бежать.

54. Нарсес раскланялся с нами и исчез. Его совет был превосходен, но как жаль, что Эрос не выслушал его от какого-нибудь честного человека и не последовал ему в своих отношениях с Нарсесом. Этот предатель отправился прямо к Астерии, предложил ей шестьсот луидоров и перебил, таким образом, место у Эроса.

55. Ты знаешь теперь смешные стороны и пороки аллеи цветов, знаешь также и ее привлекательные стороны. Вход в нее нам не запрещен; прогулка по ней предохраняет нас от вредных влияний слишком холодного воздуха, которым мы дышим в тени наших деревьев.

56. Однажды вечером, когда я искал там отдыха и развлечений, я натолкнулся на нескольких женщин, которые искоса смотрели на меня сквозь легкий газ, покрывавший их лица; они показались мне красивыми, но не очень приятными. Я подошел поближе к одной брюнетке, которая украдкой устремляла взор своих больших черных глаз в мои глаза. В этом царстве любовных нег, с таким лицом, как ваше, вы верно одерживаете победу

за победой,—сказал я ей...—Ах, уйдите, уйдите от меня,—воскликнула она,—я не могу спокойно слушать ваши легкомысленные речи. Государь меня видит, мой вожатый следит за каждым моим шагом; я должна думать о своей репутации, о будущем, о чистоте своего платья. Уйдите, умоляю вас, или перемените тему разговора.

57.—Но как странно,—ответил я ей,—что с такой чувствительной совестью вы ушли из аллеи терний. Разрешите, сударыня, спросить вас, что вы намерены делать здесь?—Исправлять, по мере возможности,—сказала она улыбнувшись,—таких негодников, как вы.—В эту минуту она заметила, что кто-то приближается к нам; внезапно она приняла свой прежний серьезный и скромный вид; она умолкла, опустила глаза, сделала мне глубокий реверанс и исчезла, оставив меня одного среди молодых цветущих женщин, которые хохотали во все горло, заигрывали с прохожими и делали глазки всем встречавшимся на пути мужчинам.

58. Они старались наперебой овладеть мною—или, вернее, обмануть меня. Я пошел за ними, и они тотчас же стали подавать мне надежды. «Видите вы это дерево?—сказала мне одна из них,—так вот, когда мы подойдем к нему...» В то же время она указывала на другое место одному молодому человеку, которого привела с собой издалека. Когда мы подошли к условленному дереву, она повела меня ко второму, от второго к третьему, оттуда в рощу, которая, по ее словам, должна была быть весьма удобна, из этой рощи во вторую, еще более удобную. «Но ведь эдак я могу,—подумал я,—идя от одного дерева к другому, от одной рощи к другой, дойти с этими ветренницами до конца аллеи, не получив ни малейшей награды за свой труд». Подумав это, я внезапно оставил их и подошел к одной юной красавице, пленявшей не столько правильностью, сколько прелестью своих черт. Это была блондинка, но одна из тех, от которых философ должен бежать. С легкой и тонкой талией она соединяла приятную полноту. Я никогда в жизни не видал таких живых красок, такой свежей кожи, такого красивого тела.

На ее просто причесанной головке красовалась соломенная шляпа с розовой подкладкой; из-под шляпы сверкали глаза, дышавшие сладострастием. Ее разговор обнаруживал изящный ум; она любила рассуждать; она даже была логична в своих мыслях. Едва между нами завязалась беседа, как мы уже говорили о наслаждении: это всеобщая и неисчерпаемая тема здешних разговоров.

59. Я важно доказывал, что государь запретил нам наслаждения и что сама природа поставила мне границы. — Я ничего не знаю о твоём государе, — сказала она в ответ. — Но если создатель и двигатель всех существ так благ и мудр, как это утверждают, то неужели он вложил в нас столько приятных ощущений лишь для того, чтобы терзать нас? Говорят, он ничего не делает без цели; в чем же цель потребностей и связанных с ними желаний, как не в их удовлетворении?

60. Я ответил, хотя и не очень решительно, что государь мог окружить нас этими обольщениями для того, чтобы мы их побороли и заслужили себе этим награду. — Положи на одну чашку весов, — возразила она, — настоящее, которым я наслаждаюсь, а на другую сомнительное будущее, которое ты сулишь мне, и реши сам, что перевесит. — Я колебался, и она заметила это. — Как! — продолжала она, — ты мне советуешь быть несчастной в ожидании счастья, которое, может быть, никогда не наступит. И если бы еще законы, которым я, по-твоему, должна принести себя в жертву, были продиктованы разумом! Но нет — это причудливая смесь нелепостей, единственная цель которых, повидимому, в том, чтобы идти наперекор всем моим влечениям и поставить моего творца в противоречие с самим собой... Меня соединяют, меня навсегда связывают с одним единственным человеком, — продолжала она после некоторого перерыва. — Я делаю все, чтобы довести его до отчаяния, но что толку? Он признает свою несостоятельность, но не отказывается от своих притязаний. Он не отрицает своего поражения, но не хочет и слышать о помощи, которая могла бы обеспечить ему победу. Что он делает, когда его силы приходят к концу? Он вы-

двигает против меня предрассудок, а мне нужен совсем другой неприятель...—Тут она остановилась и устремила на меня страстный взгляд; я подал ей руку и провел ее в зеленую беседку, где заставил ее убедиться, что ее доводы еще гораздо лучше, чем она сама воображала.

61. Мы считали себя вполне укрытыми от посторонних взоров, как вдруг заметили сквозь листву нескольких строгих женщин в сопровождении двух или трех вожатых, которые пристально рассматривали нас. Моя красавица покраснела.—Чего вы боитесь?—шепнул я ей.—Эти святые женщины подчиняют предрассудки своим влечениям точно так же, как и вы, и при виде вашего счастья они испытывают в глубине души не столько негодование, сколько зависть. Я не ручаюсь, однако, что они не попытаются насолить людям, которые не глупее их. Но мы пригрозим, что сорвем маски с их спутников, и тогда уже, поверьте мне, они будут молчать.—Сефиза одобрила мою мысль и улыбнулась; я поцеловал ей руку, и мы расстались,—она полетела навстречу новым наслаждениям, а я отправился мечтать и думать в тени наших деревьев.



**ПИСЬМО О СЛЕПЫХ В НАЗИДАНИЕ ЗРЯЧИМ.  
ПРИБАВЛЕНИЕ К ПИСЬМУ О СЛЕПЫХ.  
ПИСЬМО ВОЛЬТЕРУ.**



## Письмо о слепых в назидание зрячим

Possunt, nec posse videntur\*.

Я догадывался, сударыня<sup>1</sup>, что слепорожденный, у которого г. Реомюр<sup>2</sup> недавно снял катаракт, не даст нам того, что вы хотели знать; но мне не приходило в голову, что это не будет ни по его вине, ни по вашей. Я обращался к его благодетелю лично, через своих лучших друзей, я прибег к такому средству, как комплименты, но мы ничего не добились, и первая повязка будет снята без вас. Самые знатные особы имели честь получить тот же отказ, что и философы. Одним словом, он пожелал посвятить в дело только несколько ничего не говорящих глаз. Если вы захотите узнать, почему этот искусный академик производит в такой тайне опыты, для которых, по вашему мнению, никогда не может быть слишком много просвещенных свидетелей, то я вам отвечу, что наблюдения столь знаменитого человека нуждаются не столько в зрителях, когда они делаются, сколько в слушателях, когда они уже сделаны. Поэтому, сударыня, я вернулся к своему первоначальному намерению и, вынужденный

\* Могут, лишь кажется, что не могут (Вергилий, *Энеида*, V, 231).

отказаться от опыта, который не мог послужить ни для моего поучения, ни для вашего, но из которого, несомненно, г. Реомюр извлечет гораздо более ценные выводы, я стал философствовать вместе со своими друзьями по поводу вопроса, являющегося центром этого опыта. Как был бы я счастлив, если бы рассказ об одной какой-нибудь из наших бесед мог заменить в ваших глазах зрелище, которое я слишком легкомысленно обещал вам!

В тот самый день, когда немец<sup>3</sup> снимал катаракт на глазу у дочери Симоно, мы отправились навестить слепорожденного из Пюизо. Это—неглупый человек, которого многие знают, который знаком немного с химией и который прослушал с некоторым успехом курс ботаники в Королевском саду. Его отец преподавал с большим успехом философию в Парижском университете. Он обладал порядочным состоянием, при помощи которого мог бы легко удовлетворить потребности сохранившихся у него в целом виде органов чувств; но в молодости он увлекся жаждой наслаждений; окружающие использовали во зло его склонности; дела его пришли в расстройство, и он удалился в маленький провинциальный городок, откуда он ежегодно наезжает в Париж. Он привозит сюда ликеры собственной дистиллировки, которыми здесь очень довольны. Все это, сударыня,—обстоятельства, довольно далекие от философии, но в силу именно этого они должны внушить вам мысль, что особа, о которой я вам говорю, не выдумана.

Мы прибыли к нашему слепому около пяти часов вечера и застали его за тем, как он учил своего сына читать выпуклые буквы. Он встал лишь час тому назад, ибо вы должны знать, что его день начинается тогда, когда он кончается для нас. Он привык заниматься своими домашними делами и работать в то время, когда другие отдыхают. В полночь ничто его не стесняет, и он никому не мешает. Первым делом он приводит в порядок все то, что было за день перемещено, и когда его жена просыпается, она находит обыкновенно, что в доме все в

порядке. Благодаря тому, что слепым трудно отыскивать затерявшиеся вещи, они являются друзьями порядка, и я заметил, что их близкие обладают тем же качеством, под влиянием ли их хорошего примера, или же под влиянием испытываемого к ним чувства сострадания. Как несчастны были бы слепые без мелких проявлений внимательности со стороны окружающих их! Как несчастны были бы в этом случае даже мы сами. Большие услуги—это словно крупные золотые или серебряные монеты, которые приходится редко употреблять. Но мелкие проявления внимательности—это разменная монета, которой пользуешься всегда.

Наш слепой отлично разбирается в вопросах симметрии. Симметрия, которая является, может быть, условным соглашением между нами, наверно такова во многих отношениях между слепым и зрячим. Слепой, изучая при помощи осязания расположение частей того целого, которое мы называем красивым, приучается правильно применять этот термин. Однако когда он говорит: *это красиво*, то он не высказывает своего суждения, а только передает суждение зрячих; но что иное делают три четверти тех, которые высказывают свое мнение по поводу услышанной ими театральной пьесы или прочитанной ими книги? Для слепого красота, если она отделена от пользы, только голое слово; а так как у него одним органом чувств меньше, то польза скольких вещей недоступна ему! Разве не следует жалеть слепых за то, что они считают красивым лишь то, что хорошо? Сколько замечательных вещей потеряно для них! Одно только может вознаградить их за эту потерю, именно то, что, если у них не так полно развиты идеи о красоте, то зато идеи эти более отчетливы, чем у зрячих философов, весьма подробно трактовавших о ней.

Наш слепой говорит каждую минуту о зеркале. Вы, конечно, понимаете, что он не знает, собственно, что значит слово зеркало; однако он никогда не поставит зеркала против света. Он рассуждает так же здраво, как и мы, о достоинствах и недостатках отсутствующего у

него органа чувств. Если он не связывает никакого представления с употребляемыми им словами, то, по крайней мере, он отличается выгодно от большинства людей тем, что никогда не произносит их некстати. Он рассуждает так здраво и правильно о массе абсолютно незнакомых ему вещей, что общение с ним отнимает много силы у обычного для всех нас бессознательного умозаключения от того, что происходит в нас, к тому, что происходит в других.

Я спросил у него, что он понимает под словом зеркало. «Это—прибор,—ответил он мне,—который придает выпуклость вещам вдали от них самих, если они расположены подходящим образом по отношению к этому прибору. Это—как моя рука: нет вовсе необходимости, чтобы я положил ее рядом с каким-нибудь предметом, чтобы почувствовать его». Если бы Декарт был слепым от рождения, то он должен был бы, кажется мне, гордиться подобным определением<sup>4</sup>. Действительно, присмотритесь, пожалуйста, к тому, с какой тонкостью надо было комбинировать некоторые идеи, чтобы получить это определение. Наш слепой знаком с предметами лишь благодаря осязанию. Со слов других людей он знает, что при помощи зрения можно знать предметы так, как он их знает при помощи осязания,—по крайней мере, только такое представление о зрении он может себе составить. Он знает, далее, что нельзя видеть своего собственного лица, хотя его можно осязать. Отсюда он должен заключить, что зрение, это—особый вид осязания, простирающегося только на предметы, отличные от нашего лица и удаленные от нас. Кроме того, осязание дает ему представление только о выпуклом. Следовательно, умозаключает он, зеркало, это—приспособление, делающее нас выпуклыми вне нас самих. Сколько есть знаменитых философов, обнаруживавших гораздо меньше логической тонкости и пришедших к столь же ложным взглядам! Но сколь поразительно должно быть зеркало для нашего слепого! Как должно было возрасти его изумление, когда мы ему сообщили, что существуют приборы, увеличивающие предметы, что

# LETTRE

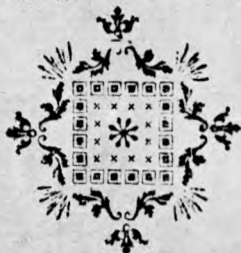
SUR

## LES AVEUGLES,

A. L'USAGE

### DE CEUX QUI VOYENT.

*Possunt, nec posse videntur.*  
Virg.



A LONDRES.

---

---

M. DCC. XLIX.

Титульный лист первого издания «Lettre sur les aveugles» 1749 г.





существуют другие приборы, которые, не удваивая предметов, перемещают их, приближают, удаляют, дают видеть их, раскрывая перед глазами натуралистов мельчайшие части их, что есть такие приборы, которые увеличивают их тысячекратно, что есть, наконец, такие, которые как будто совершенно искажают их! Он нам задал десятки странных вопросов по поводу этих явлений. Он нас спросил, например, только ли те люди, которых называют натуралистами, способны видеть при помощи микроскопа, только ли астрономы способны видеть при помощи телескопа; больше ли прибор, который увеличивает предметы, чем прибор, который уменьшает их; короче ли прибор, который приближает их, чем тот, который удаляет их; и, не понимая того, почему другое я, которое, согласно ему, зеркало повторяет выпуклым образом, ускользает от чувства осязания, он сказал: «Вот два чувства, которые небольшой прибор заставляет противоречить друг другу; более совершенный прибор, может быть, установил бы согласие между ними, хотя предметы и не стали бы от этого более реальными; а, может быть, третий, еще более совершенный и менее вероломный прибор заставил бы их исчезнуть и предупредил бы нас о нашей ошибке».

— А что такое, по вашему мнению, глаза?—спросил его господин де...—«Это,—ответил ему слепой,—орган, на который воздух производит такое же действие, какое моя палка оказывает на мою руку». Этот ответ поразил нас, и в то время, как мы глядели друг на друга с изумлением, он продолжал: «Это настолько верно, что, если я помещу свою руку между вашими глазами и каким-нибудь предметом, то моя рука будет существовать для вас, а предмет не будет существовать. Со мной происходит то же самое, когда я ищу своей палкой какую-нибудь вещь, а вместо нее встречаю другую».

Сударыня, откройте *Диоптрику*<sup>5</sup> Декарта, и вы увидите, что в ней явления зрения подводятся под явления осязания, вы там найдете таблицы по оптике, на которых изображены люди, старающиеся видеть при по-

мощи палок. Декарт и его пресмнники не сумели дать нам более ясного представления о зрении; и все преимущества этого великого философа перед нашим слепым сводились к обыкновенному преимуществу зрячих людей.

Никому из нас не пришло в голову расспросить его о живописи и письме. Но, очевидно, нет такого вопроса, на который он не сумел бы удовлетворительно ответить при помощи своих сравнений. Я несколько не сомневаюсь в том, что он ответил бы нам, что пытаться читать или видеть без глаз, это—все равно, что искать булавку при помощи толстой палки. Мы рассказали ему только о того рода перспективе, которая придает рельефность предметам и у которой одновременно столько сходного и несходного с нашими зеркалами; и мы заметили, что это столько же содействовало, сколько и мешало, составленному им себе представлению о зеркале и что он готов был думать, что так как зеркало рисует предметы, то живописец, чтобы изобразить их, рисует, может быть, зеркало.

Мы увидели, что он умеет вдевать нитки в очень маленькие иголки. Нельзя ли, сударыня, попросить вас прекратить здесь на время чтение письма и попытаться подумать, как бы вы поступили на его месте? Предполагая, на всякий случай, что вы не найдете никакого подходящего способа, я сообщу вам, к какому приему прибегает для этого наш слепой. Он берет иголку и кладет ее между своими губами, поперек их, с ушком внутрь рта; затем при помощи языка, действием всасывания, он привлекает нитку, которая следует за его дыханием, если она только не слишком толста для игольного ушка; но в этом случае и зрячий человек находится не в лучшем положении, чем человек, лишенный зрения.

У него в изумительной степени развита память на звуки; лица не представляют для нас большего разнообразия, чем звуки для него. Он находит в звуках бесконечное множество тонких оттенков, ускользающих от нас, потому что наблюдение их не представляет для нас такого же интереса, как для него. О значении этих звуковых оттенков для нас можно сказать то же самое, что

о нашем собственном лице. Из всех виденных нами людей мы хуже всего, может быть, помним самих себя. Мы изучаем лица лишь для того, чтобы узнавать людей, и если у нас не остается в памяти наше лицо, то потому, что мы никогда не подвергаемся опасности принять себя за кого-нибудь другого, ни другого за себя. Кроме того, помощь, которую оказывают друг другу наши чувства, мешают им совершенствоваться. Это не единственный раз, что я обращаю внимание на это.

Наш слепой сказал нам по этому поводу, что, не имея наших преимуществ, он считал бы себя очень достойным сожаления и готов был бы признавать нас за высшие существа, если бы он сотни раз не убеждался в том, что в других отношениях мы сильно уступаем ему. Это размышление натолкнуло нас на другую мысль. Этот слепой, сказали мы, ставит себя не ниже, а может быть, и выше всех нас, зрячих; почему же животное,—если оно способно рассуждать, что несомненно,—взвешивая свои преимущества перед человеком, которые ему лучше известны, чем преимущества человека перед ним, не могло бы придерживаться подобного же мнения? Человек обладает руками,—скажет, может быть, муха,—но я обладаю крыльями. Если у него есть оружие,—скажет лев,—то разве у нас нет когтей? Слон станет смотреть на нас, как на насекомых, а все животные, охотно уступая нам разум, при наличии которого мы все же сильно пуждались бы в их инстинкте, стали бы хвалиться своим инстинктом, благодаря которому они отлично обходятся без нашего разума. У нас такая непреодолимая склонность переоценивать свои достоинства и не дооценивать свои недостатки, что можно подумать, будто человек должен писать трактаты о силе, а животное—о разуме.

Кто-то из нас спросил нашего слепого, был ли бы он доволен, если бы имел глаза. «Если бы меня не одолевало любопытство, то я предпочел бы иметь длинные руки; мне кажется, что мои руки рассказали бы мне лучше то, что происходит на луне, чем ваши глаза и ваши телескопы; кроме того, глаза скорее перестают видеть,

чем руки осязать. Поэтому лучше было бы усовершенствовать у меня тот орган, который я имею, чем награждать меня недостающим мне органом».

Наш слепой так правильно реагирует на шум или на голос, что я не сомневаюсь, что упражнение в этом может сделать слепых очень ловкими и очень опасными. И расскажу вам по этому поводу один эпизод с нашим слепым, который убедит вас, что было бы довольно неблагоразумно ожидать от них удара камнем или подставлять свою грудь под их пистолетный выстрел, если бы они только научились пользоваться этим оружием. В молодости у него была стычка с одним из его братьев, окончившаяся довольно плачевно для последнего. Разозлившись на него из-за каких-то неприятных замечаний, он схватил первый попавшийся ему под руку предмет, бросил его в брата, попал ему в лоб, и тот упал.

После этой истории и нескольких других таких же его привлекли к суду полиции. Внешние признаки власти, оказывающие такое действие на нас, несколько не imponируют слепым. Наш слепой явился к полицейскому чиновнику, как к равному себе. Угрозы не напугали его. «Что можете вы сделать со мной?» сказал он г. Эро.— Я брошу вас в тюремный карцер,—ответил ему чиновник. «О, сударь,—возразил ему слепой,—вот уж двадцать пять лет, как я сижу в нем». Что за изумительный ответ, сударыня, и что за благородный текст для человека, любящего так морализировать, как я! Мы покидаем жизнь, как волшебное зрелище, слепой покидает ее, как темницу; если мы имеем в жизни больше наслаждений, чем он, то, согласитесь, что он умирает с гораздо меньшими сожалениями.

Слепой из Пюизо судит о близости огня по степени теплоты; о наполненности сосудов—по звуку, который издают при падении переливаемые им жидкости; о соседстве тел—по действию воздуха на его лицо. Он так чувствителен к малейшим переменам в атмосфере, что способен отличать улицу от тупика. Он удивительно точно определяет вес тел и емкость сосудов, и он сделал себе

из своих рук столь точные весы, а из своих пальцев столь хорошие циркули, что там, где можно применить этого рода механику, я всегда готов держать пари за нашего слепого против двадцати зрячих. Поверхность тел представляет для него не меньше оттенков, чем звук голоса, и нечего опасаться, что он примет чужую женщину за свою жену, разве только если он выиграет при обмене. Весьма вероятно, что у народа, состоящего из слепых, женщины были бы в общем владении или же их законы против прелюбодеяния были бы очень суровыми. Женщинам было бы у них так легко обмануть своих мужей, условившись каким-нибудь знаком со своими любовниками!

Наш слепой судит о красоте при помощи осязания. Это понятно. Но не так легко понять то, что в это суждение о красоте он вводит произношение и звук голоса. Дело анатомов объяснить нам, существует ли какая-нибудь связь между частями рта и неба и внешней формой лица. Он делает мелкие токарные и швейные работы; он выверяет ровность поверхности при помощи наугольника; он собирает и разбирает несложные механизмы; он достаточно знаком с музыкой, чтобы сыграть какой-нибудь отрывок, если назвать ему соответствующие ноты и их длительность. Он определяет гораздо точнее, чем мы, продолжительность времени, пользуясь сменой действий и мыслей. Он очень ценит у других людей красоту кожи, полноту и твердость тела, хорошее сложение, нежность дыхания, прелесть голоса и произношения.

Он женился, чтобы иметь свои собственные глаза. Первоначально у него был план соединиться с одним глухим, чтобы, взамен своих ушей, получить его глаза. Ничто меня не удивило так, как его замечательная способность делать множество разных вещей; а когда мы выразили ему свое удивление, то он сказал: «Я замечаю, господа, что вы не слепые; вы удивляетесь тому, что я делаю; почему же вы не поражаетесь также тому, что я говорю?» В этом ответе, по моему мнению, заключается больше философии, чем он сам это думал. Поразительна легкость, с которой мы научаемся говорить. Мы приучаемся свя-

зывать известные идеи с множеством терминов, которые не могут быть представлены чувственными предметами и которые, так сказать, не имеют тела, лишь благодаря ряду тонких и глубоких комбинаций из аналогий, замечаемых нами между этими нечувственными предметами и вызываемыми ими идеями: отсюда, следовательно, нужно умозаключить, что слепорожденному труднее научиться говорить, чем зрячим людям, потому что число нечувственных объектов для него гораздо больше, чем для нас, а поле сравнения и комбинирования у него меньше. Например, как может зафиксироваться в его памяти слово «физиономия»? Это—особого рода внешняя привлекательность, заключающаяся в столь мало доступных для слепого предметах, столь мало заметных чертах, что в силу их малой заметности даже для нас, зрячих, нам очень трудно было бы сказать с точностью, что, собственно, значит обладать физиономией. Если физиономия заключается, главным образом, в глазах, то осязание тут ничем не может помочь; и, далее, что могут означать для слепого выражения вроде: мертвые глаза, живые глаза, глаза, блестящие остроумием, и т. д.

Я вывожу отсюда, что мы, несомненно, получаем огромные услуги от сотрудничества наших чувств и наших органов. Но гораздо лучше было бы, если бы мы пользовались ими отдельно и не прибегали никогда к помощи двух из них, когда достаточно работы одного. Прибавлять осязание к зрению, когда достаточно воспользоваться своими глазами, это все равно, что запрягать рядом с двумя и без того уже очень резвыми лошадьми, третью упряжную лошадь, которая тянет в одну сторону, в то время как две другие лошади тянут в другую сторону.

Так как я никогда не сомневался в том, что состояние наших органов и наших чувств оказывает большое влияние на нашу метафизику и нашу нравственность и что наши интеллектуальнейшие, если я смею так выразиться, идеи тесно связаны с организацией нашего тела, то я стал расспрашивать нашего слепого о пороках и добродетелях. Я заметил сначала, что он питает страш-

ное отвращение к воровству; это отвращение имело у него два источника: во-первых, легкость, с которой можно было незаметно для него обокрасть его; во-вторых,—и это, может быть, важнее,—легкость, с которой можно было заметить, что он сам крадет. Это не значит, что он не умеет отлично беречься от того органа чувств, который является нашим преимуществом перед ним, и что он не знает, как скрыть следы воровства. Он не обращает большого внимания на стыдливость. Если бы не неблагоприятные атмосферические влияния, от которых его предохраняет одежда, то он не понимал бы цели ее; и он открыто сознается, что не понимает, почему одну часть тела прикрывают скорее, чем другую, и еще менее понимает странное предпочтение, оказываемое некоторым из этих частей, которые нужно было бы держать открытыми ввиду способа их функционирования и ввиду недомоганий, которым они подвержены. Хотя мы живем в эпоху, когда философский дух освободил нас от массы предрассудков, я все же сомневаюсь, чтобы мы когда-нибудь дошли до такой степени игнорирования требований стыдливости, как мой слепой. Диоген не был бы для него философом<sup>6</sup>.

Так как из всех внешних выражений чувств, вызываемых в нас состраданием и мыслью о боли, на слепых действует только жалоба, то я предполагаю, что вообще они бессердечны. Какое существует для слепого различие между человеком, который мочится, и человеком, который, не издавая жалобы, проливает свою кровь? А разве сами мы не перестаем испытывать сострадание, когда значительное расстояние или крохотность предметов производит на нас то же самое действие, что отсутствие зрения у слепых? Вот доказательство того, что наши добродетели зависят от нашего способа ощущать и от того, с какой силой действуют на нас внешние предметы! Поэтому я не сомневаюсь, что, не будь страха наказания, многие люди способны были бы так же легко убить человека на таком расстоянии, где он казался бы им величиной с ласточку, как заколоть собственноручно быка. И не тем же ли

принципом руководствуемся мы, когда испытываем сострадание к мучающейся лошади и свободно, без всяких угрызений совести, раздавливаем муравья? Ах, сударыня, как отличается нравственность слепых от нашей нравственности! Как должна бы отличаться нравственность глухого от нравственности слепого и сколь несовершенной—чтобы не сказать худшего—показалась бы наша нравственность существу, обладающему лишним, по сравнению с нами, чувством!

Наша метафизика не лучше согласуется с их метафизикой. Сколько имеется у них принципов, которые являются нелепостями для нас, и наоборот! Я мог бы пуститься здесь в некоторые подробности, которые, несомненно, позабавили бы вас, по из-за которых иные люди, видящие повсюду преступления, не преминули бы обвинить меня в безбожии, точно от меня зависит заставить слепых видеть вещи иначе, чем они их видят. Я ограничусь одним наблюдением, с которым, я думаю, всякий согласится,—именно, что знаменитое доказательство от чудес природы является весьма слабым в глазах слепых<sup>7</sup>. Наша способность творить, так сказать, новые предметы при помощи небольшого зеркала представляется им чем-то гораздо более загадочным, чем небесные светила, которых они обречены никогда не видеть. Этот пылающий шар, который движется с востока на запад, поражает их меньше, чем пламя очага, которое они могут увеличивать или уменьшать. Так как они смотрят на материю гораздо более абстрактно, чем мы, то им легче допустить, что она мыслит.

Если бы какой-нибудь человек, обладавший зрением лишь в течение дня или двух дней, очутился среди народа, состоящего из слепых, он должен был бы молчать, чтобы не прослыть сумасшедшим. Он ежедневно возвещал бы им какое-нибудь новое чудо,—чудо, которое было бы таковым только для них и в которое их вольнодумцы отказывались бы верить. Не могли ли бы защитники религии почерпать в свою пользу доводы из столь упорного, столь справедливого в известных отношениях



и, однако, столь мало обоснованного неверия? Если вы примете на минутку это допущение, то оно должно будет вам напомнить—в другом виде—историю с преследованием людей, имевших несчастье открыть истину в эпохи мрачного невежества и неблагоприятно сообщивших ее своим слепым современникам, среди которых у них не было более ожесточенных врагов, чем те, кто, по своему состоянию и воспитанию, должны были, как будто, быть ближе всего к их взглядам.

Я оставлю теперь в стороне мораль и метафизику слепых и перейду к вопросам менее важным, но более близким к задаче наблюдений, производимых здесь со всех сторон со времени прибытия пруссака. Первый вопрос. Каким образом слепорожденный образует представление о фигурах? Я думаю, что понятие о направлении ему дают движения его тела, последовательное пребывание его руки в разных местах, непрекращающееся ощущение тела, перебираемого его пальцами. Если он проводит своими пальцами вдоль хорошо натянутой нити, то он получает представление о прямой линии; если он следует за изгибами слабо натянутой нити, то он получает представление о кривой линии. А вообще, благодаря повторным опытам осязания, он имеет воспоминание об ощущениях, испытанных им в разных точках; от него зависит комбинировать эти ощущения или точки и образовывать из них фигуры. Прямая линия для слепого, не являющегося геометром, не что иное, как воспоминание последовательности ощущений осязания, помещенных в направлении натянутой нити; кривая линия—воспоминание последовательности ощущений осязания, отнесенных к поверхности какого-нибудь выпуклого или вогнутого твердого тела. Тщательное изучение свойств этих линий вносит у геометра коррективы в понятие о них. Но слепорожденный, будет ли он геометром или нет, относит все к концам своих пальцев. Мы комбинируем расцветченные точки; он же комбинирует только осязаемые точки, или, выражаясь более точно, лишь ощущения осязания, сохранившиеся в его памяти. В его голове не происходит

ничего, подобного тому, что происходит в нашей голове: его воображение не работает, ибо для того, чтобы вообразить, надо расцветить некий фон и выделить на этом фоне точки, предполагая у них цвет, отличный от цвета фона. Придайте этим точкам тот же цвет, что и фону, и они немедленно сольются с ним, и фигура исчезнет; по крайней мере, так происходит дело в моем воображении, и я предполагал, что у других лиц работа воображения совершается таким же образом. Поэтому, когда я желаю увидеть мысленно, в своей голове, прямую линию, не руководствуясь ее свойствами, то я начинаю с того, что увешиваю голову изнутри белым полотном, на котором я выделяю ряд черных точек, расположенных в одном и том же направлении. Чем более контрастируют между собой цвета фона и точек, тем раздельнее и отчетливее я замечаю точки; и для меня не менее утомительно рассматривать в своем воображении фигуру, обладающую цветом, очень близким к цвету фона, чем рассматривать такую же фигуру вне себя, на полотне.

Итак, вы видите, сударыня, что можно было бы указать законы, чтобы легко воображать себе зараз несколько различно расцветченных предметов. Но эти законы, несомненно, не годились бы для слепорожденного. Так как слепорожденный не может расцветчивать и, следовательно, не может составлять фигур в нашем смысле слова, то он обладает лишь памятью об ощущениях осязания, которые он относит к различным точкам, местам или расстояниям и из которых он составляет фигуры. Тот факт, что нельзя составлять фигур в воображении, не расцветчивая их, настолько постоянен, что если бы нам дали в темноте прикоснуться к маленьким шарикам, вещества и цвета которых мы бы не знали, то мы немедленно предположили бы их белыми, или черными, или какого-нибудь иного цвета; а если бы мы не представили себе никакого цвета, то, подобно слепорожденному, мы имели бы лишь воспоминание о незначительных ощущениях, вызванных в конце пальцев и такого рода, какие могут вызывать только небольшие круглые тела. Если эта память очень мимо-

летна у нас, если мы не имеем представления о том, каким образом слепорожденные вспоминают, фиксируют и комбинируют ощущения осязания, то это—в силу нашей зрительной привычки составлять все в своем воображении при помощи цветов. Но мне лично, однако, приходилось в припадке волнения от сильной страсти испытывать трепетание во всей руке, чувствовать впечатление от тел, которых я касался уже давно, и испытывать это с такой же яркостью, как если бы я прикасался к ним в данный момент, причем я отчетливо замечал, что границы ощущения в точности совпадали с границами этих отсутствующих тел. Хотя ощущение само по себе неделимо, оно занимает, если можно так выразиться, известное пространство, размеры которого слепорожденный способен мысленно увеличивать или уменьшать, увеличивая или уменьшая задетую часть. Этим способом он составляет точки, поверхности, объемы; он способен был бы даже получить объем величиной с земной шар, если бы предположил, что конец его пальца—величиной с землю и занят ощущением в длину, ширину и глубину.

Я не знаю ничего, доказывающего лучше реальность внутреннего чувства, чем эта—слабая у нас, но сильная у слепорожденных—способность чувствовать или вспоминать ощущения тел даже тогда, когда они отсутствуют и не действуют больше на них. Мы не можем объяснить слепорожденному, как это воображение рисует нам отсутствующие предметы так, словно они присутствуют, но мы можем отлично убедиться в наличии у себя собственной слепорожденному способности чувствовать на конце пальца отсутствующее тело. Чтобы добиться этого, прижмите свой указательный палец к большому пальцу; закройте глаза; отделите пальцы друг от друга, рассмотрите немедленно после этого отделения то, что происходит в вас, и скажите мне, не длится ли ощущение долго спустя после того, как прекратилось сжимание пальцев, не кажется ли вам, что во время сжимания ваша душа скорее в концах ваших пальцев, чем в голове,

и не дает ли вам это сжатое понятие о поверхности благодаря пространству, которое занимает ощущение. Мы отличаем наличие вещей вне нас от их представления в нашем воображении лишь благодаря силе и слабости впечатления; аналогичным образом слепорожденный отличает ощущение от реального присутствия какого-нибудь предмета на конце пальца лишь благодаря силе или слабости самого ощущения.

Если когда-нибудь какой-нибудь слепой и глухой от рождения философ создаст, в подражание Декарту, человека, то, осмеливаясь вас уверить, сударыня, что он поместит душу его в конце пальцев, ибо оттуда получают все его главные ощущения и все его познания<sup>8</sup>. Кто, действительно, мог бы ему сообщить, что его голова есть седалище его мыслей? Если работа воображения утомляет нашу голову, то потому, что усилие, производимое нами при этом, весьма похоже на усилие, делаемое нами, чтобы заметить очень близкие или очень маленькие предметы. Но этого нельзя сказать о слепом и глухом от рождения человеке; для него формой для всех образуемых им представлений являются ощущения осязания, и я не был бы удивлен, если бы после глубокого размышления он почувствовал такую усталость в пальцах, какую мы испытываем в голове. Я не опасаюсь доводов, которые мог бы противопоставить ему философ, указав, что нервы являются причиной наших ощущений и что все эти нервы исходят из мозга: если бы даже оба эти положения были окончательно доказаны, — чего совершенно нельзя сказать, в особенности о первом, — то ему, чтобы остаться при своем мнении, достаточно было бы попросить рассказать ему все то, что думали об этом физики.

Но если воображение слепого есть не что иное, как способность вспоминать и комбинировать ощущения осязаемых точек, а воображение зрячего человека — способность вспоминать и комбинировать видимые и расцветочные точки, то отсюда следует, что слепорожденный замечает вещи гораздо более абстрактным образом, чем мы, и что

в чисто спекулятивных вопросах он, может быть, меньше способен ошибиться, чем мы, ибо абстракция состоит лишь в том, чтобы отделять в мысли чувственные качества тел или друг от друга, или от самого того тела, которое служит им основой; заблуждение получается, либо если это отделение сделано плохо, либо если оно сделано некстати: сделано плохо в метафизических вопросах, а сделано некстати в вопросах физико-математических. Есть почти безошибочное средство заблудиться в метафизике— это не упрощать достаточным образом предметов, которыми занимаешься. Столь же непогрешим секрет, как получить неудовлетворительные результаты в физико-математике: это—предположить предметы менее сложными, чем они являются в действительности.

Существует особый вид абстракции, к которому способны столь немногие люди, что кажется, будто она является уделом только чистого интеллекта; это тот вид абстракции, в котором все должно сводиться к численным единицам. Надо признаться, что результаты такого рода математики были бы очень точны и формулы ее очень общи, ибо ни в природе, ни в мире возможного нет таких предметов,—точек, линий, объемов, мыслей, представлений, ощущений,—которых эти простые единицы не могли бы представить, и... если бы ненароком в этом именно заключалась сущность учения Пифагора<sup>9</sup>, то можно было бы сказать о нем, что он потерпел неудачу<sup>1</sup> в своем замысле потому, что этот способ философствования слишком возвышен для нас, слишком приближается к способу мышления верховного существа, которое, по остроумному выражению одного английского геометра<sup>10</sup>, всегда занимается во вселенной *геометрией*.

Чистая и простая единица—это для нас слишком неопределенный и общий символ. Наши чувства требуют от нас знаков, более соответствующих объему нашего интеллекта и строению наших органов. Мы даже устроили так, что эти знаки могут быть общими для нас и что они служат, так сказать, складом для взаимного обмена мыслями. Мы создали подобные знаки для глаз: это—буквы;

для ушей: это—членораздельные звуки; но мы не создали никаких знаков для осязания, хотя существует свой особый способ обращаться к этому чувству и получать от него ответы. Вследствие отсутствия такого рода языка нет совершенно никакого сообщения между нами и теми, кто рождаются слепыми, немыми и глухими. Они растут, но остаются в состоянии умственной отсталости. Может быть, они могли бы приобрести известные представления, если бы, начиная с детства, можно было объясняться с ними неизменным, определенным, постоянным и однообразным способом, если бы, одним словом, на руке у них чертили те же самые буквы, какие мы чертим на бумаге, причем значение их оставалось бы всегда одинаковым.

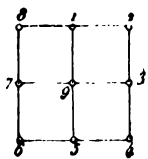
Не кажется ли вам, сударыня, этот язык столь же удобным, как и всякий другой? Не существует ли он даже в готовом виде? Решились ли бы вы утверждать, что с вами никогда не объяснялись этим способом? Поэтому остается только фиксировать этот язык и составить его грамматику и словарь, раз способ выражения при помощи нашего обыкновенного алфавита не годится для чувства осязания.

Существуют три двери, через которые познания входят в нашу душу, и одна из них забаррикадирована из-за отсутствия знаков. Если бы мы пренебрегли двумя другими, то очутились бы в положении животных. Подобно тому, как мы обладаем лишь пожатием, чтобы обращаться к чувству осязания, мы имели бы в этом случае только крик, чтобы говорить уху. Сударыня, надо быть лишенным какого-нибудь органа чувств, чтобы понять выгоды символов, предназначенных для остающихся чувств, и люди, которые имели бы несчастье родиться глухими, слепыми и немыми или которые потеряли бы почему-нибудь эти три чувства, были бы в восторге, если бы существовал ясный и точный язык для осязания.

Гораздо проще пользоваться готовыми уже символами, чем изобретать их, как это приходится делать, когда не имеешь ничего перед собой в этом отношении. Как

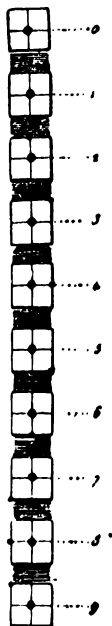
хорошо было бы для Саундерсона<sup>11</sup>, если бы пяти лет отроду он застал уже существующей арифметику осязания, вместо того, чтобы самому придумывать ее в двадцать пять лет! Этот Саундерсон, сударыня, тоже слепой, о котором вам будет небезынтересно кое-что услышать. О нем рассказывают всяческие чудеса, и, действительно, его успехи в изящной литературе и его искусство в математических науках делают все это правдоподобным.

Он пользовался одним и тем же прибором для алгебраических выкладок и для начертания прямолинейных фигур. Вы, разумеется, не будете недовольны, если вам объяснить функционирование этого прибора, лишь бы вы могли его понять. И вы увидите, что этот прибор не предполагает никаких особых, неизвестных вам знаний и что он сможет оказаться вам очень полезным, если вам когда-нибудь придет в голову производить длинные выкладки наощупь.



Фиг. 1.

Вообразите себе, что квадрат, как он нарисован на фиг. 1 и 2—разделен на четыре равные части прямыми, перпендикулярными к его сторонам, так что получается девять точек: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Предположите, что можно воткнуть



Фиг. 2.

двух сортов булавок одинаковой длины и толщины, но с головками, несколько различающимися по своей толщине.

Булавки с толстой головкой помещались всегда лишь в центре квадрата, а булавки с тонкой головкой всегда лишь на сторонах квадрата, за исключением случая с нулем. Ноль отмечался булавкой с толстой головкой, помещенной в центре маленького квадрата, причем на сторонах его не было совсем других булавок. Цифра 1 изображалась булавкой с тонкой головкой, помещенной в

центре квадрата, причем на сторонах его не было никакой другой булавки. Цифра 2—булавкой с толстой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с тонкой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 1. Цифра 3—булавкой с толстой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с тонкой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 2. Цифра 4—булавкой с толстой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с тонкой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 3. Цифра 5—булавкой с толстой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с тонкой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 4. Цифра 6—булавкой с толстой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с тонкой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 5. Цифра 7—булавкой с толстой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с тонкой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 6. Цифра 8—булавкой с толстой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с тонкой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 7. Цифра 9—булавкой с толстой головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с тонкой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 8.

Вот десять различных комбинаций для чувства осязания, каждая из которых соответствует одной из наших арифметических цифр. Теперь вообразите себе доску каких угодно размеров, разделенную на маленькие, размещенные горизонтально, квадраты, находящиеся друг от друга на одном и том же расстоянии,—как это изображено на фиг. 3,—и вы получите прибор Саундерсона.

Вы легко поймете, что нет такого числа, которого нельзя было бы написать на этой доске, и что, следовательно, нет такого арифметического действия, которого нельзя было бы произвести на ней.

Допустим, например, что надо найти сумму, что надо сложить следующие 9 чисел:





Глазная операция. С гравюры из «Recueil de planches sur les sciences et les arts», t. III, 1762



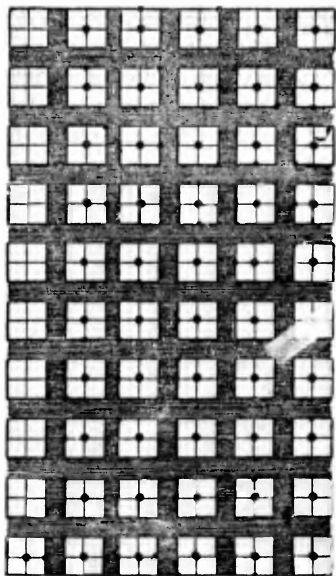
1	2	3	4	5
2	3	4	5	6
3	4	5	6	7
4	5	6	7	8
5	6	7	8	9
6	7	8	9	0
7	8	9	0	1
8	9	0	1	2
9	0	1	2	3

Я пишу эти числа на доске по мере того, как мне их называют: первую цифру слева первого числа я отмечаю на первом квадрате слева первой строки; вторую цифру слева первого числа—на втором квадрате слева той же строки и т. д.

Я помещаю второе число на второй строке квадратов, единицы под единицами, десятки под десятками и т. д.

Я помещаю третье число на третьей строке квадратов и т. д., как изображено на фиг. 3. Затем, пробегая пальцами каждый вертикальный столбец снизу вверх, начиная с самого первого, я складываю находящиеся здесь числа, и избыток над десятками я пишу внизу этого столбца; я перехожу затем ко второму столбцу, подвигаясь налево, и произвожу с ним ту же операцию; оттуда я перехожу к третьему столбцу и т. д., пока не закончу сложения.

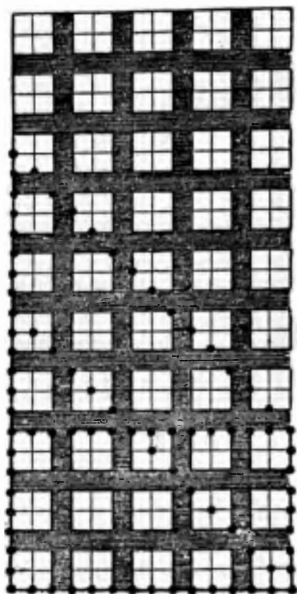
А вот каким образом он пользовался той же самой доской, чтобы доказывать свойства прямолинейных фигур. Предположим, что ему нужно было доказать, что параллелограммы с равными основаниями и равной высотой имеют одинаковую площадь. Для этого он размещал свои



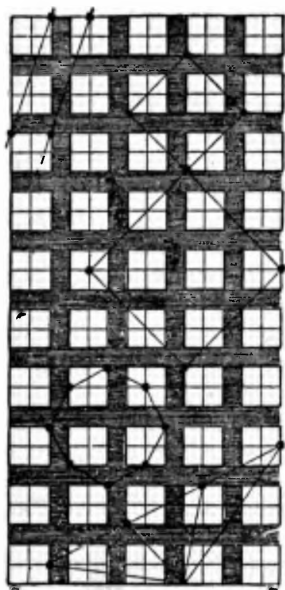
Фиг. 3.

булавки, как это изображено на фиг. 4. Он придавал особые названия угловым точкам и заканчивал доказательство при помощи своих пальцев.

Если бы Саундерсон употреблял для обозначения границ своих фигур только булавки с толстыми головками,



Фиг. 4.



Фиг. 5.

то он мог бы располагать вокруг них булавки с тонкими головками девятью различными способами, которые все были ему привычны. Затруднения начинались для него лишь тогда, когда слишком большое число угловых точек, которым он должен был давать названия при своем доказательстве, заставляло его прибегать к буквам алфавита. Нам неизвестно только, как он пользовался ими.

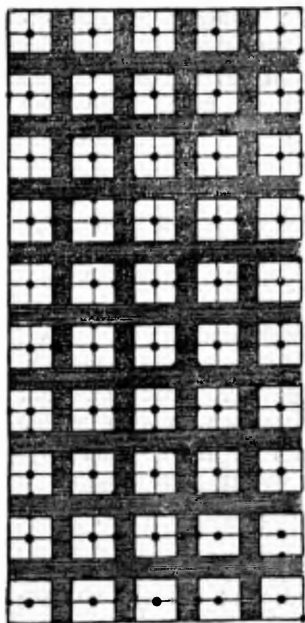
Мы знаем только, что он пробегал пальцами свою доску

с изумительной быстротой; что он с успехом предпринимал самые длинные выкладки; что он мог прерывать их и узнавать, когда он ошибался; что он без труда проверял их и что работа эта не требовала от него, благодаря удобному расположению доски, так много времени, как можно было бы предположить.

Это расположение доски заключалось в том, чтобы помещать булавки с толстой головкой в центре всех квадратов. После этого ему оставалось лишь определить значение, соответствующее какому-нибудь квадрату, при помощи булавок с тонкой головкой, за исключением случая единицы. В случае необходимости изобразить единицу он помещал в центре квадрата булавку с тонкой головкой на место находившейся в нем булавки с толстой головкой.

Иногда, вместо того, чтобы составлять целую линию из своих булавок, он ограничивался тем, что помещал булавки во все угловые точки или точки пересечения, а вокруг них закреплял шелковые нити, дававшие границы его фигур. См. фиг. 5.

Он изобрел несколько других приборов, облегчавших ему занятия геометрией. Неизвестно, как он ими пользовался, и, может быть, потребовалось бы больше остроумия, чтобы отыскать этот способ пользования ими, чем разрешить какую-нибудь проблему интегрального исчисления. Пусть какой-нибудь математик попытается объяснить нам, какое назначение имели у него четыре куска дерева в виде прямоугольных параллелепипедов, длиной каждый в одиннадцать дюймов, шириной в пять с половиной, а толщиной немного более полудюйма, у которых две противоположные большие поверхности были разделены на небольшие квадраты, подобные квадратам вышеописанной счетной доски, с той лишь разницей, что они имели отверстия только в нескольких местах, в которых были воткнуты до головки булавки. Каждая поверхность представляла девять небольших арифметических таблиц, из десяти чисел каждая, причем каждое из этих десяти чисел было составлено из десяти цифр. На фиг. 6 изображена одна из этих таблиц; а вот числа, которые она содержала:



Фиг. 6.

9	4	0	8	4
2	4	1	8	6
4	1	7	9	2
5	4	2	8	4
6	3	9	6	8
7	1	8	8	0
7	8	5	6	8
8	4	3	5	8
8	9	4	6	4
9	4	0	3	0

Он является автором замечательного в своем роде произведения. Это—*Элементы алгебры*<sup>12</sup>, где о том, что он был слепым, можно заметить лишь по особенностям некоторых доказательств, на которые, может быть, не натолкнулся бы зрячий человек. Ему принадлежит деление куба на шесть равных пирамид, имеющих свои вершины в центре куба, а основаниями—

гранями куба. При помощи этого деления можно очень просто доказать, что объем всякой пирамиды есть треть объема призмы с тем же основанием и той же высотой.

Любовь к математике побудила его заниматься ею, а отсутствие средств и советы друзей побудили его преподавать ее публично. Они не сомневались, что он будет иметь большой успех благодаря своему исключительному таланту преподавания. Действительно, Саундерсон говорил со своими учениками так, как если бы они были лишены зрения, но слепой, который выражается понятно для слепых, должен быть тем более понятным для зрячих, у которых имеется как бы добавочное орудие понимания.

Его биографы рассказывают, что он был мастер на удачные выражения, и это очень правдоподобно. Но,—

может быть, спросите вы меня,—что вы понимаете под удачными выражениями? Я вам отвечу на это, сударыня, что это выражения, которые имеют прямой смысл для какого-нибудь чувства, например, для осязания, представляя в то же время образный характер для другого чувства, например, для зрения. Отсюда получается двойное значение для того, к кому обращаются: прямое и истинное значение выражения и отраженное значение метафоры. Очевидно, что Саундерсон в этих случаях, несмотря на весь свой ум, понимал себя только наполовину, ибо ему была доступна лишь половина идей, связанных с терминами, которые он употреблял. Но кто из нас от времени до времени не находится в таком же самом положении? Это случается как с идиотами, которые отпускают замечательные шутки, так и с остроумнейшими людьми, у которых вырвется вдруг какая-нибудь глупость, причем ни те, ни другие не замечают сказанного.

Я наблюдал то же самое явление у иностранцев, не вполне еще знакомых с новым для них языком. Это вызывается недостатком в словах: они вынуждены говорить обо всем при помощи весьма незначительного количества терминов, благодаря чему они употребляют иногда некоторые из них очень удачно. Но так как вообще всякий язык беден для писателей с живым воображением, то они находятся в том же положении, что и обладающие большим остроумием иностранцы: придумываемые ими положения, замечаемые ими в характерах тонкие оттенки, наивность картин, которые они должны изображать, заставляют их каждый раз удаляться от обычного способа выражения и изобретать обороты речи, изумительные, если они не чрезмерно изысканы и не темны,—недостатки, которые им прощают с большим или меньшим трудом, в зависимости от собственного ума и собственного знания языка. Вот почему из всех французских авторов г. де М...<sup>13</sup> больше всего нравится англичанам, а из всех латинских авторов *мыслители* ценят выше всего Тацит<sup>14</sup>. От нас ускользают вольности языка, и остается только поражающая нас правдивость оборотов речи.

Саундерсон преподавал с огромным успехом математику в Кембриджском университете. Он читал лекции по оптике; он произносил речи о природе света и цветов; он объяснял теорию зрения; он рассуждал о действиях стекол; об явлениях радуги и о многих других вопросах, касающихся зрения и его органов.

Эти факты не покажутся вам столь удивительными, если, сударыня, вы обратите внимание на то, что во всяком смешанном физико-математическом вопросе надо различать три вещи: требующее объяснения явление, математические гипотезы и вытекающие из этих гипотез вычисления. Но ясно, что, каково бы ни было глубокомыслие слепого, явления света и цветов ему неизвестны. Он сможет понять математические гипотезы, потому что все они имеют отношение к осязательным причинам, но он никогда не уразумеет того, почему математик предпочел их другим допущениям, ибо для этого он должен был бы уметь сравнивать сами эти гипотезы с соответствующими явлениями. Таким образом, слепой принимает гипотезы за то, за что ему их выдают: луч света—за гибкую, тонкую нить или за ряд маленьких телец, поражающих с невероятной быстротой наши глаза, и он, в соответствии с этим, производит свои выкладки. Так совершается переход от физики к математике, и вопрос приобретает чисто математический характер.

Но что должны мы думать о результатах вычисления? 1) Что иногда крайне трудно добиться их и что тщетно станет физик придумывать гипотезы, вполне соответствующие природе, если он не в состоянии обработать их математическим образом,—и вот мы видим, что величайшие физики—Галилей, Декарт, Ньютон—были великими математиками; 2) что эти результаты более или менее надежны, в зависимости от большей или меньшей сложности исходных гипотез. Когда вычисление основывается на простой гипотезе, тогда выводы приобретают силу математических доказательств. Когда имеется множество допущений, то, с одной стороны, правдоподобие каждой гипотезы уменьшается пропорционально числу их, но, с



другой стороны, оно увеличивается в силу малой вероятности того, чтобы такая масса ложных гипотез могла в точности исправлять друг друга и чтобы из них можно было получить результат, подтверждаемый наблюдениями. Это было бы похоже на случай сложения, конечный итог которого был бы правильным, хотя частичные суммы отдельных чисел были бы все неверными. Нельзя отрицать того, что подобный случай возможен; но вы согласитесь в то же время, что он должен быть крайне редким. Чем больше чисел придется складывать, тем вероятнее возможность ошибиться в сложении каждого отдельного слагаемого; но точно так же тем меньше эта вероятность, если результат всего действия правилен. Существует, таким образом, такое количество гипотез, что вытекающая из него достоверность должна быть минимальной. Если я говорю, что  $A+B+C=50$ , то в праве ли я заключить на основании того, что пятьдесят выражает в действительности количественную сторону явления, будто допущения, изображенные буквами  $A, B, C$ , верны? Нисколько, ибо есть бесконечное множество способов уменьшить значение одной из этих букв и увеличить значения двух остальных, причем в результате получится всегда пятьдесят; но случай трех комбинированных гипотез, может быть, лишь один из маловероятнейших.

Я не должен забыть одного преимущества, представляемого вычислениями, именно возможности исключить ложные гипотезы, в случае противоречия между результатом и изучаемым явлением. Если физик захочет найти траекторию луча света в атмосфере, то он вынужден сделать некоторые предположения насчет плотности слоев воздуха, насчет закона преломления, насчет природы и фигуры световых телец и, может быть, насчет некоторых других существенных элементов, которых он не вводит в свои выкладки, потому ли, что он сознательно пренебрегает ими, или потому, что он их не знает. Он определяет затем траекторию луча. Если она оказывается иной, чем это вытекает из его вычислений, то, значит, его предположения неполны или ложны. Если же луч

движется по вычисленной траектории, то одно из двух: либо исходные предположения взаимно компенсировали друг друга, либо они точны. Но какое из этих двух допущений истинно, этого физик не знает; однако такова вся та мера достоверности, которой он может достигнуть.

Я пробежал *Элементы алгебры* Саундерсона, надеясь найти в них то, что я желал узнать от близких ему лиц, сообщивших нам некоторые подробности его жизни. Но мои ожидания были обмануты, и я пришел к выводу, что, если бы он написал работу об элементах геометрии, то это было бы и более оригинальным само по себе и гораздо более полезным для нас произведением. Мы нашли бы в нем такие определения точки, линии, поверхности, объема, угла, пересечения линий и плоскостей, в которых,—я не сомневаюсь,—он воспользовался бы принципами весьма отвлеченной метафизики, очень близкой к метафизике идеалистов. *Идеалистами* называют тех философов, которые, ссылаясь на то, что они обладают лишь сознанием своего существования и сменяющихся внутри них ощущений, не допускают ничего другого<sup>15</sup>. Это—странная система, которая, как мне кажется, могла бы возникнуть только у слепых, система, которую, к стыду человеческого ума и философии, труднее всего опровергнуть, хотя она и является самой абсурдной из всех систем. Она изложена с полной откровенностью и ясностью в трех диалогах доктора Беркли, епископа клойпского<sup>16</sup>; следовало бы попросить автора *Опыта*<sup>17</sup> о нашем познании разобрать это произведение; он нашел бы в нем повод для полезных, приятных, тонких наблюдений, словом, тех наблюдений, на которые он такой мастер. Идеализм заслуживает того, чтобы указать на него этому автору. Эта гипотеза должна его заинтересовать, и не столько своей странностью, сколько трудностью опровергнуть ее, исходя из его принципов, ибо по существу у него те же самые принципы, что и у Беркли. Согласно Беркли и Кондильяку—и согласно здравому смыслу—термины: сущность, материя, субстанция, основа и т. д. не предста-

влются сами по себе ясными для нашего ума; кроме того, как правильно замечает автор *Опыта о происхождении человеческих знаний*, мы можем подняться на небеса, мы можем спуститься в последние глубины, но мы никогда не выйдем из самих себя и всегда будем иметь дело лишь с нашей собственной мыслью. Но таков именно конечный вывод первого диалога Беркли и основа всей его системы. Не занято ли было бы увидеть, как схватятся между собой два противника, оружие которых так сходно? Если бы победа досталась одному из них, то лишь тому, кто лучше воспользовался бы этим оружием, но автор *Опыта о происхождении человеческих знаний* дал недавно в *Трактате о системах*<sup>18</sup> новое доказательство того искусства, с каким он владеет своим оружием, и показал, насколько он страшен для творцов систем.

Вы скажете, что мы порядочно удалились от наших слепых. Но я вас попрошу, сударыня, простить мне все эти отклонения в сторону. Я обещал побеседовать с вами, и я не смогу исполнить своего обещания без такого снисхождения с вашей стороны.

Я прочел со всем вниманием, на которое я способен, то, что Саундерсон написал о бесконечности, и я могу уверить вас, что у него были по этому вопросу очень правильные и очень ясные взгляды, и что большинство наших *бесконечников*<sup>19</sup> были бы в его глазах слепцами. Вы сами сможете судить об этом, хотя вопрос этот довольно труден и превосходит несколько ваши математические познания, но я не сомневаюсь, что, при достаточной подготовке, я сумел бы сделать его доступным вам и ввести вас в эту логику бесконечного.

Этот знаменитый слепой доказывает своим примером, что осязание может стать более тонким чувством, чем зрение, если его совершенствовать путем упражнений: пробегая рукой ряд медалей, он отличал подлинные от фальшивых, хотя последние были подделаны так искусно, что могли бы обмануть знатока с хорошими глазами; он судил о точности математического инструмента, проводя коп-

пальцев по его делениям. Это, несомненно, гораздо труднее, чем судить, при помощи осязания, о сходстве какого-нибудь бюста с изображаемым им лицом. Отсюда следует, что народ из слепых мог бы иметь скульпторов и изготавливать статуи с той же целью, что и мы, именно, чтобы увековечить память о прекрасных поступках и о дорогих лицах. Я не сомневаюсь даже в том, что ощущения, которые они испытывали бы от прикосновения к статуям, были бы гораздо ярче, чем получаемые нами от них зрительные ощущения. Какая радость для нежного любовника проводить руками по прелестям, которые он должен был бы узнать, если бы иллюзия, более могучая у слепых, чем у зрячих, оживляла их. Но возможно также, что, чем больше удовольствия доставляло бы ему это воспоминание, тем меньше он испытывал бы сожаления.

Саундерсон, как и слепой из Пюизо, испытывал малейшие перемены в атмосфере и замечал—особенно при спокойной погоде—присутствие предметов, от которых он находился в нескольких шагах. Рассказывают, что, когда однажды он присутствовал при астрономических наблюдениях, происходивших в саду, то облака, закрывавшие время от времени наблюдателям диск солнца, вызывали достаточно заметное изменение в действии лучей на его лице, так что он отличал благоприятные или неблагоприятные для наблюдения моменты. Вы, может быть, скажете, что в его глазах происходило какое-нибудь изменение, способное предупредить его о наличии света, но не о наличии предметов; я готов был бы согласиться с вами, если бы не знал достоверно, что Саундерсон был лишен не только зрения, но и самого органа зрения.

Таким образом, Саундерсон видел при помощи кожи. Эта оболочка обладала у него такой исключительной чувствительностью, что можно утверждать, что при некотором упражнении он способен был бы научиться узнавать того из своих друзей, портрет которого художник нарисовал бы на его руке, и что на основании последовательности вызванных карандашом ощущений он способен был бы

сказать: *это—господин такой-то*. Значит, существует особый род живописи для слепых, именно тот, где плотно может служить их собственная кожа. Это предположение нисколько не фантастично, и я не сомневаюсь, что если бы кто-нибудь пачертил на вашей руке ротик госпожи М..., то вы его немедленно узнали бы. Но согласитесь, что это было бы гораздо легче сделать слепорожденному, чем вам, несмотря на то, что вы привыкли видеть ее и находить очаровательной. Ведь в ваше суждение входят две или три вещи: сравнение рисунка на вашей руке с рисунком, запечатлевшимся в глубине ваших глаз; память о том, как на вас действуют вещи, которые осязаешь, и как действуют вещи, которые только видишь и которыми восхищаешься; наконец, применение этих данных к вопросу, заданному вам художником, который, нарисовав кончиком карандаша рот на коже вашей руки, спрашивает у вас: *кому принадлежит рот, который я рисую?* Между тем, сумма ощущений, вызванных ртом на руке слепого, та же самая, что и сумма последовательных ощущений, вызванных карандашом рисующего его художника.

К истории слепого из Пюкизо и Саундерсона я мог бы прибавить историю Дидима Александрийского, Евсевия Азиатского, Никеза из Мехлина<sup>20</sup> и нескольких других лиц, которые, будучи лишены одного чувства, настолько все же возвышались над остальным человеческим родом, что поэты могли, не впадая в преувеличения, говорить, будто завистливые боги лишили их зрения из страха иметь среди людей равные себе чувства. Ведь кем был знаменитый Тирезий<sup>21</sup>, для которого были открыты тайны богов и который обладал даром предсказывать будущее, как не слепым философом, память о котором сохранила нам легенда? Но не будем удаляться от Саундерсона и последуем за этим замечательным человеком до его могилы.

Когда он умер, к нему пригласили очень умного священнослужителя, г. Жервеза Холмса<sup>22</sup>. У них завязалась беседа о бытии божием; от нее сохранилось несколько отрывков, которые я вам переведу, как сумею,

ибо они стоят того. Священник начал с того, что указал ему на чудеса природы. «Ах, сударь,—возразил ему слепой философ,—оставьте это прекрасное зрелище, которое не было создано для меня! Я осужден был на то, чтобы провести свою жизнь во мраке, а вы ссылаетесь на чудеса, которых я не понимаю и которые имеют доказательную силу только для вас и для тех, кто, подобно вам, видит. Если вы хотите, чтобы я верил в бога, то вы должны дать мне возможность осязать его».

— Сударь,—возразил ловко священник,—положите свои руки на самого себя и вы найдете божество в изумительном строении своих органов.

— Господин Холмс,—ответил Саундерсон,—повторяю вам, все это не так прекрасно для меня, как для вас. Но допустим, что животный механизм столь совершенен, как вы это утверждаете,—я готов поверить вам, ибо вы честный человек и совершенно неспособны обманывать меня,—какое отношение это имеет к верховному разумному существу? Если этот механизм поражает вас, то, может быть, потому, что вы привыкли считать чудом все, что кажется вам превышающим ваши силы. Я так часто был для вас предметом удивления, что я составил себе плохое мнение насчет того, что вас изумляет. Чтобы поглазеть на меня, из глубин Англии приезжали люди, которые не могли понять, как я занимаюсь геометрией; согласитесь, что у этих людей не было вполне точных представлений о том, что возможно и что невозможно. Если какое-нибудь явление превышает, по нашему мнению, силы человека, то мы тотчас же говорим: *это—дело божие*; наше тщеславие не может удовольствоваться меньшим. Не лучше ли было бы, если бы мы вкладывали в свои рассуждения несколько меньше гордости и несколько больше философии? Если природа представляет нам какую-нибудь загадку, какойнибудь трудно распутываемый узел, то оставим его таким, каков он есть, и не будем стараться разрубить его рукой существа, который становится затем для нас новым узлом, еще труднее распутываемым, чем первый. Спросите у индийца, как это земля висит в воз-

духе, и он вам ответит, что она покоится на спине слона. А на чем находится слон? На черепахе. А кто поддерживает черепаху?.. Этот индеец внушает вам сострадание. Но вам можно было бы сказать, как и ему: «Господин Холмс, друг мой, признайте сперва свое невежество и избавьте меня от слона и черепахи!»

Саундерсон остановился на минуту: он ожидал, очевидно, ответа со стороны священнослужителя; но с какой стороны лучше всего произвести нападение на слепого? Г. Холмс воспользовался хорошим мнением Саундерсона насчет его честности и сослался на взгляды Ньютона<sup>23</sup>, Лейбница<sup>24</sup>, Кларка<sup>25</sup> и некоторых других своих соотечественников, первых гениев в мире, которые все, будучи поражены чудесами природы, признали творцом ее некое разумное существо. Несомненно, это было самое сильное возражение, которое сей священнослужитель мог выдвинуть против Саундерсона. И, действительно, наш добрый слепой согласился, что было бы смелым отрицать то, что решался допускать такой человек, как Ньютон; он обратил, однако, внимание священника на то, что свидетельство Ньютона не могло быть так убедительно для него, как было убедительно для Ньютона свидетельство всей природы, и что Ньютон полагался на слово божие, между тем как он был вынужден полагаться на слово Ньютона.

«Заметьте, господин Холмс,—добавил он,—какое доверие я должен питать к вашим словам и к словам Ньютона. Я ничего не вижу, однако я допускаю во всем изумительный порядок. Но не требуйте от меня большего. Я готов уступить вам по вопросу о теперешнем состоянии вселенной, но за это я требую от вас свободы думать, что мне угодно, по вопросу об ее изначальном состоянии, насчет которого вы такой же слепец, как и я. Здесь вы не можете мне противопоставить никаких свидетелей, и ваши глаза вам здесь нисколько не помогают. Поэтому воображайте себе, если вам это нравится, что столь поражающий вас порядок во вселенной существовал всегда, но разрешите мне думать, что так было не всегда

и что если бы мы стали восходить к истоку вещей и времени, если бы мы стали рассматривать, как начала двигаться материя и проясняться хаос, то мы встретили бы лишь несколько хорошо организованных существ среди массы уродливых. Если я не могу ничего возразить вам по поводу теперешнего состояния вещей, то я могу, по крайней мере, задать вам вопрос об их прошлом состоянии. Я могу, например, спросить у вас, спросить у Лейбница, Кларка, Ньютона, откуда они знают, что животные, при первоначальном своем образовании, не были одни без головы, а другие без ног. Я могу утверждать, что некоторые из них не имели желудка, а другие не имели кишок, что животные, которым наличность желудка, нёба и зубов обещала, как будто, длительное существование, вымерли из-за какого-нибудь недостатка в сердце или легких, что постепенно вывелись чудовища, что исчезли все неудачные комбинации и что сохранились лишь те из них, строение которых не заключало в себе серьезного противоречия и которые могли существовать и продолжать свой род<sup>26</sup>.

«Если мы это допустим, если мы предположим далее, что у первого человека была закрыта гортань, что он был лишен подходящей пищи, имел какой-либо недостаток в детородных органах, не нашел себе подруги среди подобных себе или же смешался с каким-нибудь другим видом животных, то что, господин Холмс, стало бы с человеческим родом? Он попал бы в процесс всеобщего очищения вселенной, и то гордое существо, которое называется человеком, рассеявшись, растворившись среди молекул материи, осталось бы, может быть, навсегда, лишь в числе возможностей бытия.

«Если бы никогда не существовало уродливых существ, то вы могли бы утверждать, что их никогда и не будет и что я занимаюсь фантастическими гипотезами, но,—продолжал Саундерсон,—порядок в мире не настолько еще совершенен, и время от времени в нем появляются уродливые произведения». Затем, повернувшись лицом к священнослужителю, он прибавил: «Посмотрите



на меня хорошенько, господин Холмс, у меня нет глаз. Что сделали богу я и вы для того, чтобы вы имели этот орган, а я был лишен его?»

Когда Саундерсон произносил эти слова, у него было такое искреннее и убежденное выражение лица, что священник и все прочие присутствовавшие не могли не разделить его скорби и стали горько оплакивать его участь. Слепой заметил это. «Господин Холмс, — сказал он священнослужителю, — ваше добросердечие мне отлично известно, и я очень чувствителен к тому доказательству его, которое вы мне даете в эти последние минуты жизни, но, если я вам дорог, не лишайте меня при смерти утешительного сознания, что я никогда никого не огорчил».

Затем, заговорив несколько более твердым голосом, он прибавил: «Итак, я предполагаю, что в истоке времен, когда находившаяся в брожении материя дала начало вселенной, было немало таких существ, как я. Но разве я не в праве утверждать о целых мирах того же, что я говорю об отдельных животных? Сколько исчезло изувеченных, неудачных миров, сколько их преобразовывается и, может быть, исчезает в каждый момент в отдаленных пространствах, которых я не достигаю своим осязанием, а вы своим зрением, но в которых движение продолжает и будет продолжать комбинировать массы материи, пока из них не получится какая-нибудь жизнеспособная комбинация? О, философы, перенеситесь же вместе со мной за грань нашей вселенной, за пределы того, где я *осязую*, а вы *видите* организованные существа; охватите взором этот новый океан и постарайтесь отыскать в неправильных волнениях его какие-нибудь следы того разумного существа, чьей мудрости вы удивляетесь здесь».

«Но нужно ли вам вообще покидать свою родную стихию? Что такое наш мир, господин Холмс? Это — составное, сложное тело, подверженное бурным переменам, говорящим о постоянной тенденции к разрушению, это — быстрая смена существ, следующих друг за другом, сталкивающихся между собою и исчезающих, это — мимолетная симметрия, быстротечный порядок. Я только что

упрекал вас в том, что вы судите о совершенстве вещей на основании своих собственных способностей. Но я мог бы точно так же обвинять вас в том, что вы измеряете их длительность своею собственною долговечностью. Вы судите о существовании мира во времени так, как муха-однодневка судит о продолжительности вашего собственного существования. Мир вечен для вас так, как вы вечны для существа, живущего только одно мгновение, и, может быть, насекомое еще разумнее, чем вы. О каком колоссальном ряде поколений-однодневок свидетельствует ваша вечность, о каком длительном процессе? Однако мы все преидем, и никто не сможет указать ни реального пространства, которое мы занимали, ни точного промежутка времени, в течение которого мы существовали. Время, материя и пространство представляют, может быть, только одну точку».

Во время этой беседы Саундерсон волновался больше, чем это позволяло ему его состояние; затем он начал бредить; бред продолжался несколько часов, после чего Саундерсон пришел в сознание, но лишь для того, чтобы воскликнуть: «*О, бог Кларка и Ньютона, сжалься надо мной!*»—и вслед затем умереть.

Так умер Саундерсон. Вы видите, сударыня, что все выдвинутые этим слепцом против священнослужителя аргументы не были убедительны даже для него самого. Какой же позор для людей, не имеющих лучших доводов, чем он, для людей зрячих и которым изумительное зрелище природы возвещает, начиная с восхода солнца до захода самой маленькой звездочки, существование и славу ее творца! Они обладают глазами, которых был лишен Саундерсон; но Саундерсон зато обладал тем, чего они были лишены: чистым нравом и добродетельным характером. Поэтому они живут, как слепые, а Саундерсон умер так, словно был зрячим. Голос природы был слышен ему в достаточной степени благодаря оставшимся у него органам, и его пример должен иметь тем бо́льшую силу против людей, упрямо закладывающих себе уши и закрывающих глаза<sup>27</sup>. Я готов спросить, не был



Слепой с двумя палками. С рисунка из оригинального издания  
«Lettre sur les aveugles»



ли истинный бог еще больше скрыт от Сократа мраком язычества, чем от Саундерсона отсутствием зрения, не давшим ему видеть представляемого природой зрелища.

Я очень огорчен, сударыня, что мы с вами лишены удовольствия узнать какие-нибудь другие любопытные подробности относительно этого знаменитого слепца. Из его ответов, может быть, можно было бы извлечь больше пользы, чем из разных опытов, которые предполагают ставить. Как жаль, что те, кто жил с ним, были столь мало философами! Я, впрочем, исключая из их числа его ученика, г. Вильяма Инчлифа<sup>28</sup>, видевшего Саундерсона лишь в последние минуты его жизни и передавшего нам его последние слова, которые я посоветую всем, знающим немного английский язык, прочесть в подлиннике в сочинении, появившемся в Дублине в 1747 г. и озаглавленном: *The Life and character of Dr. Nicholas Saunderson late lucasian Professor of the mathematicks in the university of Cambridge; by his disciple and friend William Inchlif, Esq.*\*

Они найдут в этом сочинении сильное, правдивое, приятное повествование, какого не встретишь ни в каком другом произведении и всю прелесть которого мне вряд ли удалось передать вам, несмотря на все мои усилия сохранить ее в переводе.

В 1713 г. он женился на дочери господина Дикконса, священника в Боксворзе, в Кембриджском округе. От этого брака у него были сын и дочь, которые еще в живых. Его последнее прощание с семьей было очень трогательно. «Я отправляюсь,—сказал он им,—туда, куда мы отправимся все. Избавьте меня от расслабляющих меня жалоб. Выражение вами горя делает меня более чувствительным к собственным страданиям. Я без огорчения отказываюсь от жизни, которая была для меня лишь дли-

\* Жизнь и характер покойного д-ра Николая Саундерсона, профессора математики в Кембриджском университете по кафедре, основанной Лукасом; составлено его учеником и другом Вильямом Инчлифом, эскв.

тельным желанием и непрерывным лишением. Живите столь же добродетельно, но более счастливо, чем я, и научитесь умирать столь же спокойно». Затем он взял руку своей жены и держал ее минуту сжагой между своими руками, повернувшись лицом в ее сторону, точно он хотел увидеть ее; он благословил своих детей, обнял их всех и попросил их удалиться, потому что присутствие их причиняло ему большую боль, чем приближение смерти.

Англия—страна философов, людей любознательных, людей, создающих системы. Однако без господина Инчлифа мы знали бы о Саундерсоне лишь то, что могли бы о нем сообщить самые обыкновенные люди,—например, что он узнавал те места, где был уже один раз, по шуму стен и мостовой, если они издавали этот шум,—и сотню подобных же вещей, которые мы знаем почти относительно всех слепых. Но разве так часто встречаются в Англии слепцы калибра Саундерсона, и встречаются ли там ежедневно людей, которые никогда не были зрячими и в то же время читают лекции по оптике?

Пытаются вернуть зрение слепорожденным. Но если вдуматься хорошенько, то, по моему мнению, для философии гораздо выгоднее расспросить рассудительного слепого. От него можно было бы узнать, как отражаются в его голове вещи; это можно было бы сравнить с тем, как они отражаются в нашей голове, и путем такого сравнения, может быть, удалось бы добиться разрешения трудностей, делающих столь ненадежной и запутанной теорию зрения. Но, признаться, я не понимаю, чего рассчитывают добиться от человека, произведя болезненную операцию очень деликатного органа, который расстраивается от малейшей случайности и который часто обманывает здоровых людей, издавна пользующихся его преимуществами. Что касается меня, то я с большей охотой выслушал бы мнение насчет теории зрения какого-нибудь метафизика, которому были бы знакомы принципы метафизики, элементы математики и строение организма, чем необразованного, невежественного человека, которому вер-

нули бы зрение, снявши с его глаз катаракт. Я меньше полагался бы на ответы видящего в первый раз человека, чем на сообщение философа, который хорошо обдумал бы во мраке этот вопрос или, выражаясь поэтическим языком, который выколлот себе глаза, чтобы лучше узнать, что такое зрение.

Если желать, чтобы эти опыты имели некоторую ценность, то надо было бы, по меньшей мере, задолго подготовить испытуемого субъекта, надо было бы воспитать его и, может быть, сделать его философом; но нельзя сделать человека философом в один момент, даже если у него есть задатки к этому; что же сказать о человеке, у которого этих задатков нет, или—что еще хуже—о человеке, воображающем себя философом? Было бы очень полезно начинать наблюдения лишь долго спустя после операции. Для этого надо было бы ухаживать за больным в темноте и хорошо увериться в том, что рана его зажила и что глаза его здоровы. Я был бы против того, чтобы его сразу вывели на дневной свет: яркий свет мешает нам видеть; какое же действие должен он произвести на орган, не испытывший еще ни одного впечатления и поэтому обладающий крайней чувствительностью!

Но это еще не все. Было бы и тогда весьма нелегко извлечь все, что нужно, из подготовленного таким образом субъекта и суметь так поставить вопросы, чтобы он рассказал в точности то, что происходит в нем. Этот допрос должен был бы происходить в присутствии целой академии; или, лучше, чтобы не иметь лишних зрителей, надо было бы пригласить на это заседание лишь тех, кто заслуживает этого благодаря своим философским, анатомическим и т. д. знаниям. Для этого нужны были бы самые опытные люди и лучшие умы. Подготовить и расспросить слепорожденного было бы занятием не недостойным соединенных талантов Ньютона, Декарта, Локка и Лейбница<sup>29</sup>.

И закончу это и без того уже растянувшееся письмо одним вопросом, который задают издавна. Некоторые размышления об особенном состоянии Саундерсона убедили

меня, что этот вопрос не был никогда полностью разрешен. Предположим, что перед нами уже взрослый слепорожденный, которого научили отличать, при помощи осязания, куб от шара, составленного из того же самого металла и почти той же самой величины, так что, когда он касается обоих этих предметов, он может сказать, какой из них куб и какой—шар. Предположим, что этот куб и шар находятся на столе и что наш слепой вдруг получил возможность видеть. И вот спрашивается: смог ли бы он на основании одного лишь зрения, не касаясь этих предметов, отличить их друг от друга и сказать, какой из них куб, а какой—шар?

Господин Молине<sup>30</sup>, первый, предложивший этот вопрос, пытался дать ответ на него. Он утверждал, что слепой не сумеет отличить шара от куба, «ибо,—говорил он,—хотя путем опыта он узнал, каким образом действуют на его осязание шар и куб, однако он не знает, что то, что воздействует таким-то определенным образом на его осязание, должно действовать на его глаза таким-то другим определенным образом; и точно так же он не знает, что выдающийся угол куба, оказывающий неравномерное давление на его руку, должен казаться его глазам таким, каким он кажется».

Локк, которому задали этот самый вопрос, сказал: «Я вполне согласен с господином Молине. Я думаю, что слепой не сумел бы, в первый раз по получении зрения, сказать с какой-либо степенью достоверности, какой из предметов куб, а какой—шар, если бы он ограничился только показаниями зрения, хотя при прикосновении он сумел бы, наверное, отличить и назвать их на основании различия фигур, которое открыло бы ему чувство осязания».

Господин аббат Кондильяк, *Опыт о происхождении человеческих знаний* которого вы прочли с таким удовольствием и пользой, и превосходный *Трактат о системах* которого я посылаю вам при этом письме, придерживается на этот счет особого мнения. Бесполезно было бы приводить здесь доводы, которыми он руковод-



ствуется; это значило бы лишить вас удовольствия прочесть произведение, в котором они изложены столь приятным и философским образом, так как я своей передачей рисковал бы лишь испортить ваше впечатление. Поэтому я ограничусь лишь указанием, что всеми этими доводами он стремится доказать, что слепорожденный либо ничего не увидит, либо же увидит шар и куб различными, и что условие, будто оба эти тела должны быть из одного и того же металла и почти одинаковой величины, которое почему-то включили в данную задачу,—совершенно излишне; и это верно, ибо—мог бы он сказать,—если нет никакой существенной связи между ощущением зрения и ощущением осязания, как это утверждают господа Локк и Молине, то следует признать, что можно, руководствуясь зрением, считать тело, которое легко прикрыть кистью руки, величиною в два фута. Однако господин де-Кондильяк прибавляет, что если слепорожденный видит тела, различает фигуры их и колеблется высказать свое суждение о них, то лишь в силу очень тонких метафизических соображений, которые я вам сейчас же разъясню.

Итак, вот два различных взгляда по одному и тому же вопросу, высказываемых первоклассными философами. Казалось бы, что после того, как этот вопрос разбирали такие люди, как гг. Молине, Локк и аббат де-Кондильяк, в нем не должно быть ничего неясного; однако одну и ту же вещь можно рассматривать со столь многочисленных точек зрения, что неудивительно, если они не исчерпали их все.

Те, кто утверждали, что слепорожденный способен отличать куб от шара, исходили из допущения некоторого факта, который, может быть, следовало бы сперва разобратить, а именно, следовало бы выяснить, способен ли слепорожденный, у которого сняли бы катаракт, воспользоваться своими глазами в первые моменты после операции. Сторонники этого взгляда сказали только следующее: «Слепорожденный, сравнивая полученные им путем осязания представления с представлениями о них, получаемыми при помощи зрения, должен непременно понять, что он

имеет дело с одними и теми же представлениями; и было бы странно с его стороны утверждать, будто куб дает его зрению представление о шаре, а шар—представление о кубе. Поэтому при пользовании зрением он назовет шаром и кубом то, что он называл шаром и кубом при пользовании осязанием».

Какие же доводы противопоставляли им в ответ их противники? Они тоже предполагали, что слепорожденный станет видеть немедленно после операции. Они воображали себе, что с глазом, с которого сняли катаракт, происходит то же самое, что с рукой, которая перестала быть парализованной: подобно тому, как рука не нуждается в упражнении, чтобы чувствовать, так и глаз не нуждается в упражнении, чтобы видеть; но они прибавили к этому: «Допустим, что слепорожденный несколько более философ, чем вы это признаете; продолжив ваше рассуждение, он сможет сказать следующее: «Откуда я знаю, что, если я подойду ближе к этим телам и положу свои руки на них, они внезапно не обманут моего ожидания, и куб не даст мне ощущения шара, а шар—ощущения куба? Только опыт может показать мне, имеется ли соответствие между зрением и осязанием; ведь эти два чувства могут, вопреки моим ожиданиям, противоречить друг другу; может быть, я решил бы даже, что то, что представляется в данный момент моему зрению, лишь простая иллюзия, если бы мне не сообщили, что это те самые тела, которых я раньше касался пальцами. Вот это тело, кажется мне, должно быть тем, что я называю кубом, а то другое—тем, что я называю шаром; но ведь меня не спрашивают о том, что мне кажется, а о том, что есть на самом деле; а на этот последний вопрос я совершенно не в состоянии ответить».

Это рассуждение, говорит автор *Опыта о происхождении человеческих знаний*, способно привести в замешательство слепорожденного, и только опыт, по моему мнению, может дать ответ на него. Нет сомнения, что господин аббат де-Кондильяк имеет в виду здесь повторный опыт самого слепорожденного, состоящий во вторичном

прикосновении к испытываемым телам. Вы сейчас поймете, почему я делаю это замечание. Этот талаитливый метафизик мог бы прибавить, что для слепорожденных нет никакой нелепости в допущении противоречия между обоими этими чувствами, тем более, что они думают, как я уже заметил выше, будто зеркало ставит их действительно в такое противоречие.

Г. де-Кондильяк замечает далее, что г. Молине усложнил вопрос различными условиями, которые не могут ни облегчить, ни устранить затруднений, возникающих у философствующего слепорожденного. Это замечание тем более верно, что предполагаемое у слепорожденного философское размышление не неуместно, ибо в этих вопросах философского порядка опыты следовало бы производить всегда над философом, т. е. над человеком, способным находить в задаваемых ему вопросах все то, что позволяет в них заметить логика и состояние его органов.

Вот, сударыня, вкратце все доводы за и против, высказанные в связи с этим вопросом. Я разберу эти доводы, и вы увидите, насколько лица, утверждавшие, что слепорожденный способен видеть фигуры и различать тела, были далеки от понимания своей правоты, и насколько лица, отрицавшие это, имели основание думать, что они не неправы.

В вопросе о слепорожденном—если посмотреть на него с несколько более широкой точки зрения, чем это сделал г. Молине,—заключаются два других вопроса, которые мы разберем каждый в отдельности. Можно спросить: 1) будет ли слепорожденный видеть немедленно после того, как произведена операция снятия катаракта; 2) в случае утвердительного ответа, будет ли он видеть настолько хорошо, чтобы различать фигуры; сумеет ли он при виде их называть их с уверенностью теми же именами, которыми он называл при прикосновении; и будет ли он в состоянии доказать то, что эти имена подходят к ним.

Будет ли слепорожденный видеть немедленно после исцеления его органа зрения? Те, кто утверждают, что

Он не будет видеть, рассуждают следующим образом: «Как только слепорожденный приобретет способность пользоваться своими глазами, все находящееся перед ним в перспективе зрелище отразится в глубине его глаз. Картина эта, составленная из бесконечного множества предметов, скученных на крохотном пространстве, представляет смутную грудку фигур, которые он не сумеет отличить друг от друга. Почти все признают то, что лишь опыт может научить его судить о расстоянии предметов и что он даже вынужден приблизиться к ним, прикоснуться к ним, удалиться от них, затем снова приблизиться и снова прикоснуться к ним, чтобы убедиться, что они не составляют части его самого, что они чужды его существу и что он то близок к ним, то далек от них. Почему же думать, что опыт не необходим ему, чтобы заметить их? Не будь опыта, человек, видящий предметы в первый раз, должен был бы вообразить,—если они удаляются от него или он удаляется от них, так что они выходят из поля зрения его,—что они перестали существовать, ибо только наш опыт над предметами, которые мы застаем на том же самом месте, где оставили, убеждает нас в том, что они продолжают существовать и тогда, когда мы удаляемся от них. Может быть, благодаря этому так быстро утешаются дети, когда у них отнимают игрушки. Неверно думать, будто они быстро забывают их; ведь если принять во внимание, что есть дети двух с половиной лет отроду, которые знают значительную часть слов какого-либо языка, и что им труднее произносить эти слова, чем запомнить их, то легко согласиться с тем, что время детства, это—время сильно развитой памяти. Не естественней ли поэтому предположить, что дети воображают, будто то, что они перестают видеть, перестало существовать, тем более, что радость их смешана, кажется, с восхищением, когда вновь появляются предметы, которые они потеряли из виду? Их кормилицы помогают им приобрести понятие об отсутствующих существах, играя с ними в маленькую игру, состоящую в том, чтобы закрывать свое лицо и вдруг

открывать его. Благодаря этому дети сотни раз в течение какой-нибудь четверти часа убеждаются, что то, что перестает быть видимым, не перестает от этого существовать. Отсюда следует, что мы обязаны опыту понятием о непрерывном существовании предметов; что путем прикосновения мы приобретаем понятие об их расстоянии; что, может быть, глазу необходимо научиться видеть, точно так, как языку научиться говорить; что не было бы ничего удивительного в необходимости помощи со стороны одного из этих чувств другому и что, может быть, осязание, убеждающее нас в существовании предметов вне нас, когда они имеются перед нашими глазами, является также тем чувством, которое должно не только свидетельствовать нам об их фигурах и других свойствах, но даже подтверждать наличие их.

К этим рассуждениям присоединяют знаменитые опыты Числьдена<sup>31</sup>. Молодой человек, у которого этот искусный хирург снял катаракт, в течение долгого времени не различал ни размеров, ни расстояний, ни положения, ни даже фигур. Когда перед его глазами ставили предмет, величиной в дюйм, закрывавший от него какой-нибудь дом, то он казался ему величиной с этот дом. Все предметы были у него на его глазах, и ему казалось, что они приложены к этому органу, точно так, как воспринимаемые осязанием предметы прикладываются к коже. Он не мог отличить того, что считал на основании показания рук круглым, от того, что считал угловатым, и точно так же не мог отличить глазами, было ли в действительности вверху или внизу то, что воспринималось осязанием вверху или внизу. Он лишь с трудом пришел к убеждению, что его дом был больше, чем его комната, но он совершенно не мог понять того, каким образом глаз мог дать ему представление об этом. Потребовалось множество повторных опытов, чтобы он убедился, что живопись изображает трехмерные тела, и, когда, разглядывая много раз картины, он убедился, что видит перед собою не только поверхности, и положил на них руку, то был очень удивлен, встретив перед собою гладкую

плоскость, не представлявшую никаких выступов. Он спросил тогда, что же обманывало его, чувство ли осязания или чувство зрения? Впрочем, живопись произвела то же самое впечатление на дикарей; когда они впервые увидели картины, то они приняли нарисованные фигуры за живых людей, стали расспрашивать их и были очень удивлены, не получая от них никакого ответа. Конечно, ошибка эта происходила у них не оттого, что у них не было привычки видеть.

Но как ответить на другие трудности? Действительно, опытный глаз взрослого человека дает ему возможность лучше видеть предметы, чем неопытный, неискушенный глаз ребенка или слепорожденного, у которого сняли катаракт. Прочтите, сударыня, все доводы господина аббата де-Кондильяка в конце его *Опыта о происхождении человеческих знаний*, где он разбирает опыты Числьдена, изложенные г. де-Вольтером<sup>32</sup>. Здесь изображены с большой ясностью и убедительностью действие света на глаз, испытывающий его в первый раз, и условия, представляемые жидкостями этого органа, роговой оболочкой, хрусталиком и т. д.; все это не позволяет сомневаться в том, что процесс зрения бывает очень несовершенным у ребенка, открывающего глаз в первый раз, или у слепого, которому произвели операцию.

Таким образом, надо признать, что мы замечаем в предметах бесконечное множество вещей, которых не видят в них ни ребенок, ни слепорожденный, хотя вещи эти и отображаются в глубине их глаз; что недостаточно, чтобы предметы поражали наше зрение, а необходимо еще, чтобы мы относились внимательно к впечатлениям от них; что, следовательно, ничего не видишь, когда в первый раз пользуешься своими глазами; что в первые моменты зрение дает только массу смутных ощущений, которые проясняются лишь с течением времени благодаря привычке размышлять над тем, что происходит в нас; что только опыт научает нас сравнивать ощущения с тем, что вызывает их; что, так как ощущения не имеют ничего существенно общего с предметами, то лишь опыт на-

учает нас аналогиям, которые, повидимому, носят условный характер. Одним словом, нельзя сомневаться в том, что осязание сильно содействует глазу в приобретении точных познаний насчет соответствия между предметом и получаемым от него представлением; я думаю, что, если бы в природе все совершалось не согласно бесконечно общим законам, что если бы, например, укол от известных твердых тел был болезненным, а укол от других тел сопровождался удовольствием, то мы умерли бы, не собрав и стомиллионной части опыта, необходимого для сохранения нашего тела и для нашего благополучия.

Однако я вовсе не думаю, будто глаз не способен научиться и, если можно так выразиться, набраться опыта у самого себя. Чтобы убедиться путем осязания в существовании предметов и распознать их фигуры, нет нужды видеть их; почему же необходимо прикасаться к предметам, чтобы убедиться в том же самом при помощи зрения? Я знаю все преимущества осязания, и я не скрывал их, когда речь шла о Саундерсоне и о слепом из Пюизо; но указанного сейчас преимущества я не признаю за ним. Можно легко согласиться с тем, что пользование каким-нибудь чувством может быть усовершенствовано и ускорено благодаря наблюдениям другого чувства, но это вовсе не значит, что между их функциями есть какая-то существенная зависимость. Разумеется, в телах есть такие свойства, которых мы никогда не заметили бы без прикосновения к ним; так, именно осязание указывает нам на наличие известных особенностей, не заметных для глаз, которые оказываются в состоянии заметить их лишь тогда, когда осязание предупреждает их об этом. Но эти услуги взаимны у людей, у которых зрение более тонко, чем осязание: именно первое из этих чувств указывает другому на существование таких предметов и особенностей, которые сами по себе ускользнули бы от него благодаря своей малости. Если бы без вашего ведома вложили между вашими большим и указательным пальцами кусок бумаги или какого-нибудь другого гладкого, тонкого и гибкого вещества, то только ваш глаз мог бы сообщить

вам, что пальцы не соприкасаются между собой непосредственным образом. Замечу мимоходом, что в этом случае гораздо труднее было бы обмануть слепого, чем человека зрячего.

Существой отдельно живой и одушевленный глаз, он, без сомнения, лишь с трудом убедился бы в том, что внешние предметы не составляют части его самого; что он то близок к ним, то далек от них; что они обладают фигурой; что одни из них больше, чем другие; что они обладают глубиной и т. д. Но я несколько не сомневаюсь в том, что, в конце концов, он увидел бы их и увидел бы достаточно раздельно, чтобы отличать, по крайней мере грубо, их границы. Отрицать это—значило бы игнорировать назначение органов чувств, забывать главные явления зрения. Это значило бы не видеть того, что нет столь искусного художника, который мог бы воспроизвести красоту и точность миниатюр, отражающихся в глубине наших глаз; что нет ничего более точного, чем сходство этих изображений с изображаемыми предметами, что полотно этой картины не так уж мало; что нет никакой путаницы между фигурами; что они занимают почти половину квадратного дюйма и что вообще невозможно объяснить, как могло бы осязание научить глаз видеть, если бы сам глаз был абсолютно неспособен обойтись без помощи осязания.

Но я не буду ограничиваться простыми предположениями и спрошу, осязание ли научает глаз различать цвета? Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь приписал осязанию такое необычайное преимущество: если допустить его, то достаточно показать слепорожденному, которому произвели операцию, на большом белом фоне черный куб и красный шар, чтобы он не замедлил различить границы этих фигур.

Он станет медлить, могут мне ответить, и именно все то время, которое необходимо жидкостям глаза, чтобы усвоить соответствующее положение; роговой оболочке, чтобы принять необходимую для зрения кривизну; зрачку, чтобы стать способным расширяться или суживаться над-



лежащимъ образомъ; волокнамъ сетчатки, чтобы не быть ни слишкомъ чувствительными, ни слишкомъ мало чувствительными по отношенію къ действию свѣта; хрусталику, чтобы произвести те движенія впередъ и назадъ, которые приписываютъ ему; мускуламъ, чтобы правильно выполнять свои функціи; зрительнымъ нервамъ, чтобы привыкнутьъ передавать ощущенія; всему главному яблоку, чтобы приспособиться къ различнымъ необходимымъ конфигураціямъ; всемъ составляющимъ его частямъ, чтобы содѣйствовать полученію той миниатюры, которая такъ полезна, когда требуется доказать, что глазъ учится у самого себя.

Я готовъ согласиться, что, какъ бы проста ни была картина, которую я покажу слепорожденному, онъ сумеетъ отличить части ея лишь тогда, когда органъ зрѣнія будетъ выполнять все вышеуказанныя условія; но, можетъ быть, на выполнение ихъ требуется всего лишь одно мгновеніе. Ведь нетрудно было бы, применяя вышензложенное сужденіе къ какой-нибудь болѣе или менѣе сложной машинѣ, — например, къ часамъ, — доказать, исходя изъ анализа всехъ движеній, происходящихъ въ коробкѣ, облекающей пружину, въ шпинделѣ, колесикахъ, пластинкахъ, маятникѣ и т. д., — нетрудно было бы доказать, что стрелкѣ требуется пятнадцать дней, чтобы пройти расстояние в одну секунду. Если мнѣ скажутъ, что эти движенія происходятъ одновременно, то я отвѣчу на это, что, можетъ быть, одновременны и движенія въ глазу, когда онъ открывается в первый разъ, и что это относится и къ большинству образующихся у насъ на основаніи этого сужденій. Но что бы ни думать относительно условій, требуемыхъ отъ глаза, чтобы онъ былъ способенъ видѣть, необходимо, во всякомъ случаѣ, признать, что онъ ихъ получаетъ не отъ осязанія, а отъ самого себя, и что, следовательно, глазъ научается различать фигуры, отражающіеся в глубинѣ его, безъ помощи другаго органа чувствъ.

Но, скажутъ, когда же онъ научится этому? Можетъ быть, гораздо скорѣе, чемъ это думаютъ. Помните ли вы, сударыня, нашъ опытъ съ вогнутымъ зеркаломъ, когда мы вместе съ вами посетили кабинетъ в Королевскомъ саду? Помните ли вы

испуг, когда вы увидели, что к вам приближается острое шпаги с той же самой быстротой, с какой приближалось к поверхности зеркала острое той шпаги, которую вы держали в руке? Однако вы обладали уже привычкой относить к пространству вне поверхности зеркал все те предметы, которые в них отражаются. Таким образом, чтобы замечать предметы или их образы там, где они находятся, опыт не так необходим и не так непогрешим, как это думают. Даже ваш попугай может послужить доказательством этого. В первый раз, когда он увидел себя в зеркале, он приблизил к нему свой клюв и, не задев самого себя, которого он принял за другого попугая, он обошел зеркало сзади. Я не желаю приписывать свидетельству попугая больше силы, чем оно имеет. Но все же в этом опыте с животным не может быть и речи о каком-нибудь предвзятом мнении.

Однако, если бы мне сказали, что какой-нибудь слепорожденный не различал ничего в течение двух месяцев, то я нисколько не удивился бы этому. Я сделал бы только вывод, что необходимо упражнять орган, но что для упражнения его вовсе не необходимы прикосновения. И только больше убедился бы в том, что важно дать слепорожденному оставаться некоторое время в темноте, если желают производить над ним наблюдения; что важно дать его глазам свободу упражняться—а это ему удобнее делать во мраке, чем при дневном свете—и разрешить ему при этих опытах своего рода сумерки или же возможность увеличивать, либо уменьшать по произволу—по крайней мере, в том месте, где будут происходить опыты—силу света. Я только настойчивее стану утверждать, что такого рода опыты будут представлять всегда большие трудности и будут оказываться очень ненадежными, и что самый короткий фактически—хотя по видимости самый долгий—путь, это—снабдить испытуемого субъекта философскими знаниями, которые дадут ему возможность сравнить между собою оба состояния, через которые он прошел, и рассказать нам о различии между самочувствием слепого и зрячего человека. Еще раз: чего

можно ожидать от человека, который не привык размышлять и анализировать свои собственные переживания и который, подобно слепому Числьдена, не зная преимуществ зрения, совершенно не чувствует поэтому своей тяжелой доли и не понимает, что отсутствие зрения лишает его многих наслаждений? Саундерсон, которому, конечно, никто не откажет в звании философа, не относился, разумеется, с таким же равнодушием к своей слепоте, и я очень сомневаюсь, чтобы он согласился со взглядами автора отличного *Трактата о системах*. Я готов заподозрить, что этот автор сам стал жертвой какой-то системки, когда он начал уверять, «что если бы жизнь человека была лишь непрерывным ощущением удовольствия или страдания, то, будучи в первом случае счастливым, без всякой идеи о несчастье, а во втором случае—несчастливым, без всякой идеи о счастье, он просто наслаждался бы или страдал, и что при этом предположении он не стал бы смотреть вокруг себя, чтобы убедиться, не заботится ли какое-нибудь существо о его сохранении или не старается ли оно повредить ему; и что только попеременный переход от одного из этих состояний к другому научил его размышлять и т. д...».

Думаете ли вы, сударыня, что, переходя от одного ясного восприятия к другому ясному восприятию (ибо таков метод философствования нашего автора—метод хороший), он пришел бы когда-нибудь к этому заключению? Счастье и несчастье не относятся друг к другу, так, как мрак и свет: одно не является просто отсутствием другого. Может быть, мы убедились бы, что счастье столь же необходимо нам, как существование и мысль, если бы мы им наслаждались без всякой помехи. Но я не могу сказать того же самого относительно несчастья. Было бы весьма естественно считать его чем-то извне нам павязанным, чувствовать себя невинным, но признавать себя, однако, виновным и обвинять или извинять природу, т. е. поступать так, как обычно поступают.

Неужели господин аббат де-Кондильяк думает, будто ребенок жалуется, когда страдает, лишь потому, что он

не страдал непрерывно со дня своего рождения? Если он мне ответит, «что существование и страдание были бы чем-то тождественным для страдающего без перерыва человека, и он не способен был бы представить себе, что можно прекратить его страдания, не разрушая его существования», то я ему возражу: «Может быть, непрерывно несчастный человек не скажет: что я сделал такого, чтобы страдать? но кто помешает ему сказать: что я сделал такого, чтобы существовать? Однако я не вижу, почему он не мог бы пользоваться обоими синонимичными глаголами—я *существую* и я *страдаю*, одним из них для прозы, другим для поэзии, подобно тому, как мы пользуемся двумя выражениями: я *живу* и я *дышу*». Впрочем, вы убедитесь сами, сударыня, и даже лучше, чем я, что этот отрывок господина аббата де-Кондильяка написан превосходно, и я опасаясь, чтобы, сравнивая мою критику с его рассуждением, вы не сказали, что вы все же предпочитаете заблуждение в устах Монтэня истине в устах Шаррона<sup>33</sup>.

Вы опять-таки уклонились в сторону, скажете вы мне. Да, сударыня, но таковы условия нашей беседы. Однако вот вам теперь мое мнение о двух поставленных выше вопросах. Я думаю, что когда глаза слепорожденного впервые откроются для света, то он не увидит ровно ничего; что его глазу потребуется некоторое время, чтобы набраться опыта, но что он наберется опыта у самого себя, без помощи чувства осязания, и что он научится не только различать цвета, но различать, по меньшей мере в грубых чертах, границы предметов. Теперь посмотрим, сумеет ли он—в предположении, что он приобрел эту привычку в очень короткое время или же что получил ее, упражняя свои глаза во мраке, куда его заключили бы, уговорив упражняться в этом в течение некоторого времени после операции и до опытов над ним,—посмотрим, говорю я, сумеет ли он узнать при помощи зрения тела, которых он касался, и сможет ли он назвать их соответствующими им именами. Мне остается решить этот последний вопрос.

Желая справиться с ним так, чтобы угодить вам,— ибо вы любите методичность,—я буду различать несколько типов людей, над которыми можно производить опыты. Я думаю, что если мы будем иметь дело с грубыми, невежественными, необразованными, неподготовленными людьми, то после операции снятия катаракта, когда глаз станет здоровым, предметы в нём будут отражаться вполне отчетливо; но так как эти люди совершенно не привыкли рассуждать, так как они не знают, что такое ощущение, представление, так как они не в состоянии сравнивать представлений, полученных ими путем прикосновения, с представлениями, полученными при посредстве глаз, то они станут говорить: «Вот круг, вот квадрат», причем совершенно нельзя будет полагаться на их суждение; или же они даже станут наивно сознаваться, что не замечают в видимых ими предметах ничего похожего на то, к чему они раньше прикасались.

Есть другие люди, которые, сравнивая зрительные впечатления от тел с впечатлениями, полученными их руками, и прилагая мысленно свое осязание к этим находящимся на известном расстоянии от них телам, будут говорить, что одно тело—это квадрат, другое—круг, но не будут знать толком, почему они это говорят, ибо сравнение представлений, полученных ими путем осязания, с представлениями, полученными путем зрения, не происходит в них настолько отчетливо, чтобы они могли убедиться в истинности своего суждения.

Теперь, сударыня, я перейду без всяких отступлений к метафизику, над которым стали бы проделывать этот опыт. Я несколько не сомневаюсь в том, что с той самой минуты, как он стал бы различать предметы, он начал бы рассуждать по поводу них так, точно он их видел всю свою жизнь, и что, сравнив между собой представления, полученные им при помощи зрения, с представлениями, полученными при помощи осязания, он сказал бы с той же уверенностью, как вы и я: «Я сильно склонен думать, что вот это есть тело, которое я всегда называл кругом, а вот то—тело, которое я всегда называл

квадратом; но я остерегусь сказать, что это именно так. Откуда я знаю, что, если я приближусь к ним, они не исчезнут вдруг в моих руках? Откуда я знаю, что предметы моего зрения должны быть также предметами моего осязания? Я совершенно не знаю, является ли осязаемым то, что видимо мной. Но если бы я даже знал это и если бы я поверил на-слово окружающим, что то, что я вижу, есть действительно то, к чему я прикасался, то это не подвинуло бы меня далеко вперед. Эти предметы могли бы отлично подвергнуться превращению в моих руках и через посредство осязания дать мне ощущения, совершенно противоположные тем, которые я испытывал при помощи зрения. Господа,—мог бы он прибавить,—вот это тело кажется мне квадратом, а вот то—кругом, но я совершенно не убежден в том, что они таковы же для осязания, как и для зрения».

Если мы на место метафизика поставим геометра, на место Локка—Саундерсона, то, подобно последнему, он скажет, что, если решиться верить своим глазам, то из двух видимых фигур одна—это та, которую он называл квадратом, а другая—та, которую он называл кругом, «ибо я замечаю,—прибавил бы он,—что лишь в первой я могу натянуть нити и поместить булавки с толстой головкой, которыми я отмечал угловые точки квадрата, и что лишь во второй я могу вписать или описать около нее нити, которые мне были необходимы, чтобы доказать свойства круга. Вот, значит, круг! Вот, значит, квадрат! Но,—мог бы он прибавить вместе с Локком,—возможно, что если я приложу свои руки к этим фигурам, то они превратятся одна в другую, так что одна и та же фигура сможет служить мне для того, чтобы доказать слепым свойства круга, а зрячим—свойства квадрата. Может быть, глазами я буду видеть квадрат, а в то же время руками буду осязать круг. Нет,—поправил бы он себя,—я ошибаюсь. Те лица, которым я доказывал свойства круга и квадрата, не держали своих рук на моей счетной доске и не трогали нитей, которые я натянул и которые ограничивали мои фигуры; однако они меня

понимали. Следовательно, они не видели квадрата там, где я осязал круг, ибо иначе мы никогда не столкнувались бы между собой, иначе я им нарисовал бы одну фигуру и доказал бы свойство другой; я выдал бы им прямую линию за дугу окружности, а дугу—за прямую линию. Но так как они все понимали меня, то, значит, все люди видят одинаково, и, значит, я вижу квадратным то, что они видели квадратным, и круглым то, что они видели круглым. Таким образом, вот то, что я всегда называл квадратом, и вот то, что я всегда называл кругом».

Я подставил круг на место шара и квадрат на место куба, потому что по всей видимости мы судим о расстоянии лишь на основании опыта, и, следовательно, тот, кто пользуется своими глазами в первый раз, видит лишь поверхности и не знает, что такое выступы, ибо для зрения выступ какого-нибудь тела заключается в том, что некоторые из его точек кажутся нам ближе, чем другие.

Но если бы даже слепорожденный мог с первого же момента своего прозрения судить о выступах и трехмерности тел, если бы он был в состоянии отличать не только круг от квадрата, но и шар от куба, то я все же не думаю, что он сумел бы разбираться таким же образом в любом другом, более сложном предмете. Слепорожденная господина де-Реомюра, повидимому, различала цвета, но можно ставить тридцать против одного, что она говорила наугад названия шара и куба, и я убежден,—если только не апеллировать к чуду откровения,—что она неспособна была узнать своих перчаток, своего домашнего халата и своих башмаков. В этих предметах такая масса деталей, так мало общего между их формой в целом и формой частей тела, которые они украшают или покрывают, что Саундерсону было бы в сто раз труднее определить назначение своего берета, чем Даламберу<sup>34</sup> или Клеро<sup>35</sup> найти назначение его досок.

Саундерсон не преминул бы предположить, что существует некоторое геометрическое отношение между вещами и их употреблением; поэтому, на основании двух или трех аналогий, он умозаключил бы, что его ермолка сделана

для его головы: здесь нет никаких произвольных форм, способных сбить его с толку. Но что он мог бы подумать об углах и о кисточке своего берета? Для чего нужен этот пучок?—мог бы он спросить себя. Зачем четыре угла, а не шесть? Обе эти детали, являющиеся для нас просто предметом украшения, послужили бы для него источником массы нелепых рассуждений или, вернее, поводом для отличной сатиры на то, что мы называем хорошим вкусом.

При зрелом обдумывании вопроса надо признать, что различие между человеком, который всегда видел, но которому неизвестно назначение какого-нибудь предмета, и человеком, который знает назначение известного предмета, но который никогда не видел,—не в пользу последнего. Однако как вы думаете, сударыня, если бы вам сегодня впервые показали какое-нибудь украшение, догадались ли бы вы, что это—убор, и притом головной убор? Но если прозревшему слепорожденному, видящему в первый раз, тем труднее правильно судить о предметах, чем больше в них деталей, то что помешало бы ему принять одетого и сидящего неподвижно в кресле перед ним наблюдателя за предмет мебели или за машину, а дерево, листья и ветви которого качались бы от ветра, за движущееся, одушевленное и мыслящее существо? Сударыня, какую массу вещей сообщают нам наши чувства и как трудно было бы нам без глаз предположить, что мраморная глыба не мыслит и не чувствует!

Итак, можно считать доказанным, что Саундерсон, наверное, не ошибся бы только в своем суждении насчет круга и квадрата и что бывают такие случаи, где рассуждение и опыт других людей могут помочь зрению разобратся в показаниях осязания и сообщить ему, что то, что носит известный характер для глаза, носит такой же характер и для осязания.

Однако было бы очень важно, когда желают доказать какую-нибудь так называемую вечную истину, проверить это доказательство путем отказа от свидетельства чувств, ибо вы отлично знаете, сударыня, что если бы кто-нибудь захотел доказать вам, что проекция двух параллельных



прямых на доске сводится к двум сходящимся прямым, на том основании, что таковыми кажутся нам две аллеи, то это означало бы с его стороны непонимание того, что это предложение столь же истинно для слепого, как и для него самого.

Но наше предположение о слепорожденном наводит на мысль о двух других предположениях: во-первых, о человеке, который видел бы со дня рождения, но был бы лишен чувства осязания, и, во-вторых, о человеке, у которого зрение и осязание вечно противоречили бы друг другу. Относительно первого можно было бы задать вопрос, узнал ли бы он тела при помощи осязания, если бы ему сообщили нехватящее ему чувство и лишили его зрения при помощи повязки. Ясно, что, если бы он знал геометрию, то она дала бы ему безошибочное средство проверить то, противоречат ли друг другу или нет показания обоих чувств. Ему достаточно было бы для этого взять в руки куб или шар и доказать кому-нибудь свойства его и сказать, — предполагая, что его понимают, — что другие должны видеть кубом то, что он осязает в качестве куба, и что, следовательно, он держит в своих руках куб. Что касается человека, не знакомого с геометрией, то я думаю, что ему не легче было бы отличить путем осязания куб от шара, чем слепому господина Молине отличить их друг от друга путем зрения.

Что касается человека, у которого чувство зрения и осязания находились бы в противоречии друг с другом, то я не знаю, что он стал бы думать о формах, порядке, симметрии, красоте, безобразии и т. д. По всей видимости, он находился бы в таком же положении по отношению к этим вещам, в каком мы находимся по отношению к реальной длительности и протяженности существ. Он мог бы вообще утверждать, что известное тело имеет форму, но он должен был бы склоняться к мысли, что это — не та форма, которую он видит, и не та, которую он осязает. Такой человек мог бы быть недоволен своими чувствами, но его чувства не были бы ни довольны, ни недовольны предметами. Если бы он захотел обвинить

какое-нибудь из них в лживости, — я думаю, что он обрушился бы на чувство осязания. Он имел бы сотни поводов думать, что фигура предметов изменяется скорее под влиянием действия его рук на них, чем под влиянием действия предметов на его глаза. Но в силу этого предубеждения ему очень трудно было бы разобраться в значении разницы между твердым и мягким, наблюдаемой им в различных телах.

Но из того, что наши чувства не противоречат друг другу в вопросе о формах, следует ли, что эти последние нам лучше известны? Кто нам сказал, что мы не имеем дела с лжесвидетелями? И, тем не менее, мы выносим суждения. Увы, сударыня, когда кладешь человеческие познания на весы Монтэня, то оказываешься недалеко от того, чтобы усвоить себе его девиз, ибо что, действительно, знаем мы? Знаем ли мы, что такое материя? Нисколько. А что такое дух и мысль? Еще меньше того. А что такое движение, пространство и время? Ровно ничего не знаем. А геометрические истины? Расспросите добросовестных математиков, и они вам сознаются, что все их теоремы представляют тождества и что бесчисленное множество томов о круге, например, сводится к повторению на сотни тысяч различных ладов того, что это — фигура, в которой прямые, проведенные от центра к периферии, равны между собой. Таким образом, мы не знаем почти ничего. Однако сколько написано сочинений, авторы которых утверждают, что они что-то знают! Я не понимаю, как это людям не наскучит читать, не научаясь при этом ровно ничему, если только не предположить, что в основе здесь лежит то самое соображение, в силу которого я имею честь, уже целых два часа, беседовать с вами, не скучая сам, но в то же время ничего не говоря вам.

Остаюсь с глубоким уважением, сударыня, вашим покорнейшим и смиреннейшим слугой.

## Прибавление к письму о слепых

Я собираюсь набросать на бумаге, без всякого порядка, ряд фактов, которые не были мне ранее известны и которые послужат подтверждением или опровержением некоторых пунктов из моего *Письма о слепых*. Я написал его тридцать три или тридцать четыре года тому назад; я беспристрастно перечитал его и остался не очень недоволен им. Хотя первая часть его показалась мне более интересной, чем вторая, и хотя я подумал, что первую можно было бы немного расширить, а последнюю—значительно сократить, я их оставил в прежнем виде, из опасения, что написанные молодым человеком страницы не станут лучше от поправок, внесенных в них стариком. Думаю, что я тщетно старался бы теперь сформулировать иначе то, что удачно в *Письме* в смысле идей и выражения, и боюсь также оказаться неспособным улучшить то, что в нем неудачно. Один знаменитый современный нам художник тратит последние годы своей жизни на то, чтобы портить шедевры, созданные им в расцвете сил. Я не знаю, действительно ли те недостатки, которые он замечает в них, но либо он никогда не обладал талантом, необходимым для их исправления, дойдя в подражании природе до последних границ искусства,—либо, если он обладал этим талантом, он его потерял, ибо все человеческое гибнет вместе с чело-

веком. Для человека наступает момент, когда вкус диктует советы, правильность которых он сознает, но которыми он не имеет больше силы следовать.

Малодушие, порождаемое сознанием слабости, или лень, являющаяся одним из следствий слабости или малодушия, отбивают у меня охоту заняться работой, которая способна скорее ухудшить, чем улучшить мое произведение.

Solve senescentem mature sanus equum, no  
Peccet ad extremum ridendus et ili... ducat\*.

## Факты

I. Один художник, основательно владеющий теорией своего искусства и не уступающий никому другому в умении применять ее, уверял меня, что он судит о круглости сосновых шишек при помощи осязания, а не зрения. Он их тихонько катает между большим и указательным пальцами, различая, путем последовательных ощущений, небольшие неровности, которые ускользают от его глаз.

II. Мне рассказывали об одном слепом, который различал наощупь цвета материй.

III. Я мог бы привести в пример одного слепого, различавшего букеты с той тонкостью, которой хвалился Жан-Жак Руссо<sup>1</sup>, когда он—в шутку или серьезно—сообщал своим друзьям план открытия школы для обучения парижских цветочниц.

IV. В городе Амьене один слепой мастер управлял многолюдной мастерской с таким умением, точно он вполне владел своими глазами.

V. У одного зрячего зрение мешало верности руки:

\* Во время ты отпряги одряхлевшую лошадь,

Чтоб не споткнулась она, задыхаясь и смех вызывая  
(Гораций. Послание I, 8—9. Перев. Ф. А. Петровского).

чтобы побричь себе голову, он убирал зеркало и становился перед голой стеной. Так как слепой не видит опасности, то он оказывается благодаря этому бесстрашным, и я не сомневаюсь, что слепой мог бы ступать твердым шагом по узким и гибким доскам, переброшенным, в виде моста, через пропасть. Существует мало людей, голова которых не кружится на большой высоте.

VI. Кто не знал или не слышал о знаменитом Давиеле? <sup>2</sup> Я присутствовал несколько раз при производимых им операциях. Он снял катаракт у одного кузнеца, получившего его вследствие постоянной работы у огня кузницы. За двадцать пять лет слепоты кузнец этот так привык пользоваться осязанием, что нужно было принуждение, чтобы заставить его пользоваться возвращенным ему органом зрения. Давиель говорил ему, колотя его: «Будешь ли ты, наконец, смотреть, мучитель!..» Он ходил, он действовал, он делал с закрытыми глазами все то, что мы делаем с открытыми глазами.

Отсюда можно было бы заключить, что глаза вовсе не так необходимы для наших потребностей и не так существенны для нашего счастья, как мы готовы думать об этом. Есть ли на свете что-нибудь такое, к потере чего мы не стали бы равнодушными благодаря долгому лишению, не сопровождаемому никаким страданием, раз зрелище природы не представляло больше прелестей для оперированного Давиелем слепого? Может быть, лицезрение дорогой нам женщины? Я этому нисколько не верю, какие бы выводы ни сделали из факта, который я собираюсь сейчас рассказать. Воображают, что если кто-нибудь провел долгое время без зрения, то, с возвращением последнего, он без-устали будет смотреть,—но это неверно. Какое огромное различие между кратковременной слепотой и слепотой привычной!

VII. Благодаря доброте Давиеля к нему стекались из всех провинций Франции бедные больные с мольбою о помощи. Его репутация собирала в его операционной любознательную, просвещенную и многочисленную публику. Мне помнится, что однажды я присутствовал у него на

операции вместе с г. Мармонтелем<sup>3</sup>. Больной сидел. Вот у него снят катаракт, и Давиель положил свою руку на глаза его, только что открывшиеся для света. Рядом с больным какая-то престарелая женщина обнаруживала живейший интерес к успеху операции. При каждом движении оператора она дрожала всеми своими членами. И вот хирург делает ей знак, чтобы она приблизилась, и ставит ее на колени напротив оперированного больного; он отнимает свои руки, больной раскрывает глаза, смотрит и восклицает: «Ах, это моя мать!..» Я никогда не слышал более патетического крика; мне кажется, что я все еще слышу его. Старая женщина упала в обморок, слезы полились из глаз присутствующих, и кошельки их щедро раскрылись для пожертвований.

VIII. Из всех лиц, которые были лишены зрения со дня рождения, самой удивительной была—и будет—мадемуазель Мелани де-Салиньяк, родственница г. де-Лафарга, генерал-лейтенанта королевской армии, покрытого ранами и почестями старца, умершего на 91-м году отроду. Она—дочь госпожи де-Бласи, живущей еще и ныне и не проводящей и дня без скорби о ребенке, который составлял усладу ее жизни и предмет восхищения всех ее знакомых. Госпожа де-Бласи—женщина, выдающаяся своими моральными качествами; ее можно расспросить о правдивости моего рассказа. Я изложил под ее диктовку подробности жизни мадемуазель де-Салиньяк, которые могли ускользнуть от меня самого в период близкого знакомства с ней и ее семьей с 1760 до 1763 года, года ее смерти.

Она была очень рассудительна, обладала очаровательным, мягким характером, незаурядной тонкостью мысли и наивностью. Однажды одна из ее теток пригласила ее мать прийти помочь ей, чтобы принять хорошо 19 вандалов, которые должны были обедать у нее. И вот племянница заметила: *«Я совершенно не понимаю моей дорогой тетки. Зачем принимать хорошо каких-то девятнадцать вандалов? Что касается меня, то я желаю принимать хорошо лишь тех, кого я люблю».*

Звук голоса вызывал у нее то же самое очарование

и то же самое отвращение, какое выражение лица вызывает у зрячих людей. Один из ее родственников, главный сборщик податей, поступил, вопреки ее ожиданию, нехорошо с ее семьей, и она с изумлением говорила: *«Кто бы мог ожидать этого от такого приятного голоса?»* Слушая пение, она различала голоса-*брюнеты* и голоса-*блондины*.

Когда с ней говорили, она судила о росте говорящего по направлению звука, который шел сверху вниз, если говорящий был высокого роста, и снизу вверх, если он был низкого роста.

Она вовсе не желала получить зрение. Когда я однажды спросил у нее о причине этого, то она мне ответила: «Дело в том, что в этом случае я обладала бы только своими глазами, между тем как теперь я пользуюсь глазами всех. В силу своего недостатка я являюсь постоянным предметом интереса и сострадания окружающих; мне оказывают каждую минуту одолжения, и каждую минуту я должна быть благодарной кому-нибудь; увы, если бы я видела, то вскоре перестали бы интересоваться мной».

Ошибки зрения уменьшали в ее глазах ценность его. «Я нахожусь,—говорила она, например,—у начала длинной аллеи; в конце ее есть какой-то предмет; один из вас видит, что он движется, другой—что он находится в покое; один из вас утверждает, что это животное, другой—что это человек; при приближении же оказывается, что это пень. Никто не знает, кругла ли или квадратна башня, которая видна вдали. Я не боюсь вихря пыли, между тем как окружающие меня закрывают глаза и становятся несчастными, иногда на целый день, из-за того, что не закрыли их во-время. Достаточно незаметного атома, чтобы доставить им такое жестокое мучение...» С приближением ночи она говорила, что *наше царство кончается, и начинается ее царство*. Живя во мраке, с привычкой действовать и думать в течение вечной ночи, она, разумеется, не страдала от столь докучающей нам бессонницы.

Она не могла мне простить того, что я написал, что, так как слепые не видят симптомов страдания, то они дол-

жны быть жестокими. «И вы воображаете,—говорила она мне,—что вы слышите так, как я, жалобы?—Есть несчастные, которые умеют страдать, не жалуясь.—Мне кажется,—прибавила она,—что я скоро угадала бы это и стала бы только больше жалеть их».

Она страстно любила чтение и до безумия—музыку. «Я думаю,—говорила она,—что никогда не устану от хорошего пения или хорошей игры на музыкальном инструменте, и если бы на небе наслаждались только одним этим счастьем, я весьма желала бы быть там. Вы были правы, утверждая, что музыка—самое захватывающее из изящных искусств, не исключая поэзии и красноречия, что даже Расин<sup>4</sup> не выражался с такой деликатностью, как арфа, что мелодия его стиха была тяжелой и монотонной по сравнению с мелодией какого-нибудь музыкального инструмента и что вы часто желали придать своему стилю силу и легкость музыки Баха<sup>5</sup>. Что касается меня, то я нахожу музыку прекраснейшим из известных мне языков. В разговорных языках, чем лучше произношение, тем больше приходится расчленять слоги; в музыкальном же языке все звуки, начиная от самых низких и кончая самыми высокими, и наоборот, расположены в один ряд, незаметно следуя друг за другом. Это, так сказать, один непрерывный долгий слог, изменяющийся каждое мгновение по интонации и по выражению. В то время, как мелодия доносит до моего уха этот слог, гармония исполняет без всякой путаницы, на массе различных инструментов, два, три, четыре или пять слогов, которые все способствуют усилению выразительности первого слога, и аккомпанемент является толкованием, без которого я могу отлично обойтись, если композитор—талантливый человек и умеет придать характерное выражение своей мелодии.

«Музыка особенно выразительна и восхитительна в ночном молчании.

«Я убеждаюсь, что зрячие, внимание которых отвлекается зрением, не способны ни слушать, ни понимать музыки так, как я слушаю и понимаю ее. Почему похвалы ей, которые я слышу, кажутся мне бледными и слабыми?



Почему я не могу никогда высказаться о ней так, как я это чувствую? Почему я оставаюсь посреди своей речи в тщетных поисках слов, которые выразили бы надлежащим образом мои ощущения? Неужели такие слова еще не найдены? Я могу сравнить действие музыки лишь с опьянением, охватывающим меня, когда, после долгого отсутствия, я бросаюсь в объятия своей матери, когда я лишаюсь голоса, все члены мои дрожат, слезы текут, колени подкашиваются и я себя чувствую так, точно вот-вот умру от радости».

У нее очень тонко было развито чувство стыдливости, и когда я спросил ее о причине этого, она мне ответила: «Это—плод бесед моей матери: она мне так часто повторяла, что вид известных частей тела толкает на путь порока; если бы я имела смелость, я призналась бы вам, что я лишь недавно поняла это и что, может быть, для этого необходимо было, чтобы я перестала быть невинной».

Она умерла от внутренней опухоли в половых органах, рассказать о которой у нее нехватило мужества.

В своей одежде, в белье, во всей своей особе она соблюдала тем более изысканную чистоту, что, не видя, она никогда не была вполне уверена, что сделала все необходимое, чтобы не вызвать у зрячих отвращения к проявлениям нечистоплотности.

Когда ей наливали какой-нибудь напиток, то по звуку льющейся жидкости она узнавала, наполнен ли ее стакан. Она принимала пищу с удивительной осторожностью и ловкостью.

Она иногда в шутку становилась перед зеркалом, чтобы наряжаться, подражая всем манерам готовящейся в бой кокетки, и делала это с такой ловкостью, что нельзя было удержаться от смеха.

С самой ранней молодости ее родные постарались развить имеющиеся у нее чувства, и в этом они добились невероятных успехов. Благодаря осязанию она узнавала такие детали о формах тел, которые часто оставались неизвестными самым зорким людям.

У нее были удивительно тонкий слух и обоняние По

впечатлению от воздуха она судила о состоянии атмосферы, о том, облачно ли небо или ясно, идет ли она по площади или по улице, по улице или переулку, в открытом или закрытом месте, в обширном помещении или в маленькой комнате.

Она определяла размеры какого-нибудь ограниченного пространства по шуму своих шагов или по эхо от своего голоса. Стоило ей пройти внутри какого-нибудь дома, и топография его оставалась запечатленной в ее голове, так что она предупреждала других о маленьких неприятностях, которым они рисковали подвергнуться: *«Берегитесь, — говорила она, — здесь слишком низкая дверь, там вы найдете ступеньку»*.

Она находила в голосах неизвестное нам разнообразие, и когда она слышала чей-нибудь разговор, то воспоминание о голосе этого человека оставалось у нее навсегда.

Она была мало чувствительна к прелестям молодости, и ее мало смущали морщины старости. Она говорила, что для нее опасны только сердечные и умственные свойства. Это является еще одним из преимуществ отсутствия зрения, особенно для женщин. *«Никогда, — говорила она, — красивый мужчина не вскружит мне голову»*.

Она была доверчива. Было так легко и было бы так подло обмануть ее! Было бы непростительным вероломством заставить ее думать, что она находится одна в комнате.

Она не испытывала никогда панического страха; она редко страдала от скуки; одиночество научило ее довольствоваться самой собой. Она заметила, что в дороге, в дилижансах, люди к вечеру становятся молчаливыми. *«Что касается меня, — говорила она, — мне не нужно видеть тех, с кем мне приятно беседовать»*.

Из всех качеств она особенно ценила здравое суждение и мягкость, и веселость характера.

Она говорила мало и слушала много. *«Я похожа на птицу, — говорила она: — я учусь петь во мраке»*.

Сравнивая то, что она слышала в разное время, она возмущалась противоречивостью наших суждений. Ей ка-

залось почти безразличным, слушать похвалу или порицание от столь непоследовательных существ.

Ее научили читать при помощи вырезных букв. У нее был приятный голос; она пела со вкусом; она охотно провела бы свою жизнь в концертном зале или в опере. Ей была неприятна только шумная музыка. Она танцевала восхитительным образом; она отлично играла на альт-виоле, и благодаря этому ее общества искали ее сверстники и сверстницы, чтобы научиться модным танцам и контрредансам.

Она была любимицей своих братьев и сестер. «Вот,—говорила она,—чем я обязана своей инвалидности: ко мне привязываются благодаря оказываемым мне услугам и благодаря усилиям, которые я делаю, чтобы отблагодарить за них и заслужить их. Прибавьте к этому, что мои братья и сестры независтливы. Если бы я обладала зрением, то это было бы в ущерб моему уму и сердцу. У меня столько оснований быть доброй! Чем бы я стала, если бы перестала внушать интерес к себе?»

Когда ее родные обеднели, она жалела только о том, что должна была лишиться учителей; но они были так привязаны к ней и так уважали ее, что преподаватели геометрии и музыки настойчиво убеждали ее согласиться принимать даром их уроки. И она говорила своей матери: *«Мама, как поступить? Они ведь небогаты, и им нужно все их время.»*

Ее научили музыке при помощи выпуклых нот, размещенных на линейках, возвышающихся на поверхности большого стола. Она читала эти ноты рукою; она играла их на своем инструменте и в короткий срок выучивала самую длинную и самую сложную музыкальную вещь.

Она знала начатки астрономии, алгебры и геометрии. Ее мать, читавшая ей книгу аббата де-Лакайля, спрашивала у нее иногда, понимает ли она прочитанное. *«Отлично»*,—отвечала она.

Она уверяла, что геометрия—подлинная наука слепых, потому что она требует большого внимания и потому что нет нужды в посторонней помощи, чтобы усовершенство-

ваться в ней. *«Геометр, — прибавляла она, — проводит почти всю свою жизнь с закрытыми глазами».*

Я видел карты, по которым она изучала географию. Параллели и меридианы были изображены проволоками из латуни; границы государств и провинций были отмечены бумажными, шелковыми и шерстяными нитями различной толщины; реки, ручьи и горы — более или менее толстыми булавочными головками, а более или менее крупные города — каплями воска неравной величины.

Я сказал ей однажды: *«Мадемуазель, вообразите себе куб».* — Я вижу его. — *«Вообразите в центре куба точку».* — Готово. — *«Проведите из этой точки прямые к углам куба; сделав это, вы разделили куб».* — На шесть равных пирамид, — прибавила она сама, — имеющих равные грани, основанием — грань куба и высотой — половину его высоты. — *«Это верно, но где вы это видите?»* — В своей голове, как и вы.

Сознаюсь, что я никогда не мог понять толком, как она представляла себе фигуры в голове, не расцветивая их. Создавался ли у нее этот куб из воспоминаний об ощущениях осязания? Стал ли ее мозг своего рода рукой, как бы ощупывавшей вещества? Установилось ли, в конце концов, какое-либо соответствие между двумя различными чувствами? Почему нет этой связи у меня, и почему я ничего не вижу в своей голове, если я не расцветиваю этого? Что такое — воображение слепого человека? Явление это не так легко объяснить, как думают.

Она писала при помощи булавки, которой она протыкала лист бумаги, натянутый на раму с двумя подвижными параллельными пластинками, оставлявшими между собой промежуток для одной строки. Она пользовалась тем же способом для ответных писем, которые она читала,водя концом пальца по небольшим неровностям, образованным булавкой или иглой на оборотной стороне бумаги.

Она читала книгу, напечатанную только с одной стороны. Про напечатал для нее книгу таким образом.

В *Меркурии*<sup>6</sup> той эпохи было помещено одно из ее писем.

У нее хватило терпения переписать при помощи иголки *Abrégé historique* президента Эно<sup>7</sup>, и я получил от мадам де-Бласи, ее матери, эту любопытную рукопись.

Вот факт, которому поверят с трудом, несмотря на свидетельство всей ее семьи, мое собственное свидетельство и свидетельство двадцати живых еще лиц. Если ей говорили из стихотворения в двенадцать-пятнадцать стихов первую букву и количество букв, из которых было составлено каждое слово, то она угадывала заданное ей стихотворение, каким бы оно ни было странным. Я проделал с ней опыт на пародиях Колле<sup>8</sup>. Она наталкивалась иногда на выражения более удачные, чем у самого поэта.

Она очень быстро вдевала нитку в самую тонкую иголку: для этого она растягивала нитку или шелковинку на указательном пальце левой руки и вытягивала затем ее при помощи очень тонкого острия через ушко иголки, расположенное перпендикулярным образом.

Она была искусница на всякого рода рукоделия: она делала рубцы, цельные или ажурные кошельки различных рисунков, различных цветов; она делала подвязки, браслеты, ожерелья из стекляруса, мелкого, как типографский шрифт. Я не сомневаюсь, что она была бы отличным наборщиком, ибо кто способен на большее, тот способен и на меньшее.

Она играла превосходно в реверси, медиатор и кадрилль<sup>9</sup>. Она сама располагала свои карты, различая их при помощи мелких знаков, которые она узнавала наощупь и которых другие не могли распознать ни на глаз, ни наощупь. При игре в реверси она меняла знаки у тузов, особенно у туза бубен и у квинолы. Единственное одолжение, которое ей делали, было то, что при игре называли карты. Если случалось, что была угроза для квинолы, то на ее устах появлялась улыбка, которую она не могла сдержать, хотя она знала, что это нескромно.

Она была фаталисткой; она думала, что все наши усилия уйти от своей судьбы только приводят нас к ней. Я не знаю, каковы были ее религиозные убеждения; она держала это в секрете из уважения к своей матери.

Мне останется только изложить вам ее взгляды насчет письма, рисунка, граверного искусства, живописи. По моему, трудно быть ближе к истине, чем была она; во всяком случае, таков вывод, который, я думаю, приходится сделать из нижеследующего разговора, одним из участников коего был я. Заговорила первой она.

— Если бы вы при помощи стилета начертили на моей руке нос, рот, мужчину, женщину, дерево, то, наверное, я узнала бы их; не сомневаюсь, что я была бы способна, если бы рисунок был точным, узнать, кого вы нарисовали бы мне: моя рука стала бы для меня чувствительным зеркалом; но разница в чувствительности между этим полотном и органом зрения должна быть велика.

Таким образом, я предполагаю, что глаз, это—какое-то живое полотно бесконечно тонкой чувствительности; воздух поражает какой-нибудь предмет, от последнего он отражается к глазу, который получает от этого бесконечное множество впечатлений, различных в зависимости от природы, формы, цвета предмета, а, может быть, и свойств воздуха, не известных мне, а также и вам; разнообразие этих ощущений и дает вам изображение предмета.

Если бы кожа моей руки была так же чувствительна, как ваши глаза, то я видела бы своей рукой так, как вы видите глазами, и я иногда представляю себе, что существуют слепые, но тем не менее зрячие животные.

— А что вы скажете о зеркале?

— Если не все тела являются зеркалами, то в силу какого-нибудь недостатка своего строения, мешающего отражению воздуха. Я тем более стою за эту мысль, что полированные золото, серебро, железо, медь становятся способными отражать воздух, а мутная вода и исцарапанное стекло теряют это свойство.

Письмо отличается от рисунка, рисунок—от эстампа, а эстамп—от картины разнообразием ощущений, а, следовательно, и различной способностью отражать воздух, свойственной употребляемым вами при этом веществам.

Письмо, рисунок, эстамп, одноцветная картина—это как бы гравюры различных сортов.

— Но если имеется только один цвет, то должно было бы только отличать этот цвет.

— Очевидно, фон полотна, толщина слоя краски и способ употребления ее вносят в отражение воздуха какое-то отличие, соответствующее различию форм. Впрочем, не спрашивайте у меня ничего больше, я только это и знаю.

— А я тщетно буду пытаться научить вас большему.

Я не рассказал вам об этой молодой слепой всего, что я мог бы наблюдать, если бы навещал ее чаще и расспрашивал с надлежащим умением. Но даю вам свое честное слово, что все, написанное мною, основывается на личном опыте.

Она умерла двадцати двух лет от роду. При своей колоссальной памяти и при таком же огромном уме, какую блестящую научную карьеру сделала бы она, если бы ей суждена была более долгая жизнь! Ее мать читала ей исторические книги, и это было занятным, одинаково полезным и приятным для обеих.

## Письмо Вольтеру

11 июня 1749 г.

Минута, когда я получил ваше письмо, дорогой мэтр, была одной из самых радостных в моей жизни. Я бесконечно благодарен вам за приложенную к нему книгу. Вы не могли послать своего произведения другому человеку, который был бы большим вашим поклонником, чем я. Люди бережно хранят знаки благоволения сильных мира. Что касается меня, для которого все различие между людьми заключается лишь в их качествах, то я ставлю это доказательство вашего уважения настолько же выше знаков благоволения сильных мира, насколько последние ниже вас. Пусть теперь эти господа думают о моем «*Письме о слепых*» все, что им угодно; оно вам не понравилось, мои друзья находят его удачным: с меня этого достаточно.

И так же мало разделяю взгляды Саундерсона, как и вы, но, может быть, потому, что я *вижу*. Наблюдаемые нами в мире отношения, так поражающие нас, не производят того же эффекта на слепого; он живет в вечном мраке, и этот мрак должен придавать большой вес, с его точки зрения, его метафизическим доводам. Обыкновенно ночью поднимаются туманы, застилающие в моей душе свет бытия божия. Восход солнца их всегда рассеивает.



Но для слепца мрак длится постоянно, и солнце восходит лишь для зрячих. Не думайте, что Саундерсон должен был замечать то, что вы бы заметили на его месте: вы не можете стать на место другого человека, не изменяя радикальным образом положения вопроса.

Вот несколько соображений, которыми я мог бы подкрепить доводы Саундерсона, если бы я не боялся тех господ, которых вы так хорошо описали в письме ко мне.

Если бы некогда не было существ, сказал бы я на его месте, то их никогда бы не было, ибо, чтобы придать себе существование, надо действовать, а чтобы действовать—надо быть; если бы всегда были только материальные существа, то никогда бы не было духовных существ, ибо духовные существа или сами дали бы себе существование, или получили бы его от материальных существ; они были бы модусами последних или, по крайней мере, их действиями, что, конечно, вас не удовлетворяет. Но если бы всегда были только духовные существа, то, как вы увидите, никогда не было бы материальных существ. Здравая философия разрешает мне признавать в вещах лишь то, что я замечаю в них отчетливо; но в духе я замечаю отчетливо лишь способности хотеть и мыслить, а мысль и воля могут действовать на материальные существа или на небытие не более, чем небытие и материальные существа могут действовать на духовные существа. Утверждать, что не может быть действия небытия и материальных существ на чисто духовные существа, потому что мы совершенно не воспринимаем возможности этого действия, это значит признавать также, что не может быть действия чисто духовных существ на телесные существа, ибо возможность этого действия так же трудно представить себе. Таким образом, из этого допущения и из моего рассуждения, продолжал бы Саундерсон, следует, что телесное существо не менее независимо от духовного существа, чем духовное существо—от телесного существа, что они составляют в совокупности вселенную и что вселенная есть

бог. Какую силу могло бы придать этому рассуждению то общее вам с Локком мнение, что мысль, может быть, является некоторой модификацией материи!

Но,—станете вы ему возражать,—а эти бесконечные отношения, которые я нахожу в вещах, а этот чудесный порядок, обнаруживающийся со всех сторон,—что думать обо всем этом?—Что это—метафизические сущности, существующие только в вашем уме, мог бы он ответить вам. Обширный пустырь засыпает разбросанными наугад обломками; среди этих обломков червяк и муравей находят для себя очень удобные жилища. Что сказали бы вы об этих насекомых, если, приняв за реальные сущности отношения между местом своего пребывания и своей организацией, они стали бы восторгаться красотой этой подземной архитектуры и верховным разумом садовника, устроившего вещи таким образом для них?

Ах, милостивый государь, как легко слепцу затеряться в лабиринте подобных рассуждений и умереть атеистом! Впрочем, это не относится к Саундерсону. Умирая, он предал себя в руки бога Кларка, Лейбница и Ньютона, подобно тому, как израильтяне предавали себя в руки бога Авраама, Исаака и Иакова, потому что он находился приблизительно в таком же положении. Я уступал ему то, что остается даже у самых решительных скептиков, именно некоторую надежду, что они ошибаются. Но так ли это или нет, я не придерживаюсь их взгляда. *Я верю в бога*, хотя живу в ладу с атеистами. Я заметил, что прелести порядка пленяют и их, несмотря на все их предубеждения; что они восторгаются красотой и добром и что, когда они обладают вкусом, то они не в состоянии ни вынести скверной книги, ни выслушать терпеливо скверного концерта, ни терпеть в своем кабинете скверной картины, ни совершить скверного поступка. С меня этого вполне достаточно! Они утверждают, что все происходит в силу необходимости. По их мнению, человек, оскорбляющий их, оскорбляет их не более свободным образом, чем оскорбляет их кирпич, падающий на голову с крыши: но они

не смешивают этих причин и никогда не возмущаются кирпичом. Этот факт тоже меня успокаивает. Поэтому, если очень важно не смешивать цыкуты с петрушкой, то совершенно не важно, верить или не верить в бога: «Мир,—сказал Монтэнь,—это мяч, отданный на забаву философам», и почти то же самое я готов сказать о самом божестве.

До свиданья, дорогой мэтр.



**МЫСЛИ ОБ ОБЪЯСНЕНИИ ПРИРОДЫ.  
ФИЛОСОФСКИЕ ПРИНЦИПЫ, О МАТЕРИИ  
И ДВИЖЕНИИ.**



## Мысли об объяснении природы

### *Молодым людям, имеющим склонность к изучению естественной философии*

Молодой человек, возьми и читай это произведение. Если ты сможешь дочитать его до конца, ты будешь способен понимать лучшее. Так как я скорее склонен к тому, чтобы упражнять твой ум, чем обучать тебя, то для меня не важно, воспримешь ли ты мои идеи или отвергнешь их, лишь бы они всецело овладели твоим вниманием. Кто-нибудь, более способный, научит тебя познавать силы природы,—для меня будет достаточно заставить тебя испытать свои. Прощай!

*P. S.* Еще одно слово, и я оставляю тебя. Помни всегда, что природа не бог, человек не машина, гипотеза не факт, и будь уверен, что ты неверно поймешь меня во всех тех местах этого произведения, где, по твоему мнению, ты заметишь что-нибудь, противоречащее этим принципам.

Quae sunt in luce tuemur  
E tenebris\*.

\* Цитата взята Дидро из IV главы поэмы Лукреция *О природе вещей*. Стих 312 в действительности таков: «E tenebris autem quae sunt in luce tuemur». (Мы, в темноте находясь, освещенные видим предметы. Перев. Ф. А. Петровского.)

## I

Я буду писать о природе. Пусть мысли мои выходят из-под пера в том порядке, в каком предметы отражаются в моем сознании; так лучше обозначится движение и ход моих мыслей. Это будут или общие взгляды на опыт, или частные взгляды отдельных лиц на явление, которое, повидимому, занимает и делит на две группы всех наших философов. У одних из них, по моему мнению, много инструментов и мало идей, у других—много идей и вовсе нет инструментов. Интересы истины, казалось бы, требуют, чтобы те, которые размышляют, сообразовали, наконец, объединиться с теми, которые действуют, чтобы умозрительный философ предавался движению, чтобы экспериментатор видел перед собой цель своих бесконечных движений, чтобы объединить и одновременно направить против покорной природы все наши силы и чтобы в этой, так сказать, лиге философов каждый исполнял свою роль.

## II

Область математиков—интеллектуальный мир; такова истина, с величайшей смелостью и твердостью провозглашенная в наши дни\*, истина, которую не упустит из виду хороший физик и которая, наверное, повлечет за собой весьма плодотворные последствия. То, что в этой области принимается за строгую истину, совершенно теряет это свое преимущество, когда спускается к нам, на нашу землю. Отсюда сделали вывод, что дело экспериментальной философии—внести поправки в построения геометрии, и этот вывод был признан самими геометрами. Но для чего исправлять геометрическое построение с помощью опыта? Не проще ли удовлетвориться результатами опыта? Ясно, что математические науки, особенно высшие, не дают без опыта точных выводов, что они представляют собою нечто вроде общей метафизики, где тела лишаются своих индиви-

\* См. *Естественную историю, общую и частную* Бюффона и Добентона, т. I, рассуждение I. [*Прим. автора.*]



дуальных качеств, и что, пожалуй, оставалось бы только написать труд под названием: *Применение опыта в геометрии*, или *Трактат об ошибках измерений*.

### III

Я не знаю, есть ли что-нибудь общее между сущностью игры и умом математика, но есть много общего между игрой и математикой. Оставляя в стороне неуверенность в исходе игры, создаваемую удачей или неудачей, или сравнивая ее с неточностью в абстрактных вычислениях в математике, мы можем рассматривать партию игры, как неопределенный ряд проблем, подлежащих, при данных условиях, разрешению. Нет ни одного вопроса в математике, к которому не подошло бы такое определение; *вещь* математика существует в природе не больше, чем *вещь* игрока. И в том, и в другом случае мы имеем дело с условным явлением. Геометры, унижая метафизиков во мнении людей, были далеки от мысли, что вся их паука — не что иное, как метафизика. Однажды спросили геометра: «Кого называют метафизиком?» Геометр ответил: «Человека, который ничего не знает». Химики, физики, патуралисты и все те, кто прибегает к опыту, в своих исследованиях, оскорбленные не менее метафизика в своих чувствах, кажется, готовы отомстить за метафизику и отнести то же самое определение к геометру. Они говорят: «К чему все эти глубокие теории о небесных телах, все эти бесконечные вычисления рациональной астрономии, если они не избавляют Брэдли<sup>1</sup> или Лемонье<sup>2</sup> от необходимости делать наблюдения над небом?» А я говорю: «Счастлив геометр, у которого серьезное изучение абстрактных наук не ослабило чувства прекрасного, которому Гораций<sup>3</sup> и Тацит так же близки, как и Ньютон, который сумеет открыть свойства кривой и почувствовать красоты поэтического произведения, мысль и открытия которого останутся на все времена и который будет почтен всеми академиями! Он не погрязнет во мраке неизвестности, не будет бояться пережить свое имя».

## IV

Мы—в преддверии великой революции в научной области. По той склонности умов к морали, к литературе, к истории природы, к опытной физике, которая замечается в настоящее время, я почти с уверенностью скажу, что не пройдет и ста лет, как в Европе нельзя будет насчитать трех великих геометров<sup>4</sup>. Геометрия остановится на том месте, где ее оставят Бернулли<sup>5</sup>, Эйлер<sup>6</sup>, Мопертюг<sup>7</sup>, Клеро, Фонтэн<sup>8</sup>, Даламбер и Лагранж<sup>9</sup>. Они поставят Геркулесовы столбы. Дальше этих столбов не пойдут. Труды их будут жить в грядущих веках, подобно египетским пирамидам, которые своими спещерными иероглифами громадами пробуждают в нас ужасающую мысль о могуществе и богатствах людей, воздвигших их.

## V

Когда начинается зарождающаяся какая-нибудь наука, то, благодаря величайшему уважению, которым пользуются в обществе основоположники ее, благодаря желанию самому познать вещь, о которой много говорят, благодаря надежде прославиться каким-нибудь открытием, наконец, из честолюбивых побуждений приобщиться к сонму знаменитых людей,—все устремляется к этой науке. В течение короткого времени ею занимается бесконечное множество разных лиц. Это или светские люди, которых гнетет безделье, или перебежчики из других областей знания, мечтающие создать себе в модной науке репутацию, которой они тщетно добивались в другой области; одни делают себе из нее ремесло, другие тяготеют к ней по склонности. Такая масса сил, сосредоточенных на этой науке, довольно быстро приводит ее к тому пределу, до которого она может дойти. Но по мере того, как ее границы расширяются, границы уважения к ней суживаются. Остается уважение только к тем, кто отмечен превосходством сил. Толпа тает, уже не отправляются теперь в неведомую страну, где счастье стало редким. Остаются там только торговцы, которым она даст кусок хлеба, да несколько гениальных

людей, которых она продолжает прославлять еще долго после того, как престиж ее пал и открылись глаза на бесполезность их труда. На эти работы смотрят как на подвиг, делающий честь человечеству. Вот краткий исторический очерк геометрии и всех наук, которые перестанут просвещать или править; я не исключаю отсюда и историю природы.

## VI

Сопоставляя бесконечное множество явлений природы с ограниченностью нашего ума и слабостью наших органов и принимая во внимание медленность наших работ, долгие и частые перерывы в них и редкое появление гениев-творцов, что можем мы познать, кроме разрозненных частей, оторванных от великой цепи, связывающей все существа?.. Пусть экспериментальная философия работает целые века, и все-таки материал, собранный ею, не поддающийся, в конце концов, обработке, благодаря своей подавляющей массе, далеко еще не был бы исчерпывающим. Сколько нужно было бы томов только для того, чтобы вместить одни лишь термины, обозначающие различные группы явлений, если бы явления были нам известны! Когда, наконец, философский язык станет законченным? А если бы он стал когда-нибудь законченным, кто же из людей мог бы знать его? Если бы вечный, чтобы явить нам свое всемогущество более очевидным образом, чем оно проявлено им в чудесах природы, соблаговолил собственной рукой начертать на страницах книги сущность мирового механизма, кто поверит, что эта грандиозная книга была бы более доступна нам, чем сама вселенная? Сколько страниц понял бы тот философ, который, несмотря на всю мощь своего ума, не был уверен в том, что усвоил хотя бы только выводы, с помощью которых один древний геометр определял отношение шара к цилиндру. На ее страницах мы нашли бы довольно хорошую меру для силы нашего ума и еще лучшую сатиру на наше тщеславие. Мы могли бы сказать: Ферма<sup>10</sup> дошел до такой-то страницы, Архимед<sup>11</sup> подвинулся на несколько страниц дальше. Какова же наша цель?

Выполнение работы, которая никогда не может быть выполнена и которая была бы выше человеческого понимания, если бы была закончена. Не безумнее ли мы первых обитателей равнины Сенаар? Мы знаем, что между землей и небесами бесконечное расстояние, а не перестаем возводить башню<sup>12</sup>. Но можно ли предположить, что наступит время, когда наша обескураженная гордость бросит эту работу? На основании чего можно судить, что, живя здесь в тесноте и среди неудобств, она все-таки будет упорно трудиться над постройкой необитаемого дворца за пределами атмосферы? Если же она будет упорствовать, не остановит ли ее смещение языков, уже теперь слишком дающее себя знать и слишком неудобное в естественной истории? Впрочем, все подчинено полезности. Полезность через несколько столетий положит пределы опытной физике, подобно тому, как теперь она делает это с геометрией. Я отпускаю этой науке несколько столетий, потому что сфера полезности бесконечно обширнее, чем у какой-либо абстрактной науки, и потому что она бесспорно является основой наших истинных знаний.

## VII

Поскольку вещи существуют только в нашем разумении, они являются лишь нашими мнениями; это наши понятия, которые могут быть истинными или ложными, спорными или бесспорными. Они становятся устойчивыми только в связи с внешними предметами. Эта связь создается или непрерывной цепью опытов, или непрерывной цепью рассуждений, которая одним концом упирается в наблюдение, а другим—в опыт, или цепью то там, то здесь среди рассуждений рассеянных опытов, как груз на нитке, подвешенной с обоих концов: без груза нитка стала бы игрушкой малейших колебаний воздуха.

## VIII

Понятия, не имеющие никакой опоры в природе, можно сравнить с теми лесами севера, где деревья—без корней. Достаточно легкого порыва ветра, чтобы перевернуть це-

лый такой лес,—достаточно незначительного факта, чтобы перевернуть целый лес представлений.

## IX

Люди едва чувствуют, как суровы законы отыскания истины и как ограничены наши средства. Все сводится к тому, чтобы от чувств переходить к размышлению и от размышления—к чувствам; непрерывно углубляться в себя и возвращаться к действительности, это—работа пчелы. К чему летать от цветка к цветку, если не входишь в улей, наполненный воском? Бесцельно собирать воск, если не умеешь делать из него соты.

## X

Но, к несчастью, легче и короче осведомляться у себя, чем у природы. К тому же разум склонен пребывать в самом себе, а инстинкт—растекаться наружу. Инстинкт беспрестанно рассматривает, пробует, трогает, слушает, и он, может быть, больше научился бы опытной физике, изучая животных, чем следя за курсом какого-нибудь профессора. В поступках животных нет шарлатанства. Они идут к своей цели, не заботясь о том, что окружает их: если они удивляют нас, то это вовсе не входит в их намерения. Удивление—первое действие, производимое грандиозным явлением; задача философии—рассеять его. Курс опытной философии должен сделать слушателей более образованными, а не более изумленными. Гордиться явлениями природы, приписывая себе авторство их, значит подражать глупости издателя *Опытов*, который не мог слышать имени Монтэня без краски стыда<sup>13</sup>. Признание недостаточности своих знаний—великий урок; у людей часто бывает повод давать такой урок. Не лучше ли приобрести доверие других искренним заявлением: *я ничего не знаю*, чем бормотать какие-то слова и становиться жалким в своих потугах найти всему объяснение? Кто откровенно сознается в незнании того, чего он не знает, располагает меня к себе и побуждает верить тому, что он начинает мне объяснять.

## XI

Удивление часто возникает оттого, что мы предполагаем существование многих чудес там, где есть только одно чудо; оттого, что мы воображаем наличность в природе стольких отдельных актов, сколько насчитывается явлений, между тем как природа никогда, может быть, не производила более одного акта. Если бы даже она была поставлена в необходимость производить много актов, то разнообразные результаты их, повидимому, проявлялись бы изолированно; появились бы группы независимых друг от друга явлений, и вся эта цепь, непрерывность которой предполагается в философии, распалась бы во многих местах. Абсолютная независимость хотя бы одного факта несовместима с представлением о целом, а без представления о целом нет философии.

## XII

Повидимому, природе нравится бесконечно и разнообразно варьировать один и тот же механизм\*. Она оставляет какой-нибудь род своих произведений только после того, как умножит во всевозможных видах индивидов его. Рассматривая животное царство и замечая, что среди четвероногих нет ни одного животного, функции и части которого, особенно внутренние, целиком не походили бы на таковые же другого четвероногого, разве не согласишься охотно, что некогда было одно первое животное, прототип всех животных, некоторые органы которого природа удлинит, укоротит, трансформировала, умножила, сращила—и только. Вообразите соединенными вместе пальцы руки и ногтевую ткань в таком изобилии, что, расширяясь и вздуваясь, она заволакивает и покрывает все,—место

\* См. в *Естественной истории* Бюффона историю осла и небольшую работу на латинском языке под заглавием *Dissertatio inauguralis metaphysica, de universalis naturae systemate pro gradu doctoris habita*, отпечатанную в Эрлангене в 1751 г. и привезенную во Францию г. де-М... [Мопертюи] в 1753 г. [*Прим. автора.*]

руки человека вы будете иметь ногу лошади\*. Видя, как последовательные метаморфозы покрова прототипа, каков бы он ни был, незаметными переходами сближают одно царство с другим, как они заселяют *межи* двух царств (если мне будет позволено употребить термин *межи* для обозначения границ там, где на самом деле нет никакого деления) и как они заселяют, говорю я, *межи* двух царств существами сомнительными, неопределенными, по большей части лишенными форм, свойств и функций одного царства и снабженными формами, свойствами и функциями другого,—видя все это, кто не почувствовал бы в себе склонность поверить тому, что некогда было только одно первое существо—прототип всех живых существ? Но признаете ли вы вместе с доктором Бауманом<sup>14</sup> истинной эту философскую догадку или отвергнете ее, как ложную, вместе с Бюффоном,—вы все-таки не будете отрицать, что следует принять ее как гипотезу, важную для прогресса опытной физики и рациональной философии, для открытия и объяснения явлений, связанных с организацией живых существ. Ибо очевидно, что природа не могла сохранить столько сходства в частях и установить столько разнообразия в формах без того, чтобы не выявить в одном организованном существе то, что она отняла у другого. Природа подобна женщине, которая любит наряжаться и которая, показывая из-под своих нарядов то одну часть тела, то другую, подает своим настойчивым поклонникам некоторую надежду узнать ее когда-нибудь всю.

### XIII

Открыли, что у одного пола такая же семенная жидкость, как у другого. Части, содержащие эту жидкость, не составляют больше тайны. Заметили, что в известных органах самки происходят особые изменения, когда природа понуждает ее искать самца\*\*. Сравнивая в процессе

\* См. в *Естественной истории, общей и частной* описание лошади, принадлежащее перу Добентона. [Прим. автора.]

\*\* См. в *Естественной истории, общей и частной* рассуждение о зарождении. [Прим. автора.]

схождения полов симптомы их наслаждения и убеждаясь, что страсть выливается у них обоих в форме одинаково характерных для них порывов, пельзя не прийти к выводу, что у них происходит одинаковое истечение семенной жидкости. Но где и как происходит это истечение у женщин? Что делается с жидкостью? Каким путем следует она? Это люди узнают тогда, когда природа, не во всем и не везде одинаково таинственная, разоблачит себя на каком-нибудь другом виде, что, очевидно, случится одним из следующих двух способов: или формы у органов станут более явственными, или истечение жидкости, благодаря ее чрезвычайному избылию, станет ощутимым в самом начале и на всем пути. То, что отчетливо было видно у одного существа, не замедлит обнаружиться у другого, подобного ему. В опытной физике научаются познавать незначительные явления по большим, как в рациональной—великие явления познаются по малым.

#### XIV.

Я представляю себе необъятную область наук широким полем, усеянным темными и светлыми пятнами. Цель наших работ должна заключаться или в том, чтобы расширить границы светлых пятен, или в том, чтобы умножить на поле источники света. Первое—дело гения-созидателя, второе—дело пронизательного разума, вносящего улучшения.

#### XV.

В нашем распоряжении имеются три главных способа изучения: наблюдение природы, размышление и опыт. Наблюдение собирает факты, размышление комбинирует их, опыт проверяет результаты комбинаций. Необходимо прилежание для наблюдения природы, глубина для размышления и точность для опытов. Редко встречаются все эти три способа вместе. И гении-творцы появляются не часто.



## XVI

В поисках за истиной философ часто бывает похож на неумелого политика, который не видит выгодных сторон представившегося случая, в то время как какой-нибудь крохобор в политике случайно нащупывает их. Нужно, однако, сознаться, что среди таких крохоборов в области опыта есть много неудачников: иной из них всю свою жизнь потратит на наблюдения за насекомыми и ничего нового не увидит, а другой мимоходом бросит на них взгляд и заметит полипа<sup>15</sup> или травяную вошь-гермафродита<sup>16</sup>.

## XVII

Разве миру недоставало гениальных людей? Нисколько. Разве они недостаточно размышляли и изучали? Об этом нет и речи. История наук изобилует славными именами, поверхность земли усеяна памятниками наших трудов. Почему же так мало истинных знаний в нашем распоряжении? Какой рок висит над науками, которые так медленно подвигаются вперед? Разве нам суждено остаться навсегда детьми? Я уже ответил на эти вопросы. Абстрактные науки слишком долго и слишком бесплодно занимали лучшие умы; люди или не изучали того, что важно знать, или изучали бессистемно, не имея ни определенной точки зрения, ни плана, ни метода; нагромождали без конца слова, а знание вещей оставалось в загоне.

## XVIII

Истинный прием философствования заключался и, вероятно, будет заключаться в том, чтобы приходить на помощь разумом разуму, разумом и опытом—чувствам, приспособлять чувства к природе, пользоваться природой для изобретения инструментов, инструментами—для исследований и усовершенствования ремесел, которые необходимо предоставлять народу, чтобы научить его уважать философию.

## XIX

Есть только одно средство сделать философию ценной в глазах народа: показать ее полезность. Народ всегда спрашивает: *к чему это?* и никогда не следует отвечать ему: *ни к чему*; он не знает, что то, что просвещает философа, и то, что приносит пользу простому народу, — вещи совершенно различные, так как разум философа часто просвещается тем, что вредно, и затемняется тем, что полезно <sup>17</sup>.

## XX

Факты, каковы бы они ни были по своей природе, составляют истинное богатство философа. Но один из предрассудков рациональной философии заключается в том, что человек, который не сумеет сосчитать свои эку, будет не богаче другого, у которого только один эку. К несчастью, рациональная философия гораздо больше занята сопоставлением и связыванием имеющихся в ее распоряжении фактов, чем собиранием новых.

## XXI

Собирать и связывать факты, это два очень трудных занятия; философы разделили их между собою. Одни, полезные и усердные труженики, всю жизнь проводят в накоплении материалов; другие, гордые строители, спешат приложить их к делу. До сих пор время разрушало почти все сооружения рациональной философии. Рано или поздно запыленный труженик выносит из подземелья, где он роет вслепую, глыбу, гибельную для всей этой архитектуры, — создания головы; она рушится, и остаются лишь груды обломков до прихода другого смелого гения, который принимается создавать из них новые комбинации. Счастлив философ-систематик, которого, как некогда Эпикура <sup>18</sup>, Лукреция <sup>19</sup>, Аристотеля <sup>20</sup>, Платона, природа одарит могучим воображением, великим красноречием, искусством представлять свои идеи в ярких и возвышенных образах!

Сооружение, воздвигнутое им, может быть, падет когда-нибудь, но среди развалин уцелеет его статуя, и скала, сорвавшаяся с горы, не разобьет ее, так как она не на глиняных ногах.

## XXII

У разума есть свои предрассудки, у чувства—своя неуверенность, у памяти—свои границы, у воображения—свой обманчивый свет, у инструментов—свои несовершенства. Явления—бесчисленны, причины—скрыты, формы, может быть, преходящи. Против стольких преград, находящихся в нас и полагаемых природой вне нас, у нас имеется только медлительный опыт и ограниченное размышление. Вот рычаги, которыми философия задалась перевернуть весь мир.

## XXIII

Мы различали два рода философии: опытную и рациональную. У одной на глазах повязка; ходит она всегда ощупью, хватает все, что попадет ей под руку, и находит, в конце концов, драгоценные вещи. Другая собирает эти драгоценности и старается сделать себе из них светоч, но до настоящего времени этот мнимый светоч хуже обслуживал ее, чем поиски ощупью—ее соперницу; так и должно было случиться. Опыт бесконечно расширяет свой размах, он беспрестанно действует, постоянно в поисках за явлениями, в то время как разум ищет аналогий. Опытная философия не знает ни того, что выйдет, ни того, что не выйдет из ее труда, но она работает без перерыва. Рациональная же философия, напротив, взвешивает возможности, произносит приговор и умолкает. Она смело произносит: *свет нельзя разложить*. Опытная философия слушает ее и молчит пред ней в продолжение целых столетий; затем вдруг показывает призму<sup>21</sup> и говорит: *свет разлагается*.

## XXIV

## Эскиз опытной физики

Опытная физика изучает вообще *существование, качества и пользование*.

Существование обнимает *историю, описание, происхождение, сохранение и разрушение*.

*История* изучает местности, ввоз, вывоз, цены, пред-  
рассудки и пр.

*Описание* охватывает все внутренние и внешние до-  
ступные качества.

*Происхождение* берет предмет с самого начала его  
зарождения до состояния совершенства.

*Сохранение* происходит всеми средствами в данном со-  
стоянии.

*Разрушение*—начиная с состояния совершенства до  
последней известной степени *расстройства* или *гибели*,  
*растворения* или *разложения*.

Качества суть общие или особенные.

Я называю *общими* те качества, которые присущи  
всем существам и которые варьируются у них лишь коли-  
чественно.

Я называю *особенными* те качества, которые составляют  
данное существо; они состоят или из субстанции *цельной*,  
или же из субстанции *разделенной*, или *разложенной*.

*Пользование* простирается на *сравнение*, на *при-  
менение* и на *комбинацию*.

*Сравнение* производится или при посредстве *сходных*,  
или при посредстве *различных* предметов.

*Применение* должно быть возможно более распростра-  
ненным и разнообразным.

*Комбинация* бывает аналогичной или своеобразной.

## XXV

Я говорю: *аналогичной* или *своеобразной*, ибо все  
сводится к природе,—как самый нелепый, так и самый  
разумный опыт. Опытная философия, которая ничем не за-  
дается, всегда довольна тем, что у нее выходит; рацпо-

нальная же на вид всегда учена, даже тогда, когда у нее не удастся то, чем она задалась.

## XXVI

Опытная философия—наука несложная, почти не требующая никакой подготовки. Нельзя того же сказать о других частях философии. Большинство их возбуждает в нас бешеную жажду к предположительным построениям. Опытная философия со временем одерживает верх. Рано или поздно надоедает строить неудачные догадки.

## XXVII

Склонность к наблюдениям можно внушить всем людям; склонность к опытам, повидимому,—только богатым людям.

Для наблюдения требуется лишь обычное пользование чувствами; для опытов необходимы постоянные расходы.

Желательно было бы, чтобы великие мира сего прибавили этот способ мотовства к столь многим другим, изобретенным ими, но менее почтенным. В конце концов предпочтительнее для них быть обобранными химиком, чем разными дельцами, пристраститься к опытной физике, которая время от времени забавляла бы их, чем томиться по призраку наслаждений, за которым они беспрестанно гонятся, но который постоянно ускользает от них. Философам с ограниченными средствами, но чувствующим склонность к опытной физике, я охотно дал бы совет, какой я дал бы моему другу, если бы он был томим страстью обладать прекрасной куртизанкой:

*Laidem habeto, dummodo te Lais non habeat* \*.

Такой же совет я дал бы тем, кто одарен достаточно обширным умом, чтобы строить системы, и кто достаточно богат, чтобы проверять их на опыте. Имейте систему, я согласен на это, но не позволяйте ей господствовать над вами. *Laidem habeto*.

\* Владей Лайсой, но так, чтобы она тобой не владела (Аристипп).

## XXVIII

По своим хорошим результатам физика может быть сравнена с советом, который дал своим детям умирающий отец: на его поле зарыт клад, но в каком месте, он не знает. Дети принялись копать поле; клада они не нашли, но зато собрали обильный урожай, какого не ожидали.

## XXIX

На следующий год один из них сказал своим братьям: «Я тщательно осмотрел оставленную отцом землю и думаю, что нашел место клада. Послушайте: вот как я рассуждал. Если клад зарыт в поле, то вокруг него должны быть какие-нибудь признаки, обозначающие место его нахождения; и вот я заметил странные следы в восточном углу поля; почва там была, повидному, взрыта. Прошлый год мы из опыта убедились, что клада нет в верхнем слое почвы, стало быть он скрыт в глубине ее. Возьмемся за лопаты и будем рыть, пока не достанем клада скряги». Увлеченные не столько силой доводов, сколько жаждой обогащения, все братья принялись за работу. Они уже вырыли глубокую яму, но ничего не нашли; надежда начала покидать их, и ропот стал раздаваться среди братьев, когда одному из них показалось, что он напал на руду. Это, действительно, была свинцовая руда, которую некогда разрабатывали и которая теперь оставила им много свинца. Таковы бывают иногда результаты опытов, внушенных наблюдениями и систематическими идеями рациональной философии. Таким образом химики и геометры, упорно трудясь над решением проблем,—может быть, неразрешимых,—приходили к открытиям более важным, чем само это решение.

## XXX

Благодаря огромному навыку в производстве опытов, у самых грубых ремесленников этого дела вырабатывается чутье, граничащее с вдохновением. При наличности такого чутья почти исключительно от них зависят—ошибиться

или нет; как и Сократ, они в праве назвать его *гением-хранителем*. У Сократа был такой удивительный навык познавать людей и взвешивать все факты, что в самых трудных обстоятельствах у него незаметно складывалась быстрая и точная оценка, сопровождаемая таким прогнозом, который почти всегда оправдывали наступающие события. Он судил о людях, как лица с художественным чутьем судят о художественных произведениях—при помощи чувства. В опытной физике то же нужно сказать об инстинкте наших великих физиков-профессионалов. Им часто приходилось в своих опытах так близко наблюдать природу, что они с достаточной точностью догадываются о направлении, которое она может принять в тех случаях, когда им вздумается спровоцировать ее своими своеобразнейшими опытами. Таким образом, самая важная услуга, которую они могут оказать лицам, посвящаемым ими в опытную физику, заключается не в том, чтобы научить их знать процесс и его результаты, а в том, чтобы внушить им тот дух предвидения, с помощью которого можно, так сказать, *уcatchать* неизвестные процессы, новые опыты, непредвиденные результаты.

### XXXI

Как сообщается этот дух? Тому, кто обладает им, следует углубиться в самого себя, чтобы отчетливо познать, что он собою представляет, заместить гения-хранителя ясными и доступными пониманию понятиями и развить их другим. Если бы он, например, нашел, что *нетрудно предполагать или замечать противоречия или аналогии благодаря практическому знанию физических свойств существ, рассматриваемых в одиночку, или их взаимодействия, когда их рассматривают совокупно*, развил бы эту мысль, подкрепил бы ее множеством фактов, всплывших в его памяти, то получилась бы точная история всех очевидных нелепостей, зарождавшихся в его голове. Я говорю: *нелепостей*, ибо какое иное название дать этой цепи догадок, основанных на противоречиях или подобиях, столь отдаленных, столь неуловимых, что бред большого,

по сравнению с ними, не покажется ни более странным, ни более бессвязным? Иной раз не бывает ни одного предположения, которое нельзя было бы оспорить или само по себе, или в связи с предшествующими или с последующими. А целое столь ненадежно как в своих посылках, так и в своих выводах, что часто пренебрегали делать наблюдения или опыты, вытекавшие из него.

## Примеры

### XXXII

#### Первая группа догадок

1. Есть тело, которое называют *маточным клубком*. Это странное тело зарождается в женском организме, и, по мнению некоторых, без содействия мужчины. Каким бы образом ни совершалось зарождение, очевидно, что в нем участвуют оба пола. Не есть ли маточный клубок совокупность или всех элементов, истекающих из женского организма во время зачатия человека, или всех элементов, которые истекают из мужского организма во время сожжения с женщиной? Эти элементы, находящиеся в спокойном состоянии у мужчины, не могут ли они разгораться, возбуждаться и приходиться в движение у некоторых женщин с пламенным темпераментом и сильным воображением? Эти элементы, находясь в спокойном состоянии у женщины, не могут ли они прийти у ней в действие, — благодаря ли бездеятельному и бесплодному присутствию мужчины и его неоплодотворяющим, но страстным движениям, или благодаря бурному проявлению неудовлетворенных желаний женщины, — выйти из своих сосудов, проникнуть в матку, задержаться там и соединиться друг с другом? Не есть ли маточный клубок результат этого изолированного соединения элементов, исходящих только из женского организма, — или же элементов, доставленных мужчиной? Но если маточный клубок есть результат такого соединения, какой предполагается мною, это соединение будет иметь свои



столь же непреложные законы, как законы зарождения. Маточный клубок будет иметь, следовательно, постоянную организацию. Возьмем скальпель, откроем маточные клубки и посмотрим; может быть, мы откроем маточные клубки, разнящиеся друг от друга некоторыми чертами в зависимости от различия полов. Вот что можно назвать искусством последовательно заключать от того, что совершенно неизвестно, к тому, что еще менее известно. Таким навыком безрассудства обладают в высокой степени те, кто приобрел или получил от природы способность к опытной физике; того рода бредням люди обязаны многими открытиями. Вот именно такой род предвидения нужно внушать ученикам, если только его можно внушить.

2. Но если со временем откроют, что маточный клубок никогда не зарождается у женщины без содействия мужчины, тогда можно будет высказать несколько новых догадок насчет этого необыкновенного тела, гораздо более вероятных по сравнению с предыдущими. Эта плева, состоящая из кровеносных сосудов, которую называют *placenta*, представляет собою, как известно, сферический колпачок, нечто вроде гриба, прикрепленного своей выпуклой частью к матке во все время беременности; пуповина служит ему как бы стволom; при родах он, отрываясь от матки, причиняет страдания; поверхность его ровная, если женщина здорова и роды проходят благополучно. Так как существа ни при своем зарождении, ни во время своего формирования, ни во время существования не представляют ничего другого, как то, чем им предназначено быть силой сопротивления, законами движения и мировым строем, то если бы случилось, что этот сферический колпачок, который, повидимому, только приложен к матке, понемногу отрывался бы своими краями с начала беременности, так, чтобы стадии отделения его точно следовали за стадиями роста его в объеме, то, мне кажется, эти края, свободные от прикосновения к матке, беспрестанно сближались бы и образовали сферическую форму; что пуповина, влекомая двумя противоположными силами (одной—со стороны отделенных и выпуклых слоев колпачка, которые

стремились бы укоротить ее, и другой—со стороны зародыша, который своею тяжестью стремился бы удлинить ее), была бы гораздо более короткой, чем обычно она бывает; что наступил бы момент, когда эти края сошлись бы, соединились бы окончательно и образовали бы нечто вроде яйца, в центре которого находился бы зародыш, странный по своей организации, каковым он был и при зачатии, сросшийся, сжатый, сомкнутый, и что это яйцо питалось бы до тех пор, пока в силу своей тяжести окончательно не оторвалась бы и та незначительная часть его поверхности, которая оставалась еще прикрепленной к матке; что оно упало бы в матку и было бы извергнуто оттуда, как яйцо, снесенное курицей, с которым оно имеет некоторое сходство,—по крайней мере по форме. Если бы эти догадки были проверены хотя бы на одном маточном клубке и если бы все-таки было доказано, что этот клубок зарождается у женщины без сношения с мужчиной, то, очевидно, отсюда следовало бы, что зародыш вполне формируется у женщины и что участие мужчины способствует только его развитию.

### XXXIII

#### Вторая группа догадок

Предполагая, что земля—плотное ядро из стекла, как утверждает один из наших величайших философов<sup>22</sup>, и что это ядро покрыто пылью, можно утверждать, что вследствие законов центробежной силы, стремящейся притянуть свободные тела к экватору и придать земле форму сплюснутого сфероида, пласты этой пыли должны быть менее плотными у полюсов, чем под любой параллелью; что, может быть, у конечностей оси ядро—голое и что этой особенности следует приписать направление магнитной стрелки и северное сияние, которое, вероятно, не что иное, как ток электрической материи.

Весьма вероятно, что магнетизм и электричество зависят от тех же причин. Почему бы им не быть результатами вращательного движения земного шара и энергии ве-

ществ, из коих он составлен, в соединении с действием луны? Приливы и отливы, течения, ветры, свет, движение свободных частиц земного шара, может быть, даже движение всей его коры и т. д. производят разнообразнейшими способами непрерывное трение; постоянное и осязательное действие причин на протяжении веков образует значительный результат; ядро земного шара—стеклянная масса; его поверхность покрыта обломками стекла, песками, слюдой; из всех тел стекло при трении дает больше всего электричества: почему бы всей массе земного электричества не быть результатом всех трений, происходящих или на поверхности земли, или на поверхности ядра? Но можно предположить, что из этой общей причины выведут частную, которая установит между двумя великими явлениями, а именно, между явлением северного сияния и направлением магнитной стрелки, связь, подобную той, наличность которой констатировали между магнетизмом и электричеством, намагничивая стрелку без магнита, посредством одного электричества. Можно признать или оспаривать эти положения, потому что они существуют лишь в моем разуме. Задача опытов—придать им большую основательность, и физике надлежит создать опыты, которые установят разницу между явлениями или окончательно их отождествят<sup>23</sup>.

### XXXIV

#### Третья группа догадок

Электрическая материя издает ощутимый сернистый запах там, где производят электризацию; и разве химики не в праве были бы обратить внимание на это свойство? Почему они не произвели всеми имеющимися в их распоряжении средствами опытов над жидкостями, заряженными возможно большим количеством электрической материи? Еще неизвестно, быстрее ли распускается сахар в наэлектризованной воде или в простой. Огонь в печах значительно увеличивает тяжесть некоторых материалов, например, кальцинированного свинца; если электрический огонь, постоянно применяемый для прожигания этого металла, при-

давал бы ему еще бóльшую тяжесть, не следовало ли бы тогда провести новую аналогию между электричеством и обыкновенным огнем? Делали попытки узнать, не придает ли этот необыкновенный огонь некоторых целебных свойств лекарствам, не делает ли он субстанцию более сильной, топику более деятельной; но не слишком ли рано оставили эти попытки? Почему бы электричеству не видоизменять образования кристаллов и их свойств? Какое широкое поле для догадок, и сколько из них опыт может подтвердить или разрушить! *Смотри следующий параграф.*

### XXXV

#### Четвертая группа догадок

От какой другой причины, как не от электричества, происходит бóльшая часть метеоров, блуждающих огней, падающих звезд, естественный и искусственный фосфор, светящиеся гнилушки? Почему бы не произвести опытов над этими явлениями фосфоресценции, чтобы узнать природу их? Почему не пытаются узнать, не является ли воздух, сам по себе, подобно стеклу, телом электрическим, т. е. телом, которое достаточно потерять, чтобы наэлектризовать? Кто знает, не будет ли воздух, содержащий серную материю, насыщен электричеством больше или меньше, чем чистый воздух? Если привести в быстрое вращательное движение металлический прут в воздухе, то можно открыть, есть ли в воздухе электричество и зарядит ли оно прут. Если во время опыта жечь серу и другие вещества, можно узнать, какие из них увеличивают или уменьшают электрическую энергию воздуха. Может быть, холодный воздух полюсов более восприимчив к электричеству, чем жаркий у экватора, и так как во льду есть электричество, а в воде нет, то кто знает, не следует ли приписать безмерным громадам вечных льдов, нагроможденных у полюсов и, может быть, движущихся по стеклянному ядру, более открытому у полюсов, чем где-либо в другом месте, явления направления магнитной стрелки и появления северного сияния, которые, пови-

димому, тоже нужно приписать электричеству, как мы уже указывали в нашей *второй группе догадок*. Наблюдение патолкнулось на одно из самых общих и могущественных сил природы; дело опыта открыть действия их.

### XXXVI

#### Пятая группа догадок

1. Если струна музыкального инструмента натянута и какая-нибудь незначительная препона делит ее на две неравные части так, что не прерывается сообщение вибраций между обеими частями, то, как известно, эта препона вызывает деление большей части струны на такие вибрирующие доли, что обе части струны составляют унисон и что каждая из вибрирующих долей большей части заключается между двумя неподвижными точками.

Так как резонанс тела не является причиной деления большей части струны, а лишь унисон обеих частей есть результат этого деления, то, мне думается, что если бы струну заменить металлическим прутом и с силой ударить по нему, то на всей его длине образовались бы вздутия и узлы; что то же самое было бы со всяким упругим телом, звучащим или незвучающим; что это явление, свойственное, как думают, вибрирующим струнам, имеет место в большей или меньшей степени при всяком ударе; что оно подчиняется общим законам, по которым сообщается движение от одного тела к другому; что в телах, подвергшихся сотрясению, есть бесконечно малые колеблющиеся части и узлы, или неподвижные точки, бесконечно близкие друг другу; что эти колеблющиеся части бывают причиной содрогания, которое мы, благодаря чувству осязания, испытываем в теле после удара, независимо от того, есть ли еще локальная передача колебаний между точками или она уже прекратилась; что это предположение соответствует природе содрогания, которое идет не от всей затронутой поверхности ко всей чувствующей поверхности, которая затрагивает, а от бесконечного количества точек, рассеянных по поверхности

затронутого тела, беспорядочно вибрирующих между бесконечным количеством неподвижных точек; что, очевидно, в сплошных упругих телах сила инерции, равномерно распределенная по всей массе, выполняет в данной точке функцию маленькой пружины по отношению к другой; что, предполагая бесконечно малой ударенную часть вибрирующей струны и, следовательно, бесконечно малыми колеблющаяся поверхности, а узлы—бесконечно близкими, мы имеем в одном направлении и, так сказать, на одной линии изображение того, что происходит во всех направлениях в твердом теле, ударившемся о другое; что, поскольку дана длина перехваченной части вибрирующей струны, нет никакой причины, которая могла бы умножить на другой части число неподвижных точек; что, поскольку это число остается одинаковым независимо от силы удара и поскольку лишь быстрота колебаний варьируется при столкновении тел, постольку содрогание будет более или менее сильным, но что количественное отношение вибрирующих точек к неподвижным точкам будет одно и то же и что в этих телах количество материи, находящейся в состоянии покоя, будет постоянным независимо от силы удара, плотности тела, сцепления частей. Следовательно, геометру ничего больше не остается, как перейти от вибрирующей струны к призме, к шару, к цилиндру, чтобы, сделав здесь вычисления, найти общий закон распределения движения в ударенном теле,—закон, от исследования которого были очень далеки до сего времени, потому что и не подозревали даже о существовании самого явления, а, наоборот, предполагали распределение движения однообразным во всей массе, хотя при ударе содрогание обнаружилось, путем действия на осязание, существование вибрирующих точек, рассеянных между неподвижными точками; я говорю: *при ударе*, ибо вероятно, что в случаях передачи движения, когда удар не имеет места, тело фигурирует в качестве мельчайшей молекулы, и движение сразу распространяется по всей массе. Содрогание не играет роли во всех этих случаях, чем они и отличаются от случая с ударом.

2. На основании принципа разложения сил всегда можно свести к одной силе все силы, действующие на тело. Если количество и направление действующей на тело силы даны и если нужно определить вызываемое ею движение, то оказывается, что тело движется вперед, точно сила прошла через центр тяжести, и что, сверх того, оно вращается вокруг центра тяжести, как если бы этот центр был неподвижным и сила действовала вокруг этого центра, как вокруг точки опоры. Следовательно, если две молекулы взаимно притягиваются, они располагаются одна по отношению к другой сообразно законам их притяжений, сообразно их фигурам и т. д. Если эта система двух молекул притягивает третью молекулу, которою они в свою очередь притягиваются, то эти три молекулы взаимно располагаются одна по отношению к другой сообразно законам их притяжений, их фигурам и т. д. и т. д. относительно других систем и других молекул. Все они образуют систему *A*, в которой они, касаясь друг друга или не касаясь, двигаясь или оставаясь в покое, будут сопротивляться силе, которая будет стремиться нарушить их координацию, и будут всегда стремиться либо восстановить себя в первоначальном порядке, если разрушительная сила прекратит свое действие, либо координироваться с законами их притяжений, фигур и т. д. и с действием разрушительной силы, если она продолжает действовать. Эта система *A* есть то, что я называю упругим телом. В этом общем и абстрактном смысле планетная система, вселенная, есть не что иное, как упругое тело; хаос есть нечто невозможное, ибо и примитивным свойствам материи присущ порядок.

3. Если представить себе систему *A* в пустом пространстве, то она будет неразрушима, непоколебима, вечна; если предположить, что части ее, рассеянные в необъятном пространстве, подобно таким, например, свойствам, как притяжение, бесконечно распространяются, ничем не стесняемые в своем действии\*, то эти части, не

\* И сказал тебе, молодой человек, что свойства, такие, как притяжение, распространяются бесконечно, ничем не стес-

варьируя своих фигур и одухотворяясь теми же силами, будут заново координироваться так, как они были координированы, и образуют в какой-нибудь точке пространства и в какой-нибудь момент времени упругое тело.

4. Представится иная картина, если предположить систему *A* находящейся во вселенной; эффекты здесь не менее необходимы, но такое действие причин, какое наблюдается в предыдущем случае, здесь иногда бывает невозможно, и число комбинирующихся причин в общей системе или упругом мировом теле бывает всегда столь велико, что не знаешь, чем были первоначально системы или отдельные упругие тела и чем они станут. Не утверждая, следовательно, что притяжение конституирует в заполненном пространстве твердость и упругость, какими мы видим их, не очевидно ли, что одного этого свойства материи достаточно, чтобы конституировать их в пустоте и дать место разрежению, конденсации и всем зависящим

*няемые в сфере своего действия.* Тебе возразят, «что я даже мог бы сказать, что они распространяются однообразно. Может быть, прибавят, что непостижимо, как свойство без всякого посредника действует на расстоянии, но что в этом нет и никогда не было ничего абсурдного, или что абсурд утверждать то, что оно действует в пустоте разнообразно, на разных расстояниях; что тогда не замечаешь ни внутри, ни вне какой-нибудь части материи ничего, что было бы способно варьировать ее действие; что Декарт, Ньютон, все древние и современные философы предполагали, что тело, одухотворенное в пустом пространстве малейшим количеством движения, идет в бесконечность однообразно, по прямой линии; что расстояние, само по себе, не является, следовательно, ни препятствием, ни проводником; что всякое свойство, действие которого варьируется в прямом или обратном отношении к расстоянию, необходимо приводить к предположению, что существует заполненное пространство, и к атомистической философии; и что допущение пустоты и допущение переменчивости действия причины суть два противоречивых допущения». Если тебе поставят такие трудные вопросы, я посоветую тебе обратиться за советом к какому-нибудь последователю Ньютона, ибо я, признаюсь, не знаю, как решить эти трудности. [Прим. автора.]



от них явлениям? Почему же не быть ему первопричиной этих явлений в нашей общей системе, где бесконечное множество причин, модифицируя его, до бесконечности варьировали бы количество этих явлений в системах или отдельных упругих телах? Таким образом, упругое тело, будучи согнутым, сломается лишь тогда, когда причина, сближающая части тела в одном направлении, заставит их столь сильно уклониться в противоположное, что между ними утратится действие взаимного притяжения; упругое тело, получив удар, лопнет лишь тогда, когда большинство его вибрирующих молекул будет унесено в своем первом колебании от неподвижных молекул, между которыми они рассеяны, на такое расстояние, что действие их взаимного притяжения утратится. Если бы сила удара была настолько велика, что все вибрирующие молекулы были бы вынесены за пределы их взаимного притяжения, то тело распалось бы на свои элементы. Но между этим столкновением, самым сильным, какое только может испытать тело, и другим, которое причинило бы лишь самое слабое содрогание, есть еще одно, действительное или мнимое, благодаря которому все элементы тела, отделившись, перестали бы касаться друг друга, не доводя, однако, своей системы до разрушения и не прекращая своей координации. Предоставим читателю применить те же самые принципы к сгущению, разрежению и т. д. Сами же отметим еще лишь разницу между передачей движения посредством толчка и передачей движения без толчка. Так как перемещение тела без толчка происходит равномерно, всеми частями сразу, каково бы ни было количество сообщаемого таким путем движения, будь оно даже бесконечным, то тело не будет уничтожено; оно останется целым, пока толчок, заставив колебаться некоторые из его частей, находящиеся между другими, неподвижными, не сообщит волне первых колебаний такой амплитуды, что колеблющиеся части не смогут ни вернуться на свое место, ни войти в систематическую координацию.

5. Все предыдущее относится, собственно, лишь к про-

стым упругим телам или к системам частиц одного и того же вещества, одной и той же фигуры, одухотворенных одним и тем же количеством силы и двигающихся сообразно одному и тому же закону притяжения. Но при наличности разнообразий во всех этих свойствах получится бесконечное количество упругих смешанных тел. Под упругим смешанным телом я подразумеваю систему, составленную из двух или нескольких систем различных веществ, различных фигур, оживленных различными количествами силы, может быть, движущихся по различным законам притяжения, частицы которых координированы по общему им всем закону, который можно рассматривать как продукт их взаимных действий. Если, благодаря некоторым операциям, удастся сделать сложную систему простой, устранив из нее все частицы, по природе своей относящиеся к координированной материи, или сделать еще более сложной, введя в нее новую материю, частицы которой координируются с частицами данной системы и изменяют общий им всем закон, то твердость, эластичность, сжимаемость, разжимаемость и другие свойства, зависящие в сложной системе от различной координации частиц, увеличатся или уменьшатся и т. д. Свинец, который не отличается ни твердостью, ни упругостью, станет еще менее твердым и еще более эластичным, если расплавить его, т. е. если координировать систему, составленную из молекул свинца, с другой системой, составленной из молекул воздуха, огня и т. д., которые в результате дают расплавленный свинец.

6. Было бы очень легко применить эти идеи к бесконечному количеству других подобных явлений и составить из них очень обширный трактат. Главная трудность заключается в том, чтобы показать, каким образом части одной системы, координируясь с частями другой, упрощают иногда ее, исключая из нее систему других координированных частей, как это случается в известных химических операциях. Притяжений, действующих сообразно различным законам, кажется, не достаточно для этого явления; трудно допустить наличность свойств отталки-

вания. Вот каким образом можно было бы, кажется, выйти из этого затруднения. Пусть будет дана система  $A$ , составленная из систем  $B$  и  $C$ , молекулы которых координированы между собою по какому-нибудь общему им всем закону. Если ввести в сложную систему  $A$  другую систему  $D$ , то произойдет одно из двух: или частицы системы  $D$  координируются с частицами системы  $A$ , не сопровождаясь толчком, и в таком случае система  $A$  будет составлена из систем  $B$ ,  $C$ ,  $D$ ; или координация частиц системы  $D$  с частицами системы  $A$  будет сопровождаться толчком. Если толчок будет таким, что затронутые частицы в своем первом колебании не будут вынесены за пределы бесконечно малой сферы их притяжения, то в первый момент произойдет смятение среди бесконечного множества маленьких колебаний. Но это смятение тотчас прекратится, частицы скоординируются, и из координации произойдет система  $A$ , составленная из систем  $B$ ,  $C$ ,  $D$ . Если части системы  $B$  или системы  $C$  или те и другие вместе получают толчок в первый момент координации и будут вынесены за пределы сферы их притяжения частицами системы  $D$ , они будут отделены от общей системы координации навсегда, и система  $A$  станет системой, сложенной из систем  $B$  и  $D$  или из систем  $C$  и  $D$ , или это будет простая система из одних координированных частиц системы  $D$ . Все эти явления будут протекать при таких обстоятельствах, которые еще больше подтвердят эти идеи или, может быть, окончательно подорвут их. Впрочем, я пришел к этому выводу, отправляясь от факта *содрогания упругого тела, получившего толчок*. Там, где налично координация, никогда не будет спонтанного отделения; оно может быть там, где есть лишь композиция. Координация есть принцип единообразия даже в гетерогенном целом.

## XXXVII

## Шестая группа догадок

До тех пор, пока люди не поставят себе задачи более точно подражать природе, произведения их искусства бу-

дут плохи, несовершенны, слабы. Природа медленно и упорно производит свои операции. Идет ли дело о том, чтобы удалить, приблизить, соединить, разделить, смягчить, сжать, сделать твердым, растопить, распустить, ассимилировать, — она подвигается к своей цели едва заметными шагами. Искусство, наоборот, торопится, устает и ослабеваает. Природе нужны столетия, чтобы подготовить металлы в грубом виде, — искусство берется отделать их в один день. Природе нужны столетия, чтобы образовать драгоценные камни, — искусство берется подделать их в один момент. Если бы даже люди владели настоящим средством изготовления продуктов природы, этого было бы недостаточно: нужно было бы еще уметь применять его. Люди ошибаются, если думают, что результат останется тот же, если произведение интенсивности действия на время применения остается одним и тем же. Только лишь применение постепенное, медленное и непрерывное оказывает трансформирующее действие. Всякое другое применение действует разрушительно. Чего бы только ни извлекали мы из смеси известных субстанций, из которых мы получаем лишь очень несовершенные соединения, если бы поступали так, как природа! Мы всегда торопимся овладеть результатом, хотим видеть конец начатого. Отсюда столько бесплодных попыток, столько расходов и потерянных трудов, столько работ, к которым приглашает природа и за которые искусство никогда не возьмется, потому что успех кажется ему отдаленным. Видя, с какой быстротой сталактиты в пещерах Дарси образуются и возобновляются, кто усомнится в том, что эти пещеры когда-нибудь заполнятся и образуют одну огромную сплошную массу? Где тот натуралист, который, размышляя над этим явлением, не догадался бы, что, заставляя воды понемногу просачиваться сквозь землю и скалы и стекать в обширные водоемы, можно со временем образовать искусственные алебастровые, мраморные и из других камней каменноломни, качества которых варьировались бы в зависимости от природы почвы, воды и скал? Но к чему все эти соображения, когда у нас нехватает ни мужества, ни терпе-

ния, ни труда, ни средств, ни времени, ни, в особенности, того античного вкуса к грандиозным предприятиям, о котором свидетельствуют еще столько памятников, стяжавших от нас дань холодного и бесплодного изумления.

### XXXVIII

#### Седьмая группа догадок

Сколько раз делали безуспешные попытки превратить наше железо в сталь, которая сравнялась бы со сталью английской и немецкой и которую можно было бы употреблять для изготовления изящных вещей. Я не знаю, к каким приемам при этом прибегали, но мне кажется, что до этого важного открытия дошли бы путем подражания и усовершенствования одного очень употребительного в железопрокатных мастерских приема. Его называют *закалка пачкой*. Чтобы закалять пачкой, нужно взять самую грубую сажу, истолочь ее, растворить мочей, прибавить растертого чесноку, изрезанной туфли и поваренной соли; берется железный ящик, дно его покрывается слоем этой смеси; на этот слой кладут слой различных железных обрезков; на этот последний—опять слой смеси и т. д. до тех пор, пока ящик станет полным, закрывают его крышкой и в середину смеси вводят жирную, хорошо уколоченную глину, шерсть и лошадиный помет; обкладывают ящик углем; уголь зажигают, раздувают огонь, поддерживают его; наготове имеется сосуд с холодной водою; три-четыре часа спустя после того, как ящик поставили на огонь, вынимают его, открывают, вываливают находящиеся в нем куски железа в холодную воду, которую в это время болтают. Это и есть куски, закаленные пачкой, и если сломать несколько таких кусков, то поверхность каждого из них на небольшой глубине окажется из очень твердой стали.

У этой поверхности более блестящий глянец, и она лучше сохраняет формы, приданные ей напильком. Нельзя ли отсюда заключить, что если бы, *stratum super stratum*, действию огня и материалов, употребляемых при закалке

пачкой, подвергали отборное, хорошо выработанное и разрезанное на тонкие листы железо, например, листовое железо или разрезанное очень тонкими прутьями, и, по выходе из печи, бросали его в бассейн с приготовленной для такой операции водой, оно превратилось бы в сталь? Особенно, если бы выполнение первых таких опытов поручили людям, издавна привыкшим иметь дело с железом, знающим его качества и его недостатки, — людям, которые не преминули бы упростить методы и найти материалы, более пригодные для данной операции.

### XXXIX

Достаточно ли того, что сообщается в публичных лекциях по опытной физике, чтобы способствовать развитию этого рода философского влечения? Я думаю, что недостаточно. Наши кропотливые курсы по физике походят немногим на человека, который вообразил, что задал грандиозный пир, потому что у него за столом было много людей. Следовало бы стремиться, главным образом, к тому, чтобы возбудить аппетит: тогда многие, увлеченные желанием удовлетворить его, перешли бы из положения учеников в положение любителей, чтобы затем отдаться профессии философов. На пути общественного деятеля нет таких, столь неблагоприятных прогрессу знания, условий! Вообще приходится открывать и вещь, и средство. Как велики, по моему мнению, люди, впервые открывшие новое исчисление! И как они ничтожны, окружая тайной свое открытие! Если бы Ньютон не замедлил заговорить о своем открытии, как требовал того интерес его имени и истины, Лейбниц не разделял бы с ним славы этого открытия<sup>24</sup>. Немец изобрел орудие, между тем как англичанин доставлял себе удовольствие изумлять ученых неожиданным применением, которое он делал из него. В математике, в физике необходимо прежде всего показать, что имеешь в своем распоряжении средство, которое может привести к успеху, и засвидетельствовать перед обществом свои права на него. Впрочем, требуя обнародования нового способа в науке, я имею в виду только такой способ,

который доказал свою пригодность. Что касается неудачных способов, то по отношению к ним надо быть как можно более кратким.

## XI

Но недостаточно показать,—нужно, чтобы было показано все ясно и без утайки. Есть некоторая туманность в произведениях ученых, которую я назвал бы *аффектацией великих мастеров*. Они любят застилать природу от глаз народа покровом. Если бы я не питал должного уважения к славным именам, я сказал бы, что такого рода туманность преобладает в некоторых трудах Сталя<sup>25</sup> и в *Математических принципах* Ньютона. Достаточно было понять эти книги, чтобы оценить их по достоинству; их авторам стоило бы лишь одного месяца труда, чтобы сделать их понятными; этот месяц сберег бы три года труда и усилий у тысячи умов. Вот вам почти три тысячи лет, потерянных напрасно. Поспешим сделать философию популярной. Если мы хотим, чтобы философы прогрессировали, доведем народ до уровня философов. Они скажут, что есть произведения, которые никогда не будут доступны простым умам. Но, сказав это, они лишь покажут, что не знают того, что может сделать хороший метод и продолжительный навык.

Если кому и позволительно оставаться туманным, то только—осмелюсь сказать—метафизикам в собственном смысле слова. В глубоких абстракциях мерцают лишь слабые проблески света. Процесс обобщения стремится совлечь с понятий все то, что есть в них осязательного. По мере того, как он подвигается вперед, телесные призраки рассеиваются, понятия понемногу удаляются из области воображения в область разума, и идеи становятся чисто интеллектуальными. Тогда спекулятивный философ походит на человека, глядящего с горных вершин, теряющихся в облаках: равнина со всем, что в ней есть, исчезла пред ним, и ему остается лишь созерцать свои мысли и сознавать высоту, на которую он взобрался и куда, может быть, не всякому дано за ним последовать.

## XLI

Не достаточно ли у природы своих покровов, чтобы умножать их еще покровом туманности, не достаточно ли трудностей у искусства? Откройте книгу Франклина<sup>26</sup>, перелистайте книги химиков, и вы увидите, сколько внимания, воображения, проницательности и средств требует опыт; прочтите их внимательно, потому что из них вы узнаете—если только это можно узнать—на сколько ладов можно проделать каждый опыт. Если, за недостатком таланта, вы нуждаетесь в указаниях по части технических приемов, держите пред глазами таблицу познанных до настоящего времени свойств материи; найдите среди них те, которые могут подойти к веществу, подвергаемому вами исследованию; убедитесь в наличии их; затем старайтесь узнать количество их; это количество почти всегда будет измеряться инструментом там, где однообразное применение одной какой-нибудь части, аналогичной веществу, может происходить без перерыва и остатка, до полного истощения свойства. Что же касается до существования, то оно будет констатироваться лишь с помощью примеров, которых нельзя предугадать. Если даже и не научишься, как нужно производить исследования, то все-таки знание того, чего ищешь, составляет уже кое-что. Впрочем, те люди, которые будут принуждены признаться самим себе в бесплодности своих усилий, или вследствие хорошо проверенной невозможности открыть что-нибудь, или вследствие тайной зависти к открытиям других, невольного огорчения, которое они от этого испытывают,—то они хорошо сделают, если оставят науку, которою занимались без пользы для нее и без славы для себя.

## XLII

Когда в голове создалась одна из таких систем, которая требует проверки на опыте, не следует ни упорно настаивать на ней, ни легкомысленно оставлять ее. Иногда считают свои догадки ложными, не приняв никаких соответствующих мер к тому, чтобы сделать их истинными.



Упорство в данном случае влечет за собой даже меньше неудобства, чем противоположная крайность. Может случиться, что, усиленно прибегая к опытам, найдешь что-нибудь лучшее, если не найдешь того, что ищешь. Никогда не будет потерянным время, употребленное на исследование природы. Для мыслей, абсолютно нелепых, достаточно только одного первого опыта. Следует несколько больше обращать внимание на те, которые более правдоподобны и сулят крупные открытия, и отказываться от них лишь тогда, когда истощены все средства. Кажется, нет необходимости делать наставления на этот счет. Естественно, что исследованиям предаются в меру интереса к ним.

### XLIII

Так как системы, о которых идет здесь речь, опираются лишь на неопределенные идеи, отдаленные догадки, обманчивые аналогии и даже—это тоже нужно сказать—на химеры, которые разгоряченный ум легко принимает за обоснованное положение, то не следует ни одну из них оставлять без предварительного рассмотрения *от противного*. В чисто рациональной философии истина бывает довольно часто на противоположном от заблуждения конце; точно так же и в опытной философии иногда придется прибегать не к опыту, а к его противоположности, чтобы получить то или иное ожидаемое явление. Нужно рассматривать вещи, главным образом, с двух противоположных точек зрения. Так, во второй группе наших фантастических догадок, покрыв экватор наэлектризованного земного шара и открыв полюсы, нужно будет потом покрыть полюсы и оставить экватор открытым; а так как важно установить возможно большее сходство между экспериментальным земным шаром и естественным, то выбор вещества, которым будут покрыты полюсы, не безразличен. Может быть, пришлось бы взять массу какой-нибудь жидкости, что вполне допустимо на практике и что на опыте может дать какое-нибудь новое необыкновенное явление, отличное от того, которое предполагалось получить.

## XLIV

Опыты должны повторяться для исследования деталей условий и для познания их границ. Нужно подвергать опытам различные предметы, усложнять их, 'комбинировать всевозможными способами. Поскольку опыты остаются раздробленными, изолированными, без связи, несводимыми, постольку следует считать доказанным, благодаря этой самой несводимости, что остается еще кое-что сделать. Таким образом, нужно отдаться исключительно предмету опыта и, так сказать, тормозить его до тех пор, пока не получится такое сцепление явлений, что, вслед за одним из них появятся и все другие; поработаем сначала над разложением явлений, а потом будем думать над разложением причин. Но только умножение явлений приводит к их разложению. Главное искусство в пользовании приемами, к которым прибегают для того, чтобы извлечь из причины все, что она может дать, заключается в том, чтобы отличить те из них, от которых мы в праве ожидать создание нового явления, от тех, которые создают лишь мнимое явление. Заниматься без конца этими метаморфозами, значит—сильно утомляться и несколько не двигаться вперед. Всякий опыт, не распространяющий закона на какой-нибудь новый случай или не ограничивающий его каким-нибудь исключением, не имеет никакого значения. Кратчайший способ узнать ценность своего опыта, это—сделать его предыдущим членом энтимемы<sup>27</sup> и рассмотреть вторую посылку. Если получается точно такой же результат, какой уже был однажды извлечен из другого опыта, это значит, ничего нового не открыто,—подтвердилось лишь открытое раньше. Найдется не много больших книг по опытной физике, которые это простое правило не свели бы, по его значению, к нескольким страницам, и огромное число маленьких, которые оно сводит к нулю.

## XLV

Как в математике, при рассмотрении свойств кривой, убеждаешься, что они являются, в сущности, одним и

тем же свойством, представленным в различных видах, так и в природе, когда опытная физика сделает большие успехи, придется признать, что все явления—тяжесть, упругость, притяжение, магнетизм, электричество—не что иное, как различные проявления одного и того же свойства. Но между известными явлениями, относящимися к одной из этих причин, сколько еще предстоит найти промежуточных явлений, чтобы образовать звенья, заполнить пустоту между ними и показать их идентичность? Этого теперь еще нельзя определить. Может быть, существует центральное явление, которое бросит свет не только на имеющиеся в наличности, но и на все те, которые будут со временем открыты, которое, может быть, соединит их все и образует целую систему. Но пока, за недостатком такого центра всеобщего объединения, они остаются изолированными; все открытия опытной физики будут лишь способствовать их сближению, становясь между ними посредниками, но никогда не соединяя их, а когда этим открытиям удастся соединить их, тогда образуется непрерывный замкнутый круг явлений, в котором нельзя будет распознать, где находится первое явление и где—последнее. Такой удивительный случай, когда опытная физика, благодаря своим работам, образовала бы лабиринт, в котором рациональная физика крутилась бы безустанно, сбивая с толку и смущенная, не невозможен в природе, но он невозможен в математике. В математике, с помощью синтеза или анализа, всегда возможно найти промежуточные предложения, которые отделяют основное свойство кривой от ее самого отдаленного свойства.

## XLVI

Есть обманчивые явления, которые, с первого взгляда, как будто опровергают систему, но которые, как оказывается потом, когда их лучше узнаешь, подтверждают ее. Эти явления становятся истинным испытанием для философа, в особенности, когда он предчувствует, что природа ему навязывает их, а сама ускользает от его взоров каким-то необыкновенным и сокровенным образом. Такой

затруднительный случай имеет место всякий раз, когда явление—результат многих содействующих или противодействующих друг другу причин. Если они содействуют, количественная сторона явления оказывается слишком великой для конструируемой гипотезы; если они противодействуют, эта количественная сторона является слишком малой, а иногда она совсем сводится к нулю, и явление исчезает, так что не знаешь, чему приписать это капризное молчание природы. Приходится ли отнести это на счет разума? Но это нас не подвинет ни на шаг вперед. Нужно работать над разъединением причин, нужно отделить результат от действий и очень сложное явление свести к простому или, по крайней мере, обнаружить с помощью какого-нибудь нового опыта сложность причин, их содействие или противодействие,—операция часто трудная, иногда невозможная. Тогда система колеблется, философы делятся на группы: одни остаются приверженцами ее, другие введены в соблазн опытом, который, повидимому, противоречит ей, и возникают споры, которые длятся до тех пор, пока принципиальность или случай, который никогда не остается в покое и более плодovit, чем пропигательность, не уничтожат противоречия и не восстановят честь идей, которые уже были почти отвергнуты.

## XLVII

Нужно предоставить опыту свободу; показывать опыт с той стороны, которая доказывает, и завлакивать другие его стороны, которые противоречат данному положению,—это значит держать его в плену. Неудобство заключается не в том, чтобы иметь представления, а в том, чтобы не ослепляться ими. Бываешь строгим в своем исследовании лишь тогда, когда результат противоречит системе. Тогда ничто не упускается из виду, что может помочь явлению изменить свой вид или природе—свой язык. В противном случае наблюдатель снисходителен: он скользит по поверхности фактов и почти не думает делать возражений природе; он верит ей с первого слова, не подозревает никаких экивоков с ее стороны. По адресу

такого исследователя можно сделать следующее замечание: «Твоя профессия—допрашивать природу, а ты заставляешь ее лгать или боишься заставить ее объясниться».

### XLVIII

Чем быстрее идешь по неверному пути, тем больше заблуждаешься. Как вернуться обратно, когда прошел большое расстояние? Слабость сил не позволяет этого; тщеславие противится этому незаметно для тебя самого; упорная привязанность к принципам оболочивает все окружающее обаянием, искажающим предметы. Уж ты не видишь их такими, какие они в действительности. Вместо того, чтобы изменить свои представления о существах, принимаешься, повидимому, видоизменять существа сообразно своим представлениям. Среди философов-методистов эта страсть господствует самым очевидным образом. Как только методист в своей системе поставил человека во главе четвероногих, он смотрит на него в природе только как на животное с четырьмя ногами. Напрасно верховный разум, которым он одарен, вопит против наименования его *животным* и организация его противится наименованию его *четвероногим*; напрасно природа повернула его взоры к небу,—предубеждение системы клонит его тело к земле. Разум, согласно его системе, лишь более совершенный инстинкт; система серьезно верит, что лишь по недостатку навыка человек теряет способность пользоваться ногами, когда намеревается превратить свои руки в ноги.

### XLIX

Диалектика некоторых методистов—слишком странная вещь, чтобы не привести образчика ее.

Человек, говорит Линней<sup>28</sup>, не камень, не растение,—следовательно, он животное. У него не одна нога,—следовательно, он не червь. Он не насекомое, так как у него нет усиков. У него нет плавников,—следовательно, он не рыба. Не птица, потому что у него нет перьев. Что же такое человек? У него рот четвероногого, четыре ноги: две пе-

редние служат ему для хватания, две задние—для ходьбы. Следовательно, это—четвероногое. «В самом деле,—продолжает методист,—благодаря своим естественно-историческим принципам я никогда не умел отличить человека от обезьяны, ибо есть обезьяны, у которых меньше шерсти, чем у некоторых людей; эти обезьяны ходят на двух ногах, пользуются своими руками и ногами, как люди. Речь же для меня не имеет решающего значения; согласно со своим методом я допускаю только признаки, проистекающие от числа, от фигуры, от пропорции и положения». «Следовательно, у вас плохой метод»,—говорит логика. «Следовательно, человек—животное о четырех ногах»,—говорит натуралист.

## Л

Иногда бывает достаточно сделать крайние выводы из гипотезы, чтобы поколебать ее. Мы сделаем такую попытку с гипотезой д-ра из Эрлангена<sup>29</sup>, произведение которого, полное необыкновенных и новых идей, доставит много мук нашим философам. Предмет произведения—грандиознейший из всех, какими только может задаться человеческий ум,—универсальная система природы.

Автор начинает с краткого изложения мнений своих предшественников и указывает на недостаточность их принципов для общего развития явлений. Одни постулировали лишь *пространство и движение*. Другие думали, что к пространству нужно прибавить *непроницаемость, подвижность и инерцию*. Наблюдение над небесными телами, или общее, физика больших тел, указывает на необходимость существования силы, благодаря которой все части, согласно известному закону, стремятся или тяготеют друг к другу, и допускает *притяжение*, прямо пропорциональное массе и обратно пропорциональное квадрату расстояния. Простейшие химические операции, или элементарная физика малых тел, заставили прибегнуть к *притяжению*, которое следует другим законам, а невозможность объяснить образование растения или животного с помощью притяжения, инерции,

подвижности, непроницаемости, движения, материи или пространства привела философа Баумана к допущению еще других свойств в природе. Недовольный «пластическими силами», которым поручалось совершать все чудеса природы без материи и без разума; *низшими разумными субстанциями*, которые действуют непонятным образом на материю; *одновременностью творения и образования субстанций*, которые, содержась одна в другой, развиваются во времени в силу непрерывности первого чуда и *непреднамеренности их зарождения*, которые суть не что иное, как цепь чудес, повторяющихся в каждый момент времени,—он думает, что все эти системы, философски мало обоснованные, не имели бы места, если бы нас не останавливал неосновательный страх приписывать очень известные модификации существу, сущность которого нам неизвестна и именно поэтому, вопреки нашему пред-рассудку, может быть вполне совместима с этими модификациями. Но что это за существо? Что это за модификации? Могу я на это ответить? Несомненно,—говорит д-р Бауман.

Существо это телесно. Модификации суть *желание, отвращение, память и разум*, словом, все свойства, которые мы признаем у животных, которые древние подразумевали под именем *чувствующей души*, и присутствие которых, в соответствующих формах и размерах, д-р Бауман допускает как в мельчайшей частице материи, так и в крупнейшем животном.

Если бы было опасно, говорит он, признать некоторую степень разумности у молекул материи, то эта опасность была бы одинаково велика как в том случае, когда мы предполагаем одаренной разумом песчинку, так и в том случае, когда мы наделяем им слона и обезьяну. Тут философ-академик из Эрлангена напрягает последние усилия, чтобы отклонить от себя всякое подозрение в атеизме, и, очевидно, поддерживает с таким рвением свою гипотезу только потому, что она, как ему кажется, удовлетворительно объясняет труднейшие явления, хотя выводом из нее является материализм. Нужно читать это произведение,

чтобы научиться примирять самые смелые философские идеи с глубочайшим уважением к религии. Бог создал мир, говорит д-р Бауман, и нам надлежит, если это возможно, пойти законы, с помощью которых он хотел сохранить его, и средства, назначенные им для воспроизведения индивидов. Пред нами свободное поле в этом отношении; мы можем предложить свои идеи, и вот главные основные идеи доктора.

Семенной элемент, извлеченный из части тела, подобной той, которую он должен образовать в животном, одаренном чувствами и мыслью, будет иметь некоторое воспоминание о своем первоначальном положении,—вот источник сохранения видов и сходства с родителями.

Может случиться, что семенная жидкость изобилует некоторыми элементами или лишена их, что эти элементы не могут соединиться по забывчивости или совершаются своеобразные соединения сверхкомплектных элементов,—отсюда или невозможность зарождения, или всевозможные уродливые зарождения.

Некоторые элементы, по необходимости, усваивают себе способность с удивительной легкостью постоянно соединяться одним и тем же образом; отсюда—при условии, если они различные—варьирующиеся до бесконечности образования микроскопических животных; отсюда—если они похожи друг на друга—полипы, которых можно сравнить с гроздью бесконечно малых пчел; имея живое воспоминание лишь об одном положении, они сцепились и остались сцепившимися в одном этом положении, с которым они лучше всего освоились.

Когда впечатление от настоящего положения поколеблет или погасит воспоминание о прошлом положении, так что явится безучастное отношение ко всему положению, тогда имеет место бесплодие,—отсюда—бесплодие мулов.

Кто помешает элементарным, разумным и одаренным чувствительностью частям бесконечно уклоняться от порядка, конституирующего вид? Отсюда—бесконечное множество видов животных, исходящих от первого животного;



бесконечное количество существ, отпрысков первого существа; отсюда наличность одного акта в природе.

Но, накопляясь и комбинируясь, потеряет ли каждый элемент свою ничтожную степень чувства и перцепции?— Нисколько, говорит доктор Бауман. Эти свойства составляют их сущность. Что же отсюда произойдет? Вот что: из этих перцепций собранных и скомбинированных элементов возникает единая перцепция, пропорциональная массе и расположению, и эта система перцепций, где каждый элемент потеряет память о своем я и будет содействовать образованию сознания *целого*, станет душой животного. («Повидимому, все перцепции элементов собираются воедино и образуют одну более сильную и более совершенную перцепцию. Эта последняя относится к отдельным перцепциям, как организованное тело к элементу. После того как каждый из элементов, соединившись с другими, слил свою перцепцию с перцепциями остальных и утратил *самосознание*, память о первоначальном состоянии элементов исчезает, и от нас остается скрытым наше происхождение».)

Вот здесь-то мы и поражены тем, что автор или не заметил поразительных выводов из своей гипотезы, или, заметив их, не расстался с нею. Теперь следует применить нам свой метод к рассмотрению его принципов. Итак, я спрошу его: образует ли вселенная, или совокупность всех чувствующих и мыслящих молекул, нечто целое, или нет? Если он ответит, что она не образует целого, он сразу поколеблет существование бога, внося в природу беспорядок, и, разрывая цепь, связующую все существа, уничтожит основу философии. Если он согласится, что вселенная—целое, где среди элементов господствует не меньший порядок, чем среди частиц их, реально различных или только воспринимаемых умом, или среди элементов в животном,—тогда придется признать, что, вследствие такого всемирного сцепления, у мира, подобного громадному животному, имеется душа; что раз мир может быть бесконечным, душа мира—я не говорю: есть, но может быть бесконечной системой перцепций, и что мир может быть

богом. Пусть он сколько угодно протестует против этих выводов, они не перестанут быть оттого верными, и какой бы свет ни бросали в глубины природы эти возвышенные идеи, они не станут от этого менее ужасными. Стоило только обобщить их, чтобы заметить это. Акт обобщения имеет такое же значение для гипотез метафизика, какое повторные наблюдения и опыты—для догадок физика. Если догадки правдоподобны, то чем больше делается опытов, тем больше подтверждаются догадки. Если гипотезы верны, то чем шире делаются выводы, тем больше истин обнимают гипотезы, тем большую силу и вероятность они приобретают. Наоборот, если догадки и гипотезы шатки и плохо обоснованы, то может открыться какой-нибудь факт или отыскаться какая-нибудь истина, против которых они не устоят. Гипотеза доктора Баумана объяснит, пожалуй, самую непостижимую тайну природы—образование животных или, общее, образование всех организованных тел; всеобщая совокупность явлений и существование бога будут для нее камнем преткновения. Но хотя мы отвергли идеи доктора из Эрлангена, мы очень плохо оценили бы всю запутанность явлений, разъяснением которых он задался, плодотворность его гипотезы, неожиданные выводы, которые можно из нее сделать, заслугу создания новых догадок о предмете, которым занимались лучшие люди во все века, и трудность с успехом отстаивать свои, если бы мы не смотрели на них как на продукт глубокого размышления, как на отважное предприятие в области универсальной системы природы и на попытку великого философа.

## LI

### Об импульсе ощущения

Если бы доктор Бауман поставил свою систему в тесные границы и применил идеи ее лишь к образованию животных, не распространяя их на природу души, откуда,—как мне, думаю, удалось показать,—их можно перенести на существование бога, он не бросился бы в объятия одного из самых соблазнительных видов материализма,

приписывая органическим молекулам желание, отвращение, чувство и мысль. Надо было удовольствоваться допущением у них чувствительности в тысячу раз меньшей, чем та, которою всемогущий наделил самых близких к мертвой природе животных. Благодаря такой скрытой чувствительности и разнице в конфигурациях, для всякой органической молекулы существовало бы лишь одно, самое удобное из всех, положение, к которому она беспрестанно стремилась бы с автоматическим беспокойством, подобно животным, ворочающимся во сне, когда приостанавливается деятельность почти всех их способностей, ворочающимся до тех пор, пока они не найдут положения, наиболее удобного для покоя. Этого одного принципа достаточно было бы для объяснения, самым простым способом и без всяких опасных выводов, явлений, объяснением которых он задался, и тех бесчисленных чудес, которые так изумляют всех наших наблюдателей над насекомыми, и он определил бы животное вообще как *систему различных органических молекул, которые, под влиянием импульса ощущения, подобного тупому и неотчетливому осязанию и данного им тем, кто создал всю вообще материю, комбинируются до тех пор, пока каждая из них не встретит самого подходящего для ее фигуры и для ее покоя места.*

## ЛII

### Инструменты и меры

Мы уже заметили, что, поскольку чувства являются источником всех наших познаний, постольку очень важно знать, до какой степени мы можем рассчитывать на их свидетельство. Прибавим здесь, что рассмотрение дополнения наших чувств, или инструментов, не менее необходимо. С каждым новым применением опыта возникает новый источник долгих, тяжелых и трудных наблюдений. Имеется, кажется, одно средство сократить труд: это — оставаться глухим к сомнениям рациональной философии (ибо у нее имеются таковые) и отчетливо понять, до ка-

кой именно степени необходима точность мер при измерении. Сколько на измерения потеряно ловкости, труда и времени, которые были бы употреблены на открытия!

### LIII

В изобретении или в усовершенствовании инструментов нужно настоятельно рекомендовать физику сугубую осмотрительность: избегать аналогий, никогда не заключать ни от большего к меньшему, ни от меньшего к большему, подвергать рассмотрению все физические свойства данных веществ. Физик никогда не будет иметь успеха, если будет пренебрегать этим, а когда он примет все меры, сколько еще раз ему случится натолкнуться на какое-нибудь маленькое препятствие, которого он не предвидел или которым пренебрег, но которое заградит от него природу и понудит его бросить работу, которую он считал законченной!

### LIV

#### О выборе предметов

Так как разум не может все понять, воображение не может все предвидеть, чувство не в состоянии все подметить, а память—все удержать; так как великие люди рождаются чрез длинные промежутки времени, а прогресс научных знаний так часто задерживается переворотами, что целые века научной деятельности тратятся на то, чтобы снова приобрести знания протекших столетий,—то делать наблюдения без всякого разбора над всем, что представляет природа, значит не исполнить своей обязанности пред человеческим родом. Люди, выделяющиеся своими талантами, должны тратить свое время так, как это требует уважение к самим себе и к потомству. Что подумало бы о нас потомство, если бы мы ничего не оставили ему, кроме полной энтомологии да обширной истории микроскопических животных? Для великих умов—великие предметы, для мелких—мелкие. Последним лучше чем-нибудь заниматься, чем ничего не делать.

## LV

## О препятствиях

Так как не достаточно желать какой-нибудь вещи, но надо также мириться со всем, что почти нераздельно связано с желаемою вещью, то человеку, который решит посвятить себя изучению философии, придется столкнуться не только с физическими препятствиями, свойственными природе ее предмета, но и со множеством препятствий морального свойства, которые должны представиться ему, как до него они представлялись всем философам. Когда же ему случится встретиться с препятствием или быть плохо понятым, оклеветанным, поносимым, скомпрометированным, пусть он скажет самому себе: «Разве только в мое время и только мне приходится встречать людей невежественных и злобных, души, снедаемые завистью, существа, омраченные суевериями?» Если он вздумает иногда жаловаться на своих сограждан, пусть он скажет так: «Я жалею о своих сограждан, но если бы было возможно спросить их всех и задать каждому из них вопрос: кем хотел бы он быть, автором ли *Nouvelles Ecclésiastiques*<sup>30</sup> или Монтескье, автором ли *Lettres Américaines*<sup>31</sup> или Бюффоном,—то найдется ли среди них хоть один маломальски рассудительный человек, который стал бы колебаться в выборе? Я уверен, что наступит время, когда я получу то единственное одобрение, которое ценю,—если только я достоин его».

А вы, присваивающие себе имя философов или свободных мыслителей и не стыдящиеся походить на тех назойливых насекомых, которые проводят мгновения своего эфемерного существования в том, что беспокоят человека во время работы и отдыха,—какая у вас цель? чего ждете вы от своего остервенения? когда вы приведете в отчаяние славных авторов и прекрасные таланты, которые еще остаются у нации, что вы дадите ей взамен? какими удивительными произведениями возместите вы роду человеческому утрату тех, которые у него были бы?..

Наперекор вам, имена Дюкло<sup>32</sup>, Даламберов и Руссо, Вольтеров, Мопертюи и Монтескье, Бюффонов и Добентонов<sup>33</sup> будут в почете у нас и у наших внуков, а если кто-нибудь вспомнит когда-нибудь ваши имена, то он скажет: «Они преследовали лучших людей своего времени, и если мы имеем предисловие к *Энциклопедии*, *Историю века Людовика XIV*, *Дух законов* и *Историю природы*<sup>34</sup>, то только потому, что, к счастью, не в их власти было лишить нас этого».

## LVI

## О причинах

1. Если положиться только на тщетные догадки философии и на слабый свет нашего разума, то можно подумать, что у цепи причин не было начала и у цепи следствий не будет конца. Предположите, что какая-нибудь молекула перемещена; она переместилась не сама собой; имеется какая-нибудь причина ее перемещения, у этой причины—другая и т. д., так что нельзя найти *естественных* границ для причин в каждый предшествующий момент времени. Возьмите перемещенную молекулу; перемещение молекулы вызовет определенное следствие, за этим последним наступит другое, так что нельзя найти в каждый последующий момент времени *естественных* границ для следствий. Ум, ошеломленный бесконечным рядом самых слабых причин и самых незначительных следствий, отказывается от этого предположения и от некоторых других того же рода только вследствие предрассудка, согласно которому нет ничего за пределами наших чувств и все прекращается там, где мы больше ничего не видим; но одно из главных отличий наблюдателя природы от ее истолкователя заключается в том, что последний отправляется от той точки, где чувства и инструменты покидают первого; на основании того, что есть, он строит догадку о том, что еще должно быть; из порядка вещей он выводит общие и абстрактные заключения, которые имеют в его глазах очевидность осязаемых и конкретных истин; он поднимается даже до сущности порядка; он вц-

дит, что для него недостаточно *чистого и простого* сосуществования чувствующего и мыслящего существа с какой-нибудь цепью причин и следствий, чтобы вынести о них абсолютный приговор; он останавливается здесь; сделай он еще один шаг, и он вышел бы за пределы природы<sup>35</sup>.

### О конечных причинах

2. Кто мы, чтобы быть в состоянии объяснить цели природы? Разве мы не замечаем, что почти всегда мы прославляем ее мудрость за счет ее могущества?

Такой способ объяснения природы неудовлетворителен даже в естественной теологии. Придерживаться его значит на место творения бога ставить догадку человека, важнейшую из теологических истин связывать с судьбой гипотезы. Но достаточно самого простого явления, чтобы показать, насколько исследование этих причин противоречит истинному знанию.

Я представляю себе, что физик, спрошенный о природе молока, ответит, что молоко—пищевой продукт, начинающийся образовываться у самки, когда она зачала, и что природа предназначает его в пищу будущему животному. Что даст мне такое определение? Что могу я думать о предполагаемом назначении этой жидкости и других физиологических идеях, возникающих в связи с ней, когда я знаю, что бывали мужчины, у которых из сосков появлялось молоко; что анастомоз надбрюшных и грудных артерий доказывает, что молоко производит вздутые груди\*, которое появляется иногда даже у девушек при приближении месячных очищений; что нет почти ни одной девушки, которая не могла бы сделаться кормилицей, если бы дала сосать себе грудь, и что я знаю одну маленькую самку, для которой не нашлось подходящего самца, которая не была покрыта, не была беременной и у которой все-таки груди были так наполнены молоком,

\* Это одно из лучших анатомических открытий наших дней принадлежит г. Бертэну. [*Прим. автора.*]

что приходилось прибегать к обычным средствам для облегчения их? Не смешно ли слушать анатомистов, серьезно приписывающих стыдливости природы прикрытие, которое она набрасывает на некоторые части нашего тела, где нет ничего неприличного, что нужно было бы закрывать? Назначение, которое приписывают этому прикрытию другие анатомисты, делает немного меньше чести стыдливости природы, но не делает больше чести проницательности анатомистов. Физик, профессия которого заключается в том, чтобы учить, а не в том, чтобы создавать, откажется от вопроса: *зачем?* и займется лишь вопросом: *как?* *Как* исходит из наблюдения над существами, *зачем*—из нашего разума; *зачем* относится к области наших систем и зависит от прогресса наших знаний. Сколько нелепых представлений, ложных предположений, химерических понятий в тех гимнах, которые смело сочинялись в честь создателя некоторыми безрассудными поборниками конечных причин! Вместо того, чтобы разделять восторженное удивление пророка и восклицать при виде бесчисленных звезд, освещающих ночью небеса: «Небеса проповедуют славу божию» (*Псалом XVIII*, ст. 1), они увлеклись суеверием своих догадок. Вместо того, чтобы боготворить всемогущего в самих творениях природы, они стали падать ниц пред призраками своего воображения. Если кто-нибудь, повинувшись голосу предрассудка, усомнится в основательности моего упрека, я предложу ему сравнить трактат Галена<sup>36</sup> о назначении различных частей человеческого тела с физиологией Бургава<sup>37</sup>, а физиологию Бургава с физиологией Галлера<sup>38</sup>, я приглашаю потомство сравнить заключающиеся в произведении Галлера систематические и исторически переходящие взгляды с тем, чем физиология делается в грядущие века. Человек, исходя из своих узких намерений, превозносит предвечного, а предвечный, слушая его с высоты своего трона и зная свои намерения, принимает его нелепые похвалы и смеется над его тщеславием.



## LVII

## О некоторых предрассудках

Ни в явлениях природы, ни в условиях нашей жизни нет ничего, что не могло бы оказаться западней для людей опрометчивых. Я имею при этом в виду большую часть тех общепринятых аксиом, возникновение которых обыкновенно приписывается здравому смыслу народов. Так, говорят: *ничто не ново под луной*, и это верно для того, кто ограничивается поверхностными наблюдениями. Но какое значение имеет эта сентенция для философа, ежедневно занятого размышлением над тончайшими различиями? Что должен был подумать об этом тот, кто утверждал, что на целом дереве не найдется, может быть, двух листьев, *очевидно* окрашенных в один и тот же зеленый цвет? <sup>39</sup> Что подумал бы об этом тот, кто, размышляя над множеством известных причин, которые должны способствовать появлению точно определенного оттенка цвета, утверждал бы,—не думая преувеличивать мнение Лейбница,—что следует считать доказанным,—вследствие различия в расположении точек пространства, где находятся тела, в связи с чудовищным числом других причин,—что никогда, может быть, не существовало и никогда, может быть, не будет существовать двух травинок, окрашенных *абсолютно* в один и тот же зеленый цвет? Если существа постепенно проходят чрез неуловимые стадии изменений, то время, которое не останавливается, должно, в конце концов, установить громадную разницу между формами, существовавшими в давно прошедшие эпохи, ныне существующими и теми, которые будут существовать в грядущие века. Таким образом, *nil sub sole novum* \*—предрассудок, основанный на слабости наших органов, на несовершенстве наших инструментов и непродолжительности нашей жизни. В морали говорят: *quot capita, tot sensus* \*\*, но верно противопо-

\* Ничто не ново под солнцем.

\*\* Сколько голов, столько умов.

ложное: голов много, а ум—явление редкое. В литературе говорят: *не следует спорить о вкусах*. Если понимать под этим, что не следует спорить, что у того или другого человека такой-то вкус, то это—глушость. Если же понимать под этим, что в области вкуса не существует ни хорошей, ни дурной стороны, то это—неверно. Философ не оставит без строгого рассмотрения всех этих аксиом народной мудрости.

## LVIII

## Вопросы

Есть лишь один способ быть гомогенным, и, наоборот, имеется бесконечное множество всевозможных способов быть гетерогенным. Мне кажется столь же невозможным, чтобы все творения природы были произведены из совершенно гомогенной материи,—сколь невозможно было бы представить их все одного и того же цвета. Все же мне думается, что разнообразие феноменов не может быть результатом какой-нибудь гетерогенности. Поэтому я называю *элементами* различные гетерогенные вещества, необходимые для создания всех феноменов природы, и *природой*—общий актуальный результат или общие последовательные результаты комбинации элементов. В элементах должны быть существенные различия; без этого условия все могло бы родиться от гомогенности, потому что все могло бы вернуться к ней. Существует, существовала или будет существовать естественная или искусственная комбинация, в которой элемент доводится, был или будет доведен до самой крайней степени деления. Молекула элемента, находящегося в таком состоянии крайней степени деления, неделима, абсолютно неделима, так как дальнейшее деление ее, выходя за пределы законов природы и сил искусства, может быть представлено лишь умом. Так как состояние крайней степени деления в природе или на опыте, по всей видимости, бывает различным для гетерогенных по существу веществ, то отсюда следует, что существуют молекулы существенно различные в отноше-

ний массы и все же абсолютно неделимые сами по себе. Сколько веществ абсолютно гетерогенных или элементарных? Мы не знаем этого. Какие существенные различия в веществах, которые мы считаем абсолютно гетерогенными или элементарными? Мы не знаем этого. До какой степени деления может быть доведено элементарное вещество в опытах или в деятельности природы? Мы не знаем, и т. д.<sup>40</sup>.

К комбинациям искусственным я присоединяю комбинации природы, потому что среди бесконечного множества фактов, неизвестных нам и которые мы никогда не будем знать, есть еще один скрытый от нас, а именно: не доводится ли, не было ли или не будет доведено деление элементарной материи в искусственных операциях дальше, чем оно доводится, было или будет доведено в природе, предоставленной самой себе? Из первого, следующего ниже, вопроса будет видно, почему я ввел в некоторые мои проблемы понятия прошлого, настоящего и будущего и почему я включил идею последовательности в данное мною определение природы.

1. Если не существует взаимной связи между явлениями, то нет места для философии. С другой стороны, можно допустить, что состояние каждого из этих явлений может быть преходящим и при наличии связи между ними. Но если состояние существ подвержено непрерывному колебанию, если природа находится еще за работой, то, вопреки цепи, связующей явления, нет места для философии. И все наше знание природы становится тогда столь же преходящим, как слова: то, что мы принимаем за историю природы, является не больше, как очень неполной историей одного момента. Поэтому я спрашиваю: всегда ли были и будут металлы такими, каковы они теперь; всегда ли были и будут растения такими, каковы они теперь; всегда ли были и будут животные такими, каковы они теперь, и т. д.?

После глубокого размышления над известными явлениями у нас появляется сомнение, которое вам, о скептики, может быть, простится,—сомнение, что мир не

был создан, но что он остается таким, каким был и будет.

2. Не то же ли самое происходит с целыми видами, что в царствах животном и растительном с отдельным индивидом, который возникает, так сказать увеличивается, растет, крепнет, потом разрушается и гибнет? Если бы вера не научила нас тому, что животные вышли из рук творца такими, какими мы видим их, если бы было позволено иметь малейшее сомнение насчет их начала и конца, то не мог ли бы философ, предоставленный собственным догадкам, предположить, что все живое имеет от вечности особенные, рассеянные и смешанные в массе материи элементы; что все эти элементы случайно соединились, потому что было возможно такое соединение; что сформировавшийся из этих элементов эмбрион прошел через бесконечные стадии развития и организации; что он последовательно прошел стадии движения, ощущения, представлений, мысли, размышления, сознания, чувств, страстей, знаков, жестов, звуков, членораздельных звуков, языка, законов, наук и искусств; что протекли миллионы лет между каждой из этих стадий развития; что ему, может быть, предстоит пройти еще другие стадии развития и организации, нам неизвестные; что он был или будет в состоянии стационарном; что он удаляется или удалится от этого состояния благодаря вечному разрушению, во время которого его способности покинут его; что он навсегда исчезнет из природы или, скорее, будет существовать в ней под иной формой и с другими способностями, отличными от тех, которые наблюдаются в нем в данный момент времени? Религия избавляет нас от большого труда и от многих заблуждений. Если бы она не просветила нас насчет начала мира и универсальной системы существ, сколько различных гипотез нам пришлось бы принять для объяснения тайн природы! Эти гипотезы, все одинаково ложные, нам казались бы почти все одинаково правдоподобными. Вопрос: *почему что-либо существует?*—самый затруднительный, какой только может представить себе философия; только откровение отвечает на него.

3. Если бросить взгляд на животных и на грубую землю, которую они топчут ногами; на органические молекулы и на жидкость, в которой они двигаются, на микроскопических насекомых и на вещество, которое производит и окружает их, то станет очевидным, что материя вообще делится на мертвую и живую. Но как может быть, что материя не одна: живая или мертвая? Живая материя всегда ли остается живой? И мертвая материя всегда ли и действительно ли остается мертвой? Разве живая материя не умирает? Разве мертвая материя никогда не начинает жить?

4. Есть ли какая-нибудь другая заметная разница между мертвой и живой материей, кроме организации и реальной или кажущейся самопроизвольности движения?

5. То, что называют живой материей, не есть ли только сама собой движущаяся материя? И то, что называют мертвой материей, не есть ли это материя, движимая другой материей?

6. Если живая материя есть движущаяся сама по себе материя, то как может она перестать двигаться, не умирая?

7. Если существуют живая и мертвая материи сами по себе, то достаточно ли этих двух принципов для создания всех форм и всех явлений?

8. В геометрии реальная величина, прибавленная к мнимой, дает мнимое целое; а в природе будет ли целое живым или мертвым, если молекула живой материи соединится с молекулой мертвой материи?

9. Если агрегат может быть или живым, или мертвым, то когда и почему он будет живым, когда и почему он будет мертвым?

10. Живой или мертвый, он существует в какой-нибудь форме. В какой бы форме он ни существовал, каков его принцип?

11. Прообразы являются ли принципами форм? Что такое прообраз? Нечто реальное и предсуществующее или же только постижимые разумом пределы энергии одной живой молекулы, соединенной с мертвой или живой материей, пределы, определенные отношением всяческой

энергии ко всевозможным сопротивлениям? Если это существо реальное и существующее предвечно, то как оно образуется?

12. Варьируется ли энергия живой материи сама по себе или она варьируется лишь сообразно количеству, качеству, формам мертвой или живой материи, с которой она соединяется?

13. Существуют ли живые материи, имеющие специфическое отличие от других живых материй, или всякая живая материя, по своей сущности, едина во всем? Тот же вопрос относится к мертвым материям.

14. Комбинируется ли живая материя с живой материей? Как происходит эта комбинация? Каков результат ее? То же относится к мертвой материи.

15. Если бы можно было предположить, что вся материя—живая или что вся она—мертвая, то было ли когда-нибудь что-либо другое, кроме мертвой или живой материи, или могли ли бы живые молекулы вернуться к жизни, потеряв ее, чтобы потом опять расстаться с ней, и т. д. до бесконечности?

*Когда я обращаю свои взоры на деятельность людей и повсюду вижу основанные ими города, элементы природы, претворенные ими в дело, сложившиеся языки, приобщившиеся к культуре народы, построенные порты, покрытые судами моря, измеренные землю и небеса,—мир мне кажется очень старым. Но когда я встречаю людей, незнакомых с началами медицины и агрикультуры, со свойствами самых простых веществ, с болезнями, заражающими их, с тем, какой вид имеет плуг, как надо подрезывать деревья,—земля мне кажется населенной лишь со вчерашнего дня. И если бы люди были мудрыми, они приступили бы, наконец, к исследованиям, полезным для их благополучия, и ответили бы на мои праздные вопросы не раньше, как через тысячу лет, или даже, может быть, никогда не сообразовали бы ответить на них, принимая во внимание ничтожность их места в пространстве и во времени.*

## Молитва

Я начал с природы, которую назвали твоим произведением, и кончу тобой, имя которого на земле—бог.

О боже! Я не знаю, существуешь ли ты, но я постараюсь мыслить так, как если бы ты читал в моей душе; я постараюсь действовать так, как если бы я стоял перед тобой.

Если я грешил иногда против своего разума или твоего закона, то я буду менее удовлетворен своей прошлой жизнью; но, тем не менее, я буду спокоен насчет своей будущей участи, ибо ты забыл мою вину, лишь только я признал ее.

Я ничего не прошу у тебя в этом мире, ибо ход вещей необходим сам по себе, если ты не существуешь, или в силу твоего повеления, если ты существуешь.

Я надеюсь быть награжденным тобою на том свете, если он существует, хотя все, что я делаю в этом мире, я делаю ради себя самого.

Если я иду путем добра, то я это делаю без всяких усилий; если я покидаю путь зла, то не потому, что думаю о тебе.

Я не мог бы воспрепятствовать себе любить истину и добродетель и ненавидеть ложь и порок, если бы даже знал, что ты существуешь и что тебе это не нравится.

Таков я—необходимо организованная часть вечной и необходимой материи или, может быть, твое создание.

Но если я творю добро и благо, то какое дело моим ближним до того, происходит ли это от счастливой организации, от свободных актов моей воли или от ниспосланной тобою благодати?

И всякий раз, молодой человек, когда ты будешь повторять этот символ веры нашей философии, ты будешь читать и следующее:

Только добродетельный человек может быть атеистом.

Дурной человек, отрицающий бытие божие, судья в своем собственном деле; это человек, который боится и

который знает, что он должен бояться в будущем мстителя за совершенные им дурные поступки.

Наоборот, добродетельный человек, которому лестно было бы думать, что в будущем он будет вознагражден за свою добродетель, выступает против своих собственных интересов.

Один поступает на пользу самому себе, другой—против самого себя. Первый никогда не может быть уверен в истинных мотивах, определяющих его философскую позицию. Второй не может сомневаться, что очевидные факты заставляют его принять взгляды, резко противоречащие его сладчайшим и самым дорогим надеждам.

Так как либо бог позволил, либо универсальный механизм, называемый роком, захотел, чтобы мы в течение своей жизни испытывали всякого рода события, то—если ты благоразумный человек и более нежный отец, чем я,—ты постарайся с ранних лет убедить своего сына, что он хозяин своей жизни, для того, чтобы он не стал жаловаться на тебя, давшего ему жизнь.



## Философские принципы, о материи и движении

Я не знаю, какой смысл придавать предположению философов о том, что материя индифферентна к движению и покою. Несомненно, что все тела тяготеют друг к другу, что все в этой вселенной находится или в состоянии перемещения, или *in situ*, или одновременно и в том и в другом состоянии.

Это предположение философов подходит, может быть, на предположение геометров, которые допускают существование точек без измерения, линий без ширины и глубины, поверхностей без плотности. Или, может быть, они говорят об относительном покое, о покое одной массы по отношению к другой. Все находится в относительном покое на судне, терзаемом бурей. Нет ничего там в абсолютном покое, даже составные молекулы судна заключающихся в нем тел не находятся в абсолютном покое.

Если они полагают, что во всяком теле одинакова тенденция как к покою, так и к движению, то они, очевидно, считают материю гомогенной, абстрагируют от нее все присущие ей свойства, смотрят на нее как на неизменяемую в почти неделимый момент их спекуляции, рассуждают об относительном покое, о покое одного агрегата по отношению к другому; забывают, что в то время,

как они рассуждают об индифферентности тела к движению или к покою, в глыбе мрамора происходит процесс разложения; уничтожают мысленно и всеобщее движение, одушевляющее все тела, и их взаимное действие, которое их все разрушает; эта индифферентность, хотя и мнимая сама по себе, но мгновенная, не сделает законов движения неправильными.

*Тело, по мнению некоторых философов, не одарено само по себе ни действием, ни силой.* Это—ужасное заблуждение, стоящее в прямом противоречии со всякой физикой, со всякой химией. Само по себе, по природе присущих ему свойств, тело полно действия и силы, будете ли вы рассматривать его в молекулах или в массе.

*Чтобы представить себе движение, — прибавляют они, — вне существующей материи, следует вообразить силу, действующую на нее.* Это не так. Молекула, одаренная присущим ей свойством, сама по себе есть сила активная. Она воздействует на другую молекулу, которая, в свою очередь, воздействует на первую. В основе всех этих паралогизмов лежит ложное предположение о гомогенной материи. Представляя себе так хорошо материю спокойной, можете ли вы вообразить себе огонь в состоянии покоя? В природе все обладает разнообразным действием, подобно той совокупности молекул, которую вы называете огнем. Каждая молекула этой совокупности, называемой огнем, имеет свою природу, свое действие.

Вот истинная разница между покоем и движением: абсолютный покой—абстрактное понятие, не существующее в природе; движение же есть такое же реальное свойство, как длина, ширина, глубина. Какое мне дело до того, что происходит в вашей голове? Какое мне дело до того, что вы рассматривали материю как гомогенную или гетерогенную? Какое мне дело до того, что, абстрагируясь от ее свойств и принимая во внимание лишь ее существование, вы увидели ее в состоянии покоя? Какое мне дело до того, что вследствие этого вы искали причину, приводящую ее в движение? Вы можете делать из геометрии и метафизики все, что угодно; но я, физик

и химик, который берет тела такими, какими они бывают в природе, а не в моей голове,—я вижу их жизнедеятельными во всем их разнообразии, одаренными свойствами, способностью к действиям и подвижными как во вселенной, так и в лаборатории, где искра в соединении с тремя комбинированными молекулами селитры, угля и серы необходимо вызывает взрыв.

Тяжесть не есть *тенденция к покою*; это—тенденция к местному движению.

*Чтобы материю привести в движение*, говорят еще, *нужно действие, нужна сила*. Да, или сила внешняя по отношению к молекуле, или внутренняя, интимная, присущая молекуле, конституирующая ее природу, делающая ее молекулой огня, воды, селитры, азота, щелочи; какова бы ни была ее природа, из нее исходит сила, действующая вне ее, и из других молекул тоже исходят силы, действующие на нее.

Сила, действующая на молекулу, иссякает; сила, присущая молекуле, не иссякает; она неизменна, вечна. Эти две силы могут производить два рода *nisus*: первый—прекращающийся, второй—никогда не прекращающийся. Следовательно, абсурдно говорить, что у материи имеется реальное противодействие движению.

Количество силы постоянно в природе, но сумма *nisus* и сумма трансляций переменны. Чем больше сумма *nisus*, тем меньше сумма трансляций, и обратно: чем больше сумма трансляций, тем меньше сумма *nisus*. Пожар, охвативший город, увеличивает сумму трансляций внезапно на чудовищную величину.

Атом двигает мир; нет ничего вернее этого положения; это так же верно, как и то, что атом движем миром; поскольку у атома есть собственная сила, она не может оставаться без действия.

Физику никогда не следует говорить: *тело—как тело*, ибо тогда нечего делать физике; это—дело абстракции, которая ни к чему не приводит.

Не следует смешивать действие с массой. Возможны большая масса и маленькое действие. Возможны неболь-

шая масса и большое действие. Молекула воздуха взрывает стальную глыбу. Четырех гран пороха достаточно, чтобы рассечь скалу.

Да, конечно, когда сравнивают гомогенный агрегат с другим агрегатом из той же гомогенной материи, когда говорят о действии и противодействии этих двух агрегатов, тогда энергии прямо пропорциональны массам. Но когда речь идет о гетерогенных агрегатах, о гетерогенных молекулах, тогда действуют другие законы. Существует столько разнообразных законов, сколько разнообразия в силе, свойственной и присущей каждой элементарной и конститутивной молекуле тел.

*Тело сопротивляется горизонтальному движению.* Что это значит? Хорошо известно, что есть общая всем молекулам обитаемого нами шара сила, которая оказывает давление в известном направлении, перпендикулярном или почти перпендикулярном поверхности шара, но эта главная и всеобщая сила встречает противодействие от сотни тысяч других. Нагретая стеклянная трубочка заставляет развеваться листочки золота. Ураган наполняет воздух пылью; жар заставляет воду испаряться, испаряющаяся вода уносит с собой молекулы соли. Между тем как медная масса давит на землю, воздух действует на медь и окисляет ее поверхность, вследствие чего начинается разрушение этого тела; сказанное мною о массах относится и к молекулам.

Всякую молекулу нужно рассматривать как одушевленную тремя родами действий: действием тяжести, или тяготения, действием ее интимной силы, свойственной ее природе, как молекулы воды, огня воздуха, серы, и действием всех других молекул на нее. Может случиться, что эти три действия будут сходящимися или расходящимися. Если они—сходящиеся, то молекула будет одарена самым сильным действием, какое только может у нее быть. Чтобы составить себе представление об этом величайшем действии, нужно было бы вообразить, так сказать, целую кучу абсурдных предположений, поставить молекулу в совершенно метафизическое положение.

В каком смысле можно сказать, что тело тем больше сопротивляется движению, чем больше его масса? Не в том, что, чем больше его масса, тем слабее его давление на препятствие. Нет носильщика, который не знал бы, что это не так: это так только относительно направления, обратного его давлению. В этом направлении, конечно, оно тем больше сопротивляется движению, чем больше его масса. Несомненно также, что в направлении, в котором давит тяжесть, его давление, или сила, или тенденция к движению, увеличивается пропорционально его массе. Какое все это имеет значение? Никакого.

Я не удивляюсь, видя, как падает тело, как пламя поднимается вверх, как вода давит во все стороны и давит, в зависимости от высоты и основания с такой силой, что небольшим количеством жидкости я могу разбить очень крепкие вазы; как расширяющийся пар растворяет самые крепкие тела в папиновом котле и поднимает самые тяжелые в паровых машинах. Но я остававливаю свои взоры на общей массе тел и вижу все в состоянии действия и противодействия: все гибнет в одной форме и восстанавливается в другой, повсюду—всевозможные сублимации, диссолюции, комбинации,—явления, несовместимые с гомогенностью материи. Отсюда я делаю вывод, что материя гетерогенна; что существует в природе бесконечное количество разнообразных элементов; что у каждого из этих элементов, благодаря его разнообразию, имеется своя особая, внутренняя, непреложная, вечная, неразрушимая сила и что эти присущие телу силы имеют свои действия вне тела; отсюда рождается движение или всеобщее брожение во вселенной.

Что делают философы, ошибки и паралогизмы которых я опровергаю здесь? Они хватаются за одну единственную силу, может быть, общую всем молекулам материи. Я говорю: *может быть*, ибо я не был бы удивлен, если бы в природе была такая молекула, которая, соединившись с другой, делала бы происходящую в результате смесь более легкой. Каждый день в лаборатории подвергают испарению одно инертное тело с помощью

другого инертного, и когда те, которые, видя во вселенной только одно действие тяготения, заключают отсюда об индифферентности материи к покою или движению, или, лучше сказать, о тенденции материи к покою, и думают, что они решили вопрос,—на самом деле они его даже не затронули.

Когда рассматривают тело как более или менее сопротивляющееся, а не как тяжелое или стремящееся к центру тяготения, то в нем уже признают присутствие силы, свойственного и присущего ему действия; но есть много других сил и действий, из которых одни оказывают всестороннее воздействие, а другие имеют особые направления.

Предположение о каком-нибудь существе, стоящем вне материальной вселенной, невозможно. Никогда не следует делать подобных предположений, потому что из них никогда нельзя сделать никакого вывода:

Все, что говорят о невозможности ускорения движения или быстроты, наносит удар гипотезе о гомогенной материи. Но что от этого тем, которые выводят движение в материи из ее гетерогенности? Предположение о гомогенной материи чревато многими другими несообразностями.

Когда люди откажутся рассматривать вещи в своей голове и будут рассматривать их во вселенной, тогда они, на основании разнообразия в явлениях, убедятся в разнообразии элементарных веществ, в разнообразии сил, в разнообразии действий и противодействий, в необходимости движения; а допустив все эти истины, они не будут больше говорить: я вижу материю существующей, я вижу ее сначала в покое,—ибо они почувствуют, что это значит допускать абстракцию, из которой нельзя сделать никаких выводов. Существование не вызывает ни покоя, ни движения; но существование не есть единственное свойство тел.

Физики, предполагающие материю индифферентной к движению и покою, не имеют ясного представления о сопротивлении. Для того, чтобы они могли сделать какой-нибудь вывод из факта сопротивления, нужно было бы,

чтобы это свойство проявлялось безразлично во всех направлениях и чтобы его энергия оставалась одинаковой во всяком направлении. Но тогда это была бы присущая телу сила,—такая, какая есть у всякой молекулы; но это сопротивление варьируется сообразно направлениям, по которым могут толкать тело; оно больше в вертикальном, чем в горизонтальном направлении.

Разница между тяжестью и силой инерции заключается в том, что тяжесть сопротивляется неодинаково во всех направлениях, а сила инерции одинаково во всех направлениях.

И почему бы силе инерции не вызывать эффекта удержания тела в состоянии покоя и в состоянии движения только благодаря понятию сопротивления, пропорционального количеству материи? Понятие чистого сопротивления одинаково прилагается к покою и к движению: к покою, когда тело в движении, к движению, когда тело в покое. Без такого сопротивления не могло бы быть толчка перед движением и остановки после толчка, ибо тело было бы ничто.

В опыте с шаром, подвешенным на нитке, тяжесть уничтожается. Шар тянет нитку с такой же силой, с какой нитка тянет шар. Следовательно, сопротивление тела исходит только из силы инерции.

Если бы нитка тянула шар сильнее, чем тяжесть его, шар поднялся бы. Если бы тяжесть тянула шар сильнее нитки, он опустился бы вниз, и т. д., и т. д.





**РАЗГОВОР ДАЛАМБЕРА С ДИДРО.  
СОН ДАЛАМБЕРА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА.**



## Разговор Даламбера с Дидро

*Даламбер.* Я признаю: трудно допустить бытие существа, которое где-то пребывает и не сообщается ни с одной точкой вселенной; которое непространственно и занимает пространство, целиком находясь в каждой частице его; которое существенно отличается от материи и связано с ней, следует за ней и приводит ее в движение, оставаясь само неподвижным, воздействует на нее и подвержено всем ее изменениям,—бытие существа, у которого такая противоречивая природа и о котором я не имею ни малейшего представления. Но перед тем, кто отвергает его существование, встанут другие трудности; ведь если та чувствительность, которой вы наделяете материю, является общим и существенным свойством ее, то нужно предположить, что и камень чувствует?

*Дидро.* Почему нет?

*Даламбер.* Трудно поверить этому.

*Дидро.* Да, для того, кто режет его, точит, толчет и не слышит его крика.

*Даламбер.* Мне хотелось бы знать, какая, по вашему мнению, разница между человеком и статуей, мрамором и телом.

*Дидро.* Очень незначительная. Из мрамора делают тело, из тела—мрамор.

*Даламбер.* Но тело не то, что мрамор.

*Дидро.* Как то, что вы называете живой силой, не то, что мертвая сила.

*Даламбер.* Не понимаю вас.

*Дидро.* Объяснюсь. Перемещение тела с одного места на другое не есть движение, а только действие его. Движение есть как в движущемся теле, так и в неподвижном.

*Даламбер.* Это—новый метод воззрения.

*Дидро.* И все же правильный. Уберите препятствие с пути неподвижного тела, и оно передвинется. Разрежьте внезапно воздух, окружающий ствол этого огромного дуба, и вода, содеждающаяся в дубе, под влиянием внезапного расширения, разорвет его на сотни частиц. То же скажу я о вашем теле.

*Даламбер.* Так. Но какая связь между движением и чувствительностью? Уж не признаете ли вы существование деятельной и инертной чувствительности наподобие живой и мертвой силы? Как живая сила проявляется при передвижении, а мертвая—при давлении, так деятельная чувствительность характеризуется у животного и, может быть, у растения теми или другими заметными действиями, а в существовании инертной чувствительности можно удостовериться при переходе ее в состояние деятельной.

*Дидро.* Великолпно. Вы указали эту связь.

*Даламбер.* Таким образом, у статуи только инертная чувствительность, а человек, животное и, может быть, растение одарены деятельной чувствительностью.

*Дидро.* Есть, несомненно, такое различие между куском мрамора и тканью тела, но вы хорошо понимаете, что это не единственное различие.

*Даламбер.* Само собой разумеется. Как бы человек ни походил по внешности на статую, между их внутренними организациями не существует никакого соотношения. Резец самого искусного скульптора не создаст ни одной частицы телесного покрова. Но есть очень простой способ для превращения мертвой силы в живую; такой опыт повторяется на наших глазах сотни раз на день; между тем, я вовсе не знаю случая, чтобы тело переводили из

состояния инертной чувствительности в состояние чувствительности деятельной.

*Дидро.* Потому что вы не хотите знать. Это тоже обычное явление.

*Даламбер.* Также обычное? Скажите, пожалуйста, что же это за явление?

*Дидро.* Я вам назову его, если вам не стыдно об этом спрашивать. Это происходит всякий раз, как вы едите.

*Даламбер.* Всякий раз, как я ем?

*Дидро.* Да. Что делаете вы, когда едите? Вы устраняете препятствия, мешающие появлению в продуктах деятельной чувствительности их. Вы ассимилируете продукты, делаете из них тело, одушевляете их, делаете их чувствительными, и то, что вы проделываете с продуктами, я проделаю, когда угодно, с мрамором.

*Даламбер.* Каким образом?

*Дидро.* Каким образом? Сделаю его съедобным.

*Даламбер.* Сделать мрамор съедобным,—это, кажется, не так легко.

*Дидро.* Это уж мое дело... Я беру вот эту статую, кладу ее в ступку и пестом...

*Даламбер.* Поосторожней! ведь это шедевр Фальконэ<sup>1</sup>. Если бы это было произведение Гюэ<sup>2</sup> или какого-нибудь другого...

*Дидро.* Для Фальконэ это ничего не значит: за статую заплачено, а с общественным мнением он мало считается, отзыв же потомства вовсе не интересуется его<sup>3</sup>.

*Даламбер.* Ну, начинайте же толочь!

*Дидро.* Превратив кусок мрамора в мельчайший порошок, я сыпаю его в черноземную, или плодородную, почву, смешиваю, поливаю, оставляю гнить год, два, сто лет,—время для меня не важно. Когда вся эта смесь претворится в материю почти однородную, в чернозем,—знаете ли вы, что я сделаю?

*Даламбер.* Уверен, что не будете есть чернозем.

*Дидро.* Нет, но есть какая-то связь между мной и черноземом, что-то сближающее нас, какой-то, как сказал бы химик, *latus*.

*Даламбер.* И этот *latus*—растение?

*Дидро.* Очень хорошо. Я засеваю чернозем горохом, бобами, капустой и другими бобовыми растениями. Растения питаются землей, а я питаюсь растениями.

*Даламбер.* Верно это или нет, но мне нравится этот переход от мрамора к чернозему, от чернозема к растительному царству и от последнего к царству животных, к телу.

*Дидро.* Следовательно, я из тела и души, как говорит моя дочь, делаю деятельно-чувствительную материю, и если я не разрешаю предложенной вами проблемы, то, во всяком случае, я очень близок к ее разрешению, ибо вы согласитесь со мной, что между куском мрамора и чувствующим существом большее расстояние, чем между чувствующим и мыслящим существами.

*Даламбер.* Согласен. И все-таки чувствующее существо не есть еще мыслящее.

*Дидро.* Прежде, чем перейти к дальнейшему, позвольте мне рассказать историю одного из величайших геометров Европы<sup>4</sup>. Чем сначала было это замечательное существо? Ничем.

*Даламбер.* Как ничем? Из ничего нельзя ничего сделать.

*Дидро.* Вы понимаете слишком буквально. Я хочу сказать, что прежде, чем его мать, прекрасная и преступная канонисса Тансэн<sup>5</sup>, достигла зрелого возраста, прежде, чем военный Латуш<sup>6</sup> стал юношей, молекулы, из которых должны были формироваться первичные зачатки моего геометра, были рассеяны в незрелых и хрупких машинах того и другой, фильтровались вместе с лимфой, циркулировали вместе с кровью до тех пор, пока, наконец, не поместились в назначенных для их соединения резервуарах,—в половых железах его отца и матери. Вот это редкостное зерно сформировано; вот оно введено по фаллопиевым трубам, по общему признанию, в матку и прикреплено к ней длинным стебельком; последовательный рост и развитие привели его в состояние зародыша; вот наступил момент выхода зародыша из мрачного заключе-

ния; вот он рожден, брошен на паперти St.-Jean le-Rond; от которого он получил свое имя; взят из воспитательного дома, выкормлен грудью доброй стекольщицы, г-жи Руссо; вырос крепкий телом и душой, стал литератором, инженером, геометром. Как произошло все это? Благодаря приятию пищи и другим чисто механическим действиям. Вот в нескольких словах формула: ешьте, переваривайте, перегоняйте *in vasi licito et fiat homo secundum artem*\*.

И тому, кто стал бы излагать в Академии процесс образования человека или животного, пришлось бы прибегать только к материальным факторам, последовательными результатами действия которых явилось бы существо инертное, чувствующее, мыслящее, разрешающее проблему процессов равноденствий, существо величественное, достойное удивления, стареющее, угасающее, умирающее, разложившееся и вернувшееся в плодородную землю.

*Даламбер.* Вы, следовательно, не верите в предсуществующие зародыши? <sup>7</sup>

*Дидро.* Нет.

*Даламбер.* Ах, как это хорошо!

*Дидро.* Это не согласуется ни с опытом, ни с разумом: опыт безуспешно стал бы искать эти зародыши в яйце и у большинства животных, не достигших известного возраста; а разум учит, что в природе есть предел делимости материи, хотя мысленно она делима до бесконечности; а потому ни с чем несообразно представление о том, что в атоме содержится вполне сформированный слон, а в атоме этого слона—другой слон, и так далее до бесконечности.

*Даламбер.* Но без них невозможно объяснить появление первого поколения животных?

*Дидро.* Если вас смущает вопрос о приоритете яйца перед курицей или курицы перед яйцом, то это происходит оттого, что вы предполагаете, что животные вначале были такими же, какими мы их видим теперь. Какая бессмыслица! Ведь совершенно же неизвестно, чем они

\* в соответствующем сосуде и пусть получится человек по правилам искусства

были прежде, равно как неизвестно и то, чем они будут впоследствии. Невидимый червячок, который возится в грязи, находится, может быть, на пути к превращению в большое животное, а огромное животное, которое ужасает нас своей громадой, является, может быть, случайным, эфемерным произведением нашей планеты.

*Даламбер.* Как так?

*Дидро.* Я сказал бы вам... Но это отвлечет нас в сторону от предмета нашей беседы.

*Даламбер.* Так что же из этого? От нас зависит вернуться или не вернуться к нему.

*Дидро.* Позвольте ли вы мне отступить на несколько тысячелетий назад?

*Даламбер.* Отчего нет? Для природы такие сроки — ничто.

*Дидро.* Вы, следовательно, соглашаетесь, чтобы я потушил наше солнце?

*Даламбер.* Тем охотнее, что до него другие потухали.

*Дидро.* Что же произойдет? Солнце потухло. Планеты и животные погибнут, и земля превратится в немую пустыню. Зажгите вновь это светило, и в миг восстановится действие причины, необходимой для зарождения бесконечной цепи новых поколений, и я не осмелился бы утверждать, возродятся или не возродятся, спустя века, современные нам животные и растения.

*Даламбер.* Но почему бы одним и тем же элементам, рассеянными по вселенной, не дать одних и тех же результатов, когда они соединятся?

*Дидро.* Потому, что все связано в природе, и кто в своих построениях предполагает какое-нибудь новое явление или вводит один из моментов прошлого, тот воссоздает новый мир.

*Даламбер.* Глубокий мыслитель не станет отрицать этого. Но—чтобы вернуться к человеку, которому отведено место в мироздании—припомните, что вы остановились на переходе от чувствующего существа к мыслящему.

*Дидро.* Припоминаю.

*Даламбер.* Откровенно скажу, вы много обяжете меня,



выведа меня из этого затруднения. Я немного забегаю вперед в своих мыслях.

*Дидро.* Если бы мне не удалось до конца развить свою мысль, разве можно было бы на основании этого что-нибудь возразить против совокупности бесспорных фактов?

*Даламбер.* Ничего, нам пришлось бы только задержаться на несколько минут на этом вопросе!

*Дидро.* И позволительно ли было бы изобретать какой-то противоречивый в своих атрибутах фактор, какое-то лишнее смысла слово, чтобы идти дальше?

*Даламбер.* Нет.

*Дидро.* Можете ли вы сказать, в чем выражается бытие чувствующего существа по отношению к самому себе?

*Даламбер.* В сознавании себя с первого момента пробуждения своего мышления и до настоящего времени.

*Дидро.* А на чем основано это сознавание?

*Даламбер.* На памяти о своих действиях.

*Дидро.* А что было бы, если бы не было памяти?

*Даламбер.* Без памяти не было бы осознания себя, так как, чувствуя свое существование только в момент восприятия, существо не имело бы истории своей жизни. Его жизнь представляла бы из себя непрерывный ряд ощущений, ничем не связанных между собою.

*Дидро.* Очень хорошо. А что такое память? Откуда происходит она?

*Даламбер.* От определенной организации, которая сначала растет и крепнет, потом слабеет и в известный момент целиком погибает.

*Дидро.* Если существо, которое чувствует и имеет такую способную к памяти организацию, связывает получаемые ощущения, создает, благодаря этой связи, историю своей жизни и приобретает сознание своего я, то, следовательно, оно может отрицать, утверждать, заключать, мыслить.

*Даламбер.* Кажется, так; у меня остается одно только затруднение.

*Дидро.* Вы ошибаетесь: у вас остается их гораздо больше.

*Даламбер.* Но главное—одно; мне кажется, что мы можем мыслить зараз только об одной вещи, и, чтобы составить, не скажу бесконечную цепь рассуждений, охватывающих в своем развитии тысячи представлений, но одно простое предложение, нужно, пожалуй, иметь налицо следующее условие: предмет должен, повидимому, оставаться как бы перед взорами разума все время, пока разум занят рассмотрением того или другого из его свойств, наличность которого он подтвердит или отвергнет.

*Дидро.* Я того же мнения. Это-то обстоятельство заставляло меня иногда сравнивать фибры наших органов с чувствительными вибрирующими струнами. Чувствительная вибрирующая струна дрожит и звучит еще долго спустя после того, как ударили по ней. Вот, именно такое дрожание, нечто вроде такого резонанса, необходимо для того, чтобы предмет стоял пред разумом в то время, как разум занят рассмотрением присущего ему свойства. Но вибрирующие струны имеют еще другое свойство: они заставляют звучать другие струны, и точно таким же образом первая мысль вызывает вторую, они обе—третью, все три—четвертую и т. д., так что нельзя поставить границ мыслям, пробуждающимся и сцепляющимся в голове философа, который размышляет или прислушивается к своим мыслям в тиши полумрака. Этот инструмент делает удивительные скачки, и пробудившаяся мысль иногда заставляя дрожать созвучную мысль, стоящую с первоначальной в непонятной связи. Если такое явление наблюдается у звучащих струн, инертных и отделенных друг от друга, то почему бы не иметь ему места среди точек, одаренных жизнью и связанных между собою,—среди фибр, расположенных без промежутков и одаренных чувствительностью?

*Даламбер.* Если это и неверно, то, во всяком случае, очень остроумно. Но я склонен думать, что вы поневоле наталкиваетесь на затруднение, которого хотели избежать.

*Дидро.* На какое?

*Даламбер.* Вы не миритесь с мыслью о существовании двух различных субстанций.

*Дидро.* Я не скрываю этого.

*Даламбер.* Присмотревшись поближе, вы увидите, что из разумения философа вы делаете существо, отличное от инструмента, нечто вроде музыканта, который прислушивается к вибрирующим струнам и высказывается насчет согласованности или несогласованности их звуков.

*Дидро.* Возможно, что я дал вам повод к такому выражению, которого вы, может быть, не сделали бы, если бы приняла в соображение разницу, существующую между инструментом-философом и музыкальным инструментом. Инструмент-философ одарен чувствительностью, он—музыкант и инструмент в одно и то же время. Как в существе чувствующем, в нем возникает сознание звука тотчас же, как только он производит его, а, как животное, он удерживает его в памяти. Эта органическая способность, связывая в нем звуки, производит и сохраняет в нем мелодию. Предположите музыкальный инструмент, одаренный чувствительностью и памятью, и скажите, разве он самостоятельно не будет повторять арий, которые вы раньше исполнили на его клавишах? Мы—инструменты, одаренные чувствительностью и памятью. Наши чувства—клавиши, по которым ударяет окружающая нас природа и которые часто ударяют сами себя; вот что, по моему мнению, происходит в музыкальном инструменте, организованном так, как вы и я. Причиной, лежащей в инструменте или вне его, вызывается известное впечатление; от впечатления рождается ощущение, более или менее длительное, так как невозможно представить, чтобы оно возникло и замерло в неделимое мгновение; за ним следуют другое впечатление, причина которого равным образом кроется вне или внутри инструмента, другое ощущение и голоса, выражающие их в естественных или условных звуках.

*Даламбер.* Понимаю. Следовательно, если бы этот чувствующий и одушевленный инструмент был к тому же одарен способностью питаться и воспроизводиться, он жил

бы и производил бы, один или вместе со своей самкой, маленькие одаренные жизнью и звучащие музыкальные инструменты?

*Дидро.* Без сомнения. Что же иное, по-вашему, представляют из себя зяблик, соловей, музыкант, человек? И какую иную разницу находите вы между чижом и органичком, с помощью которого чиж научается петь? Возьмите, например, яйцо. Оно ниспровергает все теологические школы и все храмы на земле. А что такое яйцо? Бесчувственная масса, пока не введен туда зародышевый пузырек. А когда он введен туда, что оно представляет из себя? Опять-таки бесчувственную массу, так как зародышевый пузырек сам по себе является лишь инертной и простой жидкостью. Что может сообщить этой массе другую организацию, чувствительность, жизнь? Тепло. Что создает теплоту? Движение. Каковы будут последовательные результаты движения? Не торопитесь отвечать, присядьте и будем наблюдать за стадиями развития. Сначала это—колеблющаяся точка, затем—ниточка, которая растягивается, окрашивается; потом—формирующееся тело, у которого появляется клюв, концы крыльев, глаза, лапки; желтоватая материя, которая разворачивается и производит внутренности; наконец, это—животное. Животное движется, волнуется, кричит; я слышу его крики сквозь скорлупу; оно покрывается пушком, видит. От тяжести голова его качается, клюв постоянно приходит в соприкосновение с внутренней стеной его тюрьмы. Но вот она пробита: животное выходит на волю, разгуливает, летает, раздражается, бегаёт, приближается, жалуется, страдает, любит, жалеет, наслаждается; оно подвержено таким же аффектам и совершает такие же действия, как и вы. Будете ли вы вместе с Декартом утверждать, что это—настоящая, одаренная способностью подражания машина?<sup>8</sup> Но дети осмеют вас, а философы возразят вам, что если это машина, то вы тоже машина<sup>9</sup>. Если вы признаете, что между животным и вами разница только в организации, вы обнаружите здравый смысл и разум, вы окажетесь добросовестным мыслителем, но отсюда сде-

дают против вас вывод, что инертная материя, известным образом расположенная, пропитанная другой инертной материей, теплотой и движением, получает чувствительность, жизнь, память, сознание, страсти, мысль. И вам придется остановиться на одном из двух выводов: либо представить себе наличность в инертной массе яйца скрытого элемента, который ждет процесса развития, чтобы обнаружить свое присутствие, либо предположить, что в определенный момент развития этот невидимый элемент проникает туда через скорлупу. Но что это за элемент? Занимает он пространство или нет? Как он проникает туда или развертывается там, не двигаясь? Где был он? Что делал там или где-нибудь в другом месте? Был ли он создан в момент, когда понадобился, или существовал раньше и ждал жилища? Если он был чем-то однородным, то он был материальным, если же—разнородным, то нельзя понять ни его инертности до процесса развития, ни его энергии в развившемся животном. Доверьтесь себе, и вы проникнетесь сожалением к своей особе: вы почувствуете, что, для того, чтобы не допустить простого, все объясняющего предположения—чувствительности, как общего свойства материи или продукта организации, вы противоречите здравому смыслу и низвергаетесь в пропасть, полную тайн, противоречий и абсурдных выводов.

*Даламбер.* Предположение! Легко сказать. Но что, если это свойство по существу своему несовместимо с материей?

*Дидро.* А откуда вы знаете, что чувствительность по существу своему несовместима с материей,—вы, который не знаете сущности чего бы то ни было: ни материи, ни чувствительности? Разве вашему пониманию в большей степени доступны природа движения, его существование в теле и переход из одного тела в другое?

*Даламбер.* Не понимая ни природы чувствительности, ни природы материи, я вижу, что чувствительность—свойство простое, единое, неделимое и несовместимое с делимым предметом или членом какого-нибудь целого.

*Дидро.* Метафизико-богословская галиматья! Как?

Разве вы не видите, что все свойства, все осязаемые формы, в которые облечена материя, по существу неделимы? Не существует ни больше, ни меньше непроницаемости. Существует половина круглого стола, но не существует половины круглоты; существует движение в большей или меньшей степени, но движения, как понятия, нет в большей или в меньшей степени; не существует ни половины, ни трети, ни четверти головы, уха, пальца, равно как половины, трети, четверти мысли. Если во вселенной нет молекулы, похожей на другую, а в молекуле нет точки, похожей на другую точку, то согласитесь, что даже атом одарен свойством неделимости, неделимой формой; согласитесь, что делимость несовместима с сущностью форм, потому что она уничтожает их. Будьте физиком и примиритесь со следствием, когда оно возникло на ваших глазах, хотя вы и не можете объяснить связи его с причиной. Следуйте правилам логики и не подставляйте на место одной причины, которая существует и все объясняет, другую, которая непонятна, связь которой со следствием еще менее понятна, которая таит в себе бесконечное множество трудностей и не разрешает ни одной из них.

*Даламбер.* Так что же, если я откажусь от этой причины?

*Дидро.* Останется признать существование только одной субстанции во вселенной, в человеке, в животном. Органчик для чижа сделан из дерева, человек—из плоти. Чиж—из плоти, музыкант—тоже из плоти, только иначе организованной; но оба они одного происхождения, одной формации, с одинаковыми функциями, и ждет их один конец.

*Даламбер.* Но как же устанавливается согласие звуков между вашими двумя музыкальными инструментами?

*Дидро.* Так как животное—чувствующий инструмент, совершенно похожий на всякий другой, одной с ним конструкции, с одними и теми же струнами, одинаково с ним подверженный радости, боли, голоду, жажде, болезни, удивлению, ужасу, то невозможно допустить, чтобы на

полюсе или под экватором оно издавало различные звуки. Вот почему вы находите почти одинаковые междометия во всех мертвых и живых языках. Происхождение условных звуков следует объяснить необходимостью и сродством. Чувствующий инструмент, или животное, по опыту узнал, что, когда он издавал определенный звук, за ним следовал вне его определенный результат, что, например, другие подобные ему чувствующие инструменты, или животные, подходили, уходили, просили, давали, обижали, ласкали, и все такие результаты связывались в его памяти и в памяти других с образованием звуков. Заметьте, что люди в общении между собою прибегают только к звукам и действиям. А чтобы признать за моей системой всю присущую ей силу, заметьте еще то, что она считается с той непреодолимой трудностью, на которую указал Беркли<sup>10</sup>, выступив против существования вещей. Это был припадок бреда, когда чувствующий инструмент вообразил, что он единственный инструмент в мире и что вся мировая гармония происходит в нем.

*Даламбер.* По этому поводу многое можно сказать.

*Дидро.* Это верно.

*Даламбер.* Например, не совсем понятно, как, согласно вашей системе, мы образуем силлогизмы и выводим следствия.

*Дидро.* Мы не выводим их: все они выведены природой. Мы только регистрируем соприкасающиеся, известные нам из опыта явления, между которыми существует необходимая или условная связь,—необходимая в математике, физике и других точных науках, условная—в морали, политике и других неточных науках.

*Даламбер.* Разве связь между явлениями в одном случае менее необходима, чем в другом?

*Дидро.* Нет, но причина подвержена слишком большому числу особых, ускользающих от нашего внимания колебаний, чтобы можно было безошибочно рассчитывать на ожидаемое от нее следствие. Что обида приведет в гнев вспыльчивого человека,—об этом мы можем сказать с меньшей уверенностью, чем о том, что какое-нибудь

тело, при прикосновении к другому, менее крупному, приведет его в движение.

*Даламбер.* А что вы скажете об аналогии?

*Дидро.* В самых сложных случаях аналогия не что иное, как тройное правило в применении к одаренному чувствительностью инструменту. Если за известным явлением в природе следует другое известное явление, то спрашивается, каково будет четвертое явление, которое следует за третьим, данным природой или вымышленным в подражание природе? Если копье обыкновенного воина—длиною в десять футов, какой длины будет копье Аякса? Если я могу бросить четырехфунтовый камень, то Диомед должен метнуть целую каменную глыбу. Размеры шагов богов и скачков их лошадей соответствуют воображаемому отношению роста богов к росту человека. Аналогия, это—четвертая струна, созвучная и пропорциональная трем другим, резонанса которой ожидает животное; этот резонанс всегда происходит в нем, но не всегда в природе. Поэту нет до него никакого дела,—и однако от этого он не менее реален. Иное дело для философа: ему необходимо спросить природу, которая часто показывает ему явление, совершенно отличное от того, какое он предполагал, и тогда он замечает, что аналогия ввела его в заблуждение.

*Даламбер.* Прощайте, мой друг, спокойной ночи.

*Дидро.* Вы шутите, но вам приснится этот разговор; если же он не оставит в вас прочного следа, тем хуже для вас,—вы будете принуждены придерживаться очень вздорных гипотез.

*Даламбер.* Вы ошибаетесь: я лягу скептиком и встану скептиком <sup>11</sup>.

*Дидро.* Скептиком! Разве существуют скептики?

*Даламбер.* Что за вопрос? Уж не будете ли вы убеждать меня, что я не скептик? Кто же знает это лучше меня?

*Дидро.* Подождите минутку.

*Даламбер.* Поскорее, мне хочется спать.

*Дидро.* Я буду краток. Думаете ли вы, что есть



хотя бы один спорный вопрос, при обсуждении которого у человека были бы в одинаковой мере веские доводы за и против?

*Даламбер.* Нет, это было бы положение буриданова осла<sup>12</sup>.

*Дидро.* В таком случае не существует скептиков, так как, за исключением математических вопросов, которые не допускают ни малейшего колебания, во всех остальных уместны *за* и *против*, и никогда нет между ними равновесия; невозможно допустить, чтобы весы, на которых вы взвешиваете *за* и *против*, не склонялись в ту сторону, где, по вашему предположению, больше вероятия.

*Даламбер.* Но я вижу утром вероятие на правой стороне, а после обеда на левой.

*Дидро.* Т. е. утром вы настроены догматически *за*, а после обеда догматически *против*.

*Даламбер.* А вечером, когда я вспоминаю скоропалительность своих решений, я ни во что не верю: ни в утреннее *за*, ни в послеобеденное *против*.

*Дидро.* То-есть вы не помните, за каким из двух мнений, между которыми вы колебались, остался перевес; этот перевес вам кажется слишком ничтожным, чтобы фиксировать прочное суждение, и вы решаете не заниматься больше такими спорными предметами, предоставить разрешение их другим, а самому не вмешиваться в спор.

*Даламбер.* Это возможно.

*Дидро.* Но если бы кто-нибудь отвел вас в сторону и по-дружески спросил, к какому решению вам, по совету, легче всего склониться, разве вы затруднились бы ответить и изобразили бы из себя буриданова осла?

*Даламбер.* Думаю, что нет.

*Дидро.* Так вот, друг мой, если вы хорошо подумаете об этом, вы найдете, что во всех случаях нашим истинным мнением является не то, в правильности которого мы никогда не сомневались, а то, к которому мы чаще всего возвращались.

*Даламбер.* Кажется, вы правы.

*Дидро.* И мне тоже кажется. Добрый вечер, мой друг, и *memento quia pulvis es, et in pulverem reverteris* \*.

*Даламбер.* Это печально.

*Дидро.* И необходимо. Дайте человеку, не сказку бессмертия, а только вдвое большую продолжительность жизни, и вы увидите, что из этого выйдет.

*Даламбер.* Что же именно? Но какое мне дело до всего этого? Пусть будет то, что будет! Я хочу спать. Добрый вечер!

\* помни, что ты прах и в прах возвратишься.

## Сон Даламбера

*Собеседники: Даламбер, м-ль Лестинас, доктор Борде*

*Борде*<sup>1</sup>. Ну, что нового? Болен?

*Лестинас*<sup>2</sup>. Боюсь, что болен: метался всю ночь.

*Борде*. Проснулся?

*Лестинас*. Нет еще.

*Борде* (подойдя к постели Даламбера и щупая пульс). Ничего.

*Лестинас*. Вы думаете?

*Борде*. Ручаюсь. Пульс хорош... немного слабоват... кожа влажная... дыхание легкое.

*Лестинас*. Ничего не нужно давать?

*Борде*. Ничего.

*Лестинас*. Тем лучше: он ненавидит лекарства.

*Борде*. Я тоже. Что он ел за ужином?

*Лестинас*. Ничего не хотел есть. Не знаю, где он провел вечер; вернулся домой чем-то озабоченный.

*Борде*. Легкое лихорадочное состояние, которое скоро пройдет.

*Лестинас*. Придя домой, он надел халат, ночной колпак, бросился в кресло и заснул.

*Борде*. Спать хорошо повсюду, но все-таки лучше в постели.

*Леспинас.* Он вспылил, когда Антуан сказал ему об этом. Пришлось целые полчаса расталкивать его, чтобы заставить лечь в постель.

*Борде.* То же самое случается со мной каждый день, хотя я совсем здоров.

*Леспинас.* В постели, вместо того, чтобы погрузиться, по своему обыкновению, в глубокий сон (он спит, как дитя), он начал ворочаться с боку на бок, размахивать своими руками, сбрасывать одеяло и громко разговаривать.

*Борде.* О чем же он говорил? о геометрии?

*Леспинас.* Нет, это был, по всей вероятности, бред... Какая-то галиматья о вибрирующих струнах и чувствующих фибрах... Мне показалось это столь диким, что я решила не оставлять его на ночь одного и, не зная, что делать, пододвинула к его кровати маленький столик и села записывать то, что могла уловить из бреда.

*Борде.* Отличная мысль, достойная вас. А можно посмотреть, что вы записали?

*Леспинас.* Пожалуйста, но я готова умереть, если вы поймете что-нибудь там.

*Борде.* Может быть, пойму.

*Леспинас.* Доктор, вы готовы слушать?

*Борде.* Да.

*Леспинас.* Слушайте... «Живая точка... Нет, не так: Сначала ничего, потом живая точка... К этой живой точке прививается другая, затем еще третья, и, как следствие этих последовательных прививок, является некое существо, единое, ибо я единое существо,—в этом я не усомнился бы (при этом он начал ощупывать себя). Но как сложилось это единство? (Э, мой друг,—сказала я ему, какое вам дело до этого? Спите... Он смолк. Помолчав минуту, он снова начал, как бы обращаясь к кому-то.) Вот, философ, я вижу некий агрегат, некую ткань маленьких чувствующих существ, но животного!.. целого! единую систему, я, сознающего свое единство!—этого я не вижу, нет, не вижу...» Доктор, вы понимаете что-нибудь?

*Борде.* Великолепно.

*Лесинас.* Вы очень счастливы... «Мои затруднения вытекают, может быть, из ложной идеи».

*Борде.* Это вы говорите?

*Лесинас.* Нет, он, в бреду.

Я продолжаю... Обращаясь к самому себе, он прибавил: «Друг мой, Даламбер, будьте осторожны; вы предполагаете одну лишь смежность там, где имеет место непрерывность... Да, он довольно зол, чтобы говорить мне об этом... А образование этой непрерывности? Оно насколько не затруднит его... Как капля ртути смешивается с другой каплей ртути, так чувствующая и живая молекула смешивается с другой чувствующей и живой молекулой... Вначале были две капли, после соприкосновения стала лишь одна... До ассимиляции были две молекулы, после ассимиляции стала лишь одна молекула... Чувствительность становится общей у всей массы... Действительно, почему нет?.. Мысленно я могу представить себе в фибре животного произвольное количество частей, но фибра останется непрерывной, единой... Да, единой... Соприкосновение двух однородных молекул, совершенно однородных, образует непрерывность... и это есть случай соединения, сцепления, комбинации, самого полного тождества, какое только можно себе представить... Да, философ, если это—элементарные и простые молекулы; но если это—агрегаты, сложные тела?.. Сочетание, тем не менее, произойдет, а, следовательно, будет тождество и непрерывность... И затем обычное действие и противодействие... Ясно, что контакт двух живых молекул—не что иное, как смежность двух инертных масс... Дальше, дальше... Можно было бы вас поддеть, но у меня нет к этому охоты, я не любитель придирааться... Однако, продолжим. Нить чистейшего золота,—помню, он такое сравнение привел...—однородная сеть, между молекулами которой располагаются другие и образуют, может быть, другую однородную сеть; ткань чувствующей материи, ассимилирующий контакт, деятельная чувствительность здесь, инертная там, которые, подобно движению, сообщаются друг с другом, не говоря уже, как он очень хорошо сказал, о том, что должна быть

разница между контактом двух чувствующих молекул и контактом двух нечувствующих молекул. А какова может быть эта разница?.. Обычные действие, противодействие... и притом с особым характером... Словом, все направлено к тому, чтобы произвести особого рода единство, существующее только в животном... Клянусь честью, если это не истина, то очень похоже на нее...» Вы смеетесь, доктор? Находите ли вы смысл во всем этом?

*Борде.* Большой.

*Леспинас.* Так он не сумасшедший?

*Борде.* Нисколько.

*Леспинас.* После такого вступления, он начал кричать.—М-ль Леспинас, м-ль Леспинас!—«Что вам угодно?»—Видели ли вы когда-нибудь, как рой пчел вылетает из своего улья? Мир, или вся масса материи, это—улей... Вы видели, как они образуют на конце ветки длинную гроздь маленьких крылатых животных, схватившихся друг за друга лапками?.. Эта гроздь—существо, индивид, некое животное... Но эти гроздья должны были бы все походить друг на друга... Да, если предположить только одну однородную материю... Вы видели их?—«Да, видела».—Вы их видели?—«Да, мой друг, говорю, что видела».—Если одна из этих пчел вздумает ужалить каким-нибудь образом другую пчелу, за которую она ухватилась,—как вы думаете, что произойдет тогда? Скажите-ка.—«Совершенно не знаю».—Скажите все-таки... Вы, значит, не знаете, а философ-то знает. Если вы когда-нибудь увидите его,—а вы его увидите, ибо он обещал мне это,—он скажет вам, что эта вторая пчела ужалит следующую, что во всей грозди будет столько укусов, сколько в ней маленьких животных, что все заволнуется, задвигается, изменит положение и форму, что поднимется шум, писк и что человек, никогда не видевший, как образуется подобная гроздь, примет ее за животное с пятью-шестьюстами голов и с тысячью, тысячью двумястами крыльев...—Ну, доктор?

*Борде.* Знаете ли, это—прекрасный сон, и вы хорошо сделали, что записали его.

*Леспинас.* Вы тоже бредите?

*Борде.* Нисколько, и, пожалуй, готов сказать вам продолжение.

*Леспинас.* Вам не удастся сделать это.

*Борде.* Не удастся?

*Леспинас.* Думаю, что нет.

*Борде.* Но если я отгадаю?

*Леспинас.* Если вы отгадаете, я обещаю... я обещаю считать вас величайшим безумцем в мире.

*Борде.* Смотрите на ваши записки и слушайте меня. Человек, который принял бы эту гроздь за животное, ошибся бы.—Но я предполагал, м-ль, что он продолжал обращаться с речью к вам.—Хотите, чтобы он судил более здраво? Хотите превратить гроздь пчел в одно единственное животное? Уничтожьте лапки, которыми они держатся; из смежных сделайте их непрерывными. Между этим новым состоянием грозди и предыдущим есть, конечно, значительное различие; но в чем ином состоит это различие, как не в том, что теперь гроздь—нечто целое, единое животное, между тем как раньше она была совокупностью животных?.. Все наши органы...

*Леспинас.* Все наши органы!

*Борде.* ...для того, кто занимался медициною и делал наблюдения...

*Леспинас.* Дальше!

*Борде.* Дальше?.. Они не что иное, как отдельные животные, между которыми закон непрерывности поддерживает общую симпатию, единство, тождество.

*Леспинас.* Я смущена: именно так, и почти слово в слово. Теперь я могу засвидетельствовать перед всем миром, что нет никакой разницы между бодрствующим врачом и спящим философом.

*Борде.* Об этом догадывались. Это все?

*Леспинас.* О, нет, это не все. После этого—вашего или своего—вздора, он сказал мне:—М-ль!—«Друг мой».—Подойдите поближе... еще... еще... Мне хочется кое-что предложить вам.—«Что?»—Вот эта гроздь, вы видите ее, вот она. Произведем опыт.—«Какой?»—Возьмите ножницы.

Хорошо ли режут они?—«Восхитительно».—Подойдите тихо, тихо и разрежьте пчел, но только осторожно, не угодите по телу какой-нибудь пчелы, режьте как раз в том месте, где они сцепились лапками. Не бойтесь, вы только немного раните их, но не убьете... Очень хорошо, у вас ловкость феи... Видите, как они взлетают? По одной, по две, по три.. Сколько их! Если вы хорошо поняли меня... вы хорошо поняли меня?—«Очень хорошо».—Предположите теперь... предположите...—Дальше, признаться, доктор, я так плохо слышала все то, что здесь записала, он так тихо говорил, и это место моих записок так перепачкано, что я едва ли сумею прочесть.

*Борде.* Я дополню его, если хотите.

*Лестинас.* Если вы можете.

*Борде.* Нет ничего легче. Представьте пчел такими маленькими, такими маленькими, что их тело ускользает от грубого острия ваших ножниц; вы можете продолжать ваше сечение, сколько угодно, но вы не умертвите ни одной из них, и это целое, образованное из невидимых пчел, будет настоящим полипом, которого вы сможете уничтожить не иначе, как раздавив его. Разница между гроздью непрерывных пчел и гроздью смежных пчел точно такая же, какая существует между обыкновенными животными, вроде нас и рыб, и червями, змеями и полиповыми животными; в эту теорию можно внести еще некоторые изменения... *(В этот момент м-ль Лестинас внезапно встает и направляется к звонку.)* Тише, тише, м-ль, вы разбудите его; ему нужно отдохнуть.

*Лестинас.* Я так ошеломлена, что и не подумала об этом. *(Вошедшему слуге.)* Кто из вас был у доктора?

*Слуга.* Я, мадемуазель.

*Лестинас.* Давно?

*Слуга.* Не прошло часа, как я вернулся.

*Лестинас.* Вы ничего не носили туда?

*Слуга.* Нет.

*Лестинас.* Записок не носили?

*Слуга.* Никаких.

*Лестинас.* Хорошо, идите... Не настаиваю на этом.



Видите ли, доктор, я подозревала, что один из них пока- зал вам мою пачкотню.

*Борде.* Да нет же, уверяю вас.

*Леспинас.* Теперь, когда я осведомлена насчет вашего таланта, вы будете мне очень полезны в обществе. Его бред не остановился на этом...

*Борде.* Тем лучше.

*Леспинас.* Вы не видите в этом ничего неприятного?

*Борде.* Ничего.

*Леспинас.* Он продолжал: «Вы, философ, конструируете всякого рода полипов, даже человеческих?.. Но природа не дает вам образцов последних».

*Борде.* Он не знал о тех двух девушках, сросшихся головой, плечами, спиной, ягодицами и бедрами, которые жили в таком состоянии до 22 лет и умерли обе почти одновременно. Затем?

*Леспинас.* А затем чепуха, которую можно услышать только в домах умалишенных. Он сказал: «Было или будет. Притом же кто знает положение вещей на других планетах?»

*Борде.* Может быть, не нужно ходить так далеко.

*Леспинас.* «Человеческие полипы на Юпитере или Сатурне! Самцы, разрешающиеся самцами, самки—самками, это забавно... (При этом он начал так хохотать, что я испугалась.) Человек, разрешающийся бесконечным количеством людей-атомов, которых складывают, как яйца насекомых, между листами бумаги, которые вырабатывают свою скорлупу, остаются некоторое время куколками, пробивают скорлупу и вылетают бабочками,—так образуется целое общество людей, целая населенная провинция на развалинах одного индивидуума. Забавно... (И снова взрыв хохота.) Если где-нибудь человек разрешается бесконечным количеством людей-атомов, там смерть должна вызывать меньше отвращения; там так легко восстанавливается утрата человека, что она должна вызвать мало огорчения».

*Борде.* Это вздорное предположение—почти подлинная история всех видов существующих и будущих животных. Если человек и не разрешается бесконечным количеством

людей, то все-таки он разрешается бесконечным количеством маленьких животных, метаморфозы и будущую окончательную организацию которых невозможно предвидеть. Кто знает, не является ли человек рассадником другого поколения существ, отделенного от первого бесконечно длинным промежутком веков и последовательных развитий?

*Леспинас.* Что вы бормочете про себя, доктор?

*Борде.* Ничего, ничего, я тоже начал бредить. Продолжайте читать, м-ль.

*Леспинас.* «Однако, хорошо обдумав все это, я предпочитаю наш способ размножения,—прибавил он...—Философ,—вы, который знаете, что происходит здесь и повсюду, скажите мне, растворение различных частей не производит ли людей различного характера?.. Мозг, сердце, грудь, ноги, руки, половые железы... О, как это упростило бы мораль!.. Родился мужчина, женщина... (Доктор, позвольте мне пропустить это...) Теплая комната, уставленная маленькими баночками, и на каждой баночке надпись: воины, судьи, философы, поэты, баночка придворных, баночка распутных женщин, баночка королей...»

*Борде.* Очень забавно и очень сумасбродно. Вот это называется бредить! Но это видение опять-таки наводит меня на мысль о некоторых довольно странных явлениях.

*Леспинас.* Затем он начал бормотать о каких-то зернах, о частях тела, намокших в воде, о различных породах животных, последовательную смену, рождение и гибель которых он наблюдал. В правой руке у него будто бы был микроскоп, а в левой—какой-то сосуд. Он смотрел в сосуд через микроскоп и говорил: «Вольтер может сколько угодно смеяться, а Ангийар<sup>3</sup> прав; я верю своим глазам, я вижу их. Сколько их! Как они бегают по всем направлениям!..» Сосуд, в котором он наблюдал столько мимолетных поколений, он сравнивал со вселенной. В капле воды он видел историю мира. Эта мысль казалась ему великой; он находил ее совершенно уместной в истинной философии, изучающей большие тела на основании наблюдений над малыми. Он говорил: «В капле воды Нидгэма все совершается, все происходит в мгновение ока. В мире

то же явление занимает немного больше времени; но что такое продолжительность нашей жизни по сравнению с вечностью? Меньше, чем капля, которую я взял концом иголки, по сравнению с окружающим меня безграничным пространством. Бесконечная цепь маленьких животных в атоме, находящемся в состоянии брожения, точно такая же бесконечная цепь маленьких животных в другом атоме, который называется Землей! Кто знает породы животных, которые были до нас? Кто знает породы, которые сменят ныне существующие? Все изменяется, все исчезает, только целое остается. Мир зарождается и умирает непрерывно, каждый момент он находится в состоянии зарождения и смерти; никогда не было другого мира, никогда и не будет другого.

«В этом безмерном океане материи нет ни одной молекулы, похожей на другую, ни одной молекулы, похожей на себя самое в каждый последующий момент. *Regum novus nascitur ordo*\*,— вот его вечный девиз...» Затем, вздохнув, он прибавил: «О тщета наших мыслей! О мизерность нашей славы и наших трудов! О бедность и ничтожество наших взглядов! Питъ, есть, жить, любить и спать,—нет ничего прочнее этого... М-ль Леспинас, где вы?»—Здесь.—Лицо его побагровело. Я хотела пощупать пульс, но он куда-то спрятал руку. Судорога, повидимому, схватила его. Рот был полуоткрыт, дыхание сдавлено; он глубоко вздохнул, потом вздохнул послабее, еще раз поглубже, поворочал головой на подушке и заснул. Я внимательно смотрела на него с невольным волнением; сердце у меня билось, но не от страха. Через несколько минут легкая улыбка пробежала по его губам, и он тихо заговорил: «На планете, где люди размножались бы, как рыбы, где икра мужчины, прижавшись к икре женщины... Я меньше сожалел бы об этом... Ничего не следует терять из того, что может быть полезно. М-ль, если бы это можно было собрать, влить в флакон и утром отослать Нидгэму...» И вы, доктор, не назовете это безрассудством?

\* Рождается новый порядок вещей.

*Борде.* Рядом с вами? Безусловно.

*Леспинас.* Рядом со мной, вдали от меня,—это все равно. Вы не знаете, что говорите. Я надеялась, что к утру будет поспокойнее.

*Борде.* После этого обыкновенно наступает успокоение.

*Леспинас.* Не тут-то было: в два часа он вернулся к своей капле воды, которую он называл ми... кро...

*Борде.* Микрокосмом.

*Леспинас.* Именно так. Он удивлялся пронизательности древних философов, говорил или заставлял говорить своего философа,—не знаю, которого из двух: «Что ответили бы Эпикуру, если бы он, уверяя, что земля содержит в себе зародыши всего сущего и что животные—продукт брожения, предложил бы показать в малом виде изображение того, что делалось в крупном виде от начала веков?.. Но вот оно перед вами, это изображение, и оно ничему не научает нас... Кто знает, истожились ли брожение и его продукты? Кто знает, к какому моменту в последовательной цепи этих животных поколений относимся мы? Кто знает, не является ли образом погибающего вида то деформированное двуногое существо, ростом только в 4 фута, которое около полюса называют еще человеком, но которое, деформировавшись еще немного, тотчас же потеряло бы это имя? Кто знает, не то же ли самое происходит со всеми видами животных? Кто знает, не стремится ли все свестись к инертному и неподвижному осадку? Кто знает, какова будет продолжительность этой инертности? Кто знает, какая новая раса может вновь возникнуть из такого громадного скопления чувствующих и живых точек? А, может быть, только одно животное? Чем был слон вначале? Может быть, огромным животным, каким мы видим его, а, может быть, атомом,—одинаково возможно то и другое, так как и то, и другое предполагает лишь движение и различные свойства материи... Слон, эта огромная организованная масса—внезапный продукт брожения! Почему нет? Отношение между этим громадным четвероногим и тем, из чего оно произошло, менее значительно, чем между червячком и произведшей его моле-

кулой муки; но червячок только червячок..., т. е. мнзерность его организации, трудно поддающейся наблюдению, не позволяет нам судить, насколько чудесно его существование... Чудо, это—жизнь, чувствительность; иных чудес нет...»

«После того, как я наблюдал, как материя переходит из состояния инертности в состояние чувствительности, я ничему больше не должен удивляться... Какое сравнение между маленьким количеством элементов в состоянии брожения, уместающихся в горсти моей руки, и этим безграничным резервуаром различных элементов, рассеянных в недрах земли, на поверхности ее, в глубинах морей, в беспредельности воздушных слоев!.. Но почему же действия должны быть иными, если причины остаются одни и те же? Почему же мы не видим больше быка, пронзающего своим рогом землю, упирающегося ногами в нее и направляющего все свои силы, чтобы высвободить из нее свое грузное тело?.. Пусть исчезнут породы существующих ныне животных; предоставьте громадному инертному осадку свободно действовать в течение нескольких миллионов веков. Для возрождения видов потребуется, быть может, в десять раз больше времени, чем отпущено им на существование. Подождите, не спешите с заключением насчет великого дела природы. У вас имеются два великих явления: переход из состояния инертности в состояние чувствительности и самопроизвольные зарождения; довольнo с вас этого. Сделайте из них надлежащие выводы и остерегайтесь софизма однодневки при порядке вещей, где нет ни безусловно великого или малого, ни безусловно вечного или преходящего...» Доктор, что такое софизм однодневки?

*Борде.* Это софизм преходящего существа, которое верит в бессмертие вещей.

*Леспинас.* Вроде розы Фонтенеля<sup>4</sup>, которая говорила, что на ее памяти еще не умер ни один садовник.

*Борде.* Именно так; это сказано очень изящно и глубоко.

*Леспинас.* Почему ваши философы не выражаются так

грациозно, как Фонтенель? Нам легче было бы понимать их.

*Борде.* Откровенно скажу: не знаю, приличен ли такой фривольный тон в серьезных предметах.

*Леспинас.* А что именно вы называете серьезными предметами?

*Борде.* Всеобщую чувствительность, образование чувствующего существа, его единство, происхождение животных, продолжительность их существования и все связанные с этим вопросы.

*Леспинас.* Я же называю все это бессмыслицей, которой, допуская, можно бредить во время сна, по которой никогда не будет заниматься здравомыслящий человек в бодром состоянии.

*Борде.* Почему же?

*Леспинас.* Потому, что одни из этих вопросов так ясны, что не к чему разыскивать их основания, а другие так темны, что в них ничего не разберешь; но и те, и другие в высокой степени бесполезны.

*Борде.* Вы думаете, что безразлично, допускать ли или отрицать существование высшего разума?

*Леспинас.* Нет.

*Борде.* Думаете ли вы, что можно решить вопрос о высшем разуме, не зная, какого мнения держаться по вопросу о вечности материи и ее свойств, о различии двух субстанций, о природе человека и происхождении животных?

*Леспинас.* Нет.

*Борде.* Значит, это не праздные, как вы сказали, вопросы.

*Леспинас.* Но какое мне дело до их важности, если я не могу разрешить их?

*Борде.* А как вы разрешите их, если не вникнете в них? Но могу ли я спросить вас о тех, которые вы находите столь ясными, что вам кажется излишним изучение их?

*Леспинас.* Это, например, вопросы о моем единстве, о моем я. Клянусь, мне кажется, нет необходимости так

много болтать, чтобы знать, что я—я, всегда была я и никогда не буду иной.

*Борде.* Несомненно, факт ясен, но основания его никоим образом не являются таковыми, особенно в гипотезе тех, кто допускает только одну субстанцию и объясняет образование человека или животного последовательным приращением многочисленных чувствующих молекул. У каждой чувствующей молекулы до прививки было свое я; как она лишилась его и как из всех этих утрат составилось сознание целого?

*Леспинас.* Мне кажется, достаточно одного контакта. Вот опыт, который я производила сотню раз... Но пождите... Нужно пойти посмотреть, что делается там, за этими занавесками... Спит... Когда я прикладываю руку к бедру, я хорошо сначала чувствую, что рука не то, что бедро, но спустя некоторое время, когда теплота станет одинаковой в обеих частях, я перестаю различать их: границы обеих частей смешиваются, и получается нечто единое.

*Борде.* Да, пока не уколют ту или другую часть: тогда возобновляется различие. Есть, следовательно, в вас нечто, что знает, руку или бедро вам укололи, и это нечто ни ваша нога, ни даже ваша уколотая рука; ваша рука испытывает боль, но нечто другое знает об этом и не испытывает само никакой боли.

*Леспинас.* Это, думается мне, моя голова.

*Борде.* Вся ваша голова?

*Леспинас.* Нет, доктор, но я поясню мою мысль сравнением. Сравнения—почти исключительный довод у женщин и поэтов. Представьте себе паука...

*Даламбер.* Кто это там?.. Это вы, м-ль Леспинас?

*Леспинас.* Т-с, т-с... (Некоторое время Леспинас и доктор хранят молчание, затем Леспинас говорит тихо.) Кажется, снова заснул.

*Борде.* Нет, мне опять что-то слышалось.

*Леспинас.* Вы правы. Однако, не начал ли он снова бредить?

*Борде.* Послушаем.

*Даламбер.* Почему я такой? Разве нужно было, чтобы я был таким... Здесь—да, а в другом месте? На полюсе? Под экватором? На Сатурне?.. Если на расстоянии нескольких тысяч лье мой вид изменяется, то что же может произойти на расстоянии нескольких тысяч земных диаметров?.. Если все находится в общем водовороте, то что могут произвести здесь и в других местах продолжительность и смена нескольких миллионов веков? Кто знает, что такое мыслящее и чувствующее существо на Сатурне?.. Но есть ли на Сатурне чувство и мысль?.. Почему нет?.. Быть может, у мыслящего и чувствующего существа на Сатурне больше чувств, чем у меня?.. Если это так,—о,—как он несчастен, этот житель Сатурна!.. Чем больше чувств, тем больше потребностей.

*Борде.* Он прав: органы производят потребности, и, наоборот, потребности производят органы <sup>5</sup>.

*Лестинас.* Доктор, вы тоже бредите?

*Борде.* Почему это кажется вам невероятным? Я видел, как из двух обрубков с течением времени выросли две руки.

*Лестинас.* Вы лжете.

*Борде.* Это правда. Но я видел, как, за отсутствием рук, лопатки стали удлиняться, двигаться наподобие клешней и превращаться в зачатки рук.

*Лестинас.* Какая бессмыслица!

*Борде.* Это факт. Предположите длинный ряд безруких поколений, предположите наличность беспрестанных усилий, и вы увидите, как обе эти оконечности все больше и больше удлиняются, сокращаются на спине, вытягиваются наперед, образуют, может быть, пальцы и превращаются в руки. Первоначальное строение их изменяется или совершенствуется под влиянием необходимости и отправления обычных для них функций. Мы так мало двигаемся, так мало занимаемся физическим трудом и так много работаем умственно, что я не теряю надежды на то, что человек в конце концов превратится в сплошную голову.

*Лестинас.* В сплошную голову? Одной головы мало!



Надеюсь, что безудержное волокитство... Вы паводите меня на очень игривые мысли.

*Борде.* Т-с!

*Даламбер.* Я, следовательно, стал таким потому, что нужно было, чтобы я был таким. Измените все, и вы безусловно измените и меня; все непрерывно изменяется... Человек—обычное явление, урод—явление исключительное, но оба одинаково естественны, одинаково необходимы, одинаково входят в общий порядок вещей... Что же удивительного в этом?.. Все существа взаимно скрещиваются, следовательно, и все виды их... и все находится в состоянии непрерывного изменения. Всякое животное—более или менее человек; всякий минерал—более или менее растение; всякое растение—более или менее животное. Нет ничего определенного в природе... Лента отца Кастеля<sup>6</sup>... Да, отец Кастель, это ваша лента, не больше. Всякая вещь более или менее представляет собою что-нибудь, есть более или менее земля, или вода, или воздух, или огонь, более или менее то или другое царство... Нет ничего, что принадлежало бы к сущности какого-нибудь особого существа... Несомненно, нет, так как нет в природе такого свойства, к которому не было бы причастно всякое существо... А вы говорите об индивидах, бедные философы! Оставьте ваших индивидов и отвечайте мне. Существует ли в природе хоть один атом, безусловно похожий на другой?.. Нет... Разве вы не согласны, что все в природе взаимно обусловлено и невозможно допустить, чтобы в цепи вещей недоставало одного звена? Что же вы хотите сказать своими индивидами? Их нет, их нет и в помине... Есть только один великий индивид—целое. В этом целом, как в машине, как в каком-нибудь животном, есть одна какая-нибудь часть, которую вы назовете так или иначе, но, называя эту часть целого индивидом, вы поступаете так же неправильно, как в том случае, когда вы даете название индивида птичьему крылу, перу от крыла... И вы говорите о сущностях, бедные философы! Оставьте ваши сущности. Окните взором всю громаду мироздания; если же

у вас слишком ограниченное воображение, остановитесь мысленно на вашем начале и на вашем конце... О, Архит<sup>7</sup>, измеривший земной шар, что ты теперь? Горсть пепла... Что такое существо?.. Совокупность известных тенденций... Могу ли я быть чем-нибудь иным?.. Нет, я иду к определенному пределу... А виды?.. Виды не что иное, как только тенденции с общим, свойственным им пределом... А жизнь?.. Жизнь—последовательный ряд действий и противодействий... Пока я жив, я действую и противодействую в форме массы... Умерев, я действую и противодействую в форме молекул... Следовательно, я вовсе не умираю?.. Несомненно, нет; в этом смысле я несколько не умираю,—ни я, ни что бы то ни было... Родиться, жить, исчезать, это значит—менять формы... А не все ли равно: та или другая форма? С каждой формой связано свойственное ей счастье и несчастье. От слона до мошки... от мошки до чувствующей и живой молекулы, начала всего, нет во всей природе ни одной точки, которая не страдает или не наслаждается.

*Леспинас.* Больше он ничего не говорит.

*Борде.* Нет. Он совершил довольно хорошую экскурсию. Вот поистине возвышенная философия; приведенная только что в систему, она тем более будет себя оправдывать, чем больше будут прогрессировать человеческие знания.

*Леспинас.* На чем же мы остановились?

*Борде.* Уж не помню, право: столько вещей пришло мне на память, пока я слушал его!

*Леспинас.* Подождите, подождите... я остановилась на пауке.

*Борде.* Да, да.

*Леспинас.* Подойдите, доктор. Представьте себе паука, сидящего в центре паутины. Разорвите одно волоконец, и вы увидите, как проворно подскочит к этому месту паук. Так вот, если бы волокна паутины, которые насекомое излекает из своих внутренностей и втягивает обратно, когда захочет, составляли чувствующую часть его самого?..

*Борде.* Понимаю. Вы представляете себе, что где-то

внутри вас, в каком-то уголке вашей головы, в том, например, который называется мозговыми оболочками, есть один или несколько пунктов, куда сносятся все ощущения, вызванные в волокнах.

*Леспинас.* Правильно.

*Борде.* Ваша мысль как нельзя более верна; но разве вы не видите, что это почти то же, что знакомая нам гроздь пчел?

*Леспинас.* Ах, это правда! Я говорила прозой, сама не подозревая этого.

*Борде.* И очень хорошей прозой, как вы увидите. Кто знает человека только в том виде, в каком он представляется при рождении, тот не имеет ни малейшего понятия о нем. Его голова, ноги, руки, все его члены, все его сосуды, все его органы, нос, глаза, уши, сердце, легкие, внутренности, мускулы, кости, нервы, перепонки,—собственно говоря, не что иное, как простые отростки ткани, которая формируется, растет, расширяется, разбрасывает множество невидимых волоконцев.

*Леспинас.* Так вот, возьмем паутину; исходным пунктом всех ее волокон является паук.

*Борде.* Великолепно.

*Леспинас.* Где находятся волокна и где помещается паук?

*Борде.* Волокна повсюду; нет ни одного пункта на поверхности вашего тела, куда бы они не проникали; а паук гнездится в той части вашей головы, которую я назвал мозговыми оболочками и к которой почти невозможно прикоснуться, не вызвав оцепенения во всей машине.

*Леспинас.* Но когда какой-нибудь атом вызывает колебание в одном из волокон паутины, тогда паук бьет тревогу, беспокоится, убегает или прибегает. Находясь в центре, он осведомлен обо всем, что происходит в каком бы то ни было месте его обширного, искусно сотканного здания. Почему же я не знаю, что происходит в моем здании, то-есть в мире, если я—клубок чувствительных точек, если все запечатлевается на мне, и я кладу печать на все?

*Борде.* Потому что впечатления ослабевают по мере удаления от исходного пункта.

*Леспинас.* Если дать самый легонький удар по одному концу длинного бревна, я услышу его, приложив ухо к другому концу. Тот же самый эффект должен был бы получиться, если одним концом бревна коснуться Земли, а другим—Сириуса. Если все, таким образом, соединено, связано друг с другом, то-есть если бревно действительно существует, то почему мне не слышать, что происходит в обширном, окружающем меня пространстве, в особенности, когда я прислушиваюсь к нему?

*Борде.* Кто же вам сказал, что вы не услышали бы кое-чего? Но расстояние слишком велико, впечатление, перекрещивающееся по дороге с другими, слишком слабо... Вас окружает и оглушает столь разнообразный и сильный шум... к тому же, на всем расстоянии от Сатурна до вас между телами существует только смежность, а не непрерывность...

*Леспинас.* Очень жаль.

*Борде.* Это правда, ибо иначе вы были бы богом. Благодаря тождеству со всеми существами природы, вы знали бы все, что происходит; благодаря памяти, вы знали бы все, что произошло в прошлом.

*Леспинас.* А то, что произойдет?

*Борде.* Насчет будущего вы строили бы правдоподобные, но подверженные ошибкам догадки, точно так же, как если бы вы старались догадаться,\* что произойдет в вас, на оконечности вашей ноги или руки.

*Леспинас.* Но кто сказал вам, что у этого мира нет своих мозговых оболочек, или что в каком-нибудь углу пространства не живет большой или маленький паук, протягивающий повсюду свои нити?

*Борде.* Никто, но еще менее я знаю, не было ли в прошлом или не будет ли в будущем такого паука.

*Леспинас.* Каким образом этот своего рода бог...

*Борде.* Единственный мыслимый...

*Леспинас.* ...мог бы когда-то существовать или появиться и исчезнуть?

*Борде.* Несомненно, он старел и умирал, поскольку он—материя во вселенной, частица вселенной, подверженная изменениям.

*Леспинас.* Но мне приходит в голову еще одна странная мысль.

*Борде.* Можете не говорить,—я знаю ее.

*Леспинас.* Какая же именно?

*Борде.* Вы представляете себе разум соединенным с самыми деятельными частями материи и возможность возникновения самых разнообразных чудесных явлений. Другие думали так же, как вы.

*Леспинас.* Вы догадались, но от этого не возросло мое уважение к вам. Надо думать, что вы весьма предрасположены к умопомешательству.

*Борде.* Согласен. Но что ужасного в этой мысли? Был бы урожай на добрых и злых гениев, самые незабываемые законы природы нарушались бы естественными факторами; стали бы более тяжелыми общие условия нашего физического существования, но совершенно исчезли бы чудеса.

*Леспинас.* Поистине, нужно очень критически относиться к тому, что утверждаешь или отрицаешь.

*Борде.* Тот, кто стал бы рассказывать вам о явлении такого рода, был бы похож на большого лжеца. Однако оставим все эти воображаемые существа вместе с пауком в беспредельных сетях и вернемся к вашему пауку и его организации.

*Леспинас.* Согласна.

*Даламбер.* М-ль Леспинас, вы не одна, с кем это вы разговариваете?

*Леспинас.* С доктором.

*Даламбер.* Здравствуйте, доктор. Что вы делаете здесь так рано?

*Борде.* Узнаете потом, спите.

*Даламбер.* Поистине, я в этом нуждаюсь. Кажется, я никогда еще не спал так беспокойно. Вы не уйдете, пока я не встану?

*Борде.* Нет. Бьюсь об заклад, м-ль, что, по вашему

мнению, вы всегда были женщиной данной формы, хотя в двенадцать лет вы были ростом наполовину меньше, в четыре года—еще меньше, зародышем—еще меньше, в яичниках вашей матери—совсем маленькой, так что только последовательно взятые нами стадии роста производили разницу между вами при вашем зарождении и вами в настоящем виде.

*Леспинас.* Согласна.

*Борде.* Между тем нет ничего ошибочнее этой мысли. Сначала вы были ничем. Затем, в самом начале возникновения, вы были неуловимой точкой, образованной из мельчайших молекул, рассеянных в крови и лимфе вашего отца или матери; затем эта точка стала тонким волокном, потом—пучком волоконцев. До этого момента нет ни малейшего следа той милой формы, какую вы имеете сейчас: ваши глаза, ваши прекрасные глаза, так же мало походили на глаза, как коготок анемоны на анемону. Каждый побег пучка трансформировался, благодаря только питанию и своей конформации, в особый орган; исключение представляют те органы, в которых с побегами происходят эти метаморфозы и которым они дают начало. Пучок, это—целая система непосредственных чувств; если бы он всегда оставался в таком виде, он был бы способен к восприятию всех доступных непосредственной чувствительности впечатлений, как-то: холода, теплоты, мягкости, жесткости. Эти последовательные впечатления, взаимно варьируясь и изменяясь в своей интенсивности, произвели бы, может быть, память, сознание своего я, очень ограниченный ум. Но эта непосредственная и простая чувствительность, этот комплекс осязания, разнообразится в зависимости от органов, образующихся из побегов: побег, образующий ухо, дает начало особому роду осязания, которое вызывается в нас шумом или звуком; другой побег, образующий небо, дает начало другому роду осязания, называемому нами вкусом; третий, образующий нос, дает начало третьему роду осязания—запаху; четвертый, образующий глаз, дает начало четвертому роду осязания, который мы называем цветом.

*Леспинас.* В таком случае, если я хорошо поняла вас, безрассудны те, которые отрицают возможность шестого чувства, этого истинного гермафродита. Кто им сказал, что природа не может образовать пучок с особенным побегом, который дал бы начало неизвестному нам органу?

*Борде.* Или с двумя побегами, характеризующими два пола? Вы правы. Приятно разговаривать с вами: вы не только быстро схватываете, что вам говорят, но и делаете удивительно правильные выводы.

*Леспинас.* Вы подбадриваете меня, доктор.

*Борде.* Нет, право, я говорю, что думаю.

*Леспинас.* Я хорошо вижу, какие функции выполняют некоторые побеги пучков, но что происходит с другими?

*Борде.* А другая, на вашем месте, задумалась бы над этим вопросом?

*Леспинас.* Наверное.

*Борде.* Вы не тщеславная. Остальные побеги образуют столько других видов осязания, сколько существует разнообразных органов и частей тела.

*Леспинас.* Как называют их? Я никогда не слыхала о них.

*Борде.* У них нет названия.

*Леспинас.* Почему?

*Борде.* Потому что между ощущениями, вызванными при их посредстве, нет такой разницы, какая существует между ощущениями, вызванными при посредстве других органов.

*Леспинас.* Вы самым серьезным образом думаете, что нога, рука, бедро, живот, желудок, грудь, легкие, сердце имеют свои особые ощущения?

*Борде.* Думаю. Позвольте спросить вас, нет ли между этими ощущениями, которых не называют...

*Леспинас.* Я понимаю вас. Нет. То совсем особого рода ощущение, и это очень жаль. Но какое у вас основание для предположения такого многообразия ощущений, скорее неприятных, чем приятных, которыми вам угодно осчастливить нас?

*Борде.* Основание? Да то, что мы хорошо распо-

знаем их. Если бы не существовало этого бесконечного разнообразия в осязании, мы знали бы, что испытываем удовольствие или боль, но не знали бы, куда их отнести. Нужна была бы помощь зрения; но это было бы уж не дело ощущения, это было бы дело опыта и наблюдения.

*Лестинас.* Если я, предположим, сказала бы, что у меня болит палец, и меня спросили бы, почему я уверяю, что именно в пальце боль, нужно было бы ответить не то, что я чувствую это, а то, что я чувствую боль и вижу, что мой палец болен.

*Борде.* Так. Позвольте обнять вас.

*Лестинас.* С удовольствием.

*Далалмбер.* Доктор, вы обнимаете м-ль, это очень похоже на вас.

*Борде.* Я много размышлял над этим, и мне казалось, что недостаточно одного места и направления боли для того, чтобы составить себе слишком поспешное заключение о начале пучка.

*Лестинас.* Я ничего этого не знаю.

*Борде.* Ваше сомнение мне нравится. У нас так обычно принимают естественные свойства за приобретенные и почти такие же старые, как мы, привычки.

*Лестинас.* И наоборот.

*Борде.* Как бы там ни было, но вы видите, что в вопросе о формировании животного слишком поспешно останавливать свой взгляд и размышления на окончательно сформировавшемся животном; что следует восходить до его первоначальных зачатков и что вам необходимо отвлечься от вашей настоящей организации и вернуться к тому моменту, когда вы были только мягким, волокнистым, бесформенным, червеобразным веществом, скорее похожим на луковицу и корень растения, чем на животное.

*Лестинас.* Если бы существовал обычай ходить по улицам совсем голой, мне пришлось бы сообразоваться с ним. Так делайте из меня, что хотите, лишь бы просветить меня. Вы мне сказали, что каждый побег пучка образует особый орган, но как доказать это?

*Борде.* Сделайте мысленно то, что иногда делает при-



рода: отнимите у пучка один из побегов, например, тот, который образует глаза; как вы думаете, что произойдет?

*Леспинас.* У животного, может быть, не будет глаз.

*Борде.* Или будет только один посредине лба.

*Леспинас.* Это будет Циклоп.

*Борде.* Циклоп.

*Леспинас.* Следовательно, Циклоп может оказаться вовсе не мифическим существом.

*Борде.* До такой степени не мифическим, что я готов, когда вам угодно, показать одного такого циклопа<sup>8</sup>.

*Леспинас.* А кто знает причину такой странной особености?

*Борде.* Тот, кто производил вскрытие этого уroda и нашел у него только один зрительный нерв. Сделайте мысленно то, что делает иногда природа. Уничтожьте другой побег пучка, который должен образовать, например, нос, и животное будет без носа. Уничтожьте побег, который должен образовать ухо, и животное будет без ушей или с одним ухом, и анатом не найдет при вскрытии ни обонятельных, ни слуховых нервов или найдет только по одному. Продолжайте дальше уничтожать побеги, и животное будет без головы, без ног, без рук; жизнь его станет короче, но оно будет жить.

*Леспинас.* Существуют ли в действительности такие примеры?

*Борде.* Безусловно. Но это не все. Удвойте число некоторых побегов у пучка, и у животного будут две головы, четыре глаза, четыре уха, три ноги, четыре руки, по шести пальцев на каждой руке. Переместите побеги пучка, и органы разместятся иначе: голова займет место посредине груди, легкие окажутся на левой стороне, сердце—на правой. Склейте вместе два побега, и органы сольются: руки—с телом, ноги, бедра соединятся вместе, и у вас получатся всевозможные уроды.

*Леспинас.* Но мне кажется, что такой сложный механизм, как животное, который родится от одной точки, от одной взбудораженной, а, может быть, от двух случайно смешанных жидкостей,—ибо в тот момент почти не знаешь,

что делаешь,—что механизм, который движется к своему совершенству по бесконечному ряду ступеней последовательного развития, правильное или неправильное образование которого зависит от пучка тонких, не связанных между собою и эластичных волоконцев, от некоего клубка, где без вреда для целого не может быть порвана, нарушена, смещена ни одна малейшая частичка,—что такой механизм должен был бы еще чаще сбиваться в месте своего формирования, чем мой шелк на прялке.

*Борде.* И оно страдает от этого чаще, чем думают. Недостаточно часто прибегают к вскрытию, и потому наши представления об его формировании очень далеки от истины.

*Леспинас.* Кроме горбатых и хромых, есть ли другие замечательные примеры таких природных нарушений форм, которые можно было бы приписать какому-нибудь наследственному недостатку?

*Борде.* Бесчисленное множество. Еще совсем недавно умер в парижском госпитале от воспаления легких Жан-Батист Массе, 25 лет, плотник из Труа, у которого внутренние органы грудной и брюшной полости были не на своем месте: сердце на правой стороне, точно так же как оно у вас на левой; печень—на левой стороне; желудок, селезенка, поджелудочная железа в правом подреберье; воротная вена, входящая в печень с левой стороны, а не с правой, как обыкновенно бывает; такое же перемещение вдоль кишечника; почки, прислонившиеся друг к другу у поясничных позвонков, напоминали своей формой подкову. Подите—говорите после этого о конечных основаниях!

*Леспинас.* Удивительно.

*Борде.* Если бы Жан-Батист Массе был женат и имел детей...

*Леспинас.* Ну, доктор, эти дети...

*Борде.* ...нормального строения, но так как эти неправильности проявляются скачками, то, по истечении сотни лет, у кого-нибудь из детей их детей снова обнаружилось бы причудливое строение его предка.

*Леспинас.* А отчего происходят эти скачки?

*Борде.* Кто знает? Чтобы произвести одного ребенка, необходимы, как вам известно, двое. Может быть, один из агентов исправляет недостатки другого, и наделенная дефектами ткань нарождается вновь только в тот момент, когда господствует и предписывает формирующейся ткани свои законы потомок уродливого поколения. В пучке волоконцев создается первоначальная разница между всеми видами животных. Разнообразия, таящиеся в пучке вида, вызывают все уродливые разнообразия этого вида.

*Леспинас* (после долгого молчания выходит из состояния задумчивости и прерывает размышления доктора следующим вопросом): Мне приходит в голову очень глупая мысль.

*Борде.* Какая?

*Леспинас.* Мужчина, может быть, не больше, как уродливая женщина, а женщина—уродливый мужчина.

*Борде.* Эта мысль еще скорее пришла бы вам, если бы вы знали, что у женщины имеются все органы мужчины; что единственная разница между ними состоит в положении мешочка, который у мужчины висит снаружи, а у женщины обращен внутрь; что женский зародыш похож на мужской так, что их не различишь; что у женского зародыша часть, которая вводит в заблуждение, опадает по мере того, как расширяется внутренний мешочек; что она никогда не опадает до такой степени; чтобы утратить свою первоначальную форму; что она сохраняет эту форму в уменьшенном виде; что она восприимчива к тем же самым движениям; играет ту же роль стимула страсти; имеет свою головку, свою крайнюю плоть и на оконечности ее замечается точка, которая, повидимому, была отверстием закрывшегося мочевого канала; что у мужчины между задним проходом и мошонкой имеется так называемая промежность, а от мошонки до конца полового члена тянется шов, который, повидимому, представляет собой воспроизведение рудиментарных наружных женских половых органов; что женщины, у которых чрезмерный клитор, имеют бороду; что у евнухов

нет бороды, что ляшки у них становятся крупнее, бедра шире, колени круглее и что, утрачивая характерные черты организации одного пола, они, повидимому, возвращаются к характерному строению другого. Те из арабов, которые не расстаются с лошадьо, становятся скопцами, лишаются бороды, приобретают тонкий голос, одеваются по-женски, располагаются среди женщин на арбах, мочатся, сидя на корточках, и во всем ведут себя, как женщины... Однако мы слишком уклонились от нашего предмета. Вернемся к нашему пучку живых и одушевленных волокон.

*Даламбер.* Доктор, вы, кажется, говорите пакости м-ль Леспинас.

*Борде.* Приходится прибегать к техническим выражениям, когда говоришь о научных предметах.

*Даламбер.* Правильно; тогда от этих выражений отпадает их дополнительный смысл, благодаря которому они становятся неприличными. Продолжайте, доктор. Итак, вы говорили, что матка не что иное, как мошонка, обращенная извне внутрь, причем мужские яички были выброшены из мошонки, в которой они находились, и размещены в правой и левой полости тела; что клитор— мужской член в миниатюре, что этот мужской член у женщины уменьшается по мере того, как расширяется матка, или обращенная внутрь мошонка, и что...

*Леспинас.* Да, да, молчите и не вмешивайтесь в наш разговор.

*Борде.* Вы видите, м-ль, что при рассмотрении наших ощущений, которые вообще являются не чем иным, как разновидностями осязания, приходится расстаться с последовательными формами, принимаемыми тканью, и довольствоваться только тканью.

*Леспинас.* Каждое чувствующее волоконце ткани можно поранить или пощекотать на всем его протяжении. Удовольствие или боль имеет место тут или там, в том или другом пункте одной из длинных лап моего паука,— я все возвращаюсь к моему пауку; ведь этот паук является общим началом всех лап, и он посылает в то или другое место радость или боль, не испытывая их сам.

*Борде.* Постоянное, неизменное сообщение всех впечатлений этому общему началу устанавливает единство животного.

*Лестинас.* Память обо всех этих последовательных впечатлениях создает историю жизни каждого животного и его я.

*Борде.* А память и сравнение, по необходимости сопутствующие всем этим впечатлениям, создают мысль и разум.

*Лестинас.* А сравнение где зарождается?

*Борде.* У начала ткани.

*Лестинас.* А ткань?

*Борде.* У ее начала нет никакого присущего ей чувства: она не видит, не слышит, не страдает. Она рождается, питается, исходит из нежной нечувствующей, инертной субстанции, которая служит ей изголовьем, и на ней она восседает, выслушивает, судит и выносит приговоры.

*Лестинас.* Она не страдает?

*Борде.* Нет. Малейшее впечатление прерывает эту ее деятельность, и животное приходит в состояние смерти. Прекратите доступ впечатлению, она вернется к своим функциям, и животное оживет.

*Лестинас.* Откуда вы знаете все это? Разве когда-нибудь произвольно оживляли и умерщвляли человека?

*Борде.* Да.

*Лестинас.* Как же это?

*Борде.* Я вам скажу. Это очень интересный факт. Лапейрони<sup>9</sup> позвали к одному больному, который получил тяжелый удар в голову. Больной чувствовал в месте поранения пульсацию. Хирург не сомневался, что в мозгу образовался нарыв и что нельзя терять ни одной минуты. Он бреет больного и производит трепанацию черепа. Острие инструмента как раз угождает в середину гнойного нарыва. Он удаляет гной и спринцовкой очищает нарыв. Как только он вводит жидкость в нарыв, больной закрывает глаза, в его членах прекращается всякая деятельность, всякое движение, не видно ни малейшего признака жизни; но как только хирург снова вбирает в спринцовку

жидкость и освобождает начало пучка от тяжести и давления введенной жидкости, больной снова открывает глаза, приходит в движение, говорит, чувствует, возрождается и живет.

*Леспинас.* Странно. И что же, больной выздоровел?

*Борде.* Выздоровел, и, когда он стал здоровым, к нему вернулась способность размышления, он начал мыслить, рассуждать, к нему вернулся прежний ум, прежняя рассудительность и сообразительность.

*Леспинас.* Этот вот судья ваш—весьма необыкновенное существо.

*Борде.* Он сам иногда ошибается; гнет привычки господствует над ним: чувствуешь, например, боль в члене, которого больше уже нет. При желании его можно обмануть: скрестите, например, два ваших пальца один над другим, дотроньтесь до какого-нибудь маленького шарика, и он скажет, что шариков два.

*Леспинас.* Следовательно, с ним происходит то же, что со всеми судьями в мире, и он нуждается в опыте, чтобы не принимать ощущения холода за ощущение от огня.

*Борде.* Он делает еще кое-что: он принимает в индивидуальности почти безграничные размеры или, наоборот, концентрируется почти в одной точке.

*Леспинас.* Не понимаю.

*Борде.* Что ограничивает вашу реальную протяженность, истинную сферу вашей чувствительности?

*Леспинас.* Мое зрение и осязание.

*Борде.* Днем. А ночью, в темноте, особенно, когда вы размышляете над каким-нибудь отвлеченным вопросом, или даже днем, когда ваш ум чем-нибудь занят?

*Леспинас.* Ничто. Я существую тогда как бы в одной точке; я почти перестаю быть материей; я чувствую только свою мысль; для меня не существует больше ни места, ни движения, ни тел, ни расстояния, ни пространства: вселенная исчезает для меня, и я исчезаю для нее.

*Борде.* Вот это—последний предел концентрации вашего существования: по его воображаемое расширение

может быть безграничным. Когда превзойдены истинные пределы вашей чувствительности, благодаря ли тому, что вы сосредоточиваетесь в себе самой, или благодаря тому, что вы распространяетесь во вне, тогда неизвестно, что может случиться.

*Лестинас.* Вы правы, доктор. Много раз во время дум мне казалось...

*Борде.* ...и больным в припадке подагры...

*Лестинас.* ...что я становлюсь огромной...

*Борде.* ...что своей ногой они касаются полога над кроватью.

*Лестинас.* ...что мои руки и ноги удлиняются до бесконечности; что все части тела становятся такими же огромными, что мифический Энкелад в сравнении со мной не больше, чем пигмей; что Овидиева<sup>10</sup> Амфитрита, длинные руки которой опоясывали землю,—карлица и что я взбираюсь по небу и обнимаю оба полушария.

*Борде.* Очень хорошо. А я знал одну женщину, у которой то же самое происходило в обратном направлении.

*Лестинас.* Как! Она уменьшалась и сокращалась?

*Борде.* До такой степени, что она чувствовала себя с иголку. Она видела, слышала, мыслила, рассуждала, смертельно боялась погибнуть, тряслась при малейшем шорохе и не решалась двигаться с места.

*Лестинас.* Вот—странное видение, очень прискорбное и очень неудобное.

*Борде.* Это не видение, это один из случаев при прекращении месячных.

*Лестинас.* И долго ли оставалась она в такой крошечной, незаметной форме маленькой женщины?

*Борде.* Час, два часа, после чего она начинала постепенно возвращаться к своему первоначальному, естественному размеру.

*Лестинас.* Какова же причина таких странных ощущений?

*Борде.* Побег пучка в своем естественном и спокойном состоянии имеют определенное напряжение, соответствующую крепость и силу, которая ограничивает реаль-

ную или мнимую протяженность тела. Я говорю «реальную» или «мнимую», так как при изменчивости этого напряжения, этой крепости и силы наше тело не всегда сохраняет один и тот же объем.

*Лестинас.* Таким образом, подверженные одинаково как влияниям физическим, так и моральным влияниям, мы воображаем себя более великими, чем на самом деле?

*Борде.* Холод уменьшает нас, теплота увеличивает, и тот и другой индивид может всю жизнь считать себя бдльшим или меньшим, чем он есть в действительности. Когда случается массе пучка приходить в состояние страшного раздражения, побегам его испытывать возбуждение, безграничному множеству их окончностей переступать обычные для них пределы, тогда голова, ноги, другие члены, все точки поверхности тела уносятся на огромное расстояние, и индивид чувствует себя гигантом. Происходит обратное явление, если бесчувственность, апатия, инертность овладевают окончностями побегов и добираются мало-по-малу до начала пучка.

*Лестинас.* Я не представляю себе, чтобы это расширение можно было измерить, и я понимаю, что эта бесчувственность, эта апатия, эта инертность окончностей побегов, это онемение, прогрессируя, могут фиксироваться, остановиться...

*Борде.* Как это случилось с Лакондамином<sup>11</sup>; в таком состоянии индивид чувствует как бы гири у себя на ногах.

*Лестинас.* Он пребывает за пределами своей чувствительности, а если бы он был объят этой апатией всецело, он нам представил бы пример маленького живого человека, пребывающего в форме мертвого.

*Борде.* Сделайте отсюда такое заключение: животное, которое при начале своем было не больше, как точкой, еще не знает, представляет ли оно из себя в действительности что-нибудь большее. Однако вернемся...

*Лестинас.* К чему?

*Борде.* К чему? К тренации Лапейрони... Вот это вы хорошо сделали, что попросили меня привести пример



человека, который то жил, то умирал... Но есть еще лучшее.

*Лестинас.* Что же это такое?

*Борде.* Осуществился миф о Касторе и Поллуксе: как только один из близнецов оживал, другой тотчас же умирал, и наоборот.

*Лестинас.* О, сказка! И долго ли это продолжалось?

*Борде.* Жизнь этих существ продолжалась два дня, которые они распределили между собою поровну и в несколько приемов, так что каждое имело для себя день жизни и день смерти.

*Лестинас.* Я боюсь, доктор, что вы немного злоупотребляете моим доверием. Берегитесь: если вы обманете меня один раз, я больше не буду верить вам.

*Борде.* Читаете ли вы когда-нибудь *Gazette de France*?

*Лестинас.* Никогда, хотя это—шедевр двух умных людей<sup>12</sup>.

*Борде.* Достаньте номер от 4 сентября и вы найдете там, что в Рабастене (округ Альби) родились две девочки, сросшиеся спинами, в поясничных позвонках, в ягодицах и в подвздошной области. Одну нельзя было поставить без того, чтобы другая не оказалась головою вниз. Когда они лежали, то глядели друг на друга. Их бедра были согнуты между корпусами, а ноги подняты. Посреди общей кругообразной линии, которая связывала их в подвздошной области, различали их пол, и между правым бедром одной сестры, которому соответствовало левое бедро другой, в полости был маленький задний проход, через который протекал меконий<sup>13</sup>.

*Лестинас.* Действительно, странное явление.

*Борде.* Они принимали молоко с ложки. Они жили, как я говорил, 12 часов: одна впадала в обморочное состояние, а другая выходила из него, одна была мертвой в то время, как другая жила. Первый припадок обморока одной и первые моменты жизни другой продолжались 4 часа, последующие обмороки и моменты жизни были менее продолжительны; скончались они одновременно.

Было также замечено, что их пупки то втягивались внутрь, то выходили наружу: у той, которая впадала в обморок, он втягивался внутрь, а у той, которая возвращалась к жизни, он выступал наружу.

*Лестинас.* Что же скажете вы об этих последовательных сменах жизни и смерти?

*Борде.* Может быть, ничего ценного; но так как на все смотришь сквозь призму своей системы, и так как я не хочу быть исключением из общего правила, то я скажу, что здесь наблюдается то же явление, что у больного Лалайрони, только в форме двух соединенных вместе существ; что ткани этих двух детей так перемешались, что они поддавались взаимному воздействию: когда брало верх начало ткани одной девочки, оно увлекало за собой ткань другой, которая впадала на время в обморок. Противоположное происходило, когда начинала господствовать над всей системой ткань последней. У больного Лалайрони давление производилось тяжестью жидкости сверху вниз, у рабастеновских же близнецов—снизу вверх, благодаря тяге известного количества волокон ткани,—предположение, опирающееся на факт последовательных движений втягивания внутрь и выпячивания наружу их пупков.

*Лестинас.* И вот две слившиеся души...

*Борде.* ...животное, наделенное принципом двойного сознания и двойной чувствительности...

*Лестинас.* ...однако пользующееся в каждый данный момент только одним. Но кто знает, что случилось бы, если бы это животное жило?

*Борде.* Какого рода связь установил бы между этими двумя мозгами постоянный опыт,—сильнейшая из привычек, какую только можно себе вообразить?

*Лестинас.* Двойная чувствительность, двойная память, двойное воображение, двойное усвоение; одна половина существа наблюдает, читает, размышляет, между тем как другая покоится; затем вторая принимает на себя эти функции, когда ее спутница устает,—двойная жизнь двойного существа!

*Борде.* Раз это возможно, то уж природа, сведя со-временем в одно все, что имеется в ее распоряжении, сумеет образовать некую странную совокупность.

*Лестинас.* Как мы были бы бедны в сравнении с подобным существом!

*Борде.* А почему? Если столько колебаний, противоре-чий, безумства в одном уме, то я уж не знаю, что было бы при наличии двойного... Но уже полчаса один-надесятого, и я слышу, как издали зовет меня больной.

*Лестинас.* Разве уж так опасно оставаться ему без вашей помощи?

*Борде.* Может быть, менее опасно, чем с моей по-мощью. Если природа не выполнит своей задачи без меня, мы постараемся решить задачу вместе, но без помощи природы я уж, наверное, ее не выполню.

*Лестинас.* Посидите еще.

*Даламбер.* Еще одно слово, доктор, и я отпущу вас к пациенту. Каким образом я мог остаться самим собой и для других, и для себя после стольких превратностей, перенесенных мною в жизни, и не имея, может быть, теперь ни одной из тех молекул, которые я принес с собой при рождении?

*Борде.* Вы нам сказали об этом во время бреда.

*Даламбер.* Разве я бредил?

*Лестинас.* Всю ночь; у вас был такой кошмар, что я послала утром за доктором.

*Даламбер.* И все из-за лапок паука, которые дви-гались сами собой, подавали сигналы пауку и заставляли его говорить. Что же животное говорило?

*Борде.* Что, благодаря памяти, оно осталось самим собой для других и для себя, а я прибавил бы: и благо-даря длительности перенесенных превратностей. Если бы вы в одно мгновение ока перешли из детского возраста в старческий, вы оказались бы таким, каким вы были в первый момент вашего рождения; вы не существовали бы ни для других, ни для себя, и другие не существо-вали бы для вас. Все связи были бы нарушены, погибла бы вся история вашей жизни для меня и вся история

моей жизни для вас. Каким образом вы могли бы знать, что вот этот опирающийся на палку человек, с угасшими глазами, с трудом влачащий ноги и еще менее похожий на себя внутри, чем снаружи, был тем самым, который накануне так легко шагал, поднимал довольно большие тяжести, мог отдаваться глубочайшим размышлениям, предаваться самым приятным и самым бурным упражнениям? Вы не поняли бы своих собственных работ, не узнали бы самого себя, не узнали бы никого и никто вас не узнал бы, изменилась бы вся картина мира. Подумайте, что между вами в момент рождения и вами-ребенком разница меньшая, чем между вами-ребенком и вами, вдруг ставшим дряхлым человеком. Подумайте, что хотя ваше рождение было связано с первыми годами вашего детства целым рядом непрерывных ощущений, однако три первые года вашего существования никогда не составят всей истории вашей жизни. Что же представляло бы для вас время вашего детства, которое ничем не было бы связано с моментом вашей дряхлости? У дряхлого Даламбера не было бы ни малейшего воспоминания о Даламбере-ребенке.

*Лестинас.* В грозди пчел не было бы ни одной, которая имела бы время освоиться с духом целого организма.

*Даламбер.* Что вы там говорите?

*Лестинас.* Я говорю, что монастырский дух сохраняется, потому что сам монастырь обновляется постепенно, и когда поступает новый монах, он находит там сотню старых, которые заставляют его думать и чувствовать, как они. В грозди на место одной улетевшей пчелы появляется другая, которая тотчас же осваивается с целым.

*Даламбер.* Ну, вы говорите пустяки о ваших монахах, о пчелах, о грозди и о монастыре.

*Борде.* Не такие пустяки, как вы думаете. Если в животном только одно сознание, зато в нем бесконечно много желаний: у каждого органа свое.

*Даламбер.* Как вы сказали?

*Борде.* Я сказал, что желудок хочет пищи, а небо

не хочет её, и что разница между всем животным и желудком состоит в том, что животное знает, чего оно хочет, а желудок и небо хотят, не зная этого; что желудок и небо относятся друг к другу приблизительно так же, как человек к скоту. Пчелы теряют свое сознание и сохраняют свой аппетит или волю. Фибра—животное простое, а человек—животное сложное; но оставим это до другого раза. Достаточно наступить какому-нибудь событию, менее важному, чем дряхлость, чтобы отнять у человека сознание своего я. Умиравший принимает св. дары с глубоким благочестием; он раскаивается в своих грехах, просит прощения у своей жены, обнимает своих детей, созывает своих друзей, говорит со своим врачом, отдает распоряжения своей прислуге, диктует свою последнюю волю, приводит в порядок свои дела и все это проделывает в вполне здоровом уме и с полным присутствием духа. Он выздоравливает, силы возвращаются к нему, и он не имеет ни малейшего представления о том, что он говорил или делал во время своей болезни. Этот промежуток, иногда очень длинный, исчезает из его жизни. Есть даже примеры, когда некоторые лица возвращались к тому разговору или действию, которые были прерваны внезапным приступом болезни.

*Даламбер.* Я припомню, как в одном публичном споре один педант из коллежа, преисполненный сознанием собственной учености, был, что называется, посажен в калошу одним презираемым им калуцином. Он, и вдруг посажен в калошу! И кем? Калуцином! И по какому вопросу? По вопросу о сущности предопределения, над которым он размышлял всю жизнь. И при каких обстоятельствах? Перед многочисленным собранием! Перед своими учениками! Позор! Его голова так усиленно работает над этим, что он впадает в состояние летаргии, которая лишает его всех приобретенных им знаний.

*Леспинас.* Но это было счастьем для него.

*Даламбер.* Клянусь, вы правы. Рассудок остался у него, но он все забыл. Его снова научили говорить, читать, и он умер, когда начинал очень бегло разбирать

слова. Этот человек был не без способностей, его признавали даже до некоторой степени красноречивым.

*Лестинас.* Так как доктор прослушал ваш рассказ, то следует, чтобы он прослушал и мой. Один молодой человек, 18—20 лет, имени которого я не припомню...

*Борде.* Это—г. Шуллемберг из Винтертура; ему было только 15—16 лет.

*Лестинас.* Этот молодой человек упал и при падении получил страшное сотрясение головы.

*Борде.* Страшное сотрясение! Он упал с высокого амбара, разбил себе голову и шесть недель оставался без сознания.

*Лестинас.* Как бы там ни было, но знаете ли вы, каковы были последствия этого случая? Такие же, как у вашего педанта: он забыл все, что знал, вернулся к своим младенческим годам, впал в детство, из которого долго не выходил. Сделался боязливым и малодушным, начал забавляться игрушками. Если он делал какую-нибудь шалость и его бранили, он уходил и прятался где-нибудь в углу. Его научили читать и писать, но я забыла сказать вам, что пришлось снова учить его ходить. Впоследствии он вновь стал способным человеком и оставил после себя труд по естественной истории.

*Борде.* Вы говорите об атласе насекомых с гравюрами г-на Зюлье, составленном по системе Линнея. Я знал этот факт; это было в Цюрихском кантоне в Швейцарии. Есть много подобных примеров. Разружьте начало пучка и вы измените животное, которое заключается в нем как бы целиком, то господствуя над разветвлениями пучка, то подчиняясь им.

*Лестинас.* И животное находится под гнетом деспотизма или в состоянии анархии.

*Борде.* Под гнетом деспотизма, это хорошо сказано. Начало пучка отдает приказания, а все остальное повинуется. Животное—господин над собой, *mentis compos*.

*Лестинас.* В состоянии анархии, когда все волокна ткани взбунтовались против своего господина и когда нет больше высшей власти.

*Борде.* Великолешно. Когда господин в момент сильного приступа страсти, в тисках кошмара или пред лицом грозной опасности стягивает все силы своих подданных к одному пункту, то самое слабое животное проявляет невероятную силу.

*Леспинас.* Особенно характерна анархия, наступающая во время припадков.

*Борде.* Это—картина административной слабости, когда каждый присваивает себе власть господина. Я знаю только одно средство излечиться от этого, тяжелое, но верное; оно состоит в том, чтобы начало чувствующей ткани, этой конституирующей личность части, было одержимо непреодолимым желанием восстановить свой авторитет.

*Леспинас.* И что же получается?

*Борде.* Получается то, что оно действительно восстанавливает свою власть или животное погибает. Если бы у меня было время, я привел бы вам по этому поводу два необыкновенных факта.

*Леспинас.* Но, доктор, час вашего визита уже прошел, и больной вас не ждет больше.

*Борде.* Сюда нужно приходиться только тогда, когда нечего делать: не скоро выберетесь от вас.

*Леспинас.* Вот приступ прямодушной откровенности. А ваши факты?

*Борде.* На сегодня вы удовлетворитесь вот этим:

Одна женщина после родов впала в состояние страшной припадочной болезни: непронзвольные слезы и смех сменялись припадками одышки, конвульсий, спазм в горле, мрачным молчанием, пронзительными криками,— всем, что только можно представить себе наихудшего. Так продолжалось несколько лет. Она страстно любила, и ей показалось, что ее возлюбленный, которому надоела ее болезнь, стал избегать ее; тогда она решила выздороветь или умереть. В ней поднялась гражданская война, в которой одерживали верх то власть, то подданные. Если случалось, что действие волокон ткани было равно противодействию ее начала, женщина падала за-

мертво, ее укладывали в постель, где она оставалась целыми часами без движения и почти мертвой. В другой раз у нее наступала такая усталость, такой упадок сил, такое общее изнеможение, что, казалось, конец был близок. Шесть месяцев продолжалась такая борьба. Бунт начинался всегда с волокон. Она чувствовала приближение его. При первых же симптомах она вставала, начинала бегать, предаваться самым рискованным упражнениям: бегала по лестницам, пилила дрова, копала землю. Орган ее воли, начало пучка, укреплялся; она говорила себе: победить или умереть. После бесконечного количества побед и поражений господин остался у власти, и подданные сделались такими послушными, что не было больше речи о припадках, хотя эта женщина исполняла всякого рода домашние работы и хотя ей пришлось переносить различные болезни.

*Леспинас.* Молодец. Мне кажется, что я поступила бы так же, как она.

*Борде.* Это значит, что вы любите бы сильно, если бы полюбили, и что вы сильный человек.

*Леспинас.* Понимаю. Люди бывают сильными, если, вследствие привычки или благодаря организации, начало пучка господствует над волокнами, и, наоборот, слабыми, если над ним господствуют волокна.

*Борде.* Можно еще другие выводы сделать отсюда.

*Леспинас.* А ваш другой факт? Выводы вы сделаете потом.

*Борде.* Одна молодая женщина немного свихнулась. Однажды она приняла решение отказаться от удовольствий. И вот одна, задумчива и угрюма. Она позвала меня. Я посоветовал ей одеться по-крестьянски, копать целый день землю, спать на соломе и питаться черствым хлебом. Такой режим не понравился ей. Ну, отправляйтесь путешествовать,—говорю я ей. Она объехала всю Европу и во время путешествия вновь обрела здоровье.

*Леспинас.* Это не то, что вы хотели сказать, но не важно, вернемся к вашим выводам.

*Борде.* Этому конца не будет.



*Леспинас.* Тем лучше. Говорите, говорите без конца.

*Борде.* У меня нехватает смелости.

*Леспинас.* Почему?

*Борде.* Потому что при таком темпе, каким мы идем, можно слегка коснуться всего, но нельзя углубиться.

*Леспинас.* Разве это важно? Мы не сочиняем, а разговариваем.

*Борде.* Если, например, начало пучка стягивает все силы к себе, если вся система начинает, так сказать, обратное движение, как это происходит, думается мне, в человеке, погруженном в размышление, в фанатике, видящем отверстые небеса, дикаре, поющем в объятиях пламени, во время экстаза и безумия...

*Леспинас.* Ну?

*Борде.* Ну, животное становится бесстрастным, оно существует только в одной точке. Я не видел того каламского священника, о котором говорит св. Августин, который углублялся в себя до такой степени, что не чувствовал пылающих углей. Я не видел на костре тех дикарей, которые улыбаются своим врагам, издевающимся над ними и готовящим им еще более изысканные пытки, чем те, от которых они страдают; я не видел в цирке тех гладиаторов, которые, умирая, припоминали позы и уроки гимнастики, юю я верю всем этим фактам, потому что я видел своими собственными глазами такое необычайное напряжение сил, какого нет ни в одном приведенном случае.

*Леспинас.* Расскажите мне об этом, доктор. Я, как дитя, люблю чудеса, особенно, когда они делают честь человеческому роду; мне редко приходится заниматься учеными спорами.

*Борде.* В маленьком городке Лангре, в Шампани, жил кюрэ, по имени Мони, очень убежденный в истинности религии. С ним приключилась каменная болезнь: нужно было оперировать. В назначенный день хирург, его помощник и я отправляемся к нему. Он принимает нас со спокойным видом, раздевается, ложится; его хотят связать; он отказывается. «Только положите меня, как сле-

дует»,—говорит он. Его кладут. Он просит подать ему большой крест, стоявший в ногах у кровати. Ему дают; он сжимает его в руках, прикладывает к нему губы. Производится операция; он лежит неподвижно: ни слез, ни вдоха, и так вынули у него камень, а он и не почувствовал этого.

*Леспинас.* Прекрасно. Подите—сомневайтесь после этого, что тот, которому разбили грудную клетку, не видел отверстых небес.

*Борде.* Знаете ли вы, что такое ушная боль?

*Леспинас.* Нет.

*Борде.* Тем лучше. Это самая жестокая из всех болей.

*Леспинас.* Хуже ли зубной боли, которую я, к несчастью, знаю?

*Борде.* Никакого сравнения. Недели две тому назад она начала мучить одного из ваших друзей, философа<sup>14</sup>. Однажды утром он сказал своей жене: «Я чувствую, силы оставят меня на целый день...» Он решил, что у него остается одна надежда: хитростью обмануть боль. Мало-помалу он так углубился в вопросы метафизики или геометрии, что забыл про свое ухо. Ему подавали есть; он ел, не замечая, что ест; во-время шел ко сну, не чувствуя страданий. Ужасная болезнь вернулась к нему только тогда, когда прекратилось умственное напряжение, и набросилась на него с неслыханной яростью, потому ли, что, действительно, усталость вызвала ее, или потому, что его слабость сделала ее невыносимой.

*Леспинас.* Из такого состояния, должно быть, действительно выходишь в изнеможении, что иногда случается с этим человеком.

*Борде.* Это опасно, пусть остерегается.

*Леспинас.* Я не перестаю говорить ему об этом, но он не слушает.

*Борде.* Он не владеет собой; такова его судьба, он должен погибнуть.

*Леспинас.* Ваше суждение пугает меня.

*Борде.* Что доказывает это изнеможение, эта уста-

лость? То, что побеги пучка не оставались бездейственными и что во всей системе была страшная тяга к общему центру.

*Леспинас.* Если эта страшная тяга, или тяготение, долго длится, если она становится обычной?..

*Борде.* Это значит, что начало пучка поражено тиком, животное становится безумным и почти безнадежным.

*Леспинас.* Почему?

*Борде.* Потому что тик начала не то, что тик одного из побегов. Голова может распоряжаться ногами, но нога не может распоряжаться головой, начало—побегами, а не побег—началом.

*Леспинас.* А какая, скажите, пожалуйста, разница? Действительно, почему я думаю не всеми частями тела? Этот вопрос должен был бы сейчас же прийти мне в голову.

*Борде.* Потому что сознание находится только в одном месте.

*Леспинас.* Быстро сказано.

*Борде.* Оно может быть только в одном месте, в центре всех ощущений: там, где находится память; там, где делаются сравнения. Каждый побег способен воспринять только определенное количество впечатлений, ощущений, последовательных, изолированных, не задерживающихся. Начало воспринимает их все, регистрирует, хранит в памяти или непрерывно ощущает их, и животное с первого момента своего формирования связывается с ними, фиксирует их в себе и существует с ними.

*Леспинас.* А если бы мой палец мог иметь память?

*Борде.* Ваш палец мыслит бы.

*Леспинас.* Что же такое память?

*Борде.* Свойство центра, специфическое чувство начала ткани, подобно тому, как зрение есть свойство глаза и нет ничего удивительного в том, что память не сосредоточена в глазу, как не удивительно то, что зрение не находится в ухе.

*Леспинас.* Доктор, вы скорее уклоняетесь от моих вопросов, чем отвечаете на них.

*Борде.* Я вовсе не уклоняюсь, я говорю вам то, что я знаю, и я знал бы больше, если бы организация начала ткани мне была так же известна, как организация ее побегов, если бы я мог с такой же легкостью наблюдать ее. Но если я слаб по части частных явлений; зато я силен в явлениях общих.

*Леспинас.* Каковы же эти общие явления?

*Борде.* Разум, суждение, воображение, безумие, глупость, дикость, инстинкт.

*Леспинас.* Понимаю. Все эти свойства не что иное, как следствия первоначального или приобретенного привычкой отношения начала пучка к своим разветвлениям.

*Борде.* Чудесно. Раз основа, или ствол, слишком могуча по сравнению с ветвями, появляются поэты, артисты, люди, одаренные воображением, малодушные люди, энтузиасты, безумцы. От системы вялой, слабой, неэнергичной рождаются глупцы. Система энергичная, хорошо организованная и согласованная, дает хороших мыслителей, философов, мудрецов.

*Леспинас.* И смотря по тому, какая тираническая ветвь стоит у власти: инстинкт ли, изменяющийся у животных, или ум, изменяющийся у людей, получаются различные результаты: у собаки развивается обоняние, у рыбы—слух, у юрла—зрение, Даламбер становится геометром, Вокансон<sup>15</sup>—инженером, Гретри<sup>16</sup>—музыкантом, Вольтер—поэтом,—различные следствия того, что одна из нитей пучка у них развита сильнее, чем все остальные и чем соответственные нити у всех существ, принадлежащих к тому же виду.

*Борде.* ...Привычки, гнетущие людей... старец, любящий женщин. Вольтер, все еще пишущий трагедии...  
(*Доктор погружился в думы.*)

*Леспинас.* Доктор, вы думаете?

*Борде.* Да

*Леспинас.* О чем думаете вы?

*Борде.* По поводу Вольтера.

*Леспинас.* Ну?

*Борде.* Я думаю о том, как происходят великие люди.

*Леспинас.* Как же?

*Борде.* Каким образом чувствительность...

*Леспинас.* Чувствительность?

*Борде.* ...или крайняя подвижность некоторых волокон ткани является преобладающим свойством посредственности...

*Леспинас.* Ах, какое святотатство, доктор!

*Борде.* Я ждал этого. Но что такое чувствующее существо? Существо, отданное в распоряжение диафрагмы. Трогательное слово коснулось уха, необычное явление поразило глаз, и вот вам внутри поднимается шум; все побеги пучка в ажитации, разливается по всему телу озноб, охватывает страх, льются слезы, душат вздохи, прерывается голос; начало пучка не знает, что делать; нет больше ни хладнокровия, ни разума, ни рассудительности, ни инстинкта, ни надежды.

*Леспинас.* Узнаю себя.

*Борде.* Если великий человек, по несчастной случайности, получил от природы такое предрасположение, он без замедления направит свои старания на то, чтобы ослабить его, подчинить его себе, сделать господином своих душевных движений и сохранить свою власть над началом пучка. И тогда среди величайших опасностей он будет владеть собой, будет рассуждать холодно, по здраву. От его внимания не ускользнет все то, что может служить его целям. Его нелегко будет удивить; в сорок пять лет он будет великим королем, великим министром, великим политиком, великим артистом, в особенности великим актером, великим философом, великим поэтом, великим музыкантом, великим врачом: он будет господствовать над собой и над всем, что его окружает. Он не будет бояться смерти, для него не будет страха—этого, по прекрасному выражению стоика, буксира, за который берется сильный, чтобы вести слабого повсюду, куда он захочет. Он порвет эту связь и в то же время сбросит с себя всякую тиранию. Чувствительные существа или сумасшедшие—на сцене, а он в партуре,—это он—мудрец.

*Леспинас.* Боже, спаси меня от общества такого мудреца!

*Борде.* Принимая меры к тому, чтобы не походить на него, вы будете испытывать то безумные страдания, то безумные наслаждения, будете проводить вашу жизнь то в смехе, то в слезах, и навсегда останетесь ребенком.

*Леспинас.* Я готова на это.

*Борде.* И вы надеетесь быть от этого более счастливой?

*Леспинас.* Не знаю.

*Борде.* М-ль, это столь ценное качество в своих сильных проявлениях почти всегда причиняет боль, а проявляясь слабо, оно нагоняет скуку: с ним или зеваешь, или опьяняешься страстями. Вы то без меры отдаетесь наслаждениям роскошной музыкой, красотой патетической сцены, то ваше веселье прошло, ваша диафрагма сжалась, и целый вечер вас душат спазмы в горле.

*Леспинас.* Но что же делать, если только при таких условиях я могу наслаждаться возвышенной музыкой и трогательными сценами?

*Борде.* Ошибаетесь. Я тоже умею наслаждаться и восхищаться, но я никогда не страдаю, за исключением тех случаев, когда у меня колика. Я испытываю чистое наслаждение, моя оценка гораздо более строга, моя похвала более осмысленна и более соблазнительна. Есть ли хоть одна плохая трагедия для таких впечатлительных душ, как ваша? Сколько раз, при чтении трагедии, вы краснели за те восторги, которые вы испытывали в театре, глядя на сцену, и наоборот?

*Леспинас.* Это случалось со мной.

*Борде.* Следовательно, не вам, существу чувствительному, а мне, спокойному и холодному, надлежит сказать: верно, хорошо, прекрасно!.. Будем укреплять начало ткани: это лучшее, что мы можем сделать. Знаете ли вы, что здесь идет дело о жизни?

*Леспинас.* О жизни! О, это дело серьезное, доктор.

*Борде.* Да, о жизни. Нет ни одного человека, который не имел бы иногда отвращения к ней. Одного какого-нибудь события достаточно, чтобы такое настро-

ние превратилось в непроизвольное и обычное. Тогда не помогут ни увеселения, ни разнообразие наслаждений, ни советы друзей, ни собственные усилия; побег с неотвратимой силой наносит началу пучка гибельные потрясения; несчастный может сколько угодно отбиваться; мраком застилается вселенная пред ним; тучи роковых идей неотвязно шествуют за ним, и он кончает самоубийством.

*Лестинас.* Вы пугаете меня, доктор.

*Даламбер (поднявшись, в халате и ночном колпаке).* А что скажете вы, доктор, о сне? Это—хорошая штука.

*Борде.* Сон, это—такое состояние, когда, вследствие ли усталости или благодаря привычке, вся ткань отдыхает и остается неподвижной, но когда, как во время болезни, каждое волоконец ткани волнуется, движется, передает к общему началу массу часто несвязных, отрывочных, неясных ощущений; а иногда эти ощущения столь связны, столь последовательны, столь отчетливы, что человек, проснувшись, лишается и разума, и речи, и воображения; временами они столь бурны, столь дикки, что человек, проснувшись, теряет представление о реальности окружающего...

*Лестинас.* Но что же такое сон?

*Борде.* Это такое состояние животного, когда не существует больше целого; вся гармония нарушается, всякое подчинение прекращается. Властелин отдан во власть своих вассалов и необузданной энергии своей собственной активности. Затронут глазной нерв,—начало ткани стало видеть; оно начинает слышать, если толчок идет от слухового нерва. Только действие и противодействие взаимно перемежаются, что является результатом центрального свойства, закона непрерывности и привычки. Если действие начинается с полового побега, который природа предназначила для наслаждения любовью и для продолжения рода, то последствием реакции в начале пучка будет воскресший образ любимого предмета. Если же, наоборот, этот образ воскреснет сначала у начала пучка,

то последствия реакции выразятся в напряжении полового побеге и бурном истечении семенной жидкости.

*Даламбер.* Таким образом, возбуждение во время сна бывает в восходящей и нисходящей степени: я испытал такое состояние в эту ночь, но какое у него было направление,—я не знаю.

*Борде.* Во время бодрствования ткань подчиняется впечатлениям от внешнего предмета. Во время сна все, что происходит в ней, рождается в игре ее собственной чувствительности. Во время сна внимание человека ничем не отвлекается: отсюда—интенсивность сна, которая почти всегда является показателем мимолетного приступа болезни или следствием возбуждения. У начала ткани—беспрерывная попеременная смена состояний пассивности и активности, отсюда—беспорядочность сна. Понятия во сне временами бывают так отчетливы, так связны, как у бодрствующего животного, отдающегося впечатлениям природы. Только картины природы, вновь воскресшие во сне, снова воссоздают впечатления от них,—отсюда—правдоподобность сна, невозможность отличить его от состояния бодрствования, и нет иного средства распознать их, кроме опыта.

*Лестинас.* А с помощью опыта всегда можно распознать?

*Борде.* Нет, не всегда.

*Лестинас.* Если сон дает мне образ друга, которого я потеряла, правдоподобный образ, как бы существующий в действительности; если он говорит со мной, и я слышу его, если я дотрогиваюсь до него, и в моих руках остается впечатление от его тела; если я просыпаюсь с душой, полной нежности и боли, с ручьями слез на глазах; если мои руки еще простерты к тому месту, где он являлся мне,—кто скажет мне, что я на самом деле не видела его, не слышала его голоса, не дотрогивалась до него?

*Борде.* Его отсутствие. Но если невозможно отличить состояние бодрствования от сна, то кто определит продолжительность его? Спокойный сон, это—короткий про-



межуток забытья между моментом, когда ложатся спать, и моментом, когда встают. Беспокойный,—он тянется иногда целые годы. В первом случае безусловно целиком прекращается сознание самого себя. Назовете ли вы такое состояние сном?

*Леспинас.* Да, потому что существует другое.

*Даламбер.* Во втором случае не имеется только сознания себя, но имеется сознание и своей воли, и своей свободы. Что такое свобода, что такое воля спящего человека?

*Борде.* Что? То же самое, что свобода или воля бодрствующего: конечный импульс желания или нежелания, конечный результат всего, что было с рождения до настоящего момента, и я отказываюсь признать, чтобы самый проникающий ум способен был открыть здесь малейшую разницу.

*Даламбер.* Вы думаете?

*Борде.* И это вы задаете мне такой вопрос! Вы, отдавший глубочайшим размышлениям, прошедший две трети своей жизни в бреду с открытыми глазами и в деятельности вопреки своей воле, да, вопреки своей воле, хотя и в бреду. В бреду вы распорядились, отдавали приказания, вам повиновались, вы были довольны или недовольны, вы испытывали противоречия, наталкивались на препятствия, возмущались, любили, ненавидели, порицали, уходили, приходили. По утрам, едва открыв глаза, вы возвращались к прерванным накануне размышлениям, одевались, садились за стол, думали, чертили фигуры, делали вычисления, обедали, снова принимались за свои математические комбинации, иногда вставали из-за стола, чтобы проверить их в разговоре с другими, отдавали приказания своим слугам, ужинали, ложились спать, засыпали, не проявляя никакой воли. Вы были не больше, как точка, вы действовали, но вы не проявляли воли. Разве желание зарождается само по себе? Волевой акт всегда вызывается каким-нибудь мотивом, внутренним или внешним, каким-нибудь впечатлением в настоящем или бессознательным воспоминанием из прошлого, какой-нибудь страстью, проектом

на будущее. После всего этого о свободе я скажу вам только одно слово. Всякое действие наше есть необходимый результат одной единственной причины: нас, очень сложного целого, но целого.

*Лестинас.* Необходимый?

*Борде.* Несомненно. Попробуйте представить себе одновременное возникновение какого-нибудь иного акта у того же самого действующего лица.

*Лестинас.* Он прав. Поскольку я действую определенным образом, тот, кто может действовать иначе, уже не я, и уверять, что в тот момент, когда я делаю или говорю одно, я могу делать или говорить другое, значит уверять, что я в одно и то же время и я и некто другой. Но порок и добродетель, доктор? Добродетель, это—святое слово у всех народов, это—священная идея у всех наций.

*Борде.* Это слово нужно заменить другим: *благодеянием*, а противоположное ему: *злодеянием*. Люди, к счастью или несчастью, рождаются, и общий поток уносит одних к славе, других к бесславию.

*Лестинас.* А собственное достоинство, а позор, а угрызения совести?..

*Борде.* Мелочи, коренящиеся в невежестве и тщеславии лица, принимающего на свой счет заслуги или неудачи момента.

*Лестинас.* А награды и наказания?

*Борде.* Средства исправления изменчивого существа, называемого злым, и поощрения того, кого называют добрым.

*Лестинас.* В этой доктрине нет ничего опасного?

*Борде.* Истина это или ложь?

*Лестинас.* Думаю, что истина.

*Борде.* То-есть вы думаете, что у лжи есть свои выгодные стороны, а у истины—свои неудобства?

*Лестинас.* Думаю.

*Борде.* Я тоже. Но выгодные стороны лжи преходящи, а выгоды истины вечны, зато неудобные последствия истины, когда они имеются у нее, проходят быстро, а неудобные последствия лжи прекращаются только вместе

с пей. Проследите последствия лжи в голове человека и в его поведении. В голове его ложь или переносится так или иначе с истиной—и голова непоследовательно работает, или она стройно и последовательно связывается с другой ложью—и голова заблуждается. Но какого поведения можете вы ожидать от головы или непоследовательной в своих рассуждениях, или последовательной в своих заблуждениях?

*Лестинас.* Последнего недостатка, менее достойного презрения, нужно, может быть, больше бояться, чем первого.

*Даламбер.* Очень хорошо. Таким образом, все сведено к чувствительности, к памяти, к органическим движениям. С этим я согласен. Но воображение и абстракции?

*Борде.* Воображение...

*Лестинас.* Один момент, доктор. Подведем итог. Мне кажется, что, согласно вашим принципам, прибегая к чисто механическим операциям, я сведу гения мира к массе неорганизованного тела, у которой осталась только одна чувствительность, и что эту бесформенную массу можно опять вывести из состояния невыразимо глубокой бессмысленности и поднять до степени человека-гения. Первая из этих операций состоит в том, чтобы искалечить первоначальный моток нитей и внести беспорядок во все остальное, а вторая в том, чтобы восстановить в мотке разорванные нити и предоставить все прочее свободному развитию. Пример. Я отнимаю у Ньютона оба слуховых побега, и он не воспринимает больше звуков; я отнимаю у него носовые, и он не чувствует запаха; я отнимаю зрительные, и он не видит цветов; я отнимаю вкусовые, и он лишается вкуса; затем я разрушаю или спутываю остальные, и гибнет вся организация мозга: память, способность суждения, желанья, страсти, воля, сознание самого себя, и вот вам бесформенная масса, в которой сохранилась лишь жизнь и чувствительность.

*Борде.* Два свойства почти идентичные: жизнь—агрегат, чувствительность—ее элемент.

*Лестинас.* Я снова беру эту массу и восстанавливаю

последовательно побегн: носовые—она чувствует запах, слуховые—она слышит, зрительные—она видит, вкусовые—она различает вкусы. Я предоставляю свободу развития остальным побегам и вижу, как возрождается память, способность сравнения и суждения, разум, желания, страсти, талант, все способности организма, и вот снова предо мною человек-гений, и все это сделано без вмешательства какого-нибудь постороннего и непонятного фактора.

*Борде.* Чудесно. Придерживайтесь этих принципов, а остальное—галиматья... Но абстракции и воображение? Воображение, это—память о формах и цветах. Зрелище какой-нибудь сцены, какого-нибудь предмета по необходимости настраивает известным образом чувствующий инструмент, а затем он или сам по себе уже настраивается на воспоминание об этом, или какая-нибудь посторонняя причина вызывает в нем это воспоминание, и он тихо звучит внутри или громко гремит снаружи, бесшумно перерабатывает в себе полученные впечатления или изливается в соответствующих звуках.

*Даламбер.* Но в его рассказе есть преувеличения; он игнорирует некоторые обстоятельства, прибавляет другие, искажает факт или прикрашивает его; смежные чувствующие инструменты воспринимают впечатления, заимствованные у инструмента, который звучит, а не от исчезнувшей вещи.

*Борде.* Правда. Рассказ бывает историческим или поэтическим.

*Даламбер.* Но как эта поэзия или эта ложь вводится в рассказ?

*Борде.* С помощью последовательно пробуждающихся идей; они пробуждаются одна за другой, потому что они всегда связаны одна с другой... Если вы взяли на себя смелость сравнивать животное с клавиринами, то вы, конечно, позволите мне сравнить поэтический рассказ с пением.

*Даламбер.* Сравнение правильное.

*Борде.* В каждой мелодии есть гамма, у гаммы—свои

интервалы, у каждой струны—созвучные ей струны. Таким образом вводятся в мелодию модуляции, и песнь обогащается разнообразием звуков. Дан только известный мотив, и уж каждый музыкант чувствует его по своему.

*Леспинас.* Но для чего затемнять вопрос этим фигуральным стилем? Я сказала бы, что каждый, имея свои глаза, видит и рассказывает различно. Я сказала бы, что каждое представление пробуждает другие представления и что каждый человек, сообразно со своей головой или своим характером, придерживается представлений, точно воспроизводящих факт, или вводит в них воскресшие в нем представления; что можно сделать между ними выбор; что можно написать целую книгу по одному этому предмету, если основательно рассматривать его.

*Даламбер.* Вы правы. Это не мешает мне спросить доктора, убежден ли он в том, что форма, ни на что не похожая, никогда не зародится в воображении и не воспроизведется в рассказе.

*Борде.* Убежден. Порождаемый этой способностью энтузиазм играет роль таланта у тех шарлатанов, которые из множества раскромсанных животных создают чудовище, которого никогда не видели в природе.

*Даламбер.* А абстракции?

*Борде.* Их нет. Существуют только обычные фигуры умолчания, эллипсисы, которые делают предложения более общими и речь более быстрой и удобной. Словесные знаки языка породили абстрактные науки. Качество, общее многим действиям, дало начало словам: порок, добродетель; качество, общее многим существам, дало начало словам: уродливость и красота. Сначала говорили: один человек, одна лошадь, два животных, а потом стали говорить: один, два, три; отсюда зародилась вся наука о числах. Представления того, что выражено в абстракции, у людей нет. Были подмечены во всех телах три измерения: длина, ширина, высота; занялись каждым из них—отсюда все математические науки. Всякая абстракция не что иное, как пустой знак представления. Представление исключили,

отделив знак от физического предмета, и познание представлений становится возможным только при условии сведения знаков к физическим предметам; отсюда необходимость часто прибегать в разговорах и литературных работах к примерам. Когда вы, прослушав пространную комбинацию словесных знаков, просите примера, вы обязываете вашего собеседника не к чему иному, как к тому, чтобы он придал своим звукам телесную оболочку, оформил их, сделав их реальными, сведя их к испытанным ощущениям.

*Даламбер.* Ясно ли это для вас, мадемуазель?

*Леспинас.* Не совсем, но доктор ведь объяснит?

*Борде.* Вам понятно и без объяснений. Остается, может быть, внести кое-какие поправки и многое прибавить к тому, что я сказал, но сейчас полчаса двенадцатого, а у меня в полдень консультация на Болоте.

*Даламбер.* Этот ответ, конечно, весьма удобен! Разве люди точно понимают друг друга, доктор?

*Борде.* Почти всякий разговор есть таблица готовых ответов... Где же моя палка?.. В головах собеседников нет ясных представлений... А шалка?.. И в силу того, что ни один человек не бывает совершенно похож на другого, мы никогда точно не понимаем и никогда не бываем точно поняты; есть всегда кое-что большее или меньшее того, что понятно; наша речь всегда или не исчерпывает ощущения, или переступает пределы его. Всякий замечает, какое существует различие в суждениях людей; на самом деле оно в тысячу раз больше, но мы не замечаем его и, к счастью, может быть, не заметим... До свидания.

*Леспинас.* Еще одно слово, пожалуйста.

*Борде.* Говорите поскорее.

*Леспинас.* Вы помните скачки, о которых вы говорили мне?

*Борде.* Да.

*Леспинас.* Думаете ли вы, что глупцы и умные люди делают такие скачки в ряде поколений?

*Борде.* Почему нет?

*Лестинас.* Тем лучше для наших внуков,—может быть, вернется какой-нибудь Генрих IV<sup>17</sup>.

*Борде.* Может быть, все вернется.

*Лестинас.* Доктор, вы должны прийти к нам обедать.

*Борде.* Если смогу, не обещаю; ведь вы примете меня, если я приду.

*Лестинас.* Мы будем ждать вас до двух часов.

*Борде.* Согласен.

## Продолжение разговора

*Собеседники: м-ль Леспинас, Борде.*

*К двум часам доктор вернулся. Даламбер ушел обедать к знакомым, и доктор оказался наедине с Леспинас. Подали на стол. До десерта говорили о достаточно безразличных вещах, а когда прислуга удалилась, Леспинас сказала доктору:*

*Леспинас.* Ну-с, доктор, выпейте стакан малаги и затем ответьте мне на вопрос, который сотни раз приходит мне в голову и который я решаюсь задать только вам.

*Борде.* Малага великолепна... А ваш вопрос?

*Леспинас.* Что вы думаете о смещении видов?

*Борде.* Честное слово, вопрос тоже недурен. Я думаю, что люди придавали большое значение акту воспроизведения рода и они были правы, но я недоволен их гражданскими и религиозными законами.

*Леспинас.* Что же вы можете сказать против них?

*Борде.* Что в них нет справедливости и цели и созданы они без согласования с природой вещей и общественной пользой.

*Леспинас.* Объяснитесь!

*Борде.* К этому я подхожу... Но подождите (он смо-



*трет на часы*). В моем распоряжении имеется еще целый час, я быстро объясню вам, и часа для нас будет достаточно. Мы—одни, вы умный человек, и не подумаете, что я пренебрегу моим уважением к вам; какое бы суждение вы ни составили о моих идеях, надеюсь, вы не сделаете из них вывода против честности моих прав.

*Леспинас*. Весьма вероятно, но ваше начало меня беспокоит.

*Борде*. В таком случае изменим разговор.

*Леспинас*. Нет, нет, продолжайте. Один из ваших друзей, который искал мне и моим двум сестрам мужей, предлагал младшей—сильфа, старшей—ангела-благовестителя, а мне—ученика Диогена: он хорошо знал всех троих. Однако, доктор, не слишком откровенно.

*Борде*. Само собой разумеется, поскольку сюжет и мое положение позволяют это.

*Леспинас*. Это ничего не будет стоить вам... Вот ваш кофе, выпейте его.

*Борде (выпив кофе)*. Ваш вопрос касается физики, морали и поэзии.

*Леспинас*. Поэзии!

*Борде*. Несомненно. Искусство создавать существа несуществующие по образу существующих есть истинная поэзия. На сей раз позвольте мне, вместо Гипократа<sup>1</sup> процитировать Горация. Этот поэт, или стихоплет, говорит в одном месте: «*Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci*»\*. Совершенство состоит в примирении этих двух крайностей. В области эстетики первое место должно остаться за приятным и полезным действием; полезному мы не можем отказать во втором месте, а третье останется за приятным; низшую же ступень мы отведем тому, что не приносит ни удовольствия, ни пользы.

*Леспинас*. До сего пункта я могу быть вашего мнения, не краснея. Куда это заведет нас?

*Борде*. Сейчас увидите. Можете ли вы, м-ль, сказать

\* Высшая заслуга заключается в том, чтобы соединить приятное с полезным.

мне, какую пользу или удовольствие приносят индивиду или обществу, целомудрие и строгое воздержание?

*Лестинас.* Право, никакой.

*Борде.* Следовательно, мы вычеркнем их из каталога добродетелей, несмотря на расточаемую им великую похвалу и невзирая на покровительствующие им гражданские законы, и согласимся, что нет ничего более наивного, более смешного, более абсурдного, более вредного, более презренного, более скверного, чем эти два редкие качества: в них нет ничего, кроме настоящего зла.

*Лестинас.* С этим можно согласиться.

*Борде.* Будьте осторожны: предупреждаю, — скоро вы отступите.

*Лестинас.* Мы никогда не отступаем.

*Борде.* А действия, совершаемые в уединении?

*Лестинас.* Ну?

*Борде.* Ну, они доставляют все-таки, по крайней мере, удовольствие индивиду, и наш принцип ложен или...

*Лестинас.* Что вы, доктор!..

*Борде.* Да, м-ль, да, потому что они безразличны и не так уж бесплодны. Вызваны ли они потребностью, или не вызваны ею, они всегда приятны. Я хочу, чтобы люди были здоровы, я безусловно хочу этого, понимаете вы? Я порицаю всякое излишество, но при наших общественных условиях найдутся сотни разумных соображений за это, не говоря уже о темпераменте и гибельных последствиях строгого воздержания, в особенности для молодых людей: имущественная недостаточность, у молодых людей страх жгучего раскаяния, у женщин страх бесчестия укрощают несчастное, гибнущее от томления и тоски существо, бедное создание, не знающее, к кому обратиться, не решающееся вести себя цинически. Вы помните, какими словами Катон<sup>2</sup> напутствовал молодого человека, переступавшего порог куртизанки: «Смелей, сын мой!..» А что сказал бы он теперь, застав его юного на месте преступления? Он, может быть, прибавил бы: «Вот так-то лучше, вместо того, чтобы развращать жену другого или подвергать опасности ее честь и здоровье...»

Что же, я откажусь от наслаждения, от восхитительного и необходимого для меня момента потому, что обстоятельства лишают меня величайшего счастья, какое только можно себе представить, от счастья слиться чувствами и душой в порывах опьянения с избранницей моего сердца и воспроизвести себя в ней и с ней, потому что я не могу отметить моего действия печатью полезности? При полнокровии пускают кровь, и какую роль при этом играет природа излишней жидкости, ее цвет и способ, каким избавляются от нее? Она одинаково излишня как в одном состоянии, так и в другом, и если, переполнив свои резервуары и разлившись по всей машине, она выходит другим, более длинным, более трудным и опасным путем—разве от этого ее теряют меньше, чем нужно? Природа не выносит ничего бесполезного: каким же образом я окажу ей содействие, когда она взывает к моей помощи самыми недвусмысленными симптомами? Не будем никогда провоцировать ее, но, когда нужно, подадим ей руку помощи; глупо лишать себя удовольствия, отказывая ей в помощи или бездействуя. Ведите трезвую жизнь, скажут мне, изнуряйтесь до потери сил. Понимаю: я должен, по-вашему, лишать себя одного удовольствия, потом напрягать свои силы, чтобы отказаться от другого. Хорошо придумано!

*Леспинас.* Вот проповедь не для детей!

*Борде.* И не для взрослых. Все-таки позвольте сделать одно предположение. Предположите, что у вас есть благоразумная, слишком благоразумная и невинная, слишком невинная, дочь в возрасте, когда пробуждается темперамент. Голова у нее затуманивается, природа бесцельно пытается ей помочь: вы обращаетесь ко мне. Я сразу замечаю, что все приводящие вас в ужас симптомы проистекают от излишка и задержания семенной жидкости. Я заявляю вам, что ей грозит безумие, которое легко предупредить и от которого иногда невозможно бывает излечить. Я указываю вам на средство. Как вы поступите?

*Леспинас.* По правде сказать, я думаю... но таких случаев не бывает...

*Борде.* Образумьтесь. Такие случаи нередки; они бывали бы чаще, если бы распущенность наших нравов не предупреждала их... Как бы там ни было, но разглашать эти принципы значило бы попирать ногами всякие приличия, навлекать на себя гнусные подозрения и учинять преступление против общества. Вы задумались?

*Леспинас.* Да, я колебалась спросить вас: случалось ли вам когда-нибудь давать матерям подобные советы?

*Борде.* Конечно.

*Леспинас.* Какое же решение принимали они?

*Борде.* Прекрасное решение, осмысленное, и все без исключения... Я не поклонился бы на улице человеку, заподозренному в исповедании моей доктрины; для меня достаточно было бы узнать, что он покрыл себя таким позором, чтобы я стал избегать его. Но мы говорим здесь без свидетелей и не выводя из этого никаких правил для себя<sup>3</sup>. Я скажу вам о своей философии то, что совершенно голый Диоген сказал молодому и стыдливому афинянину, сопротивление которого он хотел побороть: «Не бойся ничего, сын мой, я не так зол, как вон тот».

*Леспинас.* Бьюсь об заклад, доктор, вы, повидимому, приходите...

*Борде.* Я не буду спорить, вы выиграете. Да, м-ль, это—мое убеждение.

*Леспинас.* Как! Все равно, остаешься ли в пределах своего вида, или выходишь из них?

*Борде.* Да.

*Леспинас.* Вы ужасны.

*Борде.* Не я, а природа или общество. Послушайте, м-ль, я не поддаюсь власти слов, я объясняюсь тем более свободно, что я чист и чистота моих нравов неуязвима ни с какой стороны. И вот я спрашиваю вас: из двух актов, одинаково направленных к удовлетворению сладострастия и приносящих лишь удовольствие без всякой пользы, за какой выскажется здравый смысл: за тот ли, который доставляет наслаждение только тому лицу, которое к нему прибегает, или за другой, в котором наслаждением делятся с другим, подобным себе существом—

самцом или самкой, ибо ни пол, ни даже использование пола роли здесь не играет?

*Леспинас.* Эти вопросы слишком тонки для меня.

*Борде.* Ах, вот как! Четыре минуты побыли человеком и вот уже снова беретесь за ваш чепчик и юбки, чтобы снова стать женщиной. В добрый час! Ну, так и следует обращаться с вами, как с женщиной... Конечно... Больше ни слова о мадам Дюбарри...<sup>4</sup> Вы видите, все устраивается; думали, что при дворе все пойдет вверх дном. Властелин поступил, как благоразумный человек.—*Optime tulit punctum*,—он оставил при себе и женщину, которая доставляет ему наслаждение, и министра, который полезен ему... Но вы не слушаете меня... Где вы?

*Леспинас.* Я разбираюсь в этих ваших комбинациях: все они кажутся противоестественными.

*Борде.* Все, что есть, не может быть ни против природы, ни вне ее, не исключая даже добровольного целомудрия или добровольного воздержания, которые были бы самыми важными преступлениями против природы, если бы можно было погрешить против нее, и самыми важными нарушениями социальных законов той страны, где поступки взвешивались бы на иных весах, а не на весах фанатизма и предрассудков.

*Леспинас.* Я возвращаюсь к вашим пресловутым силогизмам; я не вижу здесь середины; тут нужно или все отрицать, или со всем соглашаться... Но подождите-ка, доктор, честнее и короче всего перепрыгнуть через грязь и вернуться к моему первому вопросу: что вы думаете о смещении видов?

*Борде.* Нет нужды прыгать для этого: мы уже на месте. Какая сторона этого вопроса интересует вас—физическая или моральная?

*Леспинас.* Физическая, физическая.

*Борде.* Тем лучше. Вопрос морали был на первом плане, и вы разрешили его. Следовательно...

*Леспинас.* Согласна... несомненно, это предисловие, но я хотела бы... чтобы вы отделили причину от следствия. Оставим скверную причину в стороне.

*Борде.* Это значит приказывать мне начинать с конца; но если вы хотите, то я скажу вам, что у нас очень мало произведено опытов благодаря нашей трусости, нашему отвращению, нашим законам и предрассудкам; что нам неизвестно, какие совокупления были бы совершенно бесплодными; что мы не знаем случаев, когда полезное сочеталось бы с приятным, какие виды можно было бы создать благодаря последовательным и разнообразным попыткам; существуют ли в действительности фавны или это миф; не умножились ли бы на сотни разнообразных способов породы мулов, и действительно ли бесплодны известные нам породы их. Но вот один странный случай, который многие образованные люди выдадут вам за истинный, но который неправдоподобен: будто бы они видели, как на птичьем дворе великого герцога один кролик-бесстыдник играл роль петуха у двух десятков кур-бесстыдиц, которые будто бы свыклись со своим положением. Они прибавят еще, что им показывали цыплят, покрытых шерстью и происшедших от этого животного. Подумайте, как они смешны! <sup>5</sup>

*Леспинас.* А что подразумеваете вы под последовательными попытками?

*Борде.* Я предполагаю, что распространение животного царства идет постепенно, и ассимиляцию животных нужно готовить; поэтому, чтобы иметь успех в таких опытах, следовало бы начинать издали и поработать сначала над сближением животных, поставив их в одинаковые условия существования.

*Леспинас.* Трудно будет довести человека до такого состояния, чтобы он начал щипать траву.

*Борде.* Но часто нетрудно заставить его пить козье молоко, и козу легко заставить питаться хлебом. Я указал на козу по некоторым особенным соображениям.

*Леспинас.* По каким?

*Борде.* Вы очень смелы! По таким... что из коз мы сделали бы сильную, умную, неутомимую и быстроногую породу превосходных слуг.

*Лестинас.* Очень хорошо, доктор. Мне даже представляется, что за каретой ваших герцогинь торчит пять-шесть огромных нахальных козлоногих, и это забавляет меня <sup>6</sup>.

*Борде.* И мы не унижали бы больше наших братьев, поручая им функции, недостойные ни их, ни нас.

*Лестинас.* Еще лучше.

*Борде.* В наших колониях мы не ставили бы больше человека в условия вьючного скота.

*Лестинас.* Скорее, доктор, скорее принимайтесь за работу и создавайте нам козлоногих слуг.

*Борде.* И вы спокойно позволите это?

*Лестинас.* Но постойте: ваши козлоногие, может быть, будут разнузданными, развратными.

*Борде.* Не гарантирую, что они будут в высшей степени нравственными.

*Лестинас.* У честных женщин не будет никакой гарантии безопасности; они будут размножаться без конца, и современем придется уничтожать их или покоряться им. Я этого не хочу, не хочу. Будьте покойны.

*Борде (уходя).* А вопрос о крещении их?

*Лестинас.* Вызовет хорошую свалку в Сорбонне.

*Борде.* Видели ли вы в Королевском саду в стеклянной клетке оранг-утанга, похожего на святого Иоанна, который проповедывал в пустыне?

*Лестинас.* Видела.

*Борде.* Кардинал Полиньяк <sup>7</sup> однажды сказал ему: «Заговори, и я крещу тебя».

*Лестинас.* Итак, до свидания, доктор, не покидайте нас навеки, как вы делаете, а подумывайте иногда, что я безумно люблю вас. О, если бы кто-нибудь знал обо всех ужасах, о которых вы рассказывали мне!

*Борде.* Я уверен, что вы будете молчать.

*Лестинас.* На это не полагайтесь, я и слушаю-то только для удовольствия потом передавать другим. Но еще одно слово, и я больше никогда не вернусь к этому.

*Борде.* Что? .

*Лестинас.* Откуда берутся такие ужасные привычки?

*Борде.* У молодых людей всегда от слабости организации, у стариков от развращенности головы, у афинян от очарования красотой, в Риме от недостатка женщин, в Париже от страха перед сифилисом. До свидания, до свидания!



## **ПРИМЕЧАНИЯ**



## **Философские мысли и Прибавление к Философским мыслям**

«Философские мысли» являются первым оригинальным произведением Дидро. В нем философ отрешается от веры в откровение и покидает религиозную почву, которая определила еще в 1745 г. его вольный перевод и примечания к работе английского просветителя Шефтсбери («Принципы нравственной философии или опыты г-на Ш. о достоинстве и добродетели»). В «Философских мыслях» Дидро выступает уже деистом.

«Философские мысли» были написаны в начале 1746 г., когда во Франции лишь поднималась волна литературы, направленной против фанатизма церкви и лицемерия духовенства. Вместе с тем, это свидетельствовало о начале литературного движения против дворянства и короля, против феодального строя в целом. Это движение вызвало бешеную реакцию со стороны духовенства и правительства. Обстановка, в которой появились «Мысли» Дидро, была куда безотраднее той, которая рисовалась в сатире Лебрена («Несчастия конца царствования Людовика XIV»). «Я видел,—писал Лебрен,—Бастилию, Венсенн, Шатле, Бисетр и тысячи тюрем, переполненных честными гражданами, верными подданными... Я видел лицемеров в почете; видел (и этим все сказано) иезуита, которого все обожали».

Выступая против иезуитов, против притязаний на истинность католической церкви, Дидро устанавливает одинаковость этих притязаний со стороны всех религий и признает их неосновательными. Начиная с отличия истинного бога, по своим тогдашним представлениям, от бога церковного, Дидро кончает деизмом, становясь на точку зрения «естественной религии» и, по существу, развивает философские идеи телеологии. Таким

образом «Философские мысли» существенно пополнили деистическую литературу, разделив судьбу ее многих произведений. «В июле 1746 года, — пишет Рокэн, — парламент присудил к сожжению сочинения, в которых грозный враг церкви показывал всю свою дерзость. В одном из них — в «Естественной истории души» (Ламеттри) — оспаривались теории спиритуалистов, различающих дух от материи, чем подрывались, как говорил королевский адвокат, «основы всякой религии, всякой добродетели»; в другом («Философские мысли» Дидро) «с напускным притворством ставились все религии на один уровень, чтобы не признать в конце концов ни одной из них».

Так говорило постановление парижского парламента 7 июля 1746 г., осуждая «Философские мысли» Дидро на сожжение. Предотвратить это не могли ни аргументы Дидро против атеизма (мысли XXII и XXIII), ни его мнимая правота, высказанная в VIII мысли. Членов парламента, очевидно, больше убедил фронтиспис, на котором была изображена истина, срывающая маску с суеверия. Этот рисунок в образной форме целиком характеризовал направление «Мыслей».

После сожжения «Мыслей» в 1746 г. они были вновь изданы в 1757 г. под названием «Etrennes aux Esprits forts» («Новогодние подарки вольнодумцам») и затем переиздавались еще несколько раз.

Естественно, что «Философские мысли» вызвали соответствующую литературу. Появилось не мало разного рода подделок под «Мысли» Дидро, а также возражений ему. Помимо прямой критики еще долгое время в различных журналах и сборниках печатались статьи, направленные против энциклопедистов и содержащие намеки на «Мысли» Дидро.

«Прибавление к Философским мыслям» было опубликовано в Голландии без имени автора лишь в 1770 г. Помещая это «Прибавление» в 1798 г. в «Древней и новой философии», Нэжон говорил о том, что Дидро, окрыленный успехом «Философских мыслей» среди ученых, которых он признал единственными судьями, решил продолжить свои философские рассуждения. Следовательно, Дидро рассматривал «Прибавление», как ответ критикам и как развитие самих «Философских мыслей». Здесь Дидро продвигается вперед и решительно становится на позиции деизма, который звучит в его устах, как определенная политическая платформа, требующая замены выдуманных людьми законов законами естественными. Эту мысль Дидро более четко высказал спустя два года в «Прогулке скептика».

«Философские мысли», таким образом, отражают лишь одну из ступеней идейной эволюции Дидро, а именно подступ к тому повороту, который знаменуется его следующим произведением— «Прогулка скептика».

### Философские мысли

<sup>1</sup> *Пахомий* (IV век)—основатель христианского монашества.

<sup>2</sup> *Столпники*—христианская секта V—VII веков.

<sup>3</sup> *Плутарх* (50—120)—греческий историк, философ и писатель. В его сочинениях комментируется учение Платона, содержится много отрывков из Гераклита, Демокрита, Парменида, Эмпедокла и эпикурейцев. Известен больше, как автор «Сравнительных жизнеописаний» (46 биографий знаменитых людей древности).

<sup>4</sup> *Деизм* признает единственно правильной «естественную религию», рассматривая бога, как безличную высшую первопричину, как некий мировой разум, проявляющийся в мировых процессах. Отсюда деист в противоположность теисту отрицает личного бога, церковные обряды, догматы и самый культ. Деизм, как философское направление, оформился в Англии XVII века в связи с революционизированием буржуазии. С развитием буржуазной идеологии XVIII века деизм становится все более решительным, порывает связь с идеализмом и переходит в атеизм.

<sup>5</sup> Под инициалом *К.* Дидро подразумевает *Рудольфа Кудворта* (1617—1688)—английского философа-деиста, выступавшего против эмпиризма и атеизма.

<sup>6</sup> Подразумевается *Антон-Эшли Шефтсбери* (1671—1713)—английский философ-деист. В своей основной работе «Опыт о добродетели и заслуге», под влиянием которой Дидро находился первое время, Шефтсбери доказывал независимость правды от религии, обуславливая мораль особым врожденным «нравственным чувством».

<sup>7</sup> *Училио Ванيني* (1585—1619)—итальянский свободомыслящий философ, обвиненный в атеизме тулузским парламентом, был подвергнут пытке (ему отрезали язык), а затем сожжен на костре. В одном из сочинений («Amphitheatrum aeternae Providentiae») Ванিনি, проповедуя покорность церкви, высказывается против схоластиков, а в другом («Dialoghi sulla natura») определенно утверждает деистические идеи. Дидро ошибочно приписывает здесь Ванিনি атеизм, поэтому его противопоставление деизма атеизму не выдерживает критики.

<sup>8</sup> *Пьер Николь* (1625—1695)—теолог, видный яansenист (см.

примечание 41), работавший над «методами» Пор-Рояля, участник составления логики «L'art de penser»; перевел на латинский язык «Провинциальные письма» Паскаля.

<sup>9</sup> *Блез Паскаль* (1623—1663)—французский математик и философ—один из учеников Декарта (см. прим. 21). В своих «Мыслях» утверждал, что «Природа ставит в тупик скептиков, а разум—догматиков; догматик не может справиться с непреодолимой слабостью разума, а скептик не может справиться с непреодолимой идеей истины». В «Провинциальных письмах» Паскаль обрушивается на иезуитскую казуистику, выставяя ее на посмешище. Паскалю принадлежит ряд открытий в математике и физике. К концу жизни ученый ударился в мистику.

<sup>10</sup> *Гудар Ламот* (1672—1731)—французский писатель, автор од, басней и «Илиады», переработанной в соответствии с французскими вкусами того времени.

<sup>11</sup> *Лафонтен* (1621—1695)—французский поэт-баснописец. Заимствуя сюжеты у древнейших баснописцев, Лафонтен мастерски изображал в своих баснях представителей современных ему классов и сословий. Вольнодумец в молодости, Лафонтен под конец жизни оторвался от «безбожных» басней и занялся переложением псалмов.

<sup>12</sup> *Антуан Арно* (1612—1694)—богослов-янсенист, совместно с Николем разрабатывавший логику Пор-Рояля.

<sup>13</sup> *Луи Леметр де Сасси* (1613—1684)—богослов Пор-Рояля. Вместе с Арно и Николем перевел на французский язык Библию.

<sup>14</sup> *Клавдий Британик* (42—55)—сын римского императора Клавдия и Мессалины, отравленный братом Нероном.

<sup>15</sup> *Клавдий Нерон* (54—68)—римский император, прославившийся жестокостями и расточительством. Против него восстали войска, он бежал из Рима и кончил жизнь самоубийством, бросившись на меч.

<sup>16</sup> *Менипп* (III век до н. э.)—греческий философ-циник и сатирик.

<sup>17</sup> *Пирронист*—последователь учения греческого философа-скептика *Пиррона*.

<sup>18</sup> *Луи Картуш* (1693—1721)—французский разбойник, действовавший в Париже и его окрестностях.

<sup>19</sup> *Томас Гоббс* (1588—1679)—английский философ, материализм которого в связи с расцветом точных наук проникнут математизмом и приобрел абстрактный характер. Источником знания для Гоббса являются чувства, но научное знание создается лишь при обработке данных чувств разумом. Отсюда фи-

лософия есть рациональное познание в отличие от чувственного познания. Являясь совокупностью приемов познания объективных предметов, философия, как логика, в отличие от схоластики есть путь (метод) к познанию действительности и представляет вместе с тем путь к власти и могуществу человека над природой. Сторонник монархизма, Гоббс осуждал в период английской республики движение роялистов против правительства О. Кромвеля, считая последнее, независимо от формы, носителем полноты верховной власти. Иначе, по мнению Гоббса, естественное состояние «войны всех против всех» должно повести к уничтожению человечества. Дидро, очевидно, имеет здесь в виду учение Гоббса о естественном, догосударственном состоянии, когда у всех имеется право на все и вопрос о «справедливости» решается силой.

<sup>20</sup> *Николай Мальбранш* (1638—1715) французский философ-мистик, крупнейший представитель так называемого окказионализма (системы случайных причин). Пытаясь устранить дуализм философии Декарта, Мальбранш доказывал, что познание предметов доступно не через чувства, а лишь через идеи, независимые от ума и данные в боге. Главное произведение Мальбранша—«Разыскание истины».

<sup>21</sup> *Рене Декарт* (1596—1650)—французский философ, большую часть своей жизни провел в Голландии. Выдающийся математик и физик. «Философ мануфактурного периода», по выражению Маркса, Декарт создал дуалистическую философию, в которой отразил противоречие этого переходного периода. Утверждая в противоположность схоластике положительное знание, Декарт, отделив физику от своей дуалистической метафизики, развивал первую в материалистическом направлении. Утверждая рационализм, Декарт считал источником нашего познания разум, а критерием истины ясные и отчетливые идеи. Дидро, в дальнейшем усвоивший материалистический характер физики Декарта, до конца боролся с его метафизикой. Отсюда частые его ссылки и скрытые намеки на несостоятельность тех или иных умозрительных определений Декарта и иронизирование по поводу его дедукций.

<sup>22</sup> *Марцело Мальпиги* (1628—1694)—итальянский анатом и естествоиспытатель. Известен своими исследованиями в области изучения строения мозга, сетчатки и селезенки. Ему принадлежит анатомическое описание шелковичного червя и замечательное для того времени наблюдение над развитием цыпленка в яйце. Последнее и имеет в виду Дидро.

<sup>23</sup> *Исаак Ньютон* (1642—1727)—английский математик, завершитель механистического миропонимания, научная разработка которого была начата Коперником. Ньютону принадлежит наряду и независимо от Лейбница изобретение дифференциального и интегрального исчисления и ряд открытий в физике и механике (закон всемирного тяготения, спектр и др.). Ньютон отличался глубокой религиозностью, что и имеет в виду в данном случае деист Дидро.

<sup>24</sup> *Петр Мушенброк* (1692—1761)—голландский физик, последователь Ньютона. Ему принадлежит ряд ценных наблюдений и открытий в области установления законов рефракции света, фосфоресценции и вычисления удельных весов. С его именем связана история «лейденской банки».

<sup>25</sup> *Николай Гартсукер* (1656—1725)—голландский физик, врач и микрограф. Известен своими работами по усовершенствованию микроскопа и телескопа. Ему принадлежит открытие сперматозоидов, бывшее по тому времени настолько неожиданным и опасным в глазах церковников, что Гартсукер решился о нем сообщить лишь нескольким ученым. В области философии Гартсукер пытался выдвинуть идею формирующей души.

<sup>26</sup> *Бернард Ньювентит* (1654—1718)—голландский математик и философ, горячий сторонник картезианства, полемизировал с Лейбницем, отрицая существование дифференциалов высшего порядка. В области философии придерживался физико-телеологического доказательства бытия бога. Его сочинение «L'Existence de Dieu démontrée par les merveilles de la Nature» представляет собой книгу о чудесах природы, доказывающих «мудрость творца природы».

<sup>27</sup> В этом параграфе сконцентрирован деистический взгляд Дидро, опровергаемый им самим в позднейших работах (особенно в «Мыслях об объяснении природы»), начиная с представления о причинах зарождения жизни, о дальнейшем развитии «организованного» (органического) мира до философских понятий о материи и ее свойствах. Если там Дидро стоит на прочных позициях материализма, иногда даже возвышаясь над учением механистического материализма об абсолютной неизменности природы, то здесь он целиком еще разделяет взгляды «элементарнейшей отрасли естествознания—механики и математических методов» познания. Выводы, к которым приходит здесь Дидро, можно назвать преформизмом—представлением, не могущим правильно разрешить проблемы эволюции и единства органического и неорганического. Преформизм, считая зародыш уже



вполне сформировавшейся особью лишь в миниатюре, допускает, таким образом, только количественный рост индивида и отрицает подлинное развитие.

<sup>28</sup> Это наивное утверждение, стремящееся обосновать «естественную религию» посредством крыла бабочки, Дидро сам опровергает в «Мыслях об объяснении природы», где он выступает против телеологических догадок, навязываемых природе. Еще более решительно выступает Дидро-атеист против Дидро-деиста, когда заявляет: «Возьмите, например, яйцо. Оно ниспровергает все теологические школы и все храмы на земле» (см. «Разговор Даламбера с Дидро»).

<sup>29</sup> Это физико-телеологическое доказательство бытия бога по принципу Лейбница—все к лучшему в этом наилучшем из миров, целесообразно устроенном его творцом для удовлетворения человеческих потребностей,—опровергается Дидро уже через два года в «Письме о слепых».

<sup>30</sup> По предположению Бриэра, имеется в виду *Ривар*, преподававший тогда философию; однако приводимые Дидро мысли входили в арсенал каждого деиста XVIII века.

<sup>31</sup> «Илиада»—произведение полулегендарного автора древнегреческого эпоса *Гомера*, изображаемого древними писателями в виде странствующего слепца. Его жизнь относят к IX веку до н. э. Существует большая литература о происхождении так называемых «гомеровских поэм». «Илиада» по форме представляет поэму, рассчитанную на чтение вслух перед многочисленной аудиторией, и по своему содержанию является выражением захватнических тенденций военно-землеладельческой аристократии Греции.

<sup>32</sup> *Франсуа-Мари-Аруэ Вольтер* (1694—1778)—самый яркий представитель французского просвещения, выдающийся писатель и философ; вел ожесточенную борьбу с католической церковью против религиозных предрассудков, выступая на защиту всех жертв фанатизма. Отрицая католицизм, Вольтер вместе с тем не мог порвать с идеей бога, доказывая его существование и утверждая в письме к Фридриху II, что если бы бога не существовало, то его надо было бы выдумать. Религию он считал необходимой для обуздания масс, «которым нужно ярмо, погонщик и корм». Философия и просвещение, столь необходимые для буржуазии и интеллигенции, с точки зрения Вольтера, недоступны массам да и вредны, ибо, «если народ начнет рассуждать, все погибло». Являясь сторонником «просвещенной» монархии, Вольтер выступал против привилегий дворянства

и духовешства, проповедуя равенство перед законом. Типичный либерал и просветитель-дейет, Вольтер так «решает» основную философскую проблему: «какую бы систему мы ни приняли, ни одна из них не вредит нравственности, ибо что ей за дело, была ли материя сотворена или лишь приведена в порядок. Бог и в том и в другом случае остается верховным владыкой» («Философский словарь»). Естественно, что при этих взглядах Вольтер, как сотрудник «Энциклопедии», не мог до конца идти с Дидро, хотя и питал к нему горячую дружбу. Тем не менее произведения Вольтера оказали огромное влияние на общественную мысль Франции XVIII века. Упоминаемое здесь Дидро произведение «Генриада» вышло впервые в 1723 г. и было тайно напечатано в Руане; затем оно было дополнительно обработано в Лондоне и посвящено английской королеве.

<sup>33</sup> К проблеме образования мира из случайного столкновения атомов и молекул Дидро, уже как материалист, возвращается позже в «Мыслях об объяснении природы».

<sup>34</sup> Мишель Монтэнь (1533—1592)—французский философ-скептик, в своем главном произведении «Опыты» подчеркивал слабость человеческого разума и обманчивость чувств. «Опыты» насыщены фактами, анекдотами и практическими размышлениями о жизни. По распространенной поговорке «Монтэнь научил французов мыслить».

<sup>35</sup> Афоризм, приведенный здесь Дидро, является парафразом этой же мысли Монтэня в кн. III «Опытов».

<sup>36</sup> *Иллюминаты*—тайные религиозные секты, организованные в Испании, Франции и Бельгии в XVII и XVIII вв. с целью пропаганды деизма.

<sup>37</sup> Подразумевается *Вольтер*.

<sup>38</sup> *Политеисты*—признающие многобожие.

<sup>39</sup> *Паписты*—правовверные католики.

<sup>40</sup> *Кальвинисты*—приверженцы особого направления в реформации, создателем которого был Жан Кальвин (1509—1564). Его учение основывалось на вере в предопределение, или зависимость действий человека от бога, и на всемогуществе церкви, задача которой состоит в наблюдении за каждым шагом человека и во введении мелочной регламентации всей жизни общины.

<sup>41</sup> *Янсенисты*—последователи учения голландского богослова Корнелия Янсеннуса (1585—1638), отрицавшего свободу воли и утверждавшего, что спасение человека зависит от иску-

пающей силы благодати. Выступлениями против иезуитов янсенисты расположили к себе всех недовольных первыми. Большую роль в теоретическом обосновании янсенизма сыграл монастырь Пор-Рояля. Против янсенизма решительно выступал богословский факультет парижского университета, — Сорбонна, — находящийся на улице Сен-Жак.

<sup>42</sup> *Молинисты* — приверженцы Луи Молина (1535—1606), испанского иезуита и учителя богословия, отрицавшего безусловное предопределение и выдвигавшего на первый план участие в деле спасения свободной воли.

<sup>43</sup> *Полиевкт* был, по преданию, замучен при римском императоре Валериане за уничтожение императорского указа.

<sup>44</sup> Имеется в виду библейское сказание о пророчествах Ионы, который ходил по городу Ниневии «сколько можно пройти в один день и проповедывал, говоря: «еще сорок дней — и Ниневия будет разрушена!» («Книга Ионы», гл. 3.)

<sup>45</sup> *Моисей* — легендарный библейский вождь и законодатель евреев, освободивший их от египетского рабства. Дидро имеет в виду «Книги Моисея» в библии.

<sup>46</sup> *Юлиан* — римский император (361—368), писатель и философ, известен своей борьбой против христианства в пользу культа солнца. В соответствии с этим им проводилась реформа управления и законов. За это христиане называли его «Отступником».

<sup>47</sup> *Григорий Великий* (540—604), именуемый «двоесловником» или «беседовником». До избрания своего в папы в 590 г. был в должности префекта и заведывающего полицией Рима.

<sup>48</sup> *Донат* — один из латинских грамматиков, по работам которого латинский язык изучали вплоть до XVII века.

<sup>49</sup> *Тит Ливий* (59 до н. э.—17 н. э.) — римский историк. Из 142 книг его «Римской истории от основания города» до нас дошли 35.

<sup>50</sup> *Гай Саллюстий Крисп* (86—34 до н. э.) — римский историк, автор «Югуртинской войны» и «О заговоре Катилины».

<sup>51</sup> *Гай Юлий Цезарь* (100—44 до н. э.) — римский полководец, государственный деятель и писатель, автор «Комментариев к гражданской войне» и «Комментариев к галльской войне».

<sup>52</sup> *Иосиф Флавий* (37—ок. 100 н. э.) — еврейский историк, автор «Иудейских древностей» и «Об иудейской войне».

<sup>53</sup> *Берюйе* — иезуит XVIII века. В 1728 г. написал «исторический роман» на библейские мотивы исхода евреев из Египта. По выражению Дидро (статья «Иезуит» в «Энциклопедии») Бе-

рюе в своем романе «заставил патриархов говорить на галантном и распутном языке».

<sup>54</sup> *Лесжер* (1617—1655)—французский художник.

<sup>55</sup> *Шарль Лебрен* (1619—1690)—французский художник, вождь и теоретик академизма, известен картинами, в которых история Людовика XIV переплетается с мифологическими образами. Его религиозные картины носили напыщенный, дворянский характер.

<sup>56</sup> Во всем этом противопоставлении памятников литературы и искусства так называемому священному писанию; и в отрицании божественного происхождения библии, а следовательно, всякого откровения, Дидро твердо стоит на почве деизма. Далее Дидро выступает против чудес и их богословских описаний.

<sup>57</sup> *Тарквиний Старший*—римский царь VI века до н. э. *Ромул*—легендарный основатель Рима; о них говорит Тит Ливий.

<sup>58</sup> *Август* (30 до н. э.—14 н. э.)—первый римский император.

<sup>59</sup> *Лактанций* (IV век н. э.)—древнехристианский философ; считая языческую философию ложной, все же требовал ее изучения ради теологии.

<sup>60</sup> *Дионисий Галикарнасский* (I век до н. э.)—римский историк; автор «Римской археологии», дополняющей сведения Ливия о древнейшем периоде истории Рима.

<sup>61</sup> *Аврелий Августин* (354—430)—богослов, основоположник патристической философии; основные произведения—«Исповедь» и «Град божий».

<sup>62</sup> *Марк Туллий Цицерон* (106—43 до н. э.)—римский оратор и государственный деятель, автор трудов по риторике и философии.

<sup>63</sup> Дидро имеет в виду книгу епископа Монжерона, советника парламента, в которой говорилось о новом чуде, совершившемся, «как наглядное средство, которое бог посылал простым людям для познания истины».

<sup>64</sup> Имеется в виду книга Арно и Николя «Логика или искусство мыслить» (Амстердам, 1675).

<sup>65</sup> *Платон* (427—347 до н. э.)—крупнейший греческий философ-идеалист, основатель «Академии» в Афинах. Основным моментом его философии является учение об идеях, как самостоятельных умопостигаемых вечных началах. Единичные вещи представляют только отражение идей, из которых высшей является идея бога. Сущность философии Платона сводится

к познанию идей, а от них и к познанию бога. Отсюда метод познания должен быть не чувственным, а рациональным, цель которого состоит в том, чтобы познать всеобщее в единичном и единичное во всеобщем посредством анализа и синтеза понятий.

<sup>66</sup> См. прим. 63.

<sup>67</sup> *Квинт Септимий Тертуллиан* (160—230)—римский богослов и писатель, защищавший догматы христианства и обосновавший христианскую мораль; ярый противник рационализма. Ему принадлежит известный афоризм «верую, ибо это—абсурдно».

<sup>68</sup> *Афанасий Великий* (296—373)—александрийский епископ, принимавший участие в выработке христианского догмата о триничности божества.

<sup>69</sup> *Иоанн Златоуст* (347—407)—один из отцов церкви, позже архиепископ константинопольский.

<sup>70</sup> *Киприан*—карфагенский епископ, казнен в 258 г.

<sup>71</sup> *Джон Локк* (1632—1704)—английский философ, родоначальник английского деизма. В своих социально-политических воззрениях, как политик, экономист и педагог, Локк был типичным либералом и сторонником конституционной монархии. В «Опыте о человеческом разумении», критикуя рационализм Декарта и его теорию врожденных идей, Локк обосновывает свою сенсуалистическую теорию познания, согласно которой источником познания является опыт. Признавая существование внешнего мира, действующего на наши органы чувств и вызывающего в нас ощущения, Локк наряду с этим признавал внутренний опыт, как созерцание «душою» своей собственной деятельности. Первый момент теории познания Локка сделался отправным пунктом французских материалистов (в том числе и Дидро), которые, как говорили Маркс и Энгельс, «наделили английский материализм остроумием, плотью, кровью и красноречием. Они придали ему недостававшие темперамент и грацию», направив «локковский сенсуализм против метафизики XVII столетия». Второй же момент учения Локка, признающего субстанциальность души и существование бога, привел к субъективному идеализму Беркли.

<sup>72</sup> *Пьер Бэйль* (1647—1706)—французский философ-скептик. Его «Исторический и критический словарь» имел огромное влияние на развитие атеистической французской литературы.

«Бэйль—писали Маркс и Энгельс—не только разрушил метафизику с помощью скептицизма, очищая тем самым почву для усвоения материализма и философии здравого смысла

во Франции, он возвестил появление атеистического общества, которое вскоре действительно начало существовать, посредством доказательства того, что возможно существование общества, состоящего из атеистов, что атеист может быть почтенным человеком, что человека унижает не атеизм, а предрассудки и идолопоклонство».

<sup>73</sup> Имеются в виду «Трактат об истине христианской религии», написанный Аббади (1729), и «Философский трактат о слабости человеческого ума» Гюз (1723).

<sup>74</sup> Речь идет о Библии, в сверхъестественном, «божественном» происхождении которой Дидро сомневается. Это сомнение имело свои основания, так как библейская критика (в частности, У. Дакоста и Б. Спиноза) уже значительно расшатала теологическую концепцию о «боговдохновенности» Библии. Как ясно из ее состава, характера текста и источников, Библия была составлена многими авторами на протяжении долгого времени. Это доказывается прежде всего тем, что по своему составу Библия представляет сборник, состоящий из различных видов литературного творчества (исторические, юридические и философские трактаты, мифы и народные песни, религиозная и эротическая лирика, хроника и изречения и т. д.). Не менее разнообразна она и по содержанию: «Книги ветхого завета» имеют легендарное содержание (книги «Бытие» и «Исход»), культовое (книги «Левит», «Второзаконие»), историческое (книга царств, «Паралипоменон»), обличительное, назидательное и социально-религиозное (книги пророков), религиозно-философское («Книга Иова», «Экклезиаст»), эротическое («Книга песней Соломоновых») и т. д. «Книги нового завета» также представляют собой сборник произведений религиозной литературы уже позднейших периодов. Содержание Библии неоднократно подвергалось исправлениям и переделкам представителями духовенства в своих политических и идеологических целях. О разнообразном по содержанию и по времени написания происхождении «книг» говорит также наличие в них грубых искажений исторических фактов, вымыслов и многочисленных противоречий, допускающих самое разнообразное толкование текста.

К противоречиям в Библии Дидро возвращается в «Прибавлении к философским мыслям»,

### Прибавление к философским мыслям

<sup>1</sup> *Эскулап*—бог врачебного ремесла у древних римлян.

<sup>2</sup> *Аполлоний Тианский* жил во времена римского императора Калигулы, в первой половине I века и принадлежал к новопифагорейской, эклектической философской школе.

<sup>3</sup> *Магомет* или Мухаммед, в религиозных сказаниях, основоположник Ислама, живший в период между 570 и 632 гг. Эти же сказания говорят о том, что с детства Магомет страдал падучей болезнью, в юношеские годы занимался торговлей, ватем, женившись на богатой вдове и ведя ее торговые дела, разбогател. После этого выступил среди арабов в Мекка с проповедью нового религиозного учения. Подвергался преследованиям и бежал в Медину, где сформировал общину мусульман и с оружием в руках захватил Мекку. Приписываемые ему проповеди и изречения собраны в коране.

<sup>4</sup> Образ *Иисуса Христа* сложился из слияния образов ряда восточных и греко-римских божеств, о которых легенды рассказывали почти такие же истории, которые приписываются Иисусу Христу в библии. Прообразом Христа явились: древневосточное «страдающее, умирающее и воскресающее» божество растительного царства, носившее различные названия у восточных народов (Озирис, Таммуз, Адонис, Митра и др.). Затем у сектантских течений Палестины образ Иисуса сливается с религиозно-политическим образом мессии, Христа, спасителя, от которого они ждали освобождения от своих поработителей. Даже в древнейших произведениях христиан («Апокалипсис Иоанна», «Послания Павла») не упоминается об Иисусе, как об исторической личности, и говорится именно как о сверхъестественном существе.

<sup>5</sup> Имеется в виду развлекательный сборник Этьена Табуро под названием «Пестрые мотивы сеньора Акхора с изречениями некоего Голяра» 1572 г. Много раз переиздавался.

<sup>6</sup> *Барон де ла Онтан*—гасконский дворянин, путешественник XVII века.

<sup>7</sup> Речь идет о такого рода противоречиях, как, например, история рождения Иисуса у Луки, которая противоречит в смысле родословной и обстановки истории Матфея; противоречивы у всех евангелистов и описания последних дней Иисуса.

Разительно выступают противоречия в библии между книгами ветхого и нового заветов. Так, например, в евангелии Иоанна написано; «Никто же восходит на небо, как только

шедший с небес сын человеческий, суций на небесах» (гл. III, 13), а в четвертой книге царств: «вдруг явилась колесница огненная и кони огненные и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо» (гл. II, 11). В ветхом же завете с первых глав начинаются противоречивые рассказы: так, в первой главе говорится о том, что сперва были сотворены все земные животные, а затем человек, а во второй главе о том, что бог сперва сотворил человека, а потом низших животных.

<sup>8</sup> *Акциденции*—несамостоятельные, ненеобходимые, случайные состояния или проявления какой-либо сущности или *субстанции*. В «Богословском словаре» Гольбаха, вышедшем в свет в 1768 г., говорится: «Догмат троицы может показаться нелепым лишь тому, кто не понимает Платона. Этот отец церкви измыслил три способа рассматривать божество; из его могущества наши святые учителя сделали отца с почтенной бородой; из разума—сына, происшедшего от отца и повешенного, чтобы умиротворить его гнев; из добра—святой дух, который превратился в голубя. Вот и вся тайна».

<sup>9</sup> *Субстанция* — самостоятельная, независимая сущность, причина самой себя.

<sup>10</sup> *Марк Аврелий Антонин* (121—180)—римский император, философ-стоик; один из наиболее ярких представителей римского «просвещенного абсолютизма» династии Антонинов. До нас дошла его книга, написанная в форме дневника: «Наедине с собой. Размышления» (есть русский перевод в издании Сабашникова, М., 1914). Дидро имеет в виду следующее место из этих размышлений: «относительно мясных блюд и вообще подобных кушаний можно приучить себя к такому взгляду: это вот труп рыбы, это—труп птицы или поросенка. Равным образом, фалернское вино—выжатый сок винограда, пурпур—шерсть овцы, окрашенная кровью улитки, соитие—трение известных органов и выбрасывание семени, соединенное с особыми спазмами. Такого рода представления, доходя до самых вещей и проникая в них, дают возможность увидеть, каковы они на самом деле. Так следует поступать всю жизнь. Если какие-либо вещи кажутся нам безусловно заслуживающими нашего одобрения, следует обнажить их, прозреть всю их суетность и устранить ореол, придаваемый им рассказами. Ибо ничто не способно так вводить в заблуждение, как тщеславие, и проводит оно тебя более всего тогда, когда тебе кажется, что ты занят самым серьезным делом».



<sup>11</sup> Иронический намек на догмат о непорочном зачатии.

<sup>12</sup> По Гомеру, Леда, жена спартанского царя Тиндарея, от подкравшегося к ней в образе лебедя Зевса родила яйцо, из которого вылупилась Елена прекрасная, виновница троянской войны.

<sup>13</sup> Близнецы *Кастор* и *Поллукс*—в греческой мифологии сыновья Зевса, покровители мореплавания. Они изображались в полуовальных шляпах с звездой на верхушке. Эти «огоньки» Дидро и сравнивает с евангельским мифом о магическом действии «святого духа», сошедшего на апостолов в виде огненных языков, после чего апостолы стали говорить «иными языками и пророчествовать» (Деяния апостолов, гл. XIX).

<sup>14</sup> Как известно, четыре евангелия были признаны священными и введены в библейский канон лишь в IV веке, а до этого существовало более пятидесяти разного рода евангелий, посланий, апокалипсисов и т. д., признанных, таким образом, господствующей церковью «апокрифическими».

<sup>15</sup> Иронический намек на евангельский миф об искуплении рода человеческого от «первородного греха» смертью Иисуса, сына бога.

<sup>16</sup> Последние два абзаца, помещенные под звездочками, были позже восстановлены по работам Дидро, хранящимся в дубличной библиотеке в Ленинграде. Они относятся к предыдущим мыслям и одна из них (последняя) была озаглавлена «Философская мысль». Впервые эти прибавления были опубликованы в издании Ассеза в 1875 г.

## Прогулка скептика или аллея

В конце введения к «Прогулке скептика» один из персонажей, именно скептик, советует Дидро издать рукопись в «стране короля-философа», т. е. Фридриха II, как известно, заигрывавшего в то время не столько с просветительным движением, сколько с самими просветителями. «Издайте вашу рукопись в его владениях, и пусть себе ханжи кричат, сколько им угодно»—говорит скептик. Совет этот, как свидетельствует Дидро, имел целью спасти его от французской цензуры. В самом деле, после запрещения «Философских мыслей» Дидро имел полное основание опасаться преследований. Однако «Прогулка» так и не увидела света при жизни Дидро.

Вскоре после окончания работы над «Прогулкой» в 1747 г., священник церкви св. Медора писал директору полиции о том,

что в его приходе проживает «Дидро, не имеющий никакой профессии и никаких средств к жизни», что это «такой молодой человек, который является вольнодумцем и гордится своим нечестием. Он написал несколько философских сочинений, в которых нападает на религию. Говорит он в том же тоне, в каком пишет. Теперь он занят новым сочинением, которое очень опасно».

В результате на квартиру Дидро явился полицейский агент, произвел обыск и, найдя какую-то рукопись, сказал: «Хорошо, это именно то, что мне нужно».хлопоты Дидро о возвращении ему рукописи не увенчались успехом. Однако, видимо, существовали рукописные копии произведения. Одна из них значительно позже попала в руки Нэжона. Полностью рукопись была опубликована уже после Июльской революции в 1830 г. в «Oeuvres inédites».

«Прогулка» представляет собой произведение, в котором отразился переломный момент в развитии Дидро, именно, если так можно выразиться, момент становления его атеизма. Написанная еще в духе деизма, этой, по выражению Маркса, наиболее удобной для материалиста формы разрыва с религией, «Прогулка» содержит идеи, из которых уже в следующем, более зрелом произведении вызревает полный разрыв с религией и материализм Дидро. Именно, в «Прогулке скептика» содержится целый ряд мыслей, которые дают почву для будущей критики физико-телеологического доказательства бытия бога, идеалистических представлений о материи и ее движении, и наконец, чистого сенсуализма и рационализма. В этом отношении наиболее интересным местом являются диалоги между атеистом и верующим.

Некоторые историки литературы, например Геттнер, видят в «Прогулке» лишь неудержимый скептицизм Дидро, а самое произведение считают небрежным по форме и наиболее безотрадным из всего, что когда-либо писал Дидро. На самом деле это далеко не так. Фрагментарно изложенные в «Прогулке» мысли отличаются заостренной критикой религиозных догматов, библейских понятий и важнейших философско-богословских школ. «Прогулка» вскрывает нелепости чудес и пророчеств библии, разоблачает «деяния» святых отцов далеко не священного характера и критикует религиозные устои, лишённые, по мысли Дидро, рационального и нравственного характера. По силе проны, остроумия и насмешек над духовенством «Прогулка скептика» напоминает, с одной стороны, разоблачительные произ-

ведения Вольтера, а с другой—«Богословский словарь» Гольбаха, вышедший значительно позже и представляющий образец разоблачительной антирелигиозной литературы XVIII века.

Дидро рисует спор между деистом, пантеистом, субъективным идеалистом, скептиком и атеистом, уже становясь в ряде пунктов на точку зрения последнего, выступающего и против откровения, и против естественной религии. Но окончательно Дидро еще не становится материалистом. Его взгляды в «Прогулке» лишь деизм, из которого зреет атеизм.

В этом отношении характерны последние мысли диалога. После того как Спинозист, поддерживая атеиста, приходит к выводу о вечности материи и бессилии доказательств деиста, последний оказывается обезоруженным. Однако Дидро не становится еще полностью на точку зрения атеиста; он признает силу его доводов, но делает их своим оружием против деизма лишь в последующих произведениях. Пока же он приходит к вольтеровскому выводу. Возвратившись с прогулки, атеист находит дом разграбленным, а детей убитыми. Это сделано бывшим верующим, которого атеист убедил в отсутствии бога. Дидро, таким образом, высказывается за необходимость религии для обуздания «злых страстей» и охраны собственности, но собственности, во всяком случае, не феодалов и не духовенства. Вот почему «Прогулка скептика» так ревниво охранялась полицией от читателей того времени.

На русском языке «Прогулка скептика», как и «Философские мысли», публикуется впервые в настоящем издании.

<sup>1</sup> Имеется в виду битва в Бельгии у села Фонтенуа 11 мая 1745 г., при участии Людовика XV, в которой французы одержали победу над английскими, нидерландскими и австрийскими войсками.

<sup>2</sup> *Аттик*—философ-платоник II века, выступал против аристотелизма и эклектизма.

<sup>3</sup> *Кошен* (1687—1747)—французский адвокат.

<sup>4</sup> Имеются в виду иезуитские богословы.

<sup>5</sup> *Денель*, автор книги «Les Préjugés du Public», 2 vol., 1747.

<sup>6</sup> *Жиффар*—известный в то время парижский издатель и книготорговец.

<sup>7</sup> *Ян Гус* (1369—1415)—чешский реформатор и борец за национальную свободу и культуру чехов, боролся с католической церковью, изобличая шарлатанство духовенства, по-

борник интересов крестьянства, мелких ремесленников и наемных рабочих Чехии. Гус был обвинен в ереси и сожжен на костре.

<sup>8</sup> *Фаусто Социни*—итальянский гуманист XVI века, отвергавший христианский догмат троичности божества.

<sup>9</sup> *Ульрих Цвингли* (1484—1531)—швейцарский реформист-гуманист, выступил против папства и католической церкви. В битве цюрихского ополчения с войсками католических кантонов Швейцарии Цвингли был убит. Его учение, отличавшееся от лютеранства большей рассудочностью, являлось попыткой примирения веры с рассудком.

<sup>10</sup> *Мартин Лютер* (1483—1546)—германский реформатор, восставший против всевластия католической церкви, отрицал божественность власти папы, отколол от католичества ряд стран и основал новую «лютеранскую» церковь. Опираясь вначале на крестьянство и рыцарство, Лютер испугался размаха крестьянского движения и всецело стал на сторону германских князей, способствуя их победе в Крестьянской войне.

<sup>11</sup> *Джордж Беркли* (1684—1753)—английский епископ, философ-идеалист; см. прим. 16 к «Письму о слепых».

<sup>12</sup> *Вильям Вульстон* (1659—1724)—английский философ, рационалистически обосновывавший этику.

<sup>13</sup> *Джонатан Свифт* (1667—1745)—английский сатирик, автор «Путешествий Гулливера» и других философско-политических и сатирических произведений.

<sup>14</sup> *Фридрих II Прусский* (1712—1786), написавший возражения против Макиавелли (1469—1527)—знаменитого итальянского политического мыслителя и историка.

<sup>15</sup> Имеются в виду экспедиции для измерения дуги меридиана—Клеро в Лалландию и Лакондамина в Перу.

<sup>16</sup> Дидро намекает на различные религиозные вероисповедания.

<sup>17</sup> Имеются в виду: бог, попы, скептики и атеисты.

<sup>18</sup> Подразумеваются библейские книги ветхого и нового заветов.

<sup>19</sup> Имеются в виду иудеи и христиане.

<sup>20</sup> Намек на учение о мздовоздаянии после смерти.

<sup>21</sup> Подразумеваются таинства крещения.

<sup>22</sup> Намек на обряд обрезания.

<sup>23</sup> Повязка на глазах—символ веры.

<sup>24</sup> Намек на противоречия и нелепости веры.

- 25 Т. е. не христиан.
- 26 Т. е. религиозный путь.
- 27 Светская жизнь.
- 28 Философия.
- 29 Верующие люди.
- 30 Попы.
- 31 Подразумевается отпущение грехов.
- 32 Речь идет о «безбрачии» католического духовенства.
- 33 Папа римский.
- 34 Церковные соборы.
- 35 Намек на индульгенции.
- 36 Епископы.
- 37 Так пазываемый святой елей.
- 38 Викарии, священники.
- 39 Богословы.
- 40 *Александр Галесский* (ум. 1245)—философ-схоластик, знаток Аристотеля и арабских комментаторов, прозван «источник жизни», «непреоборимый доктор».
- 41 Подразумеваются монахи и настоятели монастырей.
- 42 Намек на инквизицию.
- 43 Иезуитские миссионеры.
- 44 Проповедники.
- 45 Намек на исповедь по католическому обряду.
- 46 Монастыри.
- 47 Имеются в виду ясенницы.
- 48 Женские монастыри.
- 49 Подразумевается библия.
- 50 Имеется в виду Моисей.
- 51 Речь идет о библейском сказании об исходе евреев из Египта.
- 52 Библейский «переход через Красное море».
- 53 Подразумевается сказание о сотворении человека.
- 54 Миф о первом грехопадении.
- 55 Миф о потопе.
- 56 Имеется в виду библейское сказание о принесении Авраамом сына своего Исаака в жертву. Все дальнейшее Дидро заимствует из «Книги бытия», полной эротики и не считающихся с «моралью» рассказов.
- 57 Обрезание.
- 58 Пасха.
- 59 Речь идет о шестой заповеди—запрещении работать в седьмой день—субботу.

<sup>60</sup> По библии, десять заповедей Моисея, которые он якобы получил от бога на горе Синае.

<sup>61</sup> Ковчег завета, помещенный Моисеем в походном храме.

<sup>62</sup> Изложение «Второзакония», гл. IV.

<sup>63</sup> Дидро переходит к изложению и критике нового завета, к мифу об Иисусе Христе.

<sup>64</sup> Догмат о троичности.

<sup>65</sup> Догмат о пресуществлении.

<sup>66</sup> Речь идет о разделении церквей.

<sup>67</sup> Т. е. евангелистами и апостолами.

<sup>68</sup> Имеется в виду апостол Петр.

<sup>69</sup> Апостол Павел.

<sup>70</sup> Т. е. благодати.

<sup>71</sup> Св. Августин. См. прим. 61 к «Философским мыслям».

<sup>72</sup> Имеется в виду учение о предопределении.

<sup>73</sup> Апостол Иуда.

<sup>74</sup> Миф о воскресении Иисуса.

<sup>75</sup> Распространение христианства.

<sup>76</sup> Дидро иронически ссылается на мнимую книгу.

<sup>77</sup> Евангелист Марк.

<sup>78</sup> Дидро вплотную подходит к отрицанию личности Иисуса Христа.

<sup>79</sup> *Эпаминонд* (418—362 до н. э.)—фиванский полководец, содействовал освобождению Фив от спартанского владычества и боролся за господство Фив на море.

<sup>80</sup> *Пелопид* (IV век до н. э.)—фиванский полководец, друг Эпаминонда, организатор так называемого «священного отряда» против спартанцев.

<sup>81</sup> *Пиндар* (522—448 до н. э.)—греческий поэт-лирик. Писал оды религиозно-торжественного содержания: гимны богам, дифирамбы и др.

<sup>82</sup> *Иосиф Флавий*—см. прим. 52 к «Философским мыслям».

<sup>83</sup> *Филон* из Александрии (I век до н. э.) своим учением о логосе оказал большое влияние на богословие; видел в ветхом завете источник греческой мудрости.

<sup>84</sup> *Юстус Тивериадский*—историк и политический деятель эпохи последней войны евреев с римлянами, противник Иосифа Флавия; известен, главным образом, по трудам последнего; автор комментариев к библии.

<sup>85</sup> Отвергая Иисуса, как историческую личность, Дидро совершенно правильно аргументирует отсутствием какого-либо упоминания об Иисусе в работах древних историков и бого-

словом и указывает на противоречивые позднейшие вставки в Библии и в особенности в книги Иосифа Флавия.

Известно, что этими подложными вставками, выдержанными в христианском духе, представители церкви стремились подкрепить мессианство Иисуса и историчность его личности. К этим вставкам относится ряд моментов из родословной Иисуса, как сына Иосифа, и об отношениях между последним и Марией. О том, что эти вставки не принадлежат Иосифу Флавию, ярко свидетельствует его описание Иисуса—сына Анана, несомненно представлявшего собой одного из прототипов евангельского Иисуса. В «Истории Иудей» Иосиф Флавий говорит об Иисусе, оплакивавшем столицу Иудей, за что был подвергнут бичеванию со стороны наместника Иерусалима. Иисус Флавия был убит при осаде Иерусалима римлянами.

Вставки, сделанные позже в работы Иосифа Флавия, противоречат всему тексту историка. Это дало право Дидро проинизировать над христианскими авторами, заставившими Иосифа после собственной смерти говорить об их Иисусе.

<sup>86</sup> Крестное знамение.

<sup>87</sup> Т. е., по религиозным представлениям, о дьяволе.

<sup>88</sup> Джон Мильтон (1608—1674)—английский поэт, противник роялистов и защитников Карла I, автор «Потерянного и возвращенного рая», и политических памфлетов.

<sup>89</sup> Мигель де Сервантес Сааведра (1547—1616)—великий испанский писатель, автор популярнейшего социально-исторического романа «Дон Кихот Ламанчский»—пародии на рыцарский роман и схоластическую ученость средних веков. Роман Сервантеса в XVII веке вызвал многочисленные подражания, в которых описывалось продолжение походов Дон Кихота. Возможно, что Дидро имеет в виду одно из грубейших подражаний, появившееся в качестве II части «Дон Кихота» и принадлежащее автору с псевдонимом Авельянеда, который осыпал Сервантеса оскорблениями. Сервантес ответил на это II частью своего произведения, где дал достойную отповедь «лживому тордесильскому сочинителю, который дерзнул (или еще дерзнет) грубым и плохо очиненным страусовым пером описать подвиги... доблестного кабальера,—труд, непосильный для его плеч и для оледенелого его ума».

<sup>90</sup> Дидро имеет в виду древнегреческую философскую школу. Академия возникла как школа Платона и получила название от имени Академа, в саду которого она находилась. Впоследствии насчитывалось три академии: древняя, придер-

живавшаяся учения Платона, средняя, усвоившая скептическое направление, и повая, восстановившая платоновский идеализм.

<sup>91</sup> «Послание к Урании» Вольтера было написано около 1732 г., напечатано лишь в 1738 г. Не выходя за пределы вольтеровского деизма, «Послание» давало аргументацию против традиционной религии; в вопросах этики «Послание» провозглашено эпикуреизмом.

<sup>92</sup> *Пирронисты* (см. прим. 17 к «Философским мыслям»).

<sup>93</sup> *Пиррон* (360—270 до н. э.)—греческий философ-скептик, утверждавший, что наши чувства вводят нас в заблуждение и не могут свидетельствовать о реальности внешних предметов.

<sup>94</sup> Известное выражение скептика Монтезя, проходящее красной нитью через все его «Опыты».

<sup>95</sup> Дидро подразумевает под этим отрядом—атеистов. Взгляд на них у Дидро в 1747 г. еще всецело деистический и повторяет в основном точку зрения «Философских мыслей» (см. мысль XXII).

<sup>96</sup> Подразумеваются деисты.

<sup>97</sup> Имеются в виду спинозисты. Так представлял себе тогда Дидро философов, отождествляющих бога с природой, т. е. пантеистов.

<sup>98</sup> *Барух Спиноза* (1632—1677)—голландский философ, один из величайших мыслителей XVII века. Преодолевая дуализм Декарта, Спиноза создал материалистическое, по существу, мировоззрение. Он утверждал наличие единой материальной субстанции с двумя атрибутами—протяжением и мышлением. Субстанция сама причина своего бытия и представляет собою природу. Спиноза оказал огромное влияние на французский материализм и, в частности, на дальнейшую эволюцию Дидро к атеизму. Спинозе же одному из первых принадлежит попытка исторической критики библии.

<sup>99</sup> Имеются в виду субъективные идеалисты, представители философии Беркли. Дидро называет их «готистами».

<sup>100</sup> *Публий Вергилий Марон* (70—19 до н. э.)—римский поэт; особенно знаменит своей поэмой «Энеида», в которой описаны легендарные приключения Энея, вождя группы троянцев, бежавших с родины после гибели Трои.

<sup>101</sup> Фанфароны, пустые болтуны.

<sup>102</sup> Начиная с § 14 и до § 30 Дидро дает диалог между атеистом и верующим.

<sup>103</sup> *Жандрон* (1663—1750)—известный окулист.



<sup>104</sup> Верующий использует картезианское доказательство бытия божия.

<sup>105</sup> Дидро издевается над Декартом, который, стремясь разрешить взаимоотношение двух субстанций—души и тела в человеке, рассматривал лишковидную железу, так называемую *glandula pyncalis*, в качестве местопребывания души.

По мнению Декарта, нежная материя или «жизненные духи», текущие в первах, возбуждающе действуют на душу и, в свою очередь, сами получают от нее воздействие. Через эти-то воздействия, якобы, и возникают ощущения, чувства и страсти, которые дают мышлению свое содержание.

<sup>106</sup> Имя атеиста.

<sup>107</sup> Пирронисты.

<sup>108</sup> Атеисты.

<sup>109</sup> Деисты.

<sup>110</sup> Спинозисты.

<sup>111</sup> Скептики.

<sup>112</sup> Фанфароны.

<sup>113</sup> Используется физико-телеологическое доказательство бытия божия, обосновывающее существование бога целесообразностью в природе.

<sup>114</sup> Имеются в виду декорации Сервандони в оперном театре.

<sup>115</sup> Доводы спинозиста, которого Дидро интерпретирует еще как пантеиста.

<sup>116</sup> *Анакреон* (VI век и начало V века до н. э.)—представитель древнегреческой лирики, поэт любви и наслаждений.

<sup>117</sup> *Мариво*—французский писатель (см. о нем в «Письмо о слепых»).

<sup>118</sup> *Киприда*—прозвище Афродиты по названию острова Кипр.

<sup>119</sup> *Кребильон-сын* (1707—1777)—автор ряда скабрзных произведений.

<sup>120</sup> Дидро имеет в виду литературу эротического содержания, в частности, «Декамерон» Боккачио, «Сказки и новеллы» Лафонтена, «Марианну» Мариво, «Красное дерево» Дюкло. Кстати сказать, сам Дидро в это время, вероятно, уже писал в том же эротическом жанре свои «Нескромные драгоценности» (1-е издание 1748).

## Письмо о слепых в назидание зрячим

«Письмо о слепых в назидание зрячим» было написано в 1749 г. Поводом к его написанию послужила операция Реомюра над слепорожденным. Ученые и литераторы ждали от Реомюра научных выводов к решению проблемы способности слепых непосредственно после операции видеть и различать предметы.

Не имея возможности присутствовать при снятии повязки с оперированного, Дидро сам занялся наблюдениями над чувственными восприятиями слепых и изучением литературы, связанной с этим вопросом. Результатом работы над большим фактическим материалом и явилось названное «Письмо».

Несмотря на то, что «Письмо» было издано анонимно, оно имело большое влияние на личную судьбу Дидро. По задорному полемическому тону «Письма», по существу развиваемых в нем взглядов—духовенство и полиция не могли не догадаться об имени автора. Полиция, как это уже известно читателю из предыдущих замечаний, обладала достаточным материалом, характеризующим то направление, в каком развивался Дидро. Против него были приняты решительные меры. В июле 1749 г. в квартире философа был произведен обыск, а сам он арестован и препровожден в Венсеннский замок.

Существует немало предположений о непосредственной причине ареста Дидро, высказанных как его современниками, так и позднейшими исследователями. Наиболее ходячим объяснением является следующее. В начале «Письма» Дидро обвиняет Реомюра в том, что последний пренебрег интересами к операции известных ученых и философов, предпочтя их присутствию «несколько ничего не говорящих глаз». Между тем было известно, что Реомюр отдал предпочтение госпоже Дюпре де Сен-Мор. Слухи и сплетни сейчас же установили, что, якобы, оскорбленная владелица прекрасных глаз пожаловалась на Дидро своему любовнику-министру д'Аркансону, который и отдал приказ об аресте обидчика влиятельной особы.

Действительная причина ареста Дидро, несомненно, была более серьезной и своими корнями уходит в социально-политическую обстановку того времени.

Время ареста философа совпадает с усилением влияния иезуитов. Правительство Людовика XV приняло решительные меры против оппозиционных настроений, вызванных всеобщим возмущением и крестьянскими бунтами, какими ответили массы

на отказ духовенства от участия в налогах после разорительной войны 1741—48 гг. Именно в июле—августе 1749 г. оппозиция достигла угрожающих для власти размеров. В связи с этим, по свидетельству современников, не мало литераторов и ученых обвинялось «в сочинении стихов против короля, в чтении их и распространении, в сопротивлении министерству и в писании и печатании произведений в защиту деизма и против нравов».

Вслед за Дидро были арестованы и заключены в Бастилию, Венсенн и другие тюрьмы многие литераторы, профессора университета и даже аббаты-янсенисты. Отсюда можно заключить, что арест Дидро был вызван самим содержанием «Письма», в котором обосновывается программа материализма—идейное знамя передовых представителей французской буржуазии. Не случайно Ламеттри писал, что для Дидро «было достаточно одного слепца, чтобы просветить вселенную и отправиться самому в Венсенн».

Это подтверждается также протоколом допроса, учиненного Дидро в тюрьме. Вопросы, поставленные перед обвиняемым, связаны именно с высказанными в письме идеями и обнаруживают большую осведомленность полиции об авторе. От Дидро добивались сведений не только об издателе «Письма» и лицах, которым передавалось оно до издания, но и признания в авторстве «Философских мыслей», «Прогулки скептика» и других ранее написанных произведений.

Дидро отрицал свою причастность к «Письму»; убежденный в отсутствии у властей документальных доказательств, он лгал и держал себя вызывающе, что заставило одного из допрашивавших воскликнуть: «Вы наглец, вы здесь останетесь на-долго».

Однако постепенное притупление острого кризиса власти после июльских событий, а также усилившееся влияние буржуазии привели к тому, что Дидро был освобожден через три с лишним месяца.

По содержанию «Письмо о слепых» выходит далеко за пределы вопроса, явившегося его непосредственной темой. Небезошибочное в специальном вопросе о психологии слепых, «Письмо» в своем основном выводе о характере нашего познания, как и во многих частных выводах, по сие время сохранило свое научное значение и интерес, оказав большое влияние на последующие исследования психологии познания.

«Письмо о слепых» является одним из первых оригиналь-

ных произведений Дидро, в котором были вызваны на суд материализма церковные понятия о мире, телеология и философский идеализм. По существу и по форме оно выделяется из всех предыдущих произведений Дидро и характеризует переходную ступень в развитии мыслителя, отделяя вместе с тем Дидро-атеиста и материалиста от Дидро-деиста в ранних произведениях. С другой стороны, «Письмо» внесло в единое просветительское движение первые элементы идейной размежевки, отражая социальную и политическую дифференциацию третьего сословия. Уже со времени «Письма» появляется два разных языка, на которых начинают говорить французские просветители, впоследствии переставшие понимать друг друга, расколовшись на ряд фракций и выделив из своей среды наиболее последовательное, основное ядро материалистов и атеистов типа Дидро-Гольбаха.

Отсюда «Письмо о слепых» представляет интерес в смысле выяснения эволюции взглядов всего просвещения XVIII века от скептицизма до воинствующего материализма.

Переходный характер «Письма» выразился в основной идее, которую вкладывает Дидро в уста слепого Саундерсона. Примыкая еще к «Прогулке скептика» в смысле некоторых, так сказать, рудиментов деизма, автор «Письма» восходит на новую ступень—пересматривает сенсуалистическую теорию познания, открывая следующую страницу в истории новой философии. Здесь Дидро развивает свои идеи об эволюции организмов, впервые высказанные в «Философских мыслях», продолжает мысли атеиста из «Прогулки скептика» и ставит проблему движения материи. Скептицизм уже превращается в отрицание бога на материалистической основе.

Используя популярный среди просветителей прием литературной мистификации, Дидро влагает в уста ученого-скептика Саундерсона идеи атеизма. Он заставляет слепого математика видеть в идее бога лишь иллюзорное отвлечение от материи и ее движения. Дидро-Саундерсон не допускает существования бога потому, что не может его осязать; поэтому же он не может основываться на чудесах, являющихся лишь плодом воображения. Чувства—вот единственный проводник идей и мерило их сочетаний. Однако сами ощущения, будучи источником наших знаний, не решают вопроса, если они не находят своего основания в материальной действительности.

Такое значение «Письма о слепых» в развитии материализма Дидро.

<sup>1</sup> *Г-жа де-Люизь*—автор нескольких, очень скоро забытых, литературных произведений.

<sup>2</sup> *Рене Антуан Ресюр* (1683—1757)—французский физик, натуралист; член парижской Академии наук.

<sup>3</sup> Прусский окулист *Гильмер*.

<sup>4</sup> С точки зрения *Декарта*, определения теряют свою силу перед непосредственной достоверностью, и схоластическая логика с ее силлогизмами не способна увеличить нашего знания о вещах.

<sup>5</sup> «*Диоптрика*» *Декарта*—в качестве образца применения метода Декарта впервые вошла в лейденское издание «*Рассуждения о методе с приложением диоптрики, метеорологии и геометрии*» (1637 in 4°). В этом же издании воспроизведены изображения слепых, которые с помощью палок как бы «*рассматривают*» свой путь. На эти рисунки и ссылается Дидро.

<sup>6</sup> Дидро имеет в виду *Диогена* из Синопа, принадлежавшего к цинической школе греческих философов (около 404—323 до н. э.), который развивал принципы моральной философии Сократа и в качестве источника познания признавал только чувственные восприятия. Представитель практического цинизма, Диоген отрицал чувственные удовольствия, излишества, внешние блага, видя в них моральную испорченность аристократии. Человек, по его мнению, должен удовлетворять только необходимые жизненные потребности в простой форме. Указывая на то, что слепой из Пюизо превосходит Диогена в смысле моральных оценок, Дидро подчеркивает здесь, что понятия нравственности определяются природой человека.

<sup>7</sup> Имеется в виду так называемое физико-телеологическое доказательство (см. прим. 29 к «*Философским мыслям*»). По существу здесь у Дидро ошибочный взгляд на то, что у слепых своя особая от зрячих мораль и метафизика,—взгляд, вытекающий из абстрактного рассмотрения понятий слепых вне социальных влияний, определяющих эти понятия слепых, как равноправных членов той или иной классовой группы данного общества.

<sup>8</sup> Намек на «*glandula pinealis*» (см. прим. 105 к «*Прогулке скептика*»), куда Декарт помещал душу. В противоположность Декарту Дидро, как бы исходя из декартовых предположений, предлагает поместить «душу» в кончиках пальцев. Этим подчеркивается материалистический сенсуализм Дидро в отличие от рационализма Декарта.

<sup>9</sup> *Пифагор* (VI век до н. э.), по преданию, родился на острове Самос; изгнанный с родины, поселился в Южной Италии, где организовал философскую школу и политический союз против демократии. Сводя сущность вещей к количественным определениям, пифагорейцы выражали ее числом, видя в нем всерегулирующее начало вещей.

Система Пифагора, по свидетельству Аристотеля в сочинении «О небе» (*De Coelo*, II, 13) вышла не из наблюдений, а из соображений метафизического порядка. Пифагорейцы стремились «не к тому, чтобы основывать объяснения свои и указываемые причины на наблюдениях явлений, а к тому, чтобы прилаживать явления к своим мнениям и объяснениям».

<sup>10</sup> Дидро, очевидно, имеет в виду Рапсона и его мысли о геометрической стройности вселенной, а также идеи о том, что бог является «искусным геометром», высказанные рядом английских математиков.

<sup>11</sup> *Николай Саундерсон* (1682—1739).—С 1711 г. профессор математики и физики в Кембриджском университете. Несмотря на то, что Саундерсон потерял зрение на первом году жизни, он имел ясные понятия о перспективе, о сферических очертаниях и формах, принимаемых фигурами при известных положениях, читал лекции о свете и цветах. Саундерсон—автор книги «Элементы алгебры». По своему мировоззрению он не подымался выше скептицизма.

<sup>12</sup> «Элементы алгебры» были изданы в Лондоне после смерти Саундерсона в 1740 г.

<sup>13</sup> Имеется в виду *Пьер Карос Мариво* (1688—1763), современный Дидро писатель. Мариво известен, как автор семейно-правоучительных романов. Этот жанр Мариво заимствовал из передовой в то время буржуазной литературы Англии. Героями его романов являются буржуа, мещане и крестьянство («Удачливый крестьянин», «Жизнь Марианны»). Под влиянием «Жизни Марианны» был написан роман «Памела» Ричардсона. Вообще, Мариво пользовался громадным успехом в Англии.

<sup>14</sup> *Публий Корнелий Тацит* (56—120)—римский историк, автор многих произведений, из которых главнейшими являются «Анналы» и «Германия». Тацит придавал исключительное значение роли личности в истории. Язык его произведений отличался силой и лаконичностью. Эти черты встречали симпатию со стороны просветителей XVIII века, у которых Тацит пользовался большой популярностью.

<sup>15</sup> Философский идеализм, будучи всегда прямо или кос-

венно связан с мистикой и поповщиной, является реакционной философией эксплуататорских классов, идеологическим оружием их господства. Идеализм считает основой всего сущего идею, дух, мысль и т. п. Признавая мышление определяющей основой всего сущего, идеализм видит источник бытия и познания либо в боге, либо в идее. Отсюда совпадение наших представлений с внешними материальными предметами коренится, с точки зрения идеализма, в самом сознании или обусловливается высшим существом.

Подходя к определению идеализма исключительно с точки зрения отношения нашего сознания к объективному миру в процессе познания, Дидро здесь вполне уясняет себе недостатки чистого сенсуализма и эмпиризма. Ленин, цитируя это место из «Письма» в «Материализме и эмпириокритицизме», замечает, что Дидро вплотную подошел к взгляду современного материализма и отчетливо противопоставил основные философские направления.

18 В «Трех диалогах между Хиласом и Филонусом» (1713), которые имеет здесь в виду Дидро, Беркли в популярной форме излагает принципы идеализма, основанного на сенсуализме. Свою точку зрения, согласно которой действительность исчерпывается ощущениями субъекта и его сознанием о своем существовании, Беркли высказывает устами Филонуса, полемизирующего с материалистом Хиласом. Филонус в одном из диалогов говорит: «Я утверждаю, так же как и вы, что раз на нас оказывается действие извне, то мы должны допустить существование сил, находящихся вне нас, сил, принадлежащих существу, отличному от нас. Но здесь мы расходимся по вопросу о том, какого рода это могущественное существо. Я утверждаю, что это дух, вы—что это материя или я не знаю какая (могу прибавить, что и вы не знаете какая) третья природа». Наши ощущения и причиняются этой третьей природой или божеством.

Отвергая философское учение о материальной субстанции, как основе атеизма, Беркли старается опереться на «здравый смысл простых людей». В другом месте «диалогов» Беркли-Филонус говорит: «Я согласен апеллировать к здравому смыслу всего человечества в верности того принципа, что существование предметов и состоит в их восприятии или—что ощущения составляют единственное ручательство в реальности ощущаемого. Спросите, например, садовника, почему он думает, что здесь, на этом месте, существует вишня, а не померанцевое

дерево? Он ответит вам: потому, что на этом месте он видит вишню, а не померанцевое дерево. Для него существует то, что он ощущает, и все, чего он не ощущает, для него и не существует». Это мнение Филонуса целиком вытекает из принципа Беркли «esse—percipi», т. е. «быть—значит быть в восприятии». К критике солицизма Дидро возвращается позже в «Разговоре Даламбера с Дидро».

<sup>17</sup> Дидро имеет в виду книгу «Опыт о происхождении человеческих знаний», появившуюся анонимно в 1746 г. при его содействии. Автором этой книги был Этьен Бонно де-Кондильяк (1715—1780), французский аббат, сблизившийся с Дидро примерно в 1745 г.

Кондильяк являлся соединительным звеном между английским эмпиризмом и французским материализмом. Будучи весьма близким к молодому Дидро по своим воззрениям, он, однако, окончательно не освободился от влияния Локка. Расхождение Дидро с Кондильяком заключалось в том, что последний не учитывал роли разума, как особого универсального чувства, решающего задачи, условия для которых дают чувства. Кроме того, считая ощущения результатом воздействия внешних предметов, Кондильяк не шел дальше феноменализма.

<sup>18</sup> В «Трактате о системах» (1749) Кондильяк намечает три типа философских систем: 1) основанные на общих и абстрактных требованиях (картезианская философия), 2) имеющие в качестве основы недоказуемые предположения и 3) покоящиеся на твердо установленных фактах. Такова, по мнению Кондильяка, его собственная система. Она и была позже выражена в «Трактате об ощущениях». Дидро, несмотря на расхождения с Кондильяком, ценил его, как философа, ставившего по преимуществу проблему познания.

<sup>19</sup> Под «бесконечниками» Дидро понимает философов, делающих идеалистические выводы из учения об исчислении бесконечно-малых.

<sup>20</sup> Слепые—богословы и ученые древности, умственные способности которых предание возвышает над общим уровнем знаний их времени. Слепой Дидим Александрийский (308—395) комментировал так называемое священное писание, написал «Книгу о св. духе». Слепой Евсевий (268—338) написал «Евангельское доказательство», обосновывавшее истинность христианства.

<sup>21</sup> Тирезий, игравший очень важную роль в рассказах о несчастьях Эдипа, по Гомеру, после смерти пребывал в под-



земном царстве, где Одиссей узнавал у него о судьбе своего дома и о том, удастся ли ему возвратиться в отечество.

<sup>22</sup> В 1750 г. появились возражения на «Письмо о слепых» под названием «Письмо *Жервеза Холмса* автору письма о слепых, содержащее правдивый рассказ о последних часах Саундерсона». Это письмо оспаривает правдивость разговора Саундерсона с Холмсом. Саундерсон в действительности в своих воззрениях не подымался выше скептицизма. Дидро сам позже сознался, что атеистические слова Саундерсона являются вымыслом. Дальнейшие суждения Саундерсона о неубедительности телеологического доказательства и т. д. есть не больше, как распространенный в XVIII веке прием прикрытия авторами своих мыслей.

<sup>23</sup> Холмс ссылается на религиозные воззрения *Ньютона*. Известно, что Ньютон был религиозно верующим и писал комментарий на Апокалипсис.

<sup>24</sup> *Готфрид Вильгельм Лейбниц* (1646—1716)—немецкий ученый, философ-идеалист; пытался примирить философию с откровением, механицизм с телеологией, приняв за исходный пункт своего учения задачу преодоления дуализма Декарта. В отличие от инертной материи последнего, Лейбниц развивал учение о монадах-субстанциях, обладающих самодеятельностью, отождествляемую с энергией. Эта философия—монадология—сочеталась у Лейбница с теодицеей, т. е. с оправданием бога, который для Лейбница был высшей монадой или монадой монад.

<sup>25</sup> *Самуил Кларк* (1675—1729)—философ, последовательный картезианец, глава рационалистического богословия в Англии. В своих сочинениях «Доказательство бытия и свойств божиих» и «Истинность и достоверность естественной религии и религии откровения» пытался обосновать естественную религию, противопоставляя ее атеизму и материализму.

<sup>26</sup> В этом воображаемом возражении Саундерсона Холмсу и в дальнейших положениях Дидро дает набросок эволюционной гипотезы в духе античных идей Эмпедокла и Т. Лукреция Кара.

Устами Саундерсона Дидро противопоставляет учению Лейбница, Кларка и Ньютона идею саморазвития природы, заимствуя мысли из 5 книги «О природе вещей» Лукреция, где последний рассказывает...

Как из скопления материи разной

Образовались моря, земля, и светила, и небо,

Солнце, и месяца шар, и какие созданья бывают,

Здесь на земле, а какие еще никогда не родились.

<sup>27</sup> Здесь как и в предыдущем восклицании Саундерсона-Дидро о боге Кларка и Ньютона выразились остатки деизма в воззрениях Дидро. Поколебав деизм, Дидро как бы сглаживает доводы материалиста и атеиста Саундерсона, заставляя его в последнюю минуту жизни обратиться к богу. Однако это выражение логически не оправдано всей предшествующей аргументацией. Слова Дидро о славе творца приобретают скорее характер иронии по отношению к зрячим, остающимся еще на почве деизма.

<sup>28</sup> *Вильям Инчлиф*—член лондонского Королевского общества, со стороны которого Дидро вызвал недовольство тем, что приписал ему атеистические идеи, сделав его ответственным за свои взгляды, вложенные в уста Саундерсона.

<sup>29</sup> *Ньютон, Декарт, Локк и Лейбниц*, т. е. лица, в области философии и естествознания стоящие на уровне современной им науки. Дидро снова упрекает Реомюра в том, что он не привлек ученых и философов к изучению поведения слепого после операции.

<sup>30</sup> *Вильям Молине* (1656—1698)—ирландский ученый, основавший в Дублине философское общество, автор «Новой диоптрики» (1692), по поводу которой находился в длительной переписке с Локком. Последний в «Опыте о человеческом разуме» ссылается на Молине.

<sup>31</sup> *Вильям Числьден* (род. 1688)—английский анатом, хирург и окулист. В 1733 г. издал «Osteology, or the Anatomy of the bones» и в 1714 г. «Anatomy of the human body». Числьден был известен, как искусный оператор. Описания его опытов по снятию катаракта даны Вольтером.

<sup>32</sup> В «Началах философии Ньютона» Вольтер (см. прим. 32 к «Философским мыслям») вслед за объяснением теории Беркли о зрении описывает результаты операции, совершенной Числьденом в 1728 г. над 14-летним слепорожденным. Непосредственно после снятия катаракта слепой видел только свет и цвета, не умея отличить шара от куба, и не имел никакого представления о пространстве, расстоянии, форме и т. п.

<sup>33</sup> *Пьер Шаррон* (1541—1603)—французский моралист-скептик, находился под сильным влиянием Монтэня. Шаррон считал нравственность источником религии.

<sup>34</sup> *Жан Даламбер* (1717—1783)—один из основоположников теоретической механики, гениальный математик. Соредактор «Энциклопедии» (до VII тома), где ему принадлежит часть, наряду с Дидро, философского введения («Предвари-

тельное рассуждение») и ряд статей специального и общего характера. В философии Даламбер не отличался последовательностью, соединяя элементы сенсуализма и картезианства, что проявилось в его «Элементах философии» (1758), где проглядывает раздвоенность, сомнения и нерешительность суждений особенно в вопросах религии. В отсутствии теоретического мужества и последовательности Даламбер сознавался сам в переписке. «Во всем метафизическом тумане—писал он Вольтеру—я нахожу разумным только скептицизм; у меня нет ясного и полного понятия ни о материи, ни о чем-нибудь другом». В письме к Фридриху II Даламбер присоединяется к изречению скептика Монтэня, на которое ссылается далее Дидро.

<sup>36</sup> Клеро (1713—1765),—французский математик и астроном. Уже двенадцатилетним Клеро написал книгу «О четырех геометрических кривых», а восемнадцати лет был избран членом французской Академии.

### Прибавление к письму о слепых

Хотя «Прибавление к письму о слепых» хронологически и отделено от самого «Письма» тридцатью с лишним годами, однако по содержанию своему оно тесно примыкает к последнему. «Прибавление» было написано в 1782—1783 г., за год-два до смерти философа. За это время появилось много оригинальных работ Дидро, углубивших и значительно продвинувших вперед идеи, впервые высказанные в «Письме о слепых»; вместе с тем некоторые из научных положений его устарели, а уступки деизму стали слишком очевидны.

Это сознавал и сам Дидро; однако он не последовал совету Нэжона вернуться ко всему написанному ранее с целью его пересмотра. Дидро в этом отношении придерживался мнения, высказанного Даламбером Вольтеру: «время поможет разделить то, что мы думали, от того, что мы говорили». Поэтому, естественно, возвращаясь к «Письму о слепых», Дидро ограничился добавлениями, не касаясь тех компромиссных положений, которые в свое время были вызваны осторожностью. Цель «Прибавления», по мнению Дидро, заключалась лишь в том, чтобы подтвердить те факты, которые остались неопровержимыми, и исправить допущенные ошибки.

Некоторые ученые, стремящиеся показать, что на склоне лет Дидро, если не возвращался к идеализму, то, во всяком случае, не был последовательным материалистом, пытались со-

слаться на ложно толкуемые замечания Дидро к приводимым им фактам. Приложил к этому руку и Ассеза, снабдив «Прибавление» примечанием Б. Деннинга. Смысл его состоит в том, что «Прибавление» способно вывести из заблуждения тех людей, которые придерживаются мнения о страсти, твердости и решительности, с какими писались все произведения Дидро.

Читатель увидит из «Прибавления», что это не так, что если время охладило полемическую страсть, с которой писалось «Письмо о слепых», то, во всяком случае, Дидро остается твердо убежденным сторонником идей, высказанных в 1749 г.

Как и «Письмо о слепых», «Прибавление» носит на себе черты антиисторизма в решении проблемы познания. И здесь остается незамеченным наше активное воздействие на мир, отсутствует взгляд на чувственность, как практическую деятельность, — недостатки, свойственные механистическому материализму XVIII века, преодоленные окончательно лишь диалектическим материализмом.

<sup>1</sup> *Жан Жак Руссо* (1712—1778)—идеолог мелкой буржуазии, в области философии представитель правого крыла просветителей. Разделяя ненависть последних к государственному строю и церкви, Руссо противостоял буржуазному материализму, усматривая в цивилизации губительное влияние на общество и противопоставляя ей идеал первобытного состояния человека («Рассуждение о науках и искусстве», 1749). По своим социально-политическим взглядам Руссо стоял выше других просветителей, оказав сильное влияние на деятелей французской революции. В вопросах воспитания Руссо примыкал к Локку («Эмиль» 1762), стоя на точке зрения развития естественных задатков человека, первым условием к чему считал устранение насилия и принуждения. Этими идеями были проникнуты его романтические планы воспитания, об одном из которых и упоминает Дидро.

<sup>2</sup> *Жак Давиель* (1696—1762)—французский хирург, специалист по глазным болезням, составил себе репутацию множеством удачных операций.

<sup>3</sup> *Ж. Ф. Мармонтель* (1723—1799)—французский литератор, один из первых отозвавшийся на призыв Дидро работать в «Энциклопедии», в которой был главным редактором статей по литературе. Автор романа «Велизарий». В своих мемуарах оставил воспоминания о Дидро.

<sup>4</sup> *Жан Батист Расин* (1639—1699)—французский драматург, крупнейший представитель ложноклассической поэзии. В его трагедиях «Андромаха», «Британник», «Ифигения», «Федра» и др., сохранивших придворно-аристократическую форму, ощущается влияние растущей буржуазной идеологии. Поэзия Расина почиталась за образец красноречия, изящества и тонкого выражения чувств.

<sup>5</sup> *Иоган Себастьян Бах* (1685—1750)—немецкий композитор. Объединяя достижения так называемого многоголосного стиля с приемами гармонического стиля, творчество Баха является высшей ступенью музыкального развития эпохи.

<sup>6</sup> «*Mercure de France*»—периодический орган, основанный в 1672 г.

<sup>7</sup> *Эно*—доверенный королевы, который, по выражению Лансона, «щадил философов, хотя не любил их, а они щадили его, не доверяя ему».

<sup>8</sup> *Колле*—современный Дидро поэт, автор исторической комедии «*La Partie de chasse de Henri IV*», пользовавшейся в свое время большим успехом у публики.

<sup>9</sup> *Реверси, медиатор и кадрили*—карточные игры.

## Письмо Вольтеру

Письмо Вольтеру было написано 11 июня 1749 г. Оно вызвано возражениями Вольтера, которому Дидро в свое время послал копию «Письма о слепых». Еще ранее (в 1738 г.), касавшийся в работе о Ньюtone психологии слепых в связи с объяснением теории света Беркли, деист Вольтер был сильно задет материалистической трактовкой проблемы у Дидро и поспешил высказать по этому поводу свое несогласие. В своем письме к Дидро Вольтер писал о том, что, конечно, бесстыдно утверждать, что знаешь бога и причины создания им всего существующего, но очень дерзко отрицать его существование.

Высказывая свое уважение Вольтеру, Дидро ответил на эти возражения не менее решительно, чем в самом «Письме», но в почтительном тоне, с реверансами по адресу своего высокого корреспондента и, чтобы не оскорбить его взглядов, счел за лучшее свалить вину в атеизме на Саундерсона. Позже, однако, из статьи «Слепой» в «Энциклопедии» выяснилась вымышленность атеистических воззрений Саундерсона.

Все смягчения атеистических выводов, на которые в письме идет Дидро, вызваны исключительно глубоким уважением к независимости и неподкупности суждений Вольтера, к его за-

слугам в просвещении. Это понятно, хотя бы из того, что все место письма от физико-телеологической формулировки о «чудесном порядке» до признания веры в бога и неясных намеков на «предубеждения» атеистов содержится между истолкованием материалистических взглядов Саундерсона и собственным атеистическим выводом.

Уступая Вольтеру, Дидро, переживший уже непосредственное влияние Спинозы на свое мировоззрение, заявляет, что не материя есть модификация мысли, а, наоборот, мысль—модификация материи (взгляд, который позже нашел свое развитие в «Мыслях об объяснении природы»), и притом не при помощи посторонней силы, а из нее самой, из ее внутреннего строения.

### **Мысли об объяснении природы и философские принципы**

«Мысли об объяснении природы» были написаны в 1754 г. Им предшествовали, с одной стороны, суждения Дидро, высказанные впервые в «Философских мыслях», послуживших незрелой прелюдией к материалистическим принципам «Письма о слепых», а с другой стороны, углубленная работа Дидро, в связи с изданием «Энциклопедии», над современным естествознанием и изучением Лейбница и особенно Бэкона. Последнее было вызвано необходимостью осмыслить и привести в связь те достижения науки, с которыми она пришла ко второй половине XVIII века.

По своей цели и даже по форме «Мысли» примыкают к «Новому органону» Бэкона. Если у последнего задача познания сводилась к описанию и классификации данного в опыте и к индуктивным выводам из него, то Дидро в «Мыслях» пытается наметить программу синтетического объяснения природы и дать стройную натурфилософскую систему.

Прямым поводом к постановке методологических задач естествознания послужила работа Мопертюи о всеобщей системе природы («De universali naturae Systemate»), появившаяся в 1751 г. под псевдонимом доктора эрлангенского университета Баумана. В осторожной форме Дидро возражает против теории Мопертюи, наделившего молекулы высшей психической деятельностью.

Удерживая идеи Мопертюи о материализации лейбницевской монады, Дидро утверждает новый взгляд на единство и взаимо-

связь явлений природы, на их превращение, развивая точку зрения эволюции органических форм. Изобилуя догадками о будущем естественных наук, «Мысли» одновременно ставят задачи дальнейшего научного исследования ряда проблем. К разрешению их Дидро возвращается в последующих своих произведениях. («Разговор Даламбера с Дидро», «Сон Даламбера», «Элементы физиологии»).

Таким образом, после «Письма о слепых», «Мысли» являются важнейшим произведением, в котором материализм Дидро находит свое завершение. Те, кто умел читать у Дидро между строк, но сознательно использовал это для искажения его выводов, как например Дамирон, нашли в «Мыслях» лишь неопределенные следы веры в существование бога и души. Но смягчения, на которые идет Дидро в этом произведении, заключая свои атеистические высказывания между противоречащими всей концепции «Мыслей» строками «Молитвы», были вызваны новыми нападениями духовенства на «Энциклопедию» и ее редактора.

Хотя Дидро в своем постскриптуме к краткому введению к «Мыслям» и дал читателю ключ к правильному пониманию последних, тем не менее невежественные преследователи Дидро не могли найти в них достаточного материала для того, чтобы вторично бросить философа в тюрьму. Не осилив глубокого смысла произведения, критики ограничивались беззубой сатирой типа «Маленьких писем о великих философах» и «Воспоминаний о кокуа». Одни видели в гипотезах и предвидениях Дидро лишь туманности философских суждений. Другие—подобно Фридриху II с его отзывом («Вот книга, которую не буду читать: она написана не для меня, бородача») —упрекали Дидро в высокомерии, которое усматривали в его обращении: «Молодой человек, возьми и читай». Нашлись критики, которые не могли ничего сказать, кроме обвинения Дидро в дерзости по отношению к математикам.

Важно, однако, то, что начиная от мещански-отсталого судьи Клемана, который не отказал автору «Мыслей» в богатстве идей, редкой пронизательности и исключительной просвещенности, до Гримма, восхищавшегося в «Переписке» формой и содержанием «Мыслей», —современники почувствовали в последних голос сильного философа. «Мысли» оказали большое влияние на дальнейшее развитие философии просвещения и естествознания, а за их автором упрочилась репутация «немецкой головы».

Органическим дополнением к «Мыслям» являются «Философские принципы, о материи и движении», хотя они и были написаны спустя 16 лет. «Это произведение—писал Нэжон, помещая «Философские принципы» в «Древней и современной философии»,—никогда не было напечатано. Одна опубликованная анонимно в 1770 г. диссертация подала повод к написанию его. Один друг автора, бывший также другом Дидро, попросил его просмотреть эту диссертацию и откровенно высказать о ней свое мнение. Просмотр навел Дидро на размышления, которые читатель найдет ниже. Из них видно, как полезно было для Дидро изучение химии, которой он занимался в продолжение многих лет, обнаруживая в этих занятиях такую же способность, какую он проявлял в области всех наук. Умение применять эти столь необходимые для него познания, без которых он не мог быть ни хорошим естественником, ни хорошим философом, заставляет нас сожалеть о том, что ему не пришлось слушать лекций у Руэлля (учитель Лавуазье—А. Л.). Только в лаборатории этого великого химика он нашел бы ответ на большинство из тех вопросов, которыми он заканчивает свои «Мысли об объяснении природы»; или, лучше сказать, он никогда не поставил бы их, ибо многие из этих его недоумений не находят разъяснения в метафизике, даже самой смелой, и легко разрешаются в химии. Этот драгоценный отрывок философии Дидро я опубликовал по собственному подлиннику его».

<sup>1</sup> *Джеймс Брэдли* (1692—1762)—английский астроном, открывший явление аберрации света.

<sup>2</sup> *Лемонье* (1715—1799)—французский астроном, учитель Лаланда. К 1754 г. он опубликовал лишь I т. своих «Наблюдений над луной, солнцем и постоянными звездами».

<sup>3</sup> *К. Гораций Флакк* (65—8 до н. э.)—римский поэт, мастер латинского стиха, долгое время служивший образцом для других поэтов.

<sup>4</sup> Будучи метафизиком в смысле антиисторичности своего метода, Дидро, конечно, оказался неправ в отношении дальнейшего значения геометрии и ее развития. Вместе с тем возражения Дидро против геометрии, как «науки наук», и его критика универсальности геометрического метода являются правильными.

<sup>5</sup> *Иоган Бернулли* (1667—1748)—математик, известен ра-



ботами в области вариационного исчисления. В XVII—XVIII веке были также хорошо известны его братья-математики.

<sup>6</sup> *Леонард Эйлер* (1707—1783)—немецкий математик и физик. Автор трудов по механике, интегральному и вариационному исчислению.

<sup>7</sup> *Пьер Мопертюи* (1698—1759)—французский философ, математик и астроном. Автор многих работ о строении земли, по географии и астрономии. По приглашению Фридриха II был президентом берлинской Академии. В области философии Мопертюи занимал позицию между материалистическими взглядами Дидро и Ламеттри, с одной стороны, и учением Лейбница—с другой. Сделав шаг вперед от последнего в смысле материализации монады, Мопертюи, однако, не смог до конца преодолеть идеалистических воззрений на материю. Дидро в дальнейшем подвергает критике противречивость позиции Мопертюи.

<sup>8</sup> *Бертен де Фонтэн* (1705—1771)—французский математик, член парижской Академии наук. Работал главным образом в области дифференциальных уравнений. Будучи самоучкою в математике, Фонтэн в своих самостоятельных трудах часто открывал то, что уже было найдено до него.

<sup>9</sup> *Луи Жозеф Лагранж* (1736—1813)—знаменитый французский математик, автор целого ряда замечательных работ по анализу чисел, главнейшей из которых является «Аналитическая механика».

<sup>10</sup> *Пьер Ферма* (1608—1655)—выдающийся математик XVII века, наряду с Декартом создал аналитическую геометрию; автор теории вероятностей.

<sup>11</sup> *Архимед* (287—212 до н. э.)—греческий математик и механик. К ряду решенных им вопросов, сохранивших свое значение и в современной геометрии и механике, относятся: теория круга, закон рычага, законы о поверхностях и объеме тел. Своими работами Архимед внес в геометрию элементы измерения (метрику).

<sup>12</sup> Дидро имеет в виду библейский рассказ, содержащийся в «Книге бытия» (глава 2), известный под названием вавилонского столпотворения. По этому библейскому мифу, предки Ноя, прежде чем расселиться в Сенаарской равнине, предприняли постройку города с башней до небес, чтобы создать себе славу; бог смешал их языки и рассеял их по всей земле.

<sup>13</sup> Дидро, повидимому, имеет в виду издателя «Опытов» Мон-

тэня *Коста* (Лондон, 1724), вложившего много своего в примечания к «Опытам».

<sup>14</sup> *Бауман*—псевдоним, под которым Мопертион выпустил свою диссертацию, упоминаемую в примечании Дидро. В лионском издании собрания сочинений эта диссертация носит заглавие «Система природы». Дидро принимает теорию Баумана, как одно из предположений, имеющее значение для философского обоснования идеи всеобщей связи явлений природы и эволюции органических форм.

<sup>15</sup> Дидро имеет в виду ученого *Трембля*, обнаружившего у обыкновенного пресноводного полипа чувствительность к свету всей поверхностью тела.

<sup>16</sup> Имеется в виду *Шарль Бонно* (1720—1793)—естествоиспытатель и философ. Вслед за Бонно в XVIII веке полагали, что травяные вины—гермафродиты. Позже этот взгляд был оставлен.

<sup>17</sup> Поднимаемая проблема связи рационального и эмпирического в познании, Дидро, как это вытекает из предыдущих и последующих мыслей, полезность философии ставит в зависимость от ее связи с конкретной действительностью не только в смысле накопления фактов, но и в смысле их систематизации и обобщения. Он полагает, что абстрактное мышление столь же губительно для философии, сколь вредно слепое следование фактам.

<sup>18</sup> *Эпикур* (342—275 до н. э.)—греческий философ, материалист, ученик Демокрита, на атомизме которого и построена его философия. В понимание атома Эпикур вводит новые моменты—понятие тяжести и случайности. Эпикур отрицал бессмертие и онтологическое значение бога. В природе все совершается согласно закону механической причинности. В теории познания Эпикур стоит на сенсуалистической позиции. По учению Эпикура, философия путем понятий и правильного знания содействует счастливой жизни. От сочинений Эпикура до нас дошли лишь отрывки. Эпикуру и изложению его философии Дидро посвятил в «Энциклопедии» специальную статью «Эпикуреизм», перевод которой был опубликован в 1923 г. в № 4—5 журнала «Под знаменем марксизма».

<sup>19</sup> *Тит Лукреций Кар* (99—55 до н. э.)—римский философ-поэт. Его единственная дошедшая до нас поэма «О природе вещей» представляет в основном художественное изложение материалистических воззрений Эпикура. Высказанные Лукрецием мысли о происхождении и развитии живых существ оказали

большое влияние на французских материалистов, в частности, на Ламеттри и Дидро.

<sup>20</sup> *Аристотель* (384—322 до н. э.)—греческий философ-систематик. Ученик Платона, Аристотель в учении о форме, идее и материи расходится с учителем. По словам Энгельса, Аристотель в области логики исследовал уже все существующие формы диалектического мышления и является «Гегелем античного мира». Аристотель оставил много произведений по логике, психологии, этике, поэтике, политике и различным отраслям естествознания.

<sup>21</sup> Подразумевается *Ньютон*, который открыл спектр, наблюдая преломление светового луча через призму.

<sup>22</sup> Предположение, что земля представляет собой плотное ядро из литой материи, отчасти консолидированной и превращенной в стекло,—принадлежит Бюффону, на которого здесь и ссылается Дидро. Естествоиспытатель *Жорж Бюффон* (1707—1788) действительно заслуживает имени философа. Автор незаконченной многотомной «Естественной истории», в составлении которой принимали участие Добертон и другие, Бюффон внес большой вклад в просветительское движение популяризацией наблюдений и познания природы и своими широкими обобщениями гипотез о строении мира, о последовательных преобразованиях животного и растительного царств. Вместе с тем Бюффон обладал большим художественным талантом. Его знаменитая речь о стиле, произнесенная в Академии в 1753 г., до сих пор не утратила своего значения.

<sup>23</sup> Во времена Дидро магнетизм и электричество принимались за особый род материи. Однако предположение Дидро о северном сиянии приближается к истине, ибо, действительно, последнее связано с электрическими явлениями, а именно, с электронами, которые исходят от солнца, отклоняются в стратосфере под влиянием магнитного поля земного шара к полюсам и, сталкиваясь с частицами воздуха, заставляют их светиться. Следует отметить, что по многим вопросам, поставленным Дидро в связи с электричеством, особенно в «Третьей группе догадок», были произведены опыты, давшие результаты, которых не мог предвидеть Дидро.

<sup>24</sup> Дидро намекает на спор о первенстве Ньютона и Лейбница в открытии дифференциального исчисления.

<sup>25</sup> *Георг Эрнст Сталь* (1660—1734)—германский врач и крупный химик. Основатель теории флогистона. Рассматривая все физиологические процессы с точки зрения химии, Сталь,

однако, сочетал этот взгляд с теорией, согласно которой все процессы в организме являются результатом душевной деятельности. Эти идеалистические мотивы и имеет в виду Дидро под словом «туманность».

<sup>26</sup> Имеется в виду книга Франклина «Опыты и наблюдения над электричеством». *ВенIAMин Франклин (1707—1790)*—американский ученый и государственный деятель, борющийся за независимость Соединенных штатов. Ему принадлежит ряд важнейших открытий в области электричества, в частности, изобретение громоотвода.

<sup>27</sup> *Энтимема*—в логике умозаключение, в котором дана только одна посылка, в то время как другая не высказывается, но имеется в виду. Например, если дан полный силлогизм: все лгуны—трусы; Кай—лгун; следовательно, Кай—трус, то энтимематически он может быть выражен так: Кай—трус, так как он лгун.

<sup>28</sup> *Карл Линней (1707—1778)*—шведский естествоиспытатель, сделал первую попытку систематики и классификации видов. Линнеевская классификация была чисто искусственной и не отражала объективного развития организмов; она соединяла, например, в одном классе мягкотелых с инфузориями; количество видов и их отличительные признаки Линней считал постоянными. Заслугой Линнея является введение человека в систему животных. Линней помещал человека наряду с обезьяной в один отряд приматов.

<sup>29</sup> *Доктор из Эрлангена*—Мопертюи. Он находил, что в движении организмов есть «какая-то сила, свойственная мельчайшим частицам, из которых составлено животное, и распространенная в каждой из них; она характеризует не только каждый вид животного, но и каждое животное одного и того же вида, поскольку каждое из них различно и по-своему движется и чувствует, тогда как все они неизбежно стремятся к тому, что содействуют сохранению их жизни, и обладают естественным отвращением, безусловно защищающим их от того, что могло бы им вредить».

<sup>30</sup> «*Nouvelles Ecclésiastiques*»—«Церковные новости»,—основанные аббатом Ф. Буше, выходили с 1728 по 1803 гт.

<sup>31</sup> «*Lettres à un Américain (sic!) sur l'Histoire naturelle de M. de Buffon et sur les observations microscopiques de M. Needham*»—«Письма к американцу о естественной истории Бюффона и о микроскопических наблюдениях Нидгэма»—принадлежит аббату Линьяк и появились в 1751 г. в Гамбурге.

<sup>32</sup> *Шарль Дюкло* (1704—1772)—литератор, автор пескольных романов и биографии Людовика IX, заведывал изданием академического словаря.

<sup>33</sup> *Луи Жан Мари Добентон* (1716—1749)—врач, натуралист; сотрудник Бюффона по «Естественной истории», обрабатывавший для нее материалы по анатомии.

<sup>34</sup> Дидро имеет в виду авторов этих работ: Даламбера, Вольтера, Монтескье и Бюффона.

<sup>35</sup> В этом противополжении физика систематику Дидро скрывает противопоставление материалистической философии и телеологии, которая не исследует истинных причин вещей, а только спрашивает и отвечает произвольными догадками, за которыми всегда следует конечная причина—бог.

<sup>36</sup> *Клавдий Гален* (ок. 131—200)—римский физиолог и философ, заложивший своими работами по анатомии и физиологии основы патологии. В области философии был эклектиком и придерживался основ новоплатоновской и стоической школ.

<sup>37</sup> *Герман Бургав* (1668—1738)—голландский врач и физиолог. Занимал кафедры теоретической и практической медицины и ботаники в лейденском университете. Создатель клинического лечения и организатор первой клиники. Бургав славился как прекрасный преподаватель, систематик и врач-практик. Среди его многих учеников-врачей были Ламеттри и Галлер. В своих философских воззрениях был деистом.

<sup>38</sup> *Альбрехт фон Галлер* (1708—1777)—ученик Бургава, крупнейший физиолог и анатом, в то же время религиозно-верующий человек. Галлер составил эпоху в истории физиологии. Он сформулировал теорию возбудимости и чувствительности, как специфических свойств живой материи. Эта теория явилась научным обоснованием для философских предположений французских материалистов, хотя некоторые из них, в том числе и Дидро, расходились с Галлером по частным вопросам.

<sup>39</sup> Подразумевается Лейбниц.

<sup>40</sup> Речь идет об однородности и разнородности материи. По Дидро, материя разнородна—гетерогенна. Нэжон, настаивая на этом, говорит, что к такому заключению Дидро привел химик Руэаль. Этот взгляд ставит Дидро выше механического понимания материи, присущего философам XVIII века, и приближает его к современному нам представлению о материи; однако разрешить вопрос все же Дидро не смог в силу ограниченности естествознания своей эпохи. Мысли о развитии универсальной гетерогенной материи вплоть до возникновения

разнообразных органических существ, которые здесь формулируются Дидро, снова ставятся им в «Философских принципах материи и движения» и в «Элементах физиологии».

### Разговор Даламбера с Дидро, Сон Даламбера и Продолжение разговора

Эти произведения были написаны в 1769 г. Не предназначенные к печати, они давались для чтения немногим лицам. О «Продолжении» 2 сентября 1769 г. Дидро писал Софии Воллан: «...Вас особенно удивит то, что в нем нет ни слова о религии и ни одного неприличного слова. Бьюсь об заклад, что вы не догадаетесь, что это такое».

Диалоги затрагивали многих лиц. С одной стороны, они влагали в уста некоторых (Даламбер, Борде) решительные материалистические мысли, с другой стороны, затрагивали власти и, наконец, облакали в литературную форму то, о чем считалось неприличным говорить вслух. Леспинас через Даламбера настаивала на уничтожении рукописи, и Дидро пошел на эту жертву. Посылая Даламберу свои «Элементы физиологии», Дидро писал: «Я удовлетворил Ваше желание, поскольку трудность работы в короткий срок, данный мне, позволила это сделать. Надеюсь, что история этих диалогов оправдывает их недостатки. Удовольствие отдать себе отчет в своих мнениях вызвало их на свет; нескромность некоторых лиц извлекла их из мрака неизвестности; встревоженная любовь пожелала их уничтожения; тираническая дружба настояла на этом, а слишком уступчивая—согласилась, и они были разорваны. Вы хотели, чтобы я собрал клочки, и я сделал это... Они представляют собою не больше как разбитую статую, но так разбитую, что почти не было возможности для скульптора восстановить ее. Вокруг него кучи обломков, которых он не мог поставить на свое место...»

Дидро был совершенно уверен, что от диалогов ничего не осталось, кроме упомянутых им отрывков и развернутых заметок по вопросам, затронутым в них, т. е. «Элементов физиологии», которые публикуются во II томе настоящего издания сочинений. Однако копии сохранились и впервые были опубликованы в 1830 г.

«Эти диалоги,—писал Дидро Даламберу,—вместе с некоторыми записками по математике, которые я, может быть,

когда-нибудь решусь опубликовать, были единственными из всех моих произведений, которыми я любовался».

«Разговор Даламбера с Дидро», «Сон Даламбера», где Даламбер продолжает свою беседу с Дидро во сне, в то время как сидящая у его кровати Леспинас записывает его слова, и «Продолжение разговора», в котором Леспинас и доктор Борде завершают обмен мнений на ту же тему, представляют единое целое. Они были написаны в обычной манере Дидро излагать свои мысли так, как они «выходят из-под пера», отражая в ясной, превосходной форме тот литературный и мировоззренческий уровень, на который поднялся Дидро в это время.

Взаимно связанные общей идеей, эти три произведения представляют собою смелое изложение тех проблем, которые, еще как стесненные вынужденными телеологическими придатками, были поставлены в предыдущих произведениях после «Письма о слепых». Они представляют живую основу, на которой возможен был ясный материалистический взгляд о единстве органической и неорганической природы и признание ощущения одним из свойств движущейся материи. Они дают, насколько это позволяла общая ограниченность буржуазного материализма XVIII века, в основном правильные выводы из данных физиологии, обгоняющие выводы самой этой науки, что выразилось в философском предвидении дальнейшего ее развития.

Совершенно прав Геттнер, отметив, что разговор «по своему драматизму и диалектической тонкости напоминает диалоги Платона». Сам Дидро говорил об этом в одном из писем к Софии Воллан (11 сентября 1769 г.): «...Я избрал бы своими действующими лицами Демокрита, Гипократа или Левкиппа, но узкие границы древней философии стесняли бы мое стремление к правдивости, и я слишком растерялся бы в ней. Диалоги в высокой степени сумасбродны и в то же время философски весьма глубоки. Я искусно вкладываю свои идеи в уста бредящего во сне человека: часто приходится придавать мудрости вид безрассудства, чтобы открыть ей доступ,—замечание: «но это не так бессмысленно, как можно было бы подумать», я ставлю выше, чем такое: «послушайте-ка, вот это весьма разумно».

### Разговор Даламбера с Дидро

<sup>1</sup> *Этьен Морис Фальконэ* (1716—1791)—французский скульптор, автор памятника Петру I (в Ленинграде), скульптур «Купальщицы», «Пигмалион», «Амур» и др. «Жан-Жак скульптуры»—так называл Дидро Фальконэ, на развитие художественных идеалов которого оказал огромное влияние.

<sup>2</sup> *Гюз*—скульптор, член Академии, автор статуи Мопертюи (отца) в церкви св. Рока.

<sup>3</sup> Дидро намекает на мысль, которую, якобы, защищал Фальконэ. «Он сто раз мне рассказывал, что ни гроша не даст за то, чтобы закрепить вечное существование за самой превосходной из своих статуй». Так писал Дидро в статье, посвященной салону 1765 г., о ревности Фальконэ к признанию современниками и о равнодушии к признанию потомством.

<sup>4</sup> Имеется в виду Даламбер, который младенцем был найден на ступеньках церкви, куда подбросили его родители.

<sup>5</sup> *Де-Тансэн*—мать Даламбера.

<sup>6</sup> *Латуш*—офицер, брат поэта, отец Даламбера.

<sup>7</sup> Имеется в виду так называемая теория предсуществования, согласно которой эмбрион представляет собою уже вполне сформировавшееся животное, но лишь в миниатюрном размере.

<sup>8</sup> Декарт (см. прим. 8 к «Письму о слепых»), отрицая психическую жизнь животных, называл их естественными машинами, целесообразность движений которых выводил из механической связи частей нервной системы. Иронизируя по поводу этого допущения, Дидро далее подвергает критике понятие Декарта об инертной материи и учение Лейбница о нематериальной, но деятельной монаде. Дидро признает лишь единую субстанцию и ее свойства: движение и способность к чувствительности.

<sup>9</sup> Намек на произведение материалиста Ламеттри «Человек-машина».

<sup>10</sup> *Беркли*—см. прим. 16 к «Письму о слепых».

<sup>11</sup> Здесь в смысле воздержания от суждения о достоверности истины. Даламбер по своим философским убеждениям был скептик.

<sup>12</sup> Образ «осла Буридана» приписывается французскому философу *Жану Буридану* и изображает осла, который, находясь на одинаковом расстоянии от двух стогов сена, погибает с голоду, не имея возможности выбрать один из них.



## Сон Даламбера

<sup>1</sup> *Борде* — врач-физиолог, автор «Исследований пульса» (1756).

<sup>2</sup> *Леспинас* — подруга Даламбера, сначала бедная компаньонка его матери, затем хозяйка демократического салона.

<sup>3</sup> Так Вольтер назвал английского физика *Нидгэма* (1713—1781), работа которого о физических и философских исследованиях природы и религии (1769) положила начало ожесточенной полемике с Вольтером. Нидгэм в своих «Новых открытиях при помощи микроскопа» защищает теорию самопроизвольного зарождения организмов.

<sup>4</sup> *Бернар Фонтенель* (1657—1757) — поэт, драматург и философ. Член французской и берлинской Академий и лондонского Королевского общества. Своими сочинениями обрушился на религию. Наиболее значительными его произведениями являются «Беседы о множественности миров» и «История оракулов».

<sup>5</sup> Эти мысли встречаются также у Робинэ, Ламеттри и Ламарка в его «Философии зоологии».

<sup>6</sup> Об *отце Кастеле*, иезуите, Дидро говорит также в «Письме о глухонемых». Там речь идет о так называемом зрительном окуляре, изобретении Кастеля, — ленте, на которой даны цвета с незаметными, неразличимыми переходами от одного к другому. В данном случае имеются в виду неопределенные, неуловимые, по мнению Даламбера, переходы от одного царства природы к другому.

<sup>7</sup> *Архит* (IV век до н. э.) — греческий математик из Тарента; последователь Пифагора.

<sup>8</sup> Ссылаясь на « *Mercure de France*» 1766 г., Бюффон писал о существовании девушки с одним глазом. *Циклоп* — мифическое одноглазое существо (см. «Одиссею» Гомера).

<sup>9</sup> *Франсуа Лапейрони* (1678—1747) — первый хирург Людовика XV, основатель хирургической академии. Приводимый Дидро случай изложен в I т. «*Mémoires de l'Académie de chirurgie*».

<sup>10</sup> *Публий Овидий Назон* (43 до н. э. — 17 н. э.) — римский поэт эпохи императора Августа, в «*Метаморфозах*» поэтически обработал мифологические мотивы превращения богов, полубогов и людей в зверей, птиц и растения.

<sup>11</sup> *Шарль Лакондамин* (1701—1744) — французский путешественник и математик. Вместе с Ф. Буше и Годеном

в 1735 г. по поручению Академии измерял дугу меридиана в Перу.

<sup>12</sup> «*Gazette de France*»—официальный орган того времени; редакторами его с 1763 г. были Арно и Сюар.

<sup>13</sup> *Меконий*—кал, выделяемый новорожденными.

<sup>14</sup> Имеется в виду Даламбер.

<sup>15</sup> *Жак Вокансон* (1709—1782)—знаменитый французский механик. Известен своими автоматами, исполнявшими сложные движения (флейтист, утка).

<sup>16</sup> *Андрэ Гретри* (1741—1813)—бельгийско-французский композитор, приверженец речитативного стиля; автор многочисленных, еще в XIX веке очень популярных комических опер (особенно «Рауль Синяя борода», «Ричард Львиное сердце»).

<sup>17</sup> *Генрих IV* (1589—1610)—вождь гугенотов; после смерти Генриха III начал борьбу за французский престол, при поддержке Нидерландов и Англии, с феодальной «католической лигой», опираясь на буржуазию и крестьянство. Дидро намекает на необходимость борьбы с усилившейся деспотией Людовика XV.

### Продолжение разговора

<sup>1</sup> *Гиппократ* (460—356 до н. э.)—греческий врач, автор многочисленных сочинений, в которых нашло полное отражение состояние медицинских знаний эпохи расцвета Греции. Гиппократ вошел в историю медицины, как один из первых основателей так называемой клинической медицины. В качестве основы последней Гиппократ видел длительный врачебный опыт и тщательность наблюдений, на основании которых должны даваться прогнозы и применяться индивидуализированные методы лечения.

<sup>2</sup> *Марк Порций Катон Старший* (234—149 до н. э.)—древнеримский государственный деятель; автор записок по истории Рима, суровый ревнитель строгости нравов.

<sup>3</sup> Здесь выражены элементы эзотерической морали, морали «для немногих избранных». Такого рода этический эзотеризм был свойственен буржуазному материализму на ранних этапах его развития.

<sup>4</sup> *Мария Дюбарри*—любовница Людовика XV, сменившая г-жу Помпадур в 1769 г.

<sup>5</sup> Дидро явно использует здесь случай, чтобы лишний раз посмеяться над Реомюром, который считал возможной помесь кролика с курицей. В связи с этим Галлер в «Физиологии» писал: «Хотя дружба Реомюра делает мне большую честь,

но я никогда не мог убедиться, что, как он говорит, между кроликом и курицей бывает настоящая связь».

<sup>6</sup> Явный намек на Людовика XV и его метрессу Дюбарри, которой король только что подарил карету стоимостью в 60 000 ливров, что вызвало возмущение населения и поток сатирической литературы.

<sup>7</sup> *Мельхиор де Полиньяк*, кардинал (1661—1742)—автор дидактической поэмы, выдержанной в христианском духе и направленной против произведения римского поэта-философа I века до н. э. Лукреция Кара «О природе вещей».

## Указатель имен \*

- Аббали — 120, 458  
\* Абеляр — 62  
Август — 113, 182, 456, 493  
Августин — 113, 116—119, 166, 421, 456, 466  
\* Авельянед — 467  
Авраам — 162, 294, 465  
\* Адонис — 459  
Аккора — 128, 459  
Александр Галесский — 157, 465  
Амфитрита — 411.  
Анзкрон — 203, 469  
\* Анан — 467  
Ангийар — см. Нидгэм  
Антуан — 384  
Аполлоний Тианский — 126, 459  
Аристипп — 313  
Аристотель — 310, 465, 374, 487  
Арно — 26, 95, 117, 413, 450, 456, 434  
Архимед — 303, 485  
Архит — 398, 493  
\* Ассеза — 401, 480  
Атлант — 181  
Аттик — 138, 463  
Афанасий — 118, 457  
\* Афродита — 463  
Бах — 234, 481  
Бауман д-р — см. Мопертюи  
\* Беккария — 52  
Беркли — 145, 181, 248, 379, 457, 464, 468, 475, 476, 478, 481, 492  
\* Бернар — 26  
Бернулли, И. — 302, 484  
\* Берсо — 86  
Бертэн — 347  
Берюйе — 111, 455, 458  
Бласи де — 282, 289  
Боккаччо — 203, 469  
Бонне — 309, 486  
Борде — 383—390, 392—443, 490, 491, 493  
Бредли — 301, 484  
Британик — 96, 450  
\* Бриэр — 453  
Брут — 54, 85  
Бургав — 348, 489  
\* Буридан, Жан — 492  
Буше — 81, 205  
Буше, Ф. аббат — 488, 493  
Бэйль, П. — 12, 119, 145, 457  
Бэкон, Ф. — 44, 70, 482  
Бюффон — 28, 38, 300, 306, 307, 318, 345, 346, 487, 488, 489, 493  
\* Вандель — 35, 36, 59, 67  
Ванини — 95, 449  
\* Ван-Лоо, К. — 60, 81  
\* Верне — 82, 83

\* Звездочками отмечены имена, встречающиеся только в вступительной статье и примечаниях.

- Воргилий — 58, 182, 188, 199,  
221, 468  
Вокансон — 424, 494  
\* Воллан, София — 25, 54, 61, 62,  
65, 490, 491  
Вольтер — 17—20, 26, 27, 31,  
47, 52, 56, 58, 65, 100, 105,  
145, 178, 226, 292, 346, 390,  
424, 453, 454, 463, 468, 478,  
479, 481, 482, 489, 493  
Вульстон — 145, 464
- Гален — 348, 489  
\* Галиани — 15, 24, 25  
Галлей — 246  
Галлерфон, А. — 65, 348, 489, 494  
\* Гаран — 60  
Гартсукер — 97, 452  
\* Гассенди — 70  
\* Гегель — 49, 487  
\* Гельведий — 22, 25, 26, 29—33,  
47, 54, 57, 58, 61, 65  
\* Генрих III — 494  
Генрих IV — 435, 481, 494  
\* Гераклит — 449  
\* Гете — 66  
\* Геттнер — 462, 491  
Гильмер — 222, 473  
Гиппократ — 437, 491, 494  
Гоббс — 36, 70, 97, 450, 451  
\* Годен — 493  
\* Голицын, Д. А. — 33, 52, 54, 57  
\* Гольбах — 19, 22, 24, 25, 27,  
29—31, 33, 55, 60, 63, 66,  
460, 463, 472  
\* Голяр — 459  
Гомер — 100, 133, 453, 461, 476,  
493  
Гораций — 58, 63, 85, 148, 178,  
188, 202, 280, 301, 437, 484  
\* Грез — 82, 83, 84  
Гретри — 424, 494  
\* Гримм — 20, 25, 26, 30, 33, 45,  
49, 50, 52, 56, 61, 84, 483  
Григорий Великий — 110, 455  
Гус, Ян — 145, 463  
Гюэ — 120, 369, 458, 492
- \* Давид — 85  
Давнель — 281, 282, 480  
\* Дакоста, У. — 458  
\* Даламбер — 20, 25, 26, 28, 43,  
44, 46, 47, 52, 58, 275, 302,  
346, 367—375, 377—383, 385,  
395—397, 401, 408, 415—417,  
422, 424, 427—429, 431—434,  
436, 453, 464, 476, 478, 479,  
483, 489—494  
\* Дамирон — 86, 483  
\* Дарвин — 73  
\* Даржансон — 44, 470  
Декарт — 12, 71, 97, 119, 191,  
224—226, 236, 246, 259, 324,  
376, 450, 451, 457, 468, 469,  
473, 477, 478, 485, 492  
\* Демокрит — 449, 486, 491  
\* Денель — 463  
\* Денинг, Б. — 480  
\* Дешан — 15  
Дидим Александрийский — 251,  
476  
\* Дидро, Дидье — 35, 87  
Диккенс — 257  
Диоген из Синопа — 231, 437,  
440, 473  
Диомед — 380  
Дионисий Галикарнасский — 113,  
129, 456  
Добнтон — 28, 300, 307, 346,  
487, 489  
Донат — 111, 455  
\* Думик — 87  
Дюбарри — 441, 494, 495  
Дюкло — 25, 203, 346, 469, 489  
\* Дюкро — 87  
\* Дюпре де Сен-Мор — 470
- Евсевий Азиатский — 251, 476  
\* Екатерина II — 20, 22—25, 46,  
48, 51—57, 63
- Жандрон — 189, 468  
Жиффар — 144, 463  
\* Жоржель — 86  
\* Жоффрен — 25, 26, 58

- \* Зевс — 461  
Златоуст — см. Иоанн Златоуст  
Зюлье — 418
- И**  
Иаков — 294  
\* Ивон — 15  
Иисус, Х. — 108, 111, 112, 117,  
125—129, 132, 142, 164, 167,  
168, 172, 173, 459, 461, 466, 467  
Илья пророк — 108, 460  
Инциф, Вильям — 257, 258, 478  
Иоанн апостол — 173, 443, 459  
Иоанн Златоуст — 118, 457  
\* Иов — 458  
Иона пророк — 108, 455  
Ионафан — 173  
Иосиф Флавий — 111, 173, 174,  
455, 466, 467  
Ирод — 174  
Исаак — 163, 294, 465  
Иуда апостол — 167, 173, 466
- \* Иабанис — 25, 26  
\* Калас — 18  
Калигула — 459  
Кальвин — 106, 145, 454  
Картуш — 97, 450  
\* Карл I — 467  
\* Карлейль — 86  
\* Каро — 87  
Кастель — 397, 493  
Кастор — 133, 413, 461  
\* Катилина — 455  
Катон, М. — 438, 494  
Квинт — 113  
\* Кенэ — 28  
Киприан — 118, 457  
Киприда — 203, 469  
Кларк — 253, 254, 256, 294, 477,  
478  
\* Клавдий — 58, 450  
\* Клеман — 483  
\* Клеопатра — 54  
Клеро — 275, 302, 464, 479  
Кливштэд — 205  
\* Колиншон — 87  
Колле — 293, 481
- Кондильяк — 26, 39, 40, 66, 70,  
248, 249, 260, 262, 263, 266,  
271, 272, 476  
Кошен — 141, 463  
\* Коперник — 452  
Кребильон-сын — 81, 203, 469  
\* Кромвель, О. — 451  
Кудворд, Рудольф — 95, 449
- \* Лавуазье — 484  
\* Лагарп — 86  
Лагранж — 302, 485  
Лакайль де — 287  
Лакондамин — 134, 412, 464, 493  
Лактанций — 113, 456  
\* Лаланд — 484  
\* Ламарк — 73, 493  
Ламетри — 33, 376, 448, 471,  
485, 487, 489, 492, 493  
Ламот — 95, 450  
Ланкло де, Нинон — 130  
\* Лансон — 481  
Лапейрони — 409, 412, 414, 493  
Латуш — 370, 492  
Лафарг де — 282  
Лафонтен — 47, 95, 203, 450, 469  
\* Лебрен — 447, 456  
\* Лебретон — 27, 43, 47, 48  
\* Левит — 458  
\* Левкишп — 491  
Леда — 133, 461  
Лейбниц — 70, 253, 254, 259, 294,  
330, 349, 452, 453, 477, 478,  
482, 485, 487, 489, 492  
Лемонье — 301, 484  
\* Ленин, В. И. — 475  
Леспинас — 26, 58, 383—396,  
398—443, 490, 491, 493  
Лесюер — 111, 456  
Ливий, Тит — 111, 455, 456  
Линней — 337, 418, 488  
\* Линьяк — 488  
Локк, Д. — 36, 40, 119, 259, 260,  
261, 274, 294, 457, 476, 478,  
480  
\* Лоу — 44, 45  
Лука апостол — 128, 459

- Лукас, Генри — 257  
 Лукреций — 299, 310, 477, 486, 495  
 \* Людовик IX — 489  
 \* Людовик XIV — 12, 447, 457  
 Людовик XV — 41, 58, 136, 463, 470, 493, 494, 495  
 Лютер — 145, 464  
 \* Лягрэнэ — 81
- \* Мабли — 15  
 Магомет — 107, 116, 122, 126, 459  
 Макиавелли — 147, 464  
 Мальбранш — 97, 451  
 Мальпиги — 97, 451  
 Мариво — 203, 245, 469, 474  
 Марк апостол — 170, 171, 172—174, 466  
 Марк-Аврелий — 132, 460  
 \* Марк — 11, 31, 39, 49, 77, 451, 457, 462  
 Мармонтель — 25, 26, 59, 85, 282, 480  
 \* Марсель — 35, 87  
 Мартен — 205  
 Массе, Жан-Баттист — 406  
 \* Матфей апостол — 459  
 \* Мекк фон — 62  
 \* Мелье — 15  
 Менипп — 97, 168—174, 450  
 Мерснус — 203  
 \* Мессалина — 450  
 Мильтон — 177, 467  
 \* Мирабо — 29  
 \* Митра — 459  
 Моисей — 108, 111, 161, 455, 465, 466  
 Молина — 106, 455  
 Молине — 260, 261, 263, 279, 478  
 Монжерон — 116, 117, 456, 457  
 Мони — 421  
 Монтеские — 11, 23, 28, 52, 78, 145, 345, 346, 489  
 Монтань — 102, 104, 119, 145, 180, 272, 278, 295, 305, 454, 468, 478, 479, 485, 486, 488
- Мопертюк (д-р Бауман) — 302, 306, 307, 338, 339, 340—342, 346, 482, 485, 486, 488, 492  
 \* Морелле — 15, 25, 26, 59, 85  
 \* Морелли — 15  
 \* Морлей — 86  
 Мушенброк — 97, 452
- Навий — 113, 114  
 \* Неккер — 26  
 Нерон — 58, 96, 450  
 Нидгэм — 390, 391, 488, 493  
 Никез из Мехлина — 251  
 Николь — 95, 117, 124, 449, 450, 456  
 \* Ной — 485  
 Ньюеитит — 97, 452  
 Ньютон — 36, 97, 148, 246, 253, 254, 256, 259, 294, 301, 311, 324, 330, 331, 314, 452, 477, 478, 481, 487  
 \* Назон — 25, 29, 30, 33, 35, 36, 53, 54, 63, 86, 87, 448, 462, 479, 484, 489
- Овидий — 411, 493  
 \* Одиссей — 477  
 \* Озирис — 459  
 Онтан де ла — 129, 459
- Павел апостол — 118, 143, 166, 459, 466  
 \* Палиссо — 86  
 \* Парменид — 449  
 Паскаль — 95, 124, 132, 450  
 Пахомий — 93, 449  
 Пелопид — 173, 466  
 Петр апостол — 128, 129, 164, 466  
 \* Петр I — 492  
 Персий — 91  
 Пиндар — 173, 466  
 Пиррон — 180, 450, 468  
 Пифагор — 237, 474, 493  
 Платон — 117, 130, 138, 310

- 449, 456, 460, 467, 468, 487,  
491  
Плутарх — 95, 449  
Полиевкт — 108, 455  
Полиньяк — 443, 495  
Поллукс — 133, 413, 461  
\* Помпадур — 25, 494  
Понтий Пилат — 112  
Прокулей — 115  
Пюизье де — 221, 473
- Рапсон — 237, 474  
Расин — 284, 481  
\* Ревьер, Мерсье де ля — 22, 53  
\* Рей Марк-Мишель — 12, 29  
\* Рейнак — 87  
\* Рейналь — 26, 66  
Реомюр — 221, 222, 275, 470,  
473, 478, 494  
\* Ривар — 453  
\* Ри, Клеман де — 36  
\* Ричардсон — 474  
\* Робинэ — 33, 493  
\* Робеспьер — 20  
\* Розенкранц — 86  
\* Рокэн — 448  
Ромул — 112, 114, 115, 453  
Руссо — 15, 18—20, 28, 40, 47,  
56, 66, 70, 280, 346, 371, 480  
\* Руэль — 484, 489
- Салиньяк де — 282—291  
Салюстий — 111, 455  
Саси де — 95, 450  
Саундерсон — 239—246. 248—  
259, 267, 271, 274—276, 292—  
294, 472, 474, 477, 478, 481,  
482  
Свифт — 145, 464  
\* Сегюр — 57  
\* Сен-Ламбер — 25, 26  
Сервандони — 194, 469  
Сервантес — 177, 189, 467  
Сократ — 138, 257, 315, 473  
Соломон — 458  
\* Сорэн — 26  
Социни — 145, 464
- Спиноза — 181, 458, 468, 482  
Сталь, Г.-Э. — 331, 487  
Сюар — 26, 413, 494
- \* Табуро — 459  
\* Таммуз — 459  
Тансен де — 370, 492  
Тарквиний старший — 113, 114,  
456  
Тацит — 147, 245, 474  
Тертулиан — 118, 457  
Тирезий — 251, 476  
\* Тиндарей — 461  
\* Тома — 26  
\* Тремблэ — 486  
\* Тюрго — 26, 28
- Фальконэ — 53, 65, 369, 492  
\* Фейербах — 9  
Ферма — 303, 485  
Филон — 173, 466  
Фонтенель — 393, 394, 493  
Фогтэн — 302, 485  
Франклин — 332, 488  
\* Фридрих II — 33, 453, 461, 464,  
479, 483, 485
- Холмс, Жервез — 251, 252, 253,  
254, 255, 477
- Цвингли — 145, 464  
Цезарь, Юлий — 111, 127, 455  
Цицерон — 113, 114, 122, 138,  
456
- \* Чайковский, П. И. — 62  
\* Чемберс — 43  
Числьден — 265, 266, 271, 478
- \* Шампльон, Антуанетта — 37,  
60  
\* Шарден — 82  
Шаррон — 272, 478  
\* Шателэ — 26  
Шафтсбери — 39, 95, 447, 449  
\* Шомберг — 26  
Шуллемберг — 418



- Эбер — 205  
\*Эдип — 476  
Эйлер — 302, 485  
\*Элонза — 62  
\*Эмпедокл — 449, 477  
Энгельс — 49, 457, 487  
\*Эней — 468  
Энелад — 411  
Эно — 289, 481
- \*Эпаминонд — 173, 466  
Эпикур — 310, 392, 486  
Эро — 228  
Эскулап — 126, 459
- Юлиан** — 109, 455  
Юпитер — 97, 115  
Юстус Тиверградский — 173, 466
- Янсениус** — 106, 454

## Перечень иллюстраций

1. Дидро. <i>С гравюры Деланнуа по портрету Гарана</i> . . . . .	6—7
2. Дом в Лангре, в котором Дидро провел детство	16—17
3. Дидро в кругу энциклопедистов. <i>С картины Мейсонье</i> . . . . .	32—33
4. Венсеннский замок, в котором был заключен Дидро в 1749 г. <i>С оригинальной гравюры Бриссара (Гос. музей изобраз. искусств в Москве)</i> . . . . .	40—41
5. Памятник Дидро в Париже работы Готерена. <i>С гравюры Амгерера (Гос. публ. библ. им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде)</i> . . . . .	64—65
6. Памятник Дидро в Лангре. <i>С гравюры Ярошевича (Гос. публ. библ. им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде)</i> . . . . .	80—81
7. Печать рода Дидро . . . . .	88
8. Титульный лист первого издания «Pensées Philosophiques», 1746 г. . . . .	96—97
9. Фронтиспис первого издания «Pensées Philosophiques», 1746 г. . . . .	112—113
10. Титульный лист первого издания «Lettre sur les aveugles», 1749 г. . . . .	224—225
11. Глазная операция. <i>С гравюры из «Recueil de planches sur les sciences et les arts», t. III, Paris, 1762.</i> . . . . .	240—241
12. Таблицы к «Письму о слепых» . . . . .	239—244
13. Слепой с двумя палками. <i>С рисунками из оригинального издания «Lettre sur les aveugles»</i> . . . . .	256—257

## Содержание

От издательства . . . . .	7
. . . . .	9

### Философия

Философские мысли. <i>Перев. И. В. Румера</i> . . . . .	91
Прибавление к философским мыслям, или разные возражения против сочинений различных богословов. <i>Перев. И. В. Румера</i> . . . . .	123
Прогулка скептика, или аллеи. <i>Перев. И. В. Румера</i> . . . . .	136
Письмо о слепых в назидание зрячим. <i>Перев. П. С. Юшкевича</i> . . . . .	221
Прибавление к письму о слепых. <i>Перев. П. С. Юшкевича</i> . . . . .	279
Письмо Вольтеру. <i>Перев. П. С. Юшкевича</i> . . . . .	292
Мысли об объяснении природы. <i>Перев. В. К. Серезжникова</i> . . . . .	299
Философские принципы, о материи и движении. <i>Перев. В. К. Серезжникова</i> . . . . .	357
Разговор Даламбера с Дидро. <i>Перев. В. К. Серезжникова</i> . . . . .	367
Сон Даламбера. <i>Перев. В. К. Серезжникова</i> . . . . .	383
Продолжение разговора. <i>Перев. В. К. Серезжникова</i> . . . . .	436
Примечания. Составил <i>А. Н. Лаурентьев</i> . . . . .	445
Указатель имен . . . . .	496
Перечень иллюстраций . . . . .	502

Редактор И. К. Дуппол  
Художественная редакция  
М. П. Сокольников  
Лит.-техническ. наблюдение  
А. В. Плавильщиков  
Техред Л. А. Фрязинова  
Наблюдение на производстве  
М. И. Козлов

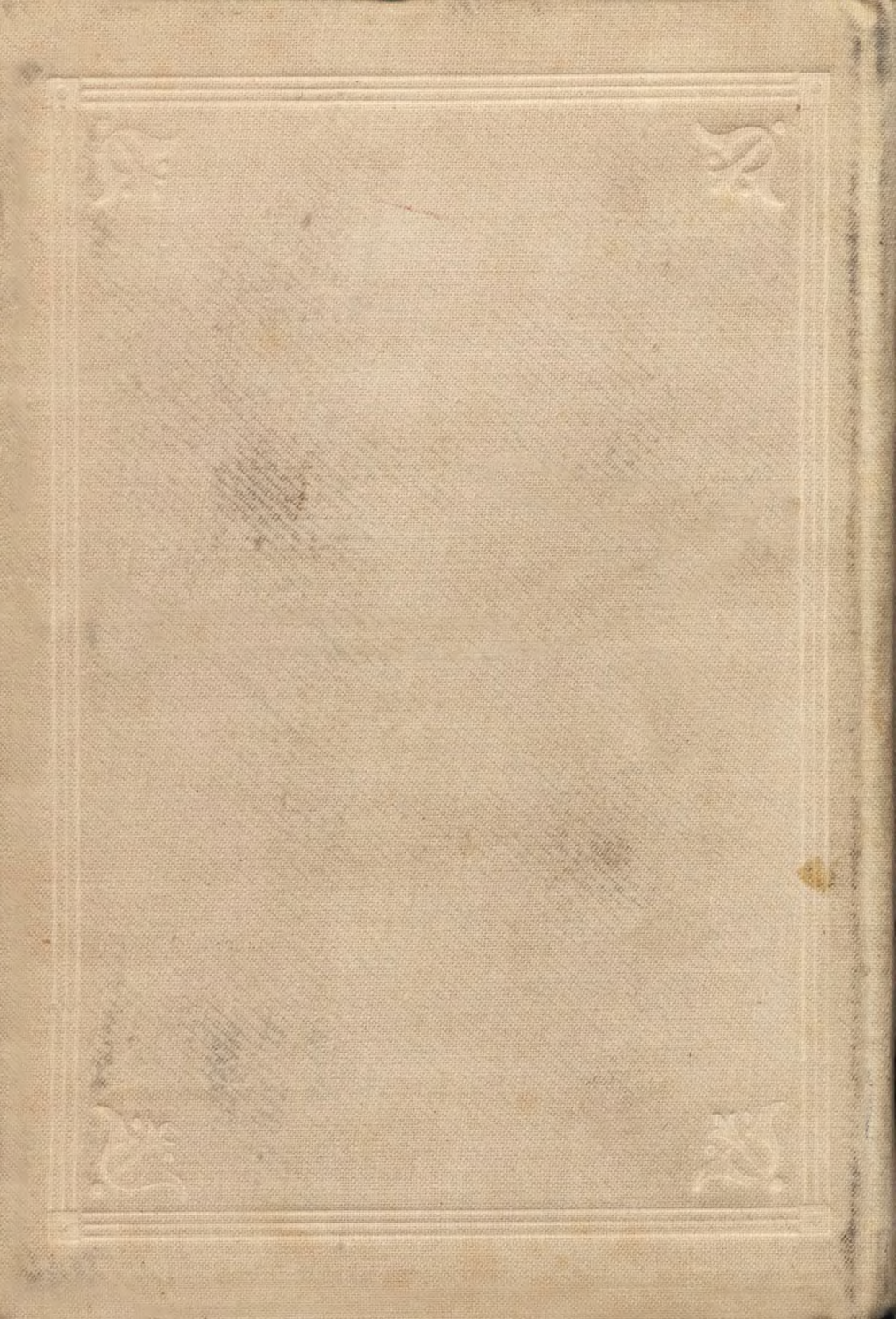
\*\*\*

Сдана в набор 20/IV 1934.  
Подп. к печати 23/IX 1934.  
Уполн. Главл. Б — 37899.  
Тираж 5300. Зак. тип. 8000  
Ас 82. Инд. А—1. Авт. л. 30.  
Печ. л. 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>+11 вкл. Бум.  
82×110—<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Тип. зн. на 1  
бум. л. 130 000

\*\*\*

Отпечатано на ф-ке книги  
«Красн. пролетарий», Москва,  
Краснопролетарская, 16

Цена Р. 9.00  
Переплет Р. 2.00



---

**Собрание сочинений  
ДИДРО**

в десяти томах

*под общей редакцией  
И. К. Луппола*

Том I

ФИЛОСОФИЯ  
*(вышел в свет)*

Том II

ФИЛОСОФИЯ  
*(вышел в свет)*

Том III

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ  
*(готовится)*

Том IV

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ  
*(готовится)*

Том V

ТЕАТР И ДРАМАТУРГИЯ  
*(готовится)*

Том VI

ИСКУССТВО  
*(готовится)*

Том VII

СТАТЬИ ИЗ «ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

Том VIII

ПИСЬМА К С. ВОЛЛАН  
*(готовится)*

Том IX

ПИСЬМА К ФАЛЬКОНЭ,  
ГРИММУ и др.  
*(готовится)*

Том X

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ,  
ОТНОСЯЩИЕСЯ К РОССИИ



---

«А С А Д Е М И А»

Москва, Б. Вузовский, 1  
Ленинград, Пр. 25 Октября  
«Дом книги»